

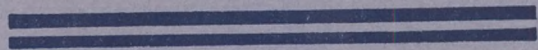
3

Н О В Ы Й  
М И Р

Н О В Ы Й  
М И Р

1955

3



1955



# Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXI

№ 3

Март, 1955 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ — <i>Беспокойная юность</i> , повесть	3
СЕРГЕЙ ПЕТРУНИН — <i>Из колхозного дневника</i> , стихи	34
ЕКАТЕРИНА ШЕВЕЛЕВА — <i>Девочка из Гонг-Конга</i> , стихи	38
АНАТОЛИЙ РЫБАКОВ — <i>Екатерина Воронина</i> , роман. Продолжение	39
Б. СЛУЦКИЙ — <i>Два стихотворения</i>	95
ГОВАРД ФАСТ — <i>Сайлас Тимбермен</i> , роман. Окончание. Перевод с английского Е. Голышевой и Б. Изакова	97
<b>ПРОБЛЕМЫ НАУКИ</b>	
<b>Атом на службе человека</b>	170
Инженер А. БУЯНОВ — <i>Покорённый электрон</i>	
Инженер П. АСТАШЕНКОВ — <i>Первые шаги атомной энергетики</i>	
<b>ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ</b>	
<i>По страницам иностранных литературных журналов</i>	184
Н. Разговоров. <i>Отчаяние и вера</i> . — А. Тишков. <i>Чувство нового</i> . — В. Стеженский. <i>Присяга Пехеля</i> . — Сергей Львов. <i>Поверх границ</i> . — Б. Розанов. <i>...Вперед — огни!</i> — Ел. Романова. <i>Мрачные перспективы</i> . — В. Кутейщикова, Л. Осповат. <i>В добрый час!</i>	
<b>ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ</b>	
РОМЕН РОЛЛАН — <i>Дневник военных лет (1914—1919)</i> . Фрагменты. Перевод с французского и примечания Л. Лунгиной и К. Наумова	208
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
Ю. КАРАСЕВ — <i>Главная задача</i> . Заметки о прозе в национальных литературах	227
Е. ДОБИН — <i>Заострение в сюжете</i>	244
Г. КОЙРАНСКАЯ — <i>Альманах «Новая Сибирь»</i>	260
<b>КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	267
С. Ильичёва. <i>Свежий голос</i> . — А. Штамбок. <i>Две повести о художниках</i> . — К. Поздняев. <i>О военных корреспондентах</i> . — А. Дирингерова. <i>Новая жизнь</i> . — Юрий Смирнов. <i>Новая книга о Чаплине</i> . — А. Отарова. <i>Сборник статей о Л. Н. Толстом</i> .	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	280
Кандидат военных наук <b>П. Синельников</b> . Быть постоянно начеку.— Кандидат военных наук <b>И. Крупченко</b> . Советские танкисты в дни войны и мира.— Кандидат исторических наук <b>Е. Черняк</b> . Вещания современных мракобесов.— Инженер-капитан 3-го ранга <b>Н. Орлов</b> . Глазами советского моряка.— <b>С. Марвич</b> . Никос Белояннис.— <b>М. Стуруа</b> . Слова и дела колонизаторов.— Профессор <b>А. Горин</b> , доцент <b>А. Уколов</b> . Пути создания новых культурных растений.— <b>И. Иноземцев</b> . Советские натуралисты в пустыне Гоби.— Кандидат географических наук <b>И. Забелин</b> . Измышления буржуазных географов.	
<b>РЕПЛИКИ</b>	299
<b>Сергей Смирнов</b> . Поэтические «кирпичи».— <b>Сергей Михалков</b> . На фоне леса.— <b>Н. Грибачёв</b> . Разговор читателя и писателя.— <b>Евг. Долматовский</b> . Устаревшее издание.— <b>Бор. Агапов</b> . Дисциплина в школе.— <b>Лев Никулин</b> . Книга, прочитанная в одну ночь.	
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	303

---

---

КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ

★

## БЕСПОКОЙНАЯ ЮНОСТЬ

Повесть

*«Беспокойная юность» является второй книгой большой автобиографической повести.*

*Тема этой повести — становление человека и писателя. Материал повести охватывает время с конца XIX века до наших дней.*

*Первая книга этой повести — «Далёкие годы» — была опубликована в 1946 году. Мне предстоит написать ещё две книги, причём каждая из них, равно как и «Далёкие годы» и «Беспокойная юность», будет вполне самостоятельным произведением.*

### «Здесь живёт никто»

**Н**а дверях у профессора Гилярова была прибита медная дощечка с надписью: «Здесь живёт никто».

Гиляров читал студентам Киевского университета лекции по истории философии. Седой, небритый, в мешковатом люстриновом пиджаке, обсыпанном табачным пеплом, он торопливо поднимался на кафедру, сжимал её края жилистыми руками и начинал говорить — глухо, неразборчиво, будто нехотя.

За окном аудитории горели молодой позолотой и никак не могли догнать киевские сады.

Осень в Киеве всегда была затяжная. Южное лето накапливало в городских садах столько солнечного жара, зелени и запаха цветов, что ему было жаль расставаться с этим богатством и уступать место осени. Почти каждый год лето вмешивалось в распорядок дней и оттягивало свой уход.

Как только Гиляров начинал говорить, мы, студенты, уже ничего не замечали вокруг. Мы следили за неясным бормотанием профессора, замороженные чудом человеческой мысли. Гиляров раскрывал её перед нами неторопливо, почти сердясь. Великие эпохи перекликались друг с другом. Нас не оставляло ощущение, что поток человеческой мысли нельзя разять на части, что почти невозможно проследить, где кончается философия и начинается поэзия, а где поэзия переходит в обыкновенную жизнь.

Потом Гиляров вынимал из оттопыренного кармана пиджака томик стихов с оттиснутым на переплёте филином — птицей мудрости — и отрывисто прочитывал несколько строк, скрепляя ими свои речи философа:

...Если б завтра земли нашей путь  
Осветить наше солнце забыло, —  
Завтра ж целый бы мир осветила  
Мысль безумца какого-нибудь!

Иногда щетина на щеках у Гилярова топорщилась и прищуренные глаза смеялись. Так было, когда Гиляров произнёс перед нами речь о по-

знании самого себя. После этой речи у меня появилась вера в безграничную силу человеческого сознания.

Гиляров просто кричал на нас. Он приказывал нам не зарывать наших возможностей в землю. Надо чертовски трудиться над собой, извлекать из себя всё, что в тебе заложено. Так опытный дирижёр открывает в оркестре все звуки и заставляет каждого оркестранта довести до полного выражения музыкальный инструмент.

«Человек,— говорил Гиляров,— должен осмыслить, обогатить и украсить жизнь».

Гиляров был последователем и истолкователем философии Платона. Речи Гилярова были окрашены горечью и постоянным сожалением об иссякании идеализма в мире, о его постепенном закате. Из многих бесед Гилярова мне запомнились его рассуждения «о последней вечерней заре идеализма и его предсмертных мыслях».

В этом старом профессоре, похожем внешне на Эмиля Золя, было много яда по отношению к благополучному обывателю и много презрения к либеральной интеллигенции того времени.

Это вязалось с медной дощечкой на его дверях о ничтожестве человека. Мы понимали, конечно, что дощечку эту Гиляров повесил назло своим благопристойным соседям.

Гиляров говорил об обогащении жизни. Но мы не знали, каким образом добиться этого. Вскоре я пришёл к выводу, что для этого нужно с наибольшей полнотой выразить себя в своей кровной связи с народом. Но как? В чём? Самым верным путём казалось мне писательство. Так родилась мысль о литературе, как об единственной моей жизненной дороге.

С тех пор началась моя взрослая жизнь, часто трудная, реже — радостная, но всегда беспокойная и настолько разнообразная, что можно было запутаться в воспоминаниях о ней.

Моя юность началась в последних классах гимназии и окончилась вместе с первой мировой войной. Она окончилась, может быть, раньше, чем следовало. Но на долю моего поколения выпало столько войн, переворотов, испытаний, надежд, труда и радости, что всего этого хватило бы на несколько поколений наших предков.

За время, равное обращению Юпитера вокруг Солнца, мы пережили так много, что от одного воспоминания об этом сжимается сердце. Наши потомки будут, конечно, завидовать нам — участникам и свидетелям великих переломов в судьбе человечества.

Университет был средоточием передовой мысли в городе. Поначалу я, как и большинство новичков, дичился в университете и приходил в замешательство от встреч со старыми, особенно с «вечными» студентами. Эти бородатые люди в потёртых расстёгнутых тужурках смотрели на нас, первокурсников, как на бессмысленных щенят.

Кроме того, после гимназии я долго не мог привыкнуть, что слушать лекции вовсе не обязательно и в часы университетских занятий можно безнаказанно сидеть дома над книгами или бродить по городу.

Постепенно я привык к университету и полюбил его. Но полюбил не лекции и профессоров (талантливых профессоров было не много), а самый характер студенческой жизни.

Лекции шли своим порядком в аудиториях, а студенческая — очень бурная и шумная — жизнь шла тоже своим порядком, независимо от лекций, в длинных и тёмных университетских коридорах.

В этих коридорах весь день кипели споры, шумели сходки, собирались землячества и фракции. Коридоры тонули в табачном дыму.

Схватки со студентами-«белоподкладочниками», членами черносотенного Академического союза, сплошь и рядом доходили до рукопашной, особенно когда в дело вмешивалось «Кавказское землячество».

Впервые я услышал о резких, неистовых противоречиях между большевиками и эсерами, большевиками и меньшевиками.

В кипении этих страстей уже чувствовалось приближение каких-то новых времён. И странным казалось, что тут же, в нескольких шагах, за дверями аудиторий, почтенные и седовласые профессора читают в скучноватой тишине лекции о торговых обычаях в ганзейских городах или сравнительном языкознании.

В те годы, перед первой мировой войной, многие предчувствовали приближение грозы, но не могли догадаться, с какой силой она обрушится на землю. Как перед грозой, было душно в России и в мире. Но гром ещё не докатывался, и это успокаивало недалёковидных людей.

Первый его оглушительный удар летом 1914 года, когда началась мировая война, ошеломил всех.

Мы, гимназисты, когда вышли из гимназии, тотчас растеряли друг друга, хотя и поклялись никогда не делать этого. Накатилась война, потом пришла революция, и с тех пор я больше не встречал почти никого из своих однокашников. Где-то пропали весельчак Станишевский, доморощенный философ Фицовский, сдержанный Шмуклер, медлительный Магусевич и быстрый, как птица, Булгаков.

Я жил в Киеве один. Мама с сестрой Галей и братом Димой — студентом Технологического института — были в Москве. А старший брат Боря хотя и жил в Киеве, но мы с ним почти не встречались.

Боря женился на низкорослой пухлой женщине. Она носила фиолетовые японские кимоно с вышитыми журавлями. Все дни Боря просиживал над чертежами бетонных мостов. В его тёмной комнате, оклеенной обоями под дубовое дерево, пахло фиксатуаром. Ноги прилипали к крашеным полам. Фотографии всемирной красавицы Лины Кавальери были приколоты заржавленными кнопками к стене.

Боря не одобрял моего увлечения философией и литературой. «Надо пробивать себе дорогу в жизни, — говорил он. — Ты фантазёр. Такой же, как папа. Развлекать людей — это не дело».

Он считал, что литература существует для развлечения людей. Я не хотел с ним спорить. Свою привязанность к литературе я оберегал от недоброго глаза. Поэтому я перестал ходить к Боре.

Я жил у бабушки на зелёной окраине Киева, Лукьяновке, во флигеле в глубине сада. Моя комната была заставлена вазонами с фуксией. Я занимался только тем, что читал до изнеможения. Чтобы отдышаться, я выходил по вечерам в сад. Там стоял резкий осенний воздух и горело над облетелыми ветками звёздное небо.

Бабушка сначала сердилась и зазывала меня домой, но потом привыкла и оставила меня в покое. Она только говорила, что я провожу время без всякого «сенса», иначе говоря, без смысла, и всё это окончится скоротечной чахоткой.

Но что могла поделаться бабушка с моими новыми друзьями? Что бабушка могла возразить Пушкину или Гейне, Фету или Леконту-де-Лиллю, Диккенсу или Лермонтову?

В конце концов бабушка махнула на меня рукой. Она зажигала у себя в комнате лампу с розовым стеклянным абажуром в виде большого тюльпана и погружалась в чтение бесконечных польских романов Крашевского. А я вспоминал стихи о том, что «в небе, как зов задушевный, мерцают звёзд золотые ресницы». И земля казалась мне хранилищем многих драгоценностей — таких, как эти золотые ресницы звёзд. Я верил, что жизнь готовит мне много очарований, встреч, любви и печали, радости и

потрясений, и в этом предчувствии было великое счастье моей юности. Сбылось ли это — покажет будущее.

А сейчас, как говорили в старинных театрах актёры, выходя к зрителям перед спектаклем: «Мы представим вам разные житейские случаи и постараемся заставить вас поразмышлять над ними, поплакать и посмеяться».

### Небывалая осень

Я ехал из Киева в Москву в тесной каморке вагонного отопления. Нас было трое пассажиров — пожилой землемер, молодая женщина в белом оренбургском платке и я.

Женщина сидела на холодной чугунной печурке, а мы с землемером по очереди отсиживались на полу — вдвоём поместиться там было нельзя.

Мелкий уголь хрустел под ногами. От него белый платок женщины вскоре сделался серым. За окном, наглухо забитым, тоже серым, в высохших потёках от дождевых капель, ничего нельзя было разобрать. Только где-то под Сухиничами я увидел и запомнил огромный, во всё небо, кровавый закат.

Землемер посмотрел на закат и сказал, что там, на границе, уже, должно быть, дерутся с немцами. Женщина прижала платок к лицу и заплакала: она ехала в Москву к мужу и не знала, застанет ли мужа или его уже отправили на передовые позиции.

Я ехал попрощаться с братом Димой в Москву — его тоже призвали в армию. Меня в армию не взяли из-за сильной близорукости. Кроме того, я был младшим сыном в семье и студентом, а по тогдашним законам младшие сыновья, равно как и студенты, освобождались от военной службы.

Выйти из отопления на площадку вагона было почти невозможно. Мобилизованные вповалку лежали на крышах, висели на буферах и ступеньках. Станции встречали нас протяжным воем женщин, ревом гармошек, свистом и песнями. Поезд останавливался и тотчас прирастал к рельсам. Только два паровоза могли стронуть его — и то тяжёлым рывком.

Россия сдвинулась с места. Война, как подземный толчок, сорвала её с оснований. По тысячам сёл тревожно били колокола, возвещая мобилизацию. Тысячи крестьянских лошадёнок везли к железным дорогам призывников из самых глухих углов страны. Жизнь смешалась. Всё привычное и устоявшееся мгновенно исчезло.

Тогда, за всю дорогу до Москвы, мы втроём съели только одну окаменелую булку с изюмом и выпили бутылку мутной воды.

Поэтому, должно быть, воздух Москвы, когда я утром вышел из вагона на сырую платформу Брянского вокзала, показался мне пахучим и лёгким. Кончалось лето 1914 года — грозное и тревожное лето войны, — и в московском воздухе уже пробивались сладковатые и прохладные запахи осени — вялых листьев и застоялых прудов.

Мама жила в то время в Москве как раз вблизи такого пруда на Большой Пресне. Окна квартиры выходили в Зоологический сад. Были видны красные кирпичные брандмауэры преснепских домов, избитые снарядами ещё во времена декабрьского восстания пятого года, пустые дорожки Зоологического сада и большой пруд с чёрной водой. В полосах солнца прудовая вода отливала зеленоватым цветом тины.

Я никогда ещё не видел квартиры, которая так вязалась бы с характером людей и с их жизнью, как мамина квартира на Пресне. Она была пустая, почти без мебели, если не считать кухонных столов и нескольких скрипучих венских стульев. В комнаты падала тень от старых почернев-



ших деревьев, и потому в квартире всегда было сумрачно и холодно. Серые и липкие клеёнки на столах были тоже холодные.

У мамы появилось пристрастие к клеёнкам. Они заменяли прежние скатерти и настойчиво напоминали о бедности, о том, что мама бьётся изо всех сил, чтобы хоть как-нибудь поддержать порядок и чистоту. Иначе она не могла бы жить.

Дома я застал только маму и Галю. Дима уехал в Гравороново на полигон обучать стрельбе запасных солдат.

Лицо у мамы за те два года, что я не видел, сморщилось, пожелтело, но тонкие губы были попрежнему крепко сжаты, будто мама давала понять окружающим, что она никогда не сдастся перед жизнью, перед просками мелких недоброжелателей и выйдет из всех передраг победительницей.

А Галя, как всегда, бесцельно бродила по комнатам, натыкалась по близорукости на стулья и расспрашивала меня о всяких пустяках: сколько теперь стоит билет от Киева до Москвы и остались ли ещё на вокзалах носильщики или их всех угнали на войну.

В этот приезд мама показала мне спокойнее, чем раньше. Этого я не ожидал. Я не мог понять, откуда взялось это спокойствие в дни войны, когда Диму со дня на день могут отправить на фронт. Но мама сама выдала свои мысли.

— Сейчас нам, Костик, — сказала она, — гораздо легче. Дима — прапорщик, офицер. Получает хорошее жалованье. Теперь я не боюсь, что завтра будет нечем заплатить за квартиру. — Она подумала, беспокойно посмотрела на меня и добавила: — На войне тоже не всех убивают. Я уверена, что Диму оставят в тылу. Он на хорошем счету у начальства.

Я согласился, что, действительно, на войне не всех убивают. Нельзя было отнимать у неё это шаткое утешение.

Глядя на маму, я понял, что значит тягость повседневного незащитного существования и как нужен человеку надёжный кров и кусок хлеба. Но мне стало не по себе от мысли, что она счастлива этим жалким благополучием, возникшим в семье за счёт опасности для её сына. Не может быть, чтобы она не сознавала этой опасности. Она просто старалась не думать о ней.

Вернулся Дима — загорелый, очень уверенный в себе. Он отстегнул и повесил в передней свою новенькую шашку с золочёным эфесом. Вечером, когда в передней зажгли электрическую лампочку, эфес заблестел, как единственная нарядная вещь в маминой убогой квартире.

Через несколько дней Дима получил назначение в Навагинский пехотный полк. Дима собрался и уехал так быстро, что мама не успела опомниться. Только на второй день после его отъезда она впервые заплакала.

Димин эшелон грузился на запасных путях Брестского вокзала. Был ветреный день, нагоняющий скуку, — обыденный день с жёлтой пылью и низким небом. Всегда кажется, что в такие дни не может случиться ничего особенного.

Прощание с Димой было под стать этому дню. Дима распоряжался погрузкой эшелона. Он разговаривал с нами урывками и попрощался наспех, когда эшелон уже тронулся. Он догнал свой вагон, вскочил на ходу на подножку, но тотчас его закрыл встречный поезд. Когда поезда разошлись, Диму уже не было видно.

После отъезда Димы я перевёлся из Киевского в Московский университет. Димину комнату мама сдала инженеру Московского трамвая Захарову. До сих пор я не понимаю, что могло понравиться Захарову в нашей квартире.

Захаров учился в Бельгии, много лет прожил в Брюсселе и незадолго до первой мировой войны вернулся в Россию. Это был весёлый холостяк

с седеющей подстриженной бородкой. Он носил просторные заграничные костюмы и пронзительные очки. Весь стол в своей комнате Захаров завалил книгами. Но среди них я не нашёл почти ни одной технической. Больше всего было мемуаров, романов и сборников «Знание».

У Захарова я впервые увидел на столе французские издания Верхарна, Метерлинка и Роденбаха.

В то лето все восхищались Бельгией — маленькой страной, принявшей первый удар немецких армий. Всюду пели песню о защитниках осаждённого Льежа.

Бельгия была разбита вдребезги в два-три дня. Над ней сиял ореол мученичества. Готические кружева её ратуш и соборов обрушились и перетёрлись в пыль под сапогами немецких солдат и коваными колёсами пушек.

Я читал Верхарна, Метерлинка, Роденбаха, стараясь найти в книгах этих бельгийцев разгадку мужества их соотечественников. Но я не нашёл этой разгадки ни в сложных верхарновских стихах, отрицавших старый мир, как великое зло, ни в мёртвых и хрупких, как цветы подо льдом, романах Роденбаха, ни в пьесах Метерлинка, написанных как бы во сне.

Однажды я встретил Захарова на Тверском бульваре. Он взял меня под руку и начал говорить о войне, о потрясённой культуре, о Бельгии. Говорил он с лёгким французским акцентом.

Великолепная осень стояла в те дни над Москвой. Деревья роняли золочёную листву на стволы орудий. Орудия и зарядные ящики стояли серыми шеренгами вдоль московских бульваров, дожидаясь отправки на фронт.

Прозрачное, небывало густое и синее небо — дорога перелётных стай — простиралось над городом в сиянии тускнеющего солнца. И всё сыпалась и сыпалась листва, заваливала крыши, тротуары, мостовые, шуршала под метлами дворников, под ногами прохожих, как бы стараясь напомнить людям, что вокруг них всё ещё существует забытая ими земля. И мне казалось, что ради этой земли, ради слабого блеска сентябрьской паутины, ради ясности сухих и прохладных горизонтов, ради затишливых вод, вздрагивающих от упавшего с дерева кусочка коры, ради запаха желтеющей ракушки, ради всей этой шелестящей, необыкновенно прекрасной России, ради её деревень, её изб, курящихся молочным дымом соломы, синеватых речных туманов, её прошлого и будущего, — ради всего этого все честные люди всего мира огромным совместным усилием, может быть, остановят эту войну.

Я понимал, конечно, что надеяться на это нельзя, все эти мысли, как любил говорить Боря, — «сплошное донкихотство».

Война накатывалась всё ближе своим неотвратимым ходом. Казалось, дым её пожаров уже заволакивал небо Москвы. Потом мы узнали, что это был действительно дым пожаров, но только лесных — под Тверью горели леса и сухие болота.

Утром я просыпался у себя в комнате — я спал на полу — и смотрел за окно. В небе пролетали листья и, качаясь, опускались на землю. Рама окна скрывала их от меня, и мне не удавалось проследить, куда они падают.

Я не мог избавиться от мысли, что этот медленный и долгий — изо дня в день — полёт листьев, может быть, последний в моей жизни. И всё казалось, что листья летят с запада на восток, спасаясь от войны.

Мне не стыдно сейчас сознаться в этих мыслях — я был очень молод. Всё окружающее было наводнено до краёв лирической силой, исходившей, вероятно, от меня самого. Я же думал тогда, что такова сущность жизни.

— Так вот, мой друг,— сказал мне Захаров,— не пора ли вам бросить слоняться по окрестностям Москвы в вашем туманном состоянии? За эту неделю, как передавала мне Мария Григорьевна, вы уже успели смотаться в Архангельское и Останкино.

Слово «смотаться» Захаров сказал с особенным вкусом. Так он проносил все непривычные ещё для него русские слова.

— Да, я был и в Архангельском и в Останкине. О каком таком туманном состоянии вы говорите?

Захаров усмехнулся.

— Вы ведёте себя так, будто мир существует только для того, чтобы наполнять вас интересными мыслями.

— Ну и что же? — спросил я резко. Я начинал сердиться: почему все, будто стоворившись, обвиняют меня в несерьёзном, в мальчишеском отношении к жизни?

— Просто вы начитались до отрывки современных поэтов,— сказал примирительно Захаров и с удовольствием повторил: — До отрывки.

— Если судить по вашим книгам, вы тоже предпочитаете художественную литературу трамваю.

— Дело в том,— объяснил Захаров,— что Бельгия — классическая страна трамваев. И мистической поэзии. Меня выслали за границу ещё гимназистом. Я попал в Бельгию, прижился там и окончил инженерный институт в Льеже. Но дело не в этом. Дело в войне. Вот извольте!

Со стороны Страстной площади долетала музыка походного марша и гремело заглушённое протяжное «ура». Там выстроились перед отправкой на фронт запасные батальоны.

— Я только что был там, на площади,— добавил Захаров.— Я очень забыл Россию. Не по своей вине. Так вот, я протискался в первые ряды, чтобы посмотреть на солдат. От них сильно пахло хлебом. Удивительный запах! Услышишь его и почему-то веришь, что русскому народу никто не сломит шею.

— А Бельгия? — спросил я.

— Что Бельгия? Я вас не понимаю.

Я смутился и сказал первое, что пришло мне в голову:

— Почему бельгийцы так отчаянно дрались с немцами?

— О-ля-ля! — пропел Захаров.— Маленький народ живёт памятью о прошлом величии. За это я его уважаю. Вот Метерлинк. Мистический поэт с туманными зрачками и туманными мыслями. Старый католический бог его раздражает. Он просто груб для такой утончённой природы, как Метерлинк. Поэтому он заменяет бога потусторонним миром — это, конечно, несколько современнее и поэтичнее. Это более сильная отравка, чем религия. Всё это так. Но, кроме того, Метерлинк — гражданин. Таково воспитание. Такovy традиции. Как гражданин он берёт своими мистическими пальцами винтовку и стреляет из неё так же хорошо, как любой королевский стрелок. Никому нет дела до расплывчатых мыслей Метерлинка-поэта. Но всем есть дело до Метерлинка-гражданина. Поэтому никто не вмешивается в его поэзию. Такова Бельгия. Да что говорить! Страна хорошая. Морской ветер продувает её насквозь, и она полна весёлых людей. Умеющих, кстати, работать. Что вы ещё хотите знать о Бельгии? Пока ничего. Ну что ж, покончим с Бельгией и поговорим о более существенных для вас вещах.

Более существенной вещью для меня оказалось следующее: Захаров предложил устроить меня вожатым на Московский трамвай. Дело в том, объяснил он, что почти всех вожатых и кондукторов взяли в армию. Нельзя оставлять огромный город во время войны без трамвая. Сейчас как раз идёт наём новых вожатых и кондукторов.

Я опешил. Слишком резок был переход от Метерлинка к вожатому трамвая.

С гимназических лет я настойчиво думал о писательстве. Все перемены в жизни казались мне подготовительной школой для этого. Надо входить в жизнь, не брезгать ничем, — только так может накопиться жизненный опыт, создаться та кладовая, откуда я буду брать пригоршнями мысли, сюжеты, образы и слова.

К тому же я понимал, что сейчас нельзя уезжать от мамы. Надо побыть с ней и помочь ей. А здесь заработок сам шёл в руки. И я согласился.

Когда я сказал маме и Гале, что поступаю вожатым на трамвай, мама только вздохнула и заметила, что она никогда не стыдилась никакой работы и приучила к этому и нас. А Галя начала волноваться — не убьёт ли меня ток.

— Я где-то читала, — испуганно сказала она, — про слона из цирка. Его сожгло трамвайным током. Может это быть или нет?

Я ответил, что всё это чепуха.

Мне не сиделось дома, и я пошёл в трактир на Кудринской улице. Он курился чайным паром. Развязно, позванивая литаврами и бубенцами, гремел механический орган — трактирная «машина»:

Вот мчится тройка удалая  
По Волге-матушке зимой...

За соседним столиком старый человек с поднятым воротником пиджака что-то писал, непрерывно макая перо в чернильницу и снимая с него волоски.

Мне захотелось написать кому-нибудь из близких, из друзей о себе, о том, что жизнь переломилась и я буду работать вожатым на трамвае, но я тут же вспомнил, что писать мне совершенно некому.

Ямщик умолк, и кнут ремённый  
Повис в опущенной руке,—

гремела «машина», и в ответ ей звенели пустые стаканы.

### «Медная» линия

Меня приняли вожатым в Миусский трамвайный парк. Но вожатым я работал недолго. Меня вскоре перевели в кондукторы.

Миусский парк помещался на Лесной улице, в красных, почерневших от копоти кирпичных корпусах. Со времён моего кондукторства я не люблю Лесную улицу. До сих пор она мне кажется самой пыльной и бестолковой улицей в Москве.

Воспоминание о ней связано со скрежетом трамваев, выползающих на рассвете из железных ворот парка, с тяжёлой кондукторской сумкой, натиравшей плечо, и с кислым запахом меди. Руки у нас, кондукторов, всегда были зелёными от медных денег. Особенно если мы работали на «медной» линии.

«Медной» линией называлась линия «Б», проходившая по Садовому кольцу. Кондукторы не любили эту линию, хотя москвичи и называли её с умилением «Букашкой». Мы предпочитали работать на «серебряной» линии «А» — на Бульварном кольце. Эту линию москвичи называли тоже ласково «Аннушкой». Против этого ничего возразить было нельзя, но называть «Букашкой» линию «Б» было просто нелепо.

Проходила она около многолюдных вокзальных площадей, по пыльным обочинам Москвы. Вагоны на линии «Б» были с прицепами. В прицепах разрешалось садиться с тяжёлыми вещами. Пассажиры на этой линии были больше с окраин — ремесленники, огородники, молочницы. Расплачивался этот пассажир медяками, серебро же припрятывал и не

очень охотно вытаскивал его из своих кошель и карманов. Поэтому эта линия и называлась «медной».

Линия же «А» была нарядная, театральная и магазинная. По ней ходили только моторные вагоны, и пассажир был иной, чем на линии «Б», — интеллигентный и чиновный. Расплачивался такой пассажир обыкновенно серебром и бумажками.

За открытыми окнами вагона линии «А» шумели листвою бульвары. Вагон медленно кружил по Москве — мимо усталого Гоголя, спокойного Пушкина, мимо Трубного рынка, где никогда не умолкал птичий свист, мимо Кремлёвских башен, златоглавой громады храма Христа-Спасителя и горбатых мостов через обмелевшую Москву-реку.

Мы выводили вагоны на линию ранним утром, а возвращались в парк в час ночи, а то и позже. В парке надо было сдать выручку артельщику. Только после этого я мог уйти домой и медленно брёл по ночной Москве, по Грузинам с пустой сумкой на плече. Никелированная бляха с кондукторским номером поблёскивала на моей куртке в зелёном свете газовых фонарей. В то время электрические фонари горели только на главных улицах.

Вначале я долго возился ночью с подсчётом мелочи, но потом старый кондуктор Бабаев — мой наставник — научил меня, как избавляться от неё. С тех пор я начал привозить в парк только крупные бумажные деньги и немного серебра.

Приём был простой. Часа за два до возвращения в парк мы начинали безбожно спускать мелочь — сдавали сдачу с рубля одними медяками, а с трёх рублей — одним серебром. Пассажиры иногда начинали ругаться. В этом случае мы тотчас уступали, чтобы не было лишней трамвайной распри. Такова была житейская мудрость Бабаева.

— Нынче пассажир, — говорил Бабаев, — слабонервный. Приходится делать ему послабление. Надо иметь благорасположение к пассажиру, а кой-кого даже и провезти бесплатно. Я, к примеру, по тому, как человек лезет в вагон, уже знаю, что он хочет проехать без билета. По выражению лица. Видишь, что человеку надо ехать, а он от тебя по вагону прячется, — значит у него в кармане шиш. Так ты к такому пассажиру с билетом не приставай. Делай вид, будто ты ему билет уже выдал и даже с соответствующим надрывом. На каждом поприще надо проявлять снисхождение к людям, а в нашей кондукторской службе — особенно. Мы имеем дело со всей Москвой. А в Москве горя людского, как песка морского.

Бабаев обучил меня всем нехитрым тонкостям кондукторской службы: как надрывать билеты, какого цвета билеты соответствуют каждому дню недели (чтобы пассажиры не ездили со вчерашними билетами вместо сегодняшних), как сдавать вагон смотрителю парка, в каких местах города пассажиры чаще всего вскакивают на ходу и потому надо быть настороже, чтобы остановить вагон в случае какого-либо несчастья.

Бабаев обучал меня десять дней. После этого я держал экзамен на кондуктора. Самым трудным был экзамен на знание Москвы. Нужно было знать все площади города, улицы и переулки, все театры, вокзалы, церкви и рынки. И не только знать их по названиям, но и рассказать, как к ним проехать. В этом отношении тягаться с кондукторами могли только московские извозчики.

Трамвайной своей службе я обязан тем, что хорошо изучил тогдашнюю Москву, этот беспорядочный и многоликий город со всеми его Зацепами, Стромынками, трактирами, Ножевыми линиями, Божедомками, больницами, Ленинками, Анненгофскими рощами, Язуами, вдовьими домами, слободами и Крестовскими башнями.

Экзаменовал нас на знание Москвы едкий старичок в длинном пиджаке. Он прихлёбывал из стакана холодный чай и ласково спрашивал: — Как бы покороче, батенька мой, проехать мне из Марьиной рощи в Хамовники? А? Не знаете? Кстати, откуда это взялось название такое пренебрежительное — Хамовники?! Хамством Москва первопрестольная не славилась...

Старичок свирепо придирался к нам. Половина кондукторов на его экзамене провалилась.

Провалившиеся ходили жаловаться главному инженеру трамвая Поливанову — великолепно выбритому, подчёркнуто учтивому человеку. Поливанов, склонив голову с седым пробором, ответил, что знание Москвы — одна из основ кондукторской службы.

— Кондуктор, — сказал он, — не только одушевлённый прибор для выдачи билетов, но и проводник по Москве. Город велик. Ни один старожил не знает его во всех частях. Представьте, какая путаница произойдёт с пассажирами трамвая, особенно с провинциалами, если никто не сможет помочь им разобраться в этом хитросплетении тупиков, застав и церквей.

Вскоре я убедился, что Поливанов был прав.

Меня назначили на линию «8» — проклятую вокзальную линию, считавшуюся ещё худшей, чем «Б». Линия эта соединяла Брестский вокзал с Каланчёвской площадью и её тремя вокзалами — Николаевским, Ярославским, Казанским. Проходила восьмая линия через Сухаревскую площадь и по обеим Божедомкам.

Часто случалось, что у Ярославского вокзала вагон, как говорили кондукторы, «попадал под поезд» из Троице-Сергиевской лавры. В трамвай набивались богомолки-салопницы. Пробирались они в разные московские церкви, города не знали, были бестолковы, как куры, и всего боялись.

И вот изо дня в день происходила одна и та же канитель — одной салопнице надо было к «Николе на курьих ножках», другой — к Троице-Капелькам, третьей — к Георгию на Всполье. Нужно было терпеливо объяснять им, как проехать к этим церквям, после чего старухи вытаскивали из карманов в нижних юбках платки с завязанными по уголкам деньгами. В одном уголке были копейки, в другом — семишники, в третьем — пятикопеечные монеты.

Салопницы долго развязывали зубами тугие узелки и скупое отсчитывали деньги. Впопыхах салопницы часто ошибались и развязывали не тот узелок. Тогда они снова затягивали его зубами и начинали развязывать другой.

Для нас, кондукторов, это было несчастьем. До Красных ворот мы должны были раздать все билеты. Старухи нас задерживали, билеты выдавать мы не успевали, а у Красных ворот нас подкарауливал сутяга-контролёр и штрафовал за медленную работу.

Однажды Бабаев затащил меня к себе. Жил он с дочерью в покосившемся домишке у Павелецкого вокзала. Дочь его работала белошвейкой.

— Вот, Саня, — бодро крикнул с порога Бабаев, — привёл тебе жениха!

Саня зашумела за перегородкой коленкором, но не вышла.

В низкой комнате висело несколько клеток, закрытых газетами. Бабаев снял газеты. В клетках тотчас запрыгали и запели канарейки.

— Я с канарейками отдыхаю от людского племени, — объяснил Бабаев. — Нас, кондукторов, пассажир не стесняется. Выказывает себя перед нами в наилучшем виде. Отсюда и точка зрения у нас на человека подсырительная.

Бабаев был прав. Непонятно почему, но нигде человек не вёл себя так грубо, как в трамвае. Даже учтивые люди, попав в трамвай, заражались сварливостью.

Сначала это удивляло, потом начало раздражать, но в конце концов стало так угнетающе действовать, что я ждал только случая, чтобы бросить трамвайную работу и вернуть себе прежнее расположение к людям.

Вошла Саня, костлявая девица, молча поздоровалась, поставила на стол граммофон с лиловой трубой, завела его, ушла и больше не появилась. Граммофон запел арию из «Риголетто»: «Если красавица в любви клянётся, кто ей поверит, тот ошибётся». Канарейки тотчас замолкли и начали прислушиваться.

— Граммофон я держу для канареек, — объяснил Бабаев. — Обучаю их пению. Очень переимчивая птица.

Бабаев рассказал, что у канареечников есть в Москве свой трактир, куда они приносят по воскресеньям канареек и устраивают соревнования. Собираются послушать эти канареечные концерты большие любители. Был однажды даже Шаляпин и миллионер Мамонтов. Люди, конечно, видные, знаменитые, но в канареечном пении они не разбирались, можно сказать, ни черта не понимали и цены канарейкам не знали. Хотели купить двух канареек за большие деньги. Но канареечники хоть и с извинениями, но продать отказались — нет смысла отдавать птицу в неопытные руки. Испортить её ничего не стоит, а труд на неё положен большой. И канарейка, к тому же, не игрушка — она требует правильного обращения. Так Шаляпин с Мамонтовым и ушли ни с чем. Шаляпин напоследок как грянул басом, со зла, должно быть, «Как король шёл на войну», так все канареечники кинулись птичек своих уносить из трактира: канарейка — существо нервное, её напугаешь — она петь совершенно бросит, и тогда грош ей цена.

Сухая осень сменилась обложными дождями. Это было, пожалуй, самое трудное время для кондукторов. Сквозняки в вагонах, липкая грязь на полах, засыпанных обрывками билетов, прелый запах мокрой одежды и слезящиеся окна, — за ними ползли вереницы тёмных деревянных домишек и исхлестанные дождём вывески оптовых складов.

В такие дни кондукторов раздражало всё, в особенности дурацкая привычка пассажиров налеплять на окна старые раскисшие билеты и рисовать пальцем на потном стекле носастые рожи.

Вагон трамвая становился похожим на измызанное подворье, где переругиваются случайные жильцы-пассажиры.

Москва как бы съёживалась, пряталась под чёрные зонты и поднятые воротники пальто. Улицы пустели. Одна только Сухаревка шумела и ходила, как море, тусклыми человеческими волнами.

Трамвай с трудом продирался сквозь крикливые толпы покупателей, перекупщиков и продавцов. У самых колёс трамвая зловеще шипели граммофоны, и Вяльцева зазывно пела: «Гайда, тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом!» Голос её заглушали примусы. Они нетерпеливо рвались в небо синим свистящим пламенем. Победный их рёв перекрывал все звуки.

Звенели отсыревшие мандолины. Резиновые чертенята с пунцовыми анилиновыми щеками умирали с пронзительным воплем «уйди-уйди!» Ворчали на огромных сковородах олады. Пахло навозом, бараниной, сеном, щепным товаром. Охрипшие люди с наигранной яростью били друг друга по рукам.

Гремели дроги. Лошадиные потные морды лезли на площадку вагона, дышали густым паром.

Фокусники-китайцы, сидя на корточках на мостовой, покрикивали фальцетом: «Фу-фу, чуди-чудеса!» Надтреснуто звонили в церквях, а

из-под чёрных ворот Сухаревой башни рыдающий женский голос кричал: «Положи свою бледную руку на мою исхудалую грудь».

Карманные воры с перекинутыми через руку брюками, вынесенными якобы для продажи, шныряли повсюду. Глаз у них был быстрый, уклончивый. Соловьями заливались полицейские свистки. Тяжело хлопая крыльями, взлетали в мутное небо облезлые голуби, выпущенные из-за пазухи мальчишками.

Невозможно рассказать об этом исполинском московском торжище, раскинувшемся от Самотёки до Красных ворот. Там можно было купить всё — от трёхколёсного велосипеда и иконы до сямского петуха и от тамбовской ветчины до мочёной морошки. Но всё это было с червоточинной, с изъяном, со ржавчиной или с душком.

Это было всероссийское скопище нищих, бродяг, жуликов, воров, маклаков — людей скудной и увёртливой жизни. Воздух Сухаревки, казалось, был полон только одним — мечтой о лёгкой наживе и куске студня из телячьих ножек.

То было немислимое смешение людей всех времён и состояний — от юродивого с запавшими глазами, гремящего ржавыми веригами, который ловчится проехать на трамвае без билета, до поэта с козылиной бородкой в зелёной велюровой шляпе; от толстовцев, сердито месивших красными босыми ногами сухаревскую грязь, до затянутых в корсеты дам, что пробирались по этой же грязи, приподымая тяжёлые юбки.

Однажды в дождливый тёмный день в мой вагон вошёл на Екатерининской площади пассажир в чёрной шляпе, наглухо застёгнутом пальто и коричневых лайковых перчатках. Длинное, выхоленное его лицо вырожало каменное равнодушие к московской слякоти, трамвайным перебранкам, ко мне и ко всему на свете. Но он был очень учтив, этот человек, — получив билет, он даже приподнял шляпу и поблагодарил меня. Пассажиры тотчас онемели и с враждебным любопытством начали рассматривать этого странного человека. Когда он сошёл у Красных ворот, весь вагон начал изощряться в насмешках над ним. Его обзывали «актёром погорелого театра» и «фон-бароном». Меня тоже заинтересовал этот пассажир, его надменный и вместе с тем застенчивый взгляд, явное смешение в нём подчёркнутой изысканности с провинциальной напыщенностью.

Через несколько дней я освободился вечером от работы и пошёл в Политехнический музей на поэзоконцерт Игоря Северянина.

«Каково же было моё удивление», как писали сторонние литераторы, когда на эстраду вышел мой пассажир в чёрном сюртуке, прислонился к стене и, опустив глаза, долго ждал, пока не затихнут восторженные выкрики девиц и аплодисменты.

К его ногам бросали цветы — тёмные розы. Но он стоял всё так же неподвижно и не поднял ни одного цветка. Потом он сделал шаг вперёд, зал затих, и я услышал чуть картавое пение очень салонных и музыкальных стихов:

Шампанское в лилию, в шампанское — лилию!  
Её целомудрьем святеет оно!  
Миньон с Эскамильо, Миньон с Эскамильо!  
Шампанское в лилии — святое вино!

В этом была своя магия, в этом пении стихов, где мелодия извлекалась из слов, не имевших смысла. Язык существовал только как музыка. Больше от него ничего не требовалось. Человеческая мысль превращалась в поблёскивание стекляруса, шуршание надушённого шёлка, в страусовые перья вееров и пену шампанского.



Было дико и странно слышать эти слова в те дни, когда тысячи русских крестьян лежали в залитых дождями окопах и отбивали сосредоточенным винтовочным огнём продвижение немецкой армии. А в это время бывший реалист из Череповца Лотарёв, он же «гений» Игорь Северянин, выпевал, грассируя, стихи о будуаре тоскующей Нелли.

Позже он спохватился и начал петь жеманные стихи о войне, о том, что, если погибнет последний русский полководец, придёт очередь и для него, Северянина, и тогда, «ваш нежный, ваш единственный, я поведу вас на Берлин».

Сила жизни такова, что переламывает самых фальшивых людей, если в них живёт хотя бы капля поэзии. А в Северянине была не только одна её капля. С годами он начал сбрасывать с себя мишуру, голос его зазвучал чуть человечнее. В стихи его вошёл чистый воздух наших полей, «ветер над раздольем нив», а изысканность кое-где сменилась лирической простотой.

Мне редко удавалось освободиться по вечерам. Все дни и часть ночи проходили в изнурительной работе, всегда на ногах, в скрежете, спешке, и я, так же как и все кондукторы, очень уставал от этого. Когда мы слишком уж изматывались, то просили у нашего трамвайного начальства перевести нас на несколько дней на «паровичок» — паровой трамвай. Он ходил от Савёловского вокзала в Петровско-Разумовскую сельскохозяйственную академию.

Это была самая лёгкая, а на кондукторском языке — самая «дачная» линия в Москве.

Маленький паровоз, похожий на самовар, был вместе с трубой запряган в коробку из железа. Он выдавал себя только детским свистом и клубами пара. Паровоз тащил четыре дачных вагона. Они освещались по вечерам свечами — электричества на «паровичке» не было.

Я работал на этой линии осенью. Быстро раздав билеты, я сидел на открытой площадке и погружался без всяких мыслей в шелест осени, мчащейся по сторонам «паровичка». Берёзовые и осиновые рощи хлестали в лицо сыростью перестоявшего листа.

Потом рощи кончались, и впереди вспыхивал всеми красками увядания великолепный парк академии. Золотое молчание стояло в нём. Громады багряных клёнов, переплетаясь с лимонной бледностью осин, открывались перед глазами, как преддверие пышного и тихого края. Там осень по разнообразию и обдуманности раскраски была подчинена воле и таланту человека. Этот парк был насажен знаменитыми нашими ботаниками, мастерами садового искусства.

С детских лет одна страсть завладела мной — любовь к природе. Временами она приобретала такую остроту, что пугала моих близких. Когда я возвращался осенью в гимназию из Брянских лесов или из Крыма, у меня начиналась жестокая тоска по прожитому лету. Я худел на глазах и не спал по ночам. Я скрывал это своё состояние от окружающих. Уже давно я убедился, что, кроме недоумения, оно ничего не вызывает. Это было как раз то «несерьёзное», что, по мнению близких, коренилось во мне и мешало мне жить.

Как я мог объяснить им, что в этом моём ощущении природы было нечто большее, чем удивление перед её совершенством, что это было не бесцельное любование, а сознание среды, без которой человеку нельзя работать в полную меру сил. Люди обычно уходят в природу, как в отдых. Я же думал, что жизнь в природе должна быть постоянным состоянием человека.

Я вспомнил об этом сейчас потому, что осенью 1914 года я с особой остротой испытал чувство содружества с природой, — она тоже была

поставлена под удар войны, но не здесь, в Москве, а там, на западе, в Польше, и от этого любовь к ней становилась сильнее и всё больше шемила сердце.

Я смотрел, как дым из трубы «паровичка» обволакивал желтеющие роши. По вечерам за ними слабо горело голубоватое зарево Москвы. Видение этих подмосковных рош вызывало множество мыслей о России, Чехове, Левитане, о свойствах русского духа, о живописной силе, таившейся в народе, его прошлом и будущем, которое должно быть и, конечно, будет совершенно удивительным.

### Мимо войны

Сейчас, когда со времени первой мировой войны прошло почти полвека, я вспоминаю об этом совсем ещё близком времени, как о чём-то очень давнем, тонущем в тумане прошлого.

Как будто гремящее и бурное столетие легло между двумя полосами жизни. Всё сместилось. Всё сдвинулось, как от внезапного удара. Теперь я усмехаюсь над тем, что раньше казалось мне важным, над былым легкомыслием и неумением разбираться в хитросплетениях жизни, в общественных отношениях, в самом себе. Сейчас я отношусь ко всему, что было до семнадцатого года, как к наивному детству, хотя людям моего поколения было в то время уже больше двадцати лет.

Война 1914 года не завладела сознанием так окончательно, как всё, что случилось после неё. В России в то время существовала жизнь, которая шла мимо войны. Аудитории Политехнического музея ломались от публики, когда выступали футуристы или Игорь Северянин. Художественный театр в жестоких муках искал нового Гамлета. В Москве продолжались литературные «среды», но писатели на этих «средах» мало говорили о войне. Религиозная философия, богоискательство, символизм, призыв к возрождению эллинской философии — всё это существовало рядом с передовой революционной мыслью и пыталось завладеть умами.

Я вышел из среды средней интеллигенции. Мой отец был статистиком. Как большинство статистиков в те времена, отец был либералом.

С раннего детства я слышал от отца и его друзей-статистиков прекраснодушные слова о свободе, неизбежности революции и обездоленном народе.

Все эти речи произносились главным образом в столовой за чаем, причём каждый раз мама предостерегающе показывала глазами на нас, детей, и говорила отцу:

— Георгий, ты, как всегда, увлекаешься.

Народом — многомиллионным, страдающим, обездоленным — было в моём представлении крестьянство. О рабочих я слышал мало. Слово «пролетариат» редко произносилось в нашей среде. Иногда говорили о «мастеровых», о «фабричных», и с этими понятиями были связаны для меня киевские окраины, тесные бараки и забастовки.

Всякий раз, когда я слышал эти слова — «пролетариат» и «рабочий класс», — я почему-то думал, что весь пролетариат сосредоточен у нас в России только в дымном Петербурге, на огромных заводах, таких, как Путиловский и Обуховский.

Эти наивные детские представления привели к тому, что примерно до Февральской революции я ничего толком не знал о революционном движении среди рабочих.

В то время под словом революционеры я понимал преимущественно террористов. В их деятельности я видел нечто отчаянно смелое, непреклонное и самоотверженное.

Но нельзя сказать, что революционное движение совсем прошло мимо моей молодости. Я был свидетелем событий 1905 года, хорошо знал весь внешний ход Декабрьского восстания в Москве, события на Казанской дороге, восстание «Потёмкина» и «Очакова», преклонялся перед лейтенантом Шмидтом. Но меня прежде всего захватывала романтическая сторона революционных событий — подкопы, подпольные типографии, динамит, адские машины, бегство из ссылки, пламенные речи.

Внутренняя же сущность событий долгое время сводилась к очень расплывчатому представлению, которое можно определить как «борьбу за свободу».

С такими представлениями я дожил до войны 1914 года. Только тогда я начал — и то очень медленно и трудно — осознать те общественные события, какие шли вокруг в России.

В 1914 году Москва была глубоким тылом. Только обилие раненых, бродивших по городу в коричневых халатах, да траурные платья женщин напоминали о войне.

Однажды я пробрался на одну из литературных «сред». Писатели собиравались в старом особняке в переулке около Грузин.

Я сел в заднем ряду и просидел, не вставая, до конца вечера. Я боялся, что меня заметят и попросят уйти, и чувствовал себя, как безбилетный пассажир, хотя вокруг меня сидело несколько таких же юношей, как и я. Юноши эти держались свободно, и от этого я ещё больше смущался.

Лицо у меня горело — впервые я видел так близко писателей. Я не мог избавиться от мысли, что хотя они и одеты в обыкновенные пиджаки и произносят те же самые слова, что и мы, простые смертные, но всё же нас отделяет от них огромное расстояние. Имя этому расстоянию — талант, свободное владение мыслью, образом и словом, — всё то, что казалось мне в ту пору почти колдовством. На каждого писателя я смотрел, как на прямого наследника Тургенева, Чехова, Толстого, как на хранителя традиций русской поэзии и прозы.

Тогда я никак не мог согласиться с пушкинскими словами, что по временам и писатели и поэты бывают ничтожнее всех «меж людей ничтожных мира». Я не мог отделить писателя от всего им написанного.

Поэтому я с одинаковым волнением смотрел на подстриженного почучерски Алексея Толстого, на взъерошенного Ивана Шмелёва, похожего на землемера, на тишайшего Зайцева и на ледяного Бунина, читавшего глуховатым голосом рассказ «Псалма».

Я надеялся увидеть на «среде» Максима Горького. Но его не было. Мог ли я тогда подозревать, что примерно через 30 лет я буду говорить с ним как с мудрым товарищем и наставником.

Рядом со мной сидел пожилой, как будто весь сделанный из морщин и, должно быть, чахоточный человек. Он кашлял в тёмный платок, глаза его блестящие, — у него, очевидно, был жар. Он следил за каждым словом, долетавшим с возвышения, где сидели писатели, потом обернулся ко мне и сказал:

— Ох, и хороша Россия! Ох, и хороша!

Мы вышли вместе с этим человеком. Он жил за Пресненской заставой, и нам было по пути.

Поседевшая луна висела среди голых ветвей. Подмёрзшие листья хрустели под ногами. Свет из окон падал на каракулеву шапку-пирожок моего спутника. Он оказался наборщиком из типографии Сытина. Звали его Елисеём Сверчковым.

— Я вырос в провинции, — говорил он мне, поминутно останавливаясь, чтобы откашляться. — В граде Кашине. С юных лет пристал всей душой к письменности, но чувствую слабость свою в этом деле. Слово мне не даётся. Понимаю я слово правильно, можно сказать, на ощупь,

на вкус, все его качества знаю, а распоряжаться им не умею. В каждом слове заложены многие смыслы, и дело писателя — поместить это слово рядом с другим таким манером, чтобы оно, молодой человек, дало нужный отзыв в сердце читателя. Вот тут-то и приходит на выручку талант. Озарение! Писатель не ищет, не выбирает, — он сразу берёт нужное слово, как наборщик, не глядя, берёт из кассы нужную литеру. И раз он его поставил на место, так уж, чёрта с два, нипочём его не отдаст. Иначе рухнет его чудесное построение.

— А вы пробовали писать? — спросил я наборщика.

— Пробовать-то я пробовал. И до сей поры пробую. Да что толку! Я такое завёл обыкновение — по праздникам иду в Третьяковскую галерею. Или в Румянцевку. Выберу одну наиболее приятную мне картину и смотрю на неё, представляю себя вроде как участником того, что на этой картине написано. Возьмём, к примеру, «Грачи прилетели» Саврасова. Или «Март» Левитана. У Саврасова воплощено в картине всё моё детство. Российская слякотная весна, вся в лужах, с холодным ветерком, с низенькими небесами, с мокрыми заборами и тучами. А «Март» Левитана — это уже другая весна, но тоже очень наша, очень российская, — с капелью, с синим небом над рощицей, когда, знаете, талая вода с сосулек всё кап да кап, а в каждом таком капле солнечный свет падает с крыши. Это я хорошо вижу. Посмотрю я этак на картины, приду домой и стараюсь изобразить всё виденное в тетради с таким расчётом, чтобы одними словами живописать, как, скажем, художник живописует умброй, сиенной или кобальтом. Чтобы человек, сроду этой картины не видевший, мог представить себе всё на ней изображённое с полной ясностью. Чтобы он, извините, услышал запах весеннего навоза и грачиный грай. Я таких описаний составил больше сотни. Показал их недавно одному писателю — не буду его вам называть. Трясусь, даже самого себя жалко. Он прочёл, говорит: «Всё это, конечно, литературно сделано и вполне грамотно, только совершенно ни к чему. Я, говорит, лучше картины в натуре посмотрю, чем через ваши писания их буду воспринимать. Что это вы, говорит, батенька, вздумали тягаться с Саврасовым, Левитаном или Коровиным? Они-то, небось, были не лыком шиты». Я ему возражаю. «У меня есть, говорю, идея довести слово до того, чтобы оно действовало на человека зрительным образом, подобно краске на полотне художника». «А это, — говорит он, — уже полное чёрт знает что!» Так я от него и ушёл с этим «чёрт знает что». Одно я сообразил: слово мне не даётся! А жаль! Я бы мог большие дела сотворить, — это я за собой чувствую.

Я проводил наборщика до дому. Жил он в глубине узкого двора, заставленного поломанными и заржавленными железными кроватями, — в этом же дворе помещалась кроватная фабрика.

Сверчков пригласил меня приходить к нему и напоследок сказал:

— Живу среди кроватей, а у самого — дощатый топчан. Кровати эти все старые, пожертвованные. Их чинят для солдатских госпиталей. По случаю войны. Войны этой я не понимаю. Существует она от отсутствия дружности. Была бы у нас, людей обыкновенной жизни, согласованность желаний, мы бы сказали одно слово «нет!» — и всей этой кровавой петрушке пришёл бы конец. Вот я и мечтаю — кто бы научил нас дружности. Неужто не найдётся такой личности на свете?

Сверчков постучал в низенькое оконце. Из-за оконца его никто не окликнул, но тотчас раздался злой женский плач.

— Не понимает! — вздохнул Сверчков. — Слабый пол. Мне, может, жить остался год. Так нет, не понимает. Вы уж извините, молодой человек.

Я попрощался и ушёл. На Большой Пресне стояла такая тишина, что было слышно, как зевают ночные сторожа. Белым и синим кафелем мертво поблёскивали под фонарями молочные магазины Чичкина и Бландова. Если на одном углу был облицованный белым кафелем магазин Чичкина, то на другом углу обязательно поселялся синий Бландов, чтобы перебить торговлю своему соседу.

Дома уже все спали. Даже в комнате Захарова было темно. Я лёг у себя на полу. Слабый фонарный свет падал в комнату.

Я лежал и думал о больном наборщике из Кашина. Мысли эти не вызывали у меня горечи, а, наоборот, — спокойствие. По стране и таланты! Сколько их, этих талантливых людей по городам и сёлам России — кто знает! Десятки или сотни тысяч? Сколько ума, выдумки, «золотых рук» они приложили к тому, чтобы обрядить, обогатить, воспеть и прославить свою страну.

Наборщик, конечно, прав. С языком русским можно творить чудеса. Нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, что нельзя было бы передать русским словом. Звучание музыки, спектральный блеск красок, игру света, шум и тень садов, неясность сна, тяжкое гроыханье грозы, детский шёпот и шорох морского гравия. Нет таких звуков, красок, образов и мыслей — и сложных и простых, — для которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения.

Легко думать по городским ночам, когда с товарных станций, с запасных путей и вокзалов доносятся гудки паровозов да изредка прогремит по булыжной мостовой извозчицья пролётка.

Я встал, подошёл к окну и долго смотрел на Зоологический сад. Глухой и тихий, он чернел огромным островом среди слабо освещённых кварталов Москвы.

Я обернулся и заметил, что на столе что-то белеет. Должно быть, записка от мамы. Я взял её, зажёл спичку и прочёл косые строчки телеграммы из Киева:

«Назначен сапёрную часть выезжаю запад фронтовой адрес сообщу дополнительно буду возможности писать не волнуйся целую тебя Галю Костика Боря».

Так! Значит, и Боря! И мне вдруг стало невыносимо стыдно. Чем я перед ним кичился? Своим туманным тяготением к искусству? Не написав ещё ни одной путной строчки, я уже причислил себя к избранным. Я насмеялся над его комнатой, его бетонными мостами, его житейской философией. А что в ней было смешного? Во всяком случае, он был честен. Он работал как вол, никогда не лгал и не увиливал от своих обязательств. И если он предпочитал Генриха Сенкевича Чехову, то какой в этом смертный грех? Я, жестоко враждовавший с предрассудками, попал под власть самого мелочного предрассудка.

Я зажёл вторую спичку, снова прочёл телеграмму и подумал — почему мама не дождалась меня, а положила эту телеграмму на мой стол? Зачем? Может быть, потому, что она знала, как я отношусь к Боре, и ей было бы тяжело увидеть подтверждение этого на моём лице сейчас, в такую трудную минуту.

Я оделся и пошёл к маме. Она не спала. Мы сидели рядом, я гладил её седые сухие волосы и не знал, как утешить её. Она плакала тихо, чтобы не разбудить Галю.

Тогда я понял, как жестока и несправедлива подчас бывает молодость, хотя бы и наполненная высокими мыслями.

Мама уснула только перед рассветом. Я прошёл к себе, надел кондукторскую форму, взял пустую сумку и осторожно вышел из дому.

Серый свет сочился на лестницу из немытых окон. Старые коты, раздувшись, всхрапывали на ступеньках.

По Грузинам к товарной станции Брестской дороги катились, погромыхивая, санитарные двуколки с красным крестом на зелёных брезентовых полотнищах. Из Зоологического сада летели на мостовую сухие, покоробленные листья сирени. По этим пыльным лиловым листьям и по брезентовым верхам двуколок громко били капли крупного утреннего дождя.

### Старик со сторублёвым билетом

Давно замечено, что люди, чья жизнь проходит в постоянном движении, — машинисты, моряки, лётчики, шофёры — бывают несколько суеверны. Суеверны были и мы, кондукторы Московского трамвая.

Больше всего мы боялись старика со сторублёвым кредитным билетом, так называемой «катеринкой». На билете этом был отпечатан пышный портрет Екатерины Второй с тугим атласным бюстом.

Если говорить без предвзятостей, то старик был даже довольно приятный — умытый, ласковый и культурный. Из кармана его пальто всегда торчала аккуратно сложенная профессорская либеральная газета «Русские Ведомости».

Старик всегда садился в трамвай ранним утром, как только мы выходили из парка и в сумке у нас позванивало 60 копеек мелочи, выданной нам на сдачу. Больше мелочи нам не давали.

Старик влезал в трамвай и с предупредительной улыбкой протягивал кондуктору сторублёвую бумажку. Сдачи, конечно, не было. Но старик её и не требовал. Он покорно сходил на первой же остановке и дожидался следующего трамвая.

Там повторялась та же история.

Так, пересаживаясь из вагона в вагон, старик бесплатно ездил на службу изо дня в день и из месяца в месяц. Придаться к нему было нельзя.

Сторублёвая бумажка была всегда одна и та же. Мы, кондукторы линии «8», давно знали на память её номер — 123715. Мы мстили старику только тем, что иногда язвительно говорили:

— Предъявите вашу «катеринку» номер 123715 и выметайтесь из вагона.

Старик никогда не обижался. Он охотно протягивал нам пресловутую ассигнацию и так же охотно и даже торопливо, стараясь никого не затруднить, выходил из вагона.

Это был неслыханно упорный безбилетный пассажир. Против него были бессильны самые свирепые контролёры.

Но мы не любили старика не за эту ассигнацию 123715, а за то, что он, как утверждали старые кондукторы, знавшие его несколько лет, всегда приносил неприятности.

У меня за трамвайную службу было несколько неприятностей.

Вначале я работал вожатым. Я водил вагоны по внутреннему кольцу «Б». Это была дьявольская работа. Вагоны ходили с прицепами. Сцепления были разболтаны, и потому было почти невозможно стронуть вагон с места без того, чтобы не дёрнуть прицеп и не услышать в ответ кликлявые проклятия пассажиров.

Однажды у Смоленского бульвара на рельсы въехал белый автомобиль с молоком фирмы Чичкина. Шофёр едва плёлся. Он боялся, очевидно, расплескать своё молоко. Я поневоле плёлся за ним и опаздывал. На остановках мой вагон встречали густые и раздражённые толпы пассажиров.

Вскоре меня нагнал один вагон линии «Б», потом — второй, потом — третий, наконец — четвёртый. Все вагоны оглушительно и нетерпеливо

трещали. В то время у моторных вагонов были не звонки, а электрические трещотки.

На линии создавался тяжёлый затор. А шофёр всё так же трусил по рельсам впереди меня и никуда не сворачивал.

Так мы проехали с ним всю Садовую-Кудринскую, миновали Тверскую, Малую Дмитровку, Каретный ряд. Я неистово трещал, высовывался, ругался, но шофёр только попыхивал в ответ табачным дымом из кабины.

Сзади уже, сколько хватал глаз, ползли, оглушая Садовые улицы трещотками, переполненные пассажирами «букашки». Ругань вожатых сотрясала воздух. Она докатывалась от самого заднего вагона ко мне и снова мощной волной катилась назад.

Я пришёл в отчаяние и решил действовать. На спуске к Самотёке я выключил мотор и с оглушительным треском, делая вид, что у меня отказали тормоза, ударил сзади чичкинский автомобиль с его нахалом-шофёром.

Что-то выстрелило. Автомобиль осел на один бок. Из него повалил белый дым. Усатый шофёр выскочил на мостовую, вытащил из кармана полицейский свисток и залиристо засвистел. Это было для меня полной неожиданностью. Я увидел, как с Самотёчной площади бегут к вагону, придерживая шашки, околоточный надзиратель и городской.

В общем, на следующий день меня разжаловали из вожатых в кондукторы.

Но на этом мои злоключения не кончились. Вскоре меня оштрафовали за то, что я сидел на задней площадке, когда мой вагон проходил по Театральной площади. На Театральной площади кондукторам полагалось стоять, так как это было самое оживлённое место в Москве, где пассажиры непрерывно вскакивали и выскакивали на ходу.

Потом мы, молодые кондукторы, придумали очень удачный, как нам сгоряча показалось, способ, чтобы немного передохнуть среди суматошного дня. Мы сговаривались с вожатым и уходили с конечной станции минуты на две, на три раньше, чем полагалось по расписанию, или, как говорили трамвайщики, «не выдерживали интервала».

Вожатый давал полный ход, мы быстро догоняли передний вагон той же линии и веселились. Передний вагон подбирал всех пассажиров, а мы шли порожняком. В вагоне было пусто и тихо — можно было даже почитать газету.

Способ этот казался нам безукоризненным. Но мы, конечно, как это часто бывает, «поскользнулись на апельсиновой корке» — начали пересаливать и носиться порожняком по Москве по три-четыре рейса подряд. Выручка у нас стала меньше, чем у остальных кондукторов. Начальство заподозрило неладное. В конце концов нас накрыли на этой хитрости и жестоко оштрафовали.

Эти неприятности обошлись без вмешательства старика со сторублёвым билетом. Но однажды старик сел в мой вагон, и самый вид его показался мне более подозрительным и зловещим, чем всегда, — старик весь сиял от расположения ко мне, кондуктору. Может быть, потому, что я проглядел, и старику удалось проехать бесплатно не одну, а две остановки. Когда старик сошёл, вожатый — человек молчаливый и мрачный — с треском отодвинул переднюю дверь и крикнул мне через весь вагон:

— Теперь гляди, кондуктор! Как бы не случилось беды!

И он с таким же треском захлопнул дверь.

Я ждал неприятностей весь день, но их не было. Я успокоился. В полночь мы отошли от Ярославского вокзала последним рейсом.

В вагоне было несколько пассажиров, и ничто не предвещало беды. Я даже беспечно напевал про себя очень распространённую в то время песенку:

Ах вы, пташки-канашки мои!  
Разменяйте бумажки мои...

У Орликова переулка в вагон вошёл плотный господин в пальто с воротником «шалью» и элегантно котелке. Всё в нём изобличало барство: слегка припухшие веки, запах сигары, белое заграничное кашне и трость с серебряным набалдашником.

Он прошёл через весь вагон походкой подагрика, опираясь на трость, и тяжело сел у выхода. Я подошёл к нему.

— Бесплатный! — отрывисто сказал господин, глядя не на меня, а за окно, где бежали, отражаясь в стёклах вагона, ночные огни.

— Предъявите! — так же отрывисто сказал я.

Господин поднял набрякшие веки и с тяжёлым пренебрежением посмотрел на меня.

— Надо бы знать меня, милейший, — сказал он раздражённо. — Я городской голова, Брянский.

— У вас, к сожалению, на лбу не написано, — ответил я резко, — что вы городской голова. Предъявите билет!

Городской голова вскипел. Он наотрез отказался показать свой бесплатный билет. Я остановил вагон и попросил его выйти. Городской голова упирался. Тогда, как водится, дружно вмешались пассажиры.

— Какой он городской голова! — сказал из глубины вагона насмешливый голос. — Городскому голове полагается на своих рысках ездить. Уж что-то, а это мы хорошо знаем. Видали мы таких голов!

— Не ваше дело! — крикнул господин в котелке.

— Батюшки! — испугалась старуха с кошёлкой яблок. — Зычный какой! Богатые, они всегда скупаются. Пять копеек на билет им жалко. Так вот и капиталы себе набивают — по полушке да по копейке.

— А может, у него в кармане шиш с маслом, — засмеялся парень в каргуде. — Тогда я за него заплачу. Бери, кондуктор! Сдачу отдай ему на пропитание.

Кончилось всё это тем, что взбешённый городской голова вышел из вагона и так хлопнул дверью, что зазвенели все стёкла. За это он получил от вожатого несколько замечаний в спину по поводу его нахальства, котелка и сытой рожи.

Через два дня меня вызвал начальник Миусского парка — очень бородатый, очень рыжий и очень насмешливый человек — и сказал громовым глосом:

— Кондуктор номер 217! Получай вторичный выговор с предупреждением. Распишись вот здесь. Так! И поставь свечку Иверской божьей матери, что всё так обошлось. Виданное ли дело — выкинуть из вагона городского голову, да ещё ночью, да ещё на Третьей Мещанской, где и днём-то тебя каждый облает да толкнёт.

Начальник парка потребовал, чтобы я рассказал ему историю с городским головой во всех подробностях. Я рассказал и упомянул между прочим о старике со сторулёвым билетом и о том, что, по мнению кондукторов, это старик приносит несчастье.

— Слышал я об этом старикашке проклятом, — сказал начальник парка. — Как бы его подкузьмить, такого артиста?

Кондукторы линии «8» давно мечтали подкузьмить этого старика. У каждого был свой план. Был свой план и у меня. Я рассказал его начальнику парка. Он только усмехнулся.

Наутро мне были выданы под расписку сто рублей бумажной мелочью.



Я ждал старика три дня. На четвёртый день старик наконец попался.

Ничего не подозревая, радушно и спокойно, он влез в вагон и протянул мне свою «катеринку». Я взял её, повертел, посмотрел на свет и засунул в сумку. У старика от изумления отвалилась челюсть.

Я неторопливо отсчитал 99 рублей 95 копеек, два раза пересчитал сдачу и протянул старику. На него было страшно смотреть. Лицо его почернело. В глазах было столько жёлтой злости, что я бы не хотел встретиться с этим стариком в пустом переулке.

Старик молча взял сдачу, молча сунул её, не считая, в карман пальто и пошёл к выходу.

— Куда вы? — сказал я ему вежливо. — У вас же есть наконец билет. Можете кататься сколько угодно.

— Зараза! — хриплым голосом произнёс старик, открыл дверь на переднюю площадку и сошёл на первой же остановке. Сделал он это, должно быть, по застарелой привычке.

Когда вагон тронулся, старик изо всей силы ударил толстой тростью по стенке вагона и ещё раз крикнул:

— Зараза! Жулик! Я тебе покажу!

С тех пор я его больше не встречал. Передавали, что кое-кто из кондукторов видел его после этого случая. Старик бодро шагал пешком из дома на службу. В кармане его пальто всё так же торчала аккуратно сложенная газета «Русские Ведомости».

Сторублёвая бумажка 123715 была выставлена, как трофей, в Миусском парке на доске за проволочной сеткой, где вывешивались приказы. Она провисела там несколько дней. Перед ней толпились кондукторы, узнавали её «в лицо» и смеялись. А я заслужил сомнительную славу находчивого человека. Только это обстоятельство и спасло меня от увольнения, когда я сознательно провёз без билетов двадцать вооружённых человек и нарвался на контролёра.

Это было ночью. У Ярославского вокзала в вагон сели солдаты, одетые по-походному, — с патронными сумками, винтовками, туго затянутые по новеньким шинелям кожаными поясами. Это были запасные — бородатые, обветренные люди, оробевшие в незнакомой и непонятной Москве. Ехали они с Ярославского вокзала на Брестский, а оттуда — в Действующую армию. Трёх солдат провожали жёны, закутанные по самые глаза тёплыми платками. Они крепко держали мужей за рукава шинелей и молчали. Молчали и солдаты.

Я совершил два служебных преступления: провёз солдат с жёнами бесплатно и, кроме того, пустил в вагон трамвая вооружённых людей, что строжайше воспрещалось.

На Екатерининской площади в вагон вошёл контролёр.

— Не трудитесь, — сказал я ему. — Билетов у солдат всё равно нету.

— За счёт датского короля везёте? — спокойно спросил контролёр.

— Да. За счёт датского короля.

— Весёлое дело! — промолвил контролёр, записал мой номер и соскочил на ходу из вагона.

Вскоре после этого меня снова вызвал рыжебородый начальник парка. Он долго смотрел на меня, поводил бровями, что-то соображал, потом сказал, обращаясь на вы:

— С пассажирами вы работать не можете. Это ясно! У вас уже, слава те господи, третий выговор.

— Ну что ж! Увольте меня.

— Уволить недолго. Только зачем? Я переведу вас на ночную работу в санитарных вагонах. Будете развозить раненых с вокзалов по госпиталям. Вы ведь студент.

Я согласился. Эта работа казалась мне гораздо благороднее, чем утомительная возня с пассажирами, билетами, со сдачей.

С облегчением я сдал свою сумку артельщику и пошёл домой.

Я шёл по Грузинам. Ветер трепал язычки газовых фонарей. Ночной воздух с лёгким привкусом газа, казалось, сулил мне перемены в жизни, путешествия, новизну.

### Лефортовские ночи

Сверкающий дуговыми фонарями, как бы расплавленный от их мелового шипящего света, Брестский вокзал был в то время главным военным вокзалом Москвы. С него отправлялись эшелоны на фронт. По ночам к полутёмным перронам, крадучись, подходили длинные, пахнущие йодоформом санитарные поезда, и начиналась выгрузка раненых.

Каждую ночь, часам к двум, когда жизнь в городе замирала, мы, трамвайщики, подавали к Брестскому вокзалу белые санитарные вагоны. Внутри вагонов были устроены подвесные пружинные койки.

Ждать приходилось долго. Мы курили около вагонов. Каждый раз к нам подходили женщины в тёплых платках и робко спрашивали, скоро ли будут грузить раненых. Самые эти слова: «грузить раненых», то есть втаскивать в вагоны, как мёртвый груз, живых, изодранных осколками людей, были одной из нелепостей, порождённых войной.

— Ждите! — отвечали мы.

Женщины, вздохнув, отходили на тротуар, останавливались в тени и молча следили за тяжёлой вокзальной дверью.

Женщины эти приходили к вокзалу на всякий случай — может быть, среди раненых найдётся муж, брат, сын или однополчанин родного человека и расскажет о его судьбе.

Все мы, кондукторы, люди разных возрастов, характеров и взглядов, больше всего боялись, чтобы какая-нибудь из этих женщин не нашла при нас родного искалеченного человека.

Когда в вокзальных дверях появлялись санитары с носилками, женщины бросались к ним, испуганно всматривались в почерневшие лица раненых и совали им в руки связки баранок, яблоки, пачки дешёвых папирос. Иные из женщин плакали от жалости. Раненые, сдерживая стоны, успокаивали женщин доходчивыми словами. Эти слова простой русский человек носит в себе про чёрный день и поверяет только такому же простому, своему человеку.

Раненых вносили в вагоны, и начинался томительный рейс через ночную Москву. Вожатые вели вагоны медленно и осторожно.

Чаще всего мы возили раненых в главный военный госпиталь в Лефортове. С тех пор воспоминание о Лефортове связано у меня с осенними холодными ночами. Прошло уже много лет, а мне всё чудится, что в Лефортове всегда стоит такая ночь и в ней светятся скучными рядами окна военного госпиталя. Я не могу отделаться от этого впечатления потому, что с той поры я ни разу не был в Лефортове и не видел военный госпиталь и обширный плац перед ним при дневном свете.

В Лефортове мы помогали санитарам переносить тяжёлых раненых в палаты и бараки, разбросанные в саду вдалеке от главного корпуса. Там по дну оврага шумел пахнувший хлором ручей. Переносили раненых мы медленно и потому зачастую простаивали в Лефортове до рассвета.

Иногда мы возили раненых австрийцев. В то время Австрию насмешливо называли «лоскутной империей», а австрийскую армию «цыганским базаром». Разноплеменная эта армия производила на первый взгляд впечатление скопища чернявых и невероятно худых людей в синих шинелях и выгоревших кепи с оловянной кокардой и насквозь пробитыми

на ней буквами «Ф» и «И». Это были инициалы впавшего в детство австрийского императора Франца-Иосифа.

Мы расспрашивали пленных и удивлялись — кого только не было в этой армии! Там были чехи, немцы, итальянцы, тирольцы, поляки, босняки, сербы, хорваты, черногорцы, венгры, цыгане, герцеговинцы, гуцулы и словаки... О существовании некоторых из этих народов я и не подозревал, хотя окончил гимназию с пятёркой по географии.

Однажды вместе с нашими ранеными ко мне в вагон внесли длинного, как жердь, австрийца в серых обмотках. Он был ранен в горло и лежал, хрипя и поводя жёлтыми глазами. Когда я проходил мимо, он пошевелил смуглой рукой. Я думал, что он просит пить, нагнулся к его небритому, обтянутому пересохшей кожей лицу и услышал клекочущий шёпот. Мне показалось, что австриец говорит по-русски, и я даже отшатнулся. Тогда он с трудом повторил:

— Есмь славянин! Полонёный у велика-велика битва... брат мой.

Он закрыл глаза. Очевидно, он вкладывал в эти слова очень важный для него и непонятный мне смысл. Очевидно, он долго ждал случая, чтобы сказать эти слова. Потом я долго раздумывал над тем, что хотел сказать этот умирающий человек с запёкшимся от крови бинтом на горле. Почему он не пожаловался, не попросил пить, не вытащил из-за пазухи за стальную цепочку полковой значок с адресом родных, как это делали все раненые австрийцы? Очевидно, он хотел сказать, что сила ломит и слому и не его вина, что он поднял оружие против братьев. Эта мысль соединилась в горячем его сознании с памятью о кровавом сражении, куда он попал по воле «швабов» прямо из своей деревни. Из той деревни, где растут вековые ореховые деревья, бросая широкую тень, и по праздникам пляшет на базаре под шарманку ручной динарский медведь.

Когда в Лефортове мы начали выносить раненых и подошли к рыжему вологодскому ополченцу, он сказал:

— Берите австрияка. Видите — мается. А мы обождём.

Мы подняли австрийца. Он был тяжёлый и по дороге начал тихо стонать. «Ой-ой-ой,— протяжно говорил он,— matka моя Мария! Ой-ой-ой, matka моя Мария!»

В барак в глубине затоптанного сада мы принесли его уже мёртвым. Военный фельдшер приказал нам нести австрийца в покойницкую. Это был сарай с широкими, как ворота, открытыми настежь дверями. Мы внесли туда австрийца, сняли с носилок и положили на примятую многими телами соломенную труху. Никого вокруг не было. Под потолком горела пожелтевшая электрическая лампочка.

Стараясь не глядеть по сторонам, я вытащил у австрийца из-под растёгнутого ворота куртки полковой значок — маленькую книжку из двух листков белого оксидированного металла. На ней было выгравировано имя солдата, его номер и адрес родных. Я прочёл его и списал: «Иованн Петрич, 38719, Весёлый Дубняк (Босния)».

Дома я написал (почему-то печатными буквами) открытку, известившую о смерти Иованна Петрича, и послал в Боснию, в селение Весёлый Дубняк, на имя семьи Петричей.

Когда я писал эту открытку, я видел в своём воображении белый низкий дом — такой низкий, что окна его были на локоть от земли. Я видел заросли пожухлых лопухов под окнами и ястреба, висевшего над домом в жарком небе. И видел женщину, отнявшую от смуглой груди ребёнка и глядевшую сумрачными глазами за околицу, где ветер завивает пыль. Может быть, этот ветер прилетел с поля, где лежит её Иованн, но ветер не умеет говорить и никогда ничего не расскажет. А писем нет.

«Полонённый у велика-велика битва, брат мой», — вспоминал я тяжёлый шёпот. Кто виноват, что швабы в зелёных тесных мундирах оторвали его, Иованна, от родных садов? Он был покорный и добрый, Иованн, — это было видно по его серым круглым глазам, глазам мальчика на лице пожилого мужчины.

Лефортовские ночи! Ночи войны, страданий и размышлений о путях человека по извилистой и трудной жизни. Это были ночи моей возмужалости. С каждым днём ссыхалась и отлетала некогда блестящая мишура моих представлений о действительности. Жизнь входила в сознание, как нечто суровое и требующее постоянной работы для того, чтобы очистить её от грязи, сукровицы и обмана и увидеть во всём её великолепии и простоте.

### Санитар

В октябре 1914 года я уволился с Московского трамвая и поступил санитаром на тыловой военно-санитарный поезд Союза Городов.

В армию меня, как я уже сказал, не призвали. Но и сидеть в Москве было не вмоготу. Всеми мыслями я был на западе, в сырых полях Польши, где решалась судьба России. Я искал возможности быть ближе к войне и вырваться наконец из уныния давно уже развалившейся по существу семьи.

Почти все санитары тылового поезда были добровольцы-студенты. Мы носили солдатскую форму. Нам только разрешили оставить студенческие фуражки. Это обстоятельство много раз спасало нас от грубости и «цуканья» военных комендантов.

У каждого из нас, санитаров, был свой пассажирский вагон на сорок раненых. Делом чести считалось «надраить» свой вагон до корабельного блеска, до такой чистоты, чтобы старший врач, член Государственной Думы Покровский, осматривая поезд перед очередным рейсом, только ухмыльнулся бы в свою русую эспаньолку и ничего не сказал. А Покровский был строг и насмешлив.

Я боялся первого рейса. Я не знал, справлюсь ли с тем, чтобы обслужить сорок человек лежащих раненых. Сестёр на поезде было мало. Поэтому мы, простые санитары, должны были не только обмыть, напоить и накормить всех раненых, но и проследить за их температурой, за состоянием перевязок и во-время дать всем лекарства.

Первый же рейс показал, что самое трудное дело — это кормление раненых. Вагон-кухня был от меня далеко. Приходилось тащить два полных ведра с горячимищами или с кипятком через сорок восемь дверей. Тем санитарам, вагоны которых были около кухни, приходилось отворять и захлопывать за собой всего каких-нибудь десять — пятнадцать дверей. Мы их считали счастливыми, завидовали им и испытывали некоторое злорадное удовлетворение лишь от того, что множество раз в день протаскивали через их вагон свои ведра с едой и при этом, конечно, кое-что поневоле расплескивали. А «счастливчик» елозил по полу с тряпкой и, чертыхаясь, непрерывно за нами подтирал.

Первое время эти сорок восемь дверей приводили меня в отчаяние. Были двери обыкновенные, открывавшиеся внутрь, и были двери выдвижные — в вагонных тамбурах. Каждую дверь нужно было открыть и закрыть, а для этого поставить на пол полные ведра и стараться ничего не разлить. Поезд шёл быстро. Его качало и заносило на стрелках, и, может быть, поэтому переходы по стрелкам, когда вагоны вдруг шарахаются в сторону, я не люблю до сих пор.

Кроме того, надо было торопиться, чтобы не остыли щи или чай, особенно зимой, когда на обледенелых открытых переходах из вагона в

вагон выл, издеваясь над нами, режущий ветер и ничего не стоило поскользнуться и полететь под колёса.

Если к этому прибавить, что ходить в кухню нужно было не меньше двенадцати раз в день (за хлебом и посудой, за чаем, за щами, за кашей, потом с грязной посудой и вёдрами и так далее), то станет ясно, как мы проклинали того, давно уже мирно почившего изобретателя, который придумал в каждом вагоне не меньше шести, а то и все восемь дверей.

Мы благодарили небо, когда время кормления раненых совпадало со стоянкой. Тогда мы выскакивали со своими вёдрами из вагонов и мчались вдоль поезда по твёрдой земле, а не по виляющим вагонным полам.

Многие раненые не могли есть сами. Их приходилось кормить и поить. Утром мы обмывали раненых, а после этого мыли в вагоне полы раствором карболки. Только вечером, после ужина, можно было немного передохнуть, да и то начиналась вечная возня со свечами в жестяных вагонных фонарях. Свечи или гасли, или кривились, или вдруг начинали пылать пышными факелами. А на площадках свечи у нас постоянно воровал сцепщик из поездной бригады — носастый и коротконогий «дядя Вася», получивший за эту свою особенность прозвище «Свечное рыло».

Пожалуй, никому из нас не удавалось бы справиться целиком со своим делом, если бы в каждом вагоне тотчас не отыскивался добровольный помощник из легко раненных.

Но в конце концов всё это были пустяки. Я боялся первого рейса не из-за этих обычных трудностей. Была одна трудность более сложная, — о ней втайне думали все санитары. Тяжело было остаться с глазу на глаз с сорока искалеченными людьми, особенно нам, студентам, освобождённым от солдатской службы. Мы боялись насмешек, справедливого возмущения людей, принявших на свои плечи всю тягость и опасность войны, тогда как мы, молодые и в большинстве здоровые люди, жили в безопасности, не терпя никаких лишений.

Во время первого рейса мне было сначала просто некогда разговаривать с ранеными и прислушиваться к их словам. К ночи наконец всё затихло. Я немного посидел у себя в отделении, покурил, поглядел за окно. Там пронеслась, переворачивая по вагону, как белые страницы, полосы света от фонарей, какая-то станция. Потом снова за окнами под стук колёс потянулась ночь и дрожащие огни затерянных деревень.

— Санитар! — крикнул из вагона хриловатый, требовательный голос. — А санитар!

Я вскочил и пошёл по вагону. Звал меня раненый с коричневым одутловатым лицом.

— Спишь, клистирник? — спросил он меня спокойно, без насмешки. — Тебе спать не полагается по должности. Дай попить. А то маешься тут всю ночь с пересохшим горлом.

— Спать всем полагается, — примирительно сказал с соседней койки раненый с реденькой бородкой и сухим лицом. Говорил он высоким мальчишеским голосом. — Иному вечным сном, а иному недолговременным.

— Ты что ж, монашествующий, что ли? — насмешливо спросил его одутловатый.

— Э-э-э, земляк, — усмехнулся сухолицый. — Нет ещё такого монастыря, куда бы я пошёл монахом. Мне монастырь нужен особый, приличный моему пониманию жизни.

— Фу ты, ну ты, какой тюльпан! — сердито заметил третий раненый с забинтованным лицом. Среди белых бинтов остро блестели, как у хорька, его маленькие глаза.

— Вот смеёмся мы друг над другом, — промолвил сухолицый, — а основы жизни не разумеет. В чём она заключается.

— А ты расскажи, не скупись, — грубо потребовал одутловатый. — Про основу да про утók.

— Это можно, — охотно согласился сухолицый и помолчал. — Жил на русской земле один старичок довольно знаменитый. Граф Толстой. Столько книг написал, что, говорят, даже правая рука у него несколько высохла. Болела у него, значит, рука, и держал он её всегда засунутой за кушак. Так ему было вроде легче, вроде будто отходила у него рука.

— Это верно, — сказал забинтованный раненый. — Я сам видел на портрете.

— Уж как замлеет что — иль рука иль нога, — так нет хуже, — согласился одутловатый, с трудом подвинулся на койке и сказал мне: — Да ты садись, санитар. Разбудил я тебя, так хоть посиди с нами, послушай.

— Бесперечь будить человека тоже нельзя, — заметил из глубины вагона сонный голос. — От этого кровь киснет.

— А ты помолчи! — прикрикнул одутловатый. — Дай людям поговорить.

— Да-а, — сказал сухолицый и облизнул тонкие губы. — Старик был подсохший, и звали его Лев. И, надо быть, правильно звали. Потому сила в нём, передают, была прямо львиная. В мыслях, конечно, в разумении. А в теле у него ничего не было, даже росточку был незаметного. Да, так вот, значит, жил у нас в посаде один маляр, по прозвищу Колер. Произошло у него с тем графом Толстым случайное столкновение. Не то чтобы столкновение, а простой разговор. Сидит это однажды Колер на пересадочной станции бог весть где, одним словом, где-то пониже Москвы сидит цельные сутки, дожидается поезда, а кругом лето, пыль и станция безлюдная, вялая. И появляется на той станции граф Толстой и тоже дожидается поезда.

Ну, понятно, разговорились, кто куда едет. Колер говорит: «Я, говорит, пробираюсь в южный город Одессу, потому что малярничать в здешних местах мне надоело». «Это почему же?» — спрашивает его Толстой. «А потому, — отвечает Колер, — что здесь дома в тёмные колера красят, а там — в светлые. А это не в пример веселей. Там дом покрасишь, скажем, обыкновенным мелом — крейдой его зовут в тех местах, — только чистым и хорошо протёртым, так он стоит, тот дом, промеж неба и моря, как белоцветный игристый камень. И такой становится лёгкий, будто строили его воздушными перстами райские жители». «Никакого рая нет», — говорит Толстой Колеру и смеётся, но смеётся этак сердито. «Да я и сам знаю, что нету, — отвечает Колер. — Это я к слову для нашей беседы. А вы куда изволите ехать, ежели не секрет?» «А ежели это секрет?» — спрашивает его Толстой. «Ежели секрет, тогда прошу прощения. Я человек сиволапый». Обнял его старик за плечи, потрепал и говорит: «Вот то-то и видно, что сиволапый. Ишь, говорит, гордыня какая! Да ты, говорит, художник жизни и сам это отлично понимаешь. Вот так, как жил, говорит, так и живи для благорасположения людей. В этом правда. А что до меня, то я ишу по России самый что ни на есть тишайший скит, убежище, чтобы там пожить и свою остатнюю книгу написать без вводных забот». «Про что же может быть такая ваша книга? — спрашивает Колер. — Простите мне ещё раз моё невежество». «Про всё, что есть хорошего на свете и что мне на этом свете удалось повидать», — отвечает ему старичок. «Затруднительная работа, — замечает в ответ Колер. — Поскольку выбор большой. Одних колеров хороших — и то десятки. Так как же вы про всё хорошее в жизни напишете?» «Что успею, то и напишу. Сначала про то, как живёт старик в избе у реки, каждое утро выходит на порожек и видит, как в росе купаются овсянки. И думает: схожу-ка я нынче в лес за брусничкой и, может, наберу полное

лукошко, а может, и не наберу, а лягу под сосной и упокоюсь вечным сном. По преклонному возрасту своему. И всё равно — и так и этак, как бы ни случилось, как ни кинь, а всё благо — и жить остаться ещё несколько на этой земле и, с другой стороны, уступить место молодым. Сам я много пожил и порадовался, так теперь пусть и другие вместо меня проживут и порадуются». «Ну нет! — говорит Колер. — Этого я не понимаю, такого разговора. Радость бывает, когда щепка из-под фуганка летит или, скажем, краска ложится ровно, как водяная гладь. Я, говорит, в работе главную радость ощущаю. И ваши слова, Лев Николаевич, мне ни к чему».

— Верно! — радостно сказал раненый с забинтованным лицом. — Работой весь мир стоит. И человек рабочий — миру основа. Ты вот своё отработай, тогда и любишься. Росой там или овсянкой. Чем желательнее.

— Толстой своё отработал боле всех, — сказал из глубины вагона сонный голос. — Я его порядочно почитал.

— Правильно! — неожиданно закричал одутловатый. — Я, к примеру, возьму комок земли перед посевом, разотру, понюхаю и понимаю, как семя себя в этой земле будет держать, какая в ней сырость и хватит ли той сырости, чтобы колос сполна напоить.

— Чего шуметь? — снова сказал из глубины вагона тот же сонный голос. — Колер-то твой, может, всё набрехал. Маляры — трепачи известные. Одно жалко, что не написал Лев Толстой ту книгу про всё хорошее на свете. Мы бы почитали!

— Санитар! — неожиданно прикрикнул прежним требовательным голосом одутловатый. — Сыми занавеску! Утро уже на дворе. Хоть поглядеть, что там, за окошком. Скоро наши костромские края.

Раненые замолчали. Я поднял суровую полотняную занавеску и увидел за окном вагона осеннюю северную Россию. Она туманно золотилась до самого горизонта берёзовыми рощами, пажитями, безымянными извилистыми реками. Поезд мчался, обволакивая паром сторожевые будки.

Я никогда ещё не видел такой осени, такой ясности небес, ломкости воздуха, серебристого блеска от волокон паутины, оврагов, поросших красным щавелем, прудов, где просвечивает сквозь воду песчаное дно, сияния мгlistых далей, нежной гряды облаков, застывших во влажной поутру небесной голубизне...

Я так засмотрелся, что не сразу почувствовал тяжесть у себя на спине. Одутловатый положил мне на плечо будто налитую чугуном руку, приподнялся и пристально смотрел за окно.

— Эх, браток ты мой мила-а-ай! — сказал он нараспев. — Исходил бы я эту землю босиком, попил бы чайку в каждой избе. Так вот незадача! Не на чем мне нынче ходить.

Я оглянулся и увидел под халатом у одутловатого раненого туго забинтованную культю ампутированной ноги.

Поезд плавно нёсся среди росистых холмов. Паровоз вдруг закричал так радостно, будто он был глашатаем счастливой долгожданной вести.

— Эх, — добавил одутловатый. — Мчимся мы прямо к жениным и материнским слезам. Хоть не возвращайся! Так и то нельзя. Никак нельзя, браток!

### Россия в снегах

На тыловом санитарном поезде мы сделали несколько рейсов из Москвы в разные города средней России. Мы были в Ярославле, Иваново-Вознесенске, Самаре, Арзамасе, Казани, Симбирске, Саратове, Тамбове и в некоторых других городах.

Города эти мне почему-то плохо запомнились. Гораздо лучше я помню небольшие станции, вроде какого-нибудь Базарного Сызгана, отдельные деревни, особенно одну занесённую снегом избу на выселках. Я даже толком не знаю, в какой это было губернии — Казанской ли, Тамбовской или Пензенской.

Я до сих пор помню эту избу и высокого старика в нагольном тулупе, накинутом на костлявые плечи. Он вышел из низкой дверцы и, придерживая её рукой, долго смотрел на длинный поезд с красными крестами на стенках вагонов. Со стрехи на косматую голову старика пылила снегом метель.

Была зима. Россия лежала в снегах.

Когда мы везли раненых, я ничего не замечал вокруг — было не до этого. Но во время обратного рейса каждый санитар оставался один в своём вымытом и пустом вагоне, и времени для того, чтобы посмотреть за окна, читать и отсыпаться, было сколько угодно.

От этих обратных рейсов осталось воспоминание, как о сплошных снегах, их белизне, заливавшей своим светом вагон, и сизом, голубинового цвета, низко нависшем небе. На память всё время приходили где-то прочитанные стихи: «Страна, которая молчит, вся в белом-белом, как новобрачная, одетая в покров». И странно вязались с этими снегами и стихами белоснежные косынки и халаты сестёр, когда они по утрам обходили поезд.

Базарный Сызган. Я запомнил эту станцию из-за одного пустого случая. Мы простояли на запасных путях в Сызгане всю ночь. Была вьюга. К утру поезд сплошь залепило снегом. Я пошёл со своим соседом по вагону — добродушным увальнем Николашей Рудневым, студентом Петровской сельскохозяйственной академии, — в вокзальный буфет купить баранок.

Как всегда после вьюги, воздух был пронзительно чист и крепок. В буфете было пусто. Пожелтевшие от холода цветы гортензии стояли на длинном столе, покрытом клеёнкой. Около двери висел плакат, изображавший горного козла на снеговых вершинах Кавказа. Под козлом было написано: «Пейте коньяк Сараджева». Пахло горелым луком и кофе.

Курносая девушка в фартуке поверх кацавейки сидела, пригорюнившись, за столиком и смотрела на мальчика с землистым лицом. Шея у мальчика была длинная, прозрачная и истёртая до крови воротом армяка. Редкие льняные волосы падали на лоб.

Мальчик, поджав под стол ноги в оттаявших опорках, пил чай из глиняной кружки. Он отламывал от ломтя ржаного хлеба большие куски, потом собирал со стола крошки и высыпал их себе в рот.

Мы купили баранок, сели к столику и заказали чай. За дощатой перегородкой булькал закипавший самовар.

Курносая девушка принесла нам чай с вялыми ломтиками лимона, кивнула на мальчика в армяке и сказала:

— Я его всегда кормлю. От себя, а не от буфета. Он милостыней питается. По поездам, по вагонам.

Мальчик выпил чай, перевернул кружку, встал, перекрестился на рекламу сараджевского коньяка, неестественно вытянулся и, глядя остановившимися глазами за широкое вокзальное окно, запел. Пел он, очевидно, чтобы отблагодарить сердобольную девушку. Пел высоким, скорбным голосом, и в ту пору песня этого мальчика показалась мне лучшим выражением сирой деревенской России. Из его песни я запомнил очень немного.

...Схоронил её во сыром бору,  
во сыром бору под колодою,  
под колодою, под дубовою...



Я невольно перевёл взгляд туда, куда смотрел мальчик. Снеговая дорога сбегала в овраг меж заиндевевших кустов орешника. За оврагом, за соломенными крышами овинов, вились струйками к серенькому застенчивому небу дым из печей. Тоска была в глазах у мальчика — тоска по такой вот косо́й избе, которой у него нет, по широким лавкам вдоль стен, по треснувшему и склеенному бумагой окошку, по запаху горячего ржаного хлеба с пригоревшими к донцу угольками.

Я подумал: как немного в конце концов нужно человеку для счастья, когда счастья нет, и как много нужно, как только оно появляется.

С тех пор я помногу жила в деревенских избах и полюбил их за тусклый блеск бревенчатых стен, запах золы и за их суровость. Изба была сродни таким знакомым вещам, как родниковая вода, лукошко из лыка или невзрачные цветы картошки.

Без чувства своей страны — особенной, очень дорогой и милой в каждой её мелочи — нет настоящего человеческого характера. Это чувство бескорыстно и наполняет нас великим интересом ко всему. Александр Блок написал в давние тяжёлые годы:

Россия, нищая Россия,  
Мне избы серые твои,  
Твои мне песни ветровые  
Как слёзы первые любви...

Блск был прав, конечно. Особенно в своём сравнении. Потому что нет ничего человечнее слёз от любви, нет ничего, что бы так сильно и сладко разрывало сердце. И нет ничего омерзительнее, чем равнодушие человека к своей стране, её прошлому, настоящему и будущему, к её языку, быту, к её лесам и полям, к её селениям и людям, будь они гении или деревенские сапожники.

В те годы, во время службы моей на санитарном поезде, я впервые ощутил себя русским до последней прожилки. Я как бы растворился в народном разливе, среди солдат, рабочих, крестьян, мастеровых. От этого было очень уверенно на душе. Даже война не бросала никакой тревожной тени на эту уверенность. «Велик бог земли русской! — любил говорить Николаша Руднев. — Велик гений русского народа! Никто не сможет согнуть нас в бараний рог. Будущее — за нами!»

Я соглашался с Николашей. В те годы Россия предстала передо мной в облике солдат, крестьян, деревень с их скудными недостатками и щедрым горем. Я впервые увидел многие русские города и фабричные посады — все они слились своими общими чертами в моём сознании, но каждый оставил после себя любовь к тому типичному, чем он был наполнен.

Я помню Арзамас с корзинами румяных крепких яблок и таким обликом похожих на эти яблоки, таких же румяных куполов, что казалось, этот город был вышит в золотошвейной мастерской руками искусных мастериц.

Нижний Новгород ударил в лицо пахнущим рогожами волжским ветром. Это был город русской предприимчивости, оптовых складов, бочек засола — буйная перевалочная пристань в истории России.

И Казань с памятником Державину, присыпанным снегом. Там в оперном театре я, усталый, уснул на галёрке в конце представления «Снегурочки», вспоминая сквозь сон услышанные со сцены слова: «Разве для девушек двери затворены, входы заказаны?»

Я проснулся среди ночи. Сторожа схватили меня и отвели в полицейский участок. Там пахло сургучом, и тучный пристав составил протокол «о недозволенном сне в театральном зале».

Я шёл к вокзалу. С Волги лепил в лицо снег, и мне было жаль промёрзшего насквозь Державина, глядевшего во мрак твёрдыми бронзовыми глазами.

В Симбирске я тоже был зимней ночью. Весь этот пустынный тогда город был покрыт инеем. Запущенные его сады стояли как бы в оловянной листве. Со старого Венца я смотрел на ночную Волгу, но ничего не увидел, кроме тусклой, смёрзшейся мглы.

Тогда я ещё не знал, что Симбирск — родина Ленина. Сейчас мне, конечно, кажется, что уже тогда я видел тот деревянный дом, где он жил в Симбирске. Мне это кажется, может быть, потому, что там много таких тёплых домов, бросающих по вечерам свет из окон на узкие тротуары.

В то время я только знал, что в Симбирске жил Гончаров — медлительный человек, владевший почти сказочным даром русского языка. Этот язык живёт в его книгах легко, сердечно и сильно.

Саратов показался мне слишком правильно выстроенным и даже скучным. На городе лежал отпечаток зажиточности и порядка. Такое впечатление осталось от главных улиц. Но потом я попал в улицы боковые, в проулки, на Бабушкин взвоз, где в вихрях сухого снега слетали с горы на салазках мальчишки.

Я катался вместе с мальчишками. Мне понравилось, лёжа на салазках ничком, проноситься мимо домишек, пылавших из-за оконных стёкол геранью. И, признаться, я позавидовал обитателям этих домишек. Потому что я был в одном из них.

Мальчишка провёл меня к какой-то Софье Тихоновне в один из таких домов — попить горячего молока.

Я увидел застеклённые сенцы. На чистом полу квадратами оконных рам лежал слабый солнечный свет. Во вторых, тёплых сенцах стояла в кадке холодная вода. В ней плавал деревянный ковшик. За дверью открылась горница с бархатными бордовыми занавесками на окнах. Стенные часы с огромными стрелками стучали так громко, что надо было повышать голос, чтобы разговаривать с застенчивой старушкой Софьей Тихоновной. На столике у окна, покрытом кружевной скатёркой, лежала толстая пачка номеров «Нивы» в голубых бумажных обложках и стояли давным-давно засохшие цветы.

На стене среди фотографий и акварельных картинок висела большая, чуть пожелтевшая афиша о спектакле «Дети солнца» Максима Горького.

— Сын у меня актёр, — сказала мне Софья Тихоновна. — В Петербургском театре. Раз в год летом заезжает он ко мне на недельку-другую — то на пути в Минеральные Воды, то с Минеральных Вод.

Я постарался представить себе эту жизнь, наполненную ожиданием сына. Должно быть, это была горькая жизнь, но старушка несла её легко и безропотно. Всё существование, весь его распорядок были подчинены любви к сыну. Каждая вещь мылась, перетиралась, облюбовывалась только потому, что за эти мимолётные семь дней в длинном году она могла понадобиться сыну. Или он просто взглянет на неё, или вдруг спросит: «А куда это, мама, девался медный ночник, а ещё тот крымский камень из Симеиза, который я вам привёз пять лет назад?»

И медный ночник, протёртый зубным порошком, сиял на своём обычном месте. И плоский крымский камень лежал на стопке «Нивы» — тот знакомый половине России морской гольш с надписью: «Привет из Крыма», на котором грубой масляной краской был намалёван кипарис, а за ним — лазоревое море с белой крапинкой паруса.

Много было городов. Пришла весна и обрядила провинциальные пустыри и сточные ручьи своей чуть липнущей к пальцам пахучей листвой.

Весной мы были в высоком Курске, как бы завешанном до крыш горами только что распутившихся веток. Знаменитые курские соловьи шёлкали, прислушиваясь к самим себе, в сырых рощах. Ленивая и холодная речонка Тускорь текла в мелких берегах, заросших жёлтыми купавами.

Странный город Курск. Его любят многие, даже никогда в нём не бывшие. Потому что Курск — это преддверие юга. Когда из пыльных и тяжёлых вагонов скорого поезда Москва—Севастополь открывались на холмах его дома и колокольни, пассажиры знали, что через сутки за окнами вагонов в предутреннем морском тумане розовыми озёрами разольётся цветущий миндаль и о близости «полуденной земли» можно будет просто догадаться по яркому свечению горизонта.

Весна цвела над Россией. Весна цвела над Владимиром-на-Клязьме, над Тамбовом, над Тверью, куда мы привозили раненых.

С каждым новым рейсом мы замечали, что раненые становились всё молчаливее жёстче. И вся страна примолкла.

Вскоре всю нашу команду перевели с тылового поезда на полевой. Мы вышли в первый рейс на запад, в Брест-Литовск, к местам боёв.

*(Продолжение следует)*



---

## СЕРГЕЙ ПЕТРУНИН

★

### ИЗ КОЛХОЗНОГО ДНЕВНИКА

*Петрунин Сергей Иванович — уроженец деревни Чайковичи, Брянской области. Родился в 1908 году. Ушёл из села в Бежицу на паровозостроительный завод, потому что семье трудно было прокормиться в единоличном хозяйстве. Работал на заводе литейщиком. Во время Отечественной войны был рядовым, потом командиром отделения и командиром взвода разведки.*

*С февраля 1954 года работает председателем колхоза имени Чапаева, Жирятинского района, Брянской области.*

#### БОЙТИЧСКАЯ ДОРОГА

То ровной лентой, то полого,  
В полосках парных от саней,  
Лежит Бойтичская дорога.  
Качу на розвальнях по ней.

Мерцают рощи в звёздном свете.  
Морозец маленький игрив,  
И рвётся в клочья чёрный ветер,  
Косматый ветер конских грив.

Но, может статься, радость в сердце  
Не от езды, не от зимы —  
Дорогой этой князь Мещерский  
Когда-то ездил, нынче — мы.

Земля, что блещет пред глазами,  
В остатках колкого жнивья,  
Была его. Теперь хозяин —  
Колхоз. А стало быть, и я.

#### ТЕТКА ФЕКЛА

Скорбный лик. Сердечком губы.  
Чуть не с самого утра  
Ходит Фёкла в новой шубе  
От двора и до двора.

Ходит, жалуясь, Петровна  
На неважное здоровье.  
Всем, как лишняя забота,  
Всех нитьём свела с ума.  
Отрывает от работы,  
Не работает сама.

То у Фёклы ноет печень,  
 То вот зубы — как в аду,  
 То дышать порой ей нечем,  
 То не тянет на еду.

Разных справок на болезни  
 Распечатает суму.  
 Сто болезней будет, если  
 Посчитать. И как лишь влезли  
 В тётку Фёклу? Не пойму.  
 Но зато вам Фёклу знать бы  
 В дни другие. Вот она  
 На пиру сидит, на свадьбе.  
 Ну, совсем подменена!  
 Ах, румяна, ах, речиста,  
 Ах, резва и весела!  
 Вот мигнула гармонисту,  
 Вышла в круг и поплыла.  
 Топнет левой, топнет правой,  
 Задаёт соседкам тон —  
 Ни болезней нет, ни справок:  
 Баба бабою, как звон!

### ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ

В летний день, денёк привольный,  
 Еду через «Ясный брод».  
 Тридцать праздников престольных  
 Тут справляют каждый год.

Тридцать дней чудак, бедняга  
 Гармонист гармошку рвёт.  
 Тридцать дней проходят прахом  
 В самый пыл, разгар работ!

Посмотрел я: заросль в поле —  
 Не проедешь на коне.  
 Как-то горько, как-то больно  
 За соседей стало мне.

Поверни вы, люди, в будни  
 Эти ваши тридцать дней —  
 В тридцать раз вы жили б, люди,  
 И богаче и видней!

### ПИСЬМО ДРУГУ. В ЗАКАВКАЗЬЕ

У вас сейчас на всём просторе  
 Стоит весенняя пора:  
 Стада пасутся у предгорий,  
 Шумит без умолку Кура.

Идёт с арбою вол косматый,  
 Тверда дорога, словно кость.  
 А рядом, в пене розоватой,  
 Сады, стволами к югу — вкось.

И, знаю, много сделав за день,  
 Как бы откинув невзначай  
 Полу, на воздухе, в прохладе  
 Колхозник пьёт зелёный чай.

А тут у нас метут метели,  
 Иной порой — не передать —  
 Заканителят на неделю,  
 Села родного не видать.

Но мы, заметь себе, не спали,  
 Не грелись в горницах, присев:  
 Мы и зерно сортировали,  
 И инвентарь перебирали,  
 И дроги ладили. Мы знали,  
 Что впереди весенний сев.

Теперь мы справились. Нам ясно.  
 У вас весна и вширь и ввысь,  
 Ты передай привет от нас ей  
 И низко, низко поклонись.

И, кроме этого привета,  
 Скажи ей, пусть не медлит там,  
 У вас  
     оставит всё для лета,  
 Сама —  
     скорей на север, к нам!

### СЛУЧАЙ В ПУТИ

Эмтээс. Денёк невесел —  
 Зимний день под выходной.  
 Тракторист Семён Елесин  
 Посчитал, что ровно месяц  
 Не был дома. И, повесив  
 Торбу, тронулся домой.  
 А и впрямь, чего не так?  
 «Нати» выслушан — в порядке.  
 Поиграет на трёхрядке,  
 Погуляет. Холостяк!  
 «Только, — мыслит парень, — вот  
 Звёзды мрут, тускнеет вечер —  
 Тут и вьюга недалече!..»  
 Ж-жи! И вот она, навстречу  
 Бьёт, а парень наш идёт.  
 Он идёт, а вьюга воет  
 Крепче. Ровно на беду —  
 По колено снег, по пояс.  
 «Пропадёшь ты!» — сердце ноет.  
 «Брось, не ной! Не пропаду!»  
 Заливает шею потом,  
 Ни дороги, ни следа.  
 Покурить, присесть охота.  
 Покурил и видит — что-то

Сквозь пургу темнеет. Вот он,  
Двор! Подходит: нет, скирда.  
«Что ж я в непогодь кочую?  
Разведу-ка я костёр  
И с костром переночую!»  
Сдёрнул сноп и спичку встёр.  
Встёр и, чтобы не задуло,  
Сразу в сноп её. И что ж?  
Будто ветром отшатнуло:  
Немолоченная рожь.  
Положил тот сноп обратно  
Аккуратно, аккуратно  
И, покамест кровь в разгаре,  
Вырыл ямку на скирде.  
Ночь длинна. Зажёг фонарик —  
Легче с ним в такой беде.  
На фонарик, на светило,  
Зайца серого прибило —  
Жмут зайчишку холода.  
— Эй, косой, иди сюда! —  
Но приспел и час рассвета.  
Зорька рдеет и дрожит.  
И под зорькою под этой  
Снег, санями не задетый,  
Фиолетовый лежит.  
Деревушка на пригорке.  
Пышный снег уже примят.  
Бабы вёдрами звенят.  
Словно сход дымит махоркой —  
Хаты трубами дымят.  
Трактористу по привычке  
Быть в пути уже пора.  
По привычке шарит спички,  
На верёвочке отмычки,  
Что, опять же по привычке,  
Им захвачены вчера.  
Всё в порядке. Всё, как было.  
Ничего не позабыл он.  
Чтоб в скирду не намело  
И воды не налило,  
По-хозяйски лаз забил он  
И отправился в село.



---

ЕКАТЕРИНА ШЕВЕЛЕВА

★

## ДЕВОЧКА ИЗ ГОНГ-КОНГА

Рекламы, точно веер павлиньего хвоста.  
Рекламы — до созвездия Южного Креста.  
Наверно, нет реклам пестрее, чем в Гонг-Конге!

Взбесившаяся радуга на Фуква-стрит.  
Спиной к витрине радужной девочка стоит.  
Юбка материнская. Босые ноги.  
А под витриной — доски и тряпьё.  
Чудовищное нищее жильё.

Подходит женщина к ребёнку.  
Две косы

От молодости сохранились.  
Наверно, мать... Она твердит: — Проси!  
Проси и кланяйся.

Благодари за милость!  
Проси!.. (Для младших нету молока!)  
Проси!.. (В кастрюльке риса нет ни грамма!)  
Но худенькая детская рука  
Опущена попрежнему упрямо.  
В изгибе губ, в крылатости бровей  
У девочки — достоинство и сила, —  
Всё то, что в душу мать вложила ей,  
Всё то, что мать сама уже забыла!





---

АНАТОЛИЙ РЫБАКОВ

★

## ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА

*Роман \**

### ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

#### Глава тридцать вторая

**П**осле того разговора, когда Клара наотрез отказалась мириться с Сергеем, Ермаковы не видели её несколько лет. Тем неожиданнее было её появление в их доме.

Она пришла с Алёшей, но не отпустила его гулять во двор с детьми, а держала возле себя: знала, что Ермаковы постесняются при ребёнке говорить плохое про неё, а сама она при нём сможет говорить что угодно про Сутырина.

Николай и Соня это сразу поняли, но промолчали — Соня из деликатности, Николай потому, что опасался сделать что-нибудь не так. Только Мария Спиридоновна грубовато сказала:

— Отпустила бы Алёшу погулять. Не к чему ему взрослые разговоры слушать.

— Ничего, — оскорблённым и вызывающим голосом ответила Клара, с нарочитой заботливостью поправляя на Алёше воротничок, — он уже большой, всё понимает, пусть знает, какой у него отец.

— Нехорошо всё-таки, — покачала головой Мария Спиридоновна.

Клара ещё больше расплелась и обрюзгла. Выражение подозрительной озабоченности, которое было на её лице и раньше, теперь дополнялось выражением оскорблённой невинности, точно все были виноваты в её неудачах. Клара сняли с работы и отдали под суд. Сообщить об этом она и пришла к Ермаковым.

— Запутали меня, — перво говорила Клара, — женщину очень легко запутать. Кругом завистники одни... Вот посадят меня, что с Алёшей будет? Отец бросил, любовницу завёл, ему и дела нет до собственного ребёнка...

— Уж это ты зря! — сказал Николай. — Сергей Алёшу никогда не бросит.

— Бросил уже! — отрубил Клара. — Бросил! Подумаешь, отделался тремя сотнями в месяц и в ус не дует. А ребёнка одеть, обуть надо, накормить...

— Ты же сама не хотела с ним жить, — сказал Николай.

— Я не хотела с ним жить?! Когда это было? Разве я от него ушла? Он сам ушёл. Когда не хотят семью бросать, из дому не уходят. Мало ли что бывает между мужем и женой? Поругались — помирились. А он ведь ушёл. Подумаешь, шоколадки сыну покупал! Шоколадками отделялся! Ребёнку есть нечего, а он шоколадки покупал... И всё этой своей... квар-

---

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир» №№ 1, 2 с. г.

тиру снял в Ведёрникове и всё... — Лицо Клары искажилось злобой. — Думал, наверно, я ничего не знаю. Нет, дорогой, я всё знаю, всё!

Алёша сидел, не поднимая глаз. Соне стало жаль мальчика.

— Знаешь что, Клара, — сказала она, — отпусти-ка Алёшу во двор. Пусть поиграет.

— Сказала уж, кажется, — с раздражением ответила Клара, — некуда ему ходить, пусть с матерью будет. У него теперь, кроме матери, никого нет. Да и матери, может быть, скоро лишится.

Она заплакала.

Потом, неожиданно перестав плакать, злобно проговорила:

— Только ничего, отольются ему мои слёзы.

— Вот что, Клара Петровна, дорогая, — вдруг строго сказала Мария Спиридоновна, — или отпусти Алёшу, или конец нашему разговору.

И, не дожидаясь ответа, обратилась к Алёше:

— Иди, сынок, во двор, поиграй с Васяткой, поиграй.

Алёша вопросительно посмотрел на мать. Ему очень хотелось уйти. Клара молчала. Алёша, поняв это как разрешение уйти, вышел.

Клара отлично сознавала трудность своего положения. Дело было ясное, акты ревизии неопровержимы, оправдываться было бессмысленно. Но адвокат подал надежду: ей могут сделать снисхождение, как матери несовершеннолетнего ребёнка. Клара это истолковала по-своему — она брошенная мужем жена и мать, без средств, неопытная, потому и совершила преступление. Значит, надо очернить Сутырина как человека, толкнувшего её на этот путь. Она рассчитывала в разговоре с Ермаковыми услышать о Сутырине что-нибудь такое, что могла бы обернуть в свою пользу. Надеялась разжалобить Ермаковых и упросить выступить на суде свидетелями того, что её действительно бросил муж и что вообще она честный человек. Однако обмануть Ермаковых ей не удалось.

— Всё это так, — сказал Николай, — ну, а по делу-то? Виновата?

Клара поджала губы.

— Ни в чём я не виновата. Запутали меня, и всё.

Николай видел, что она врёт. Весь этот разговор становился ему всё больше в тягость. Нахмурившись, он сказал:

— Ну, раз не виновата — оправдают. Чего ж ты волнуешься?.. —

И, помолчав и ещё больше нахмурившись, добавил: — А если есть какая вина — признайся на суде.

— Только Серёжу ты не трогай, — сказала Соня, — разошлись вы давно, мириться ты сама не захотела... Теперь надо думать, как из беды вылезть, а не порочить человека.

— Уж это моё дело, — вставая, злобно сказала Клара. — Ничего! Я его разрисую где надо.

Как ни противна была Ермаковым Клара, они жалели её из-за Алёши.

— Вот беда-то, — вздохнула Соня, когда за Кларой закрылась дверь, — одно расстройство...

— По делам вору и мука, — возразила Мария Спиридоновна, — не лезь в чужой карман.

— А всё-таки жалко, — опять вздохнула Соня, — Алёшу жалко.

— Неприятности, конечно, большие, — мрачно сказал Николай, — а тут ещё Дуська эта вязалась. Придётся поговорить с Серёжей.

Соня всплеснула руками.

— Да при чём тут Дуся?

— При том! Порочит она его, понимаешь! С семьёй неладно, а тут ещё связался чёрт знает с кем...

— Неправ ты, Коля, только нет времени разговаривать об этом, — сказала Соня, уходя на кухню: завтра день рождения Николая, надо успеть всё приготовить, а тут ещё Клара оторвала на целый час от дела.

Хотя ни один день рождения в семье Ермаковых не совпадал, все эти дни объединялись в два праздника: в июле — день рождения Николая и Васи, в сентябре — сонин, надюшкин и Марии Спиридоновны.

Соня любила связанные с этим хлопоты, суету, заботы, чад и запахи кухни, припоминание забытых рецептов приготовления блюд. Николай, хотя и старался казаться равнодушным к бабьим делам и морщился, делая вид, что всё это ему мешает, тоже любил царящую в этих случаях дома праздничную атмосферу. Прикрикнув на детей, чтобы не шумели, он садился за книгу или за газету, но всё, что делалось на кухне, не давало ему спокойно сидеть на месте. Он подымался, шёл туда якобы за спичками или ещё за чем-нибудь. Некоторое время стоял в дверях, с хмурым видом посматривал на всех, затем отпускал какое-нибудь ироническое замечание, потом садился на стул, начинал спорить и, наконец, выхватив у Васи или у Надюшки стакан, принимался сам выжимать из теста груляшки для пельменей...

Соня в красном фартучке с жёлтыми цветочками стоит у плиты. Этот фартучек она переделала из старого халата, и Николаю кажется, что она носит его давным-давно. Её белокурые волосы завязаны сзади маленьким узлом. На раскрасневшемся от жара печи лице блестят голубые глаза. В надетых на босу ногу домашних туфлях, маленькая и худенькая, с озабоченным лицом, она походит на девочку, которой поручили ведение домашних дел. И странно видеть, как все, в том числе и Мария Спиридоновна, беспрекословно подчиняются ей.

В своё время Мария Спиридоновна желала Николаю более молодой жены. Да и вообще сетовала на то, что он рано женился и уже в двадцать четыре года обзавёлся семьёй. Теперь она была довольна этим.

— Кто знает ещё, с кем бы спутался, — говорила она, — да и что это за человек, который в сорок лет женится. Только дети подрастут, а он в могилу смотрит. Ни себе радости, ни им.

Своенравная и крутая, Мария Спиридоновна была в общежитии человеком нелёгким. Рано потеряв мужа, грузчика, надорвавшегося на тяжёлой физической работе, и оставшись с маленьким Колей на руках, она всю свою жизнь проработала в порту. В тридцать лет она выучилась грамоте в ликбезе, по ленинскому призыву вступила в партию. Она была делегаткой, активисткой женотдела, из простой грузчицы стала заместителем начальника порта. Но для исполнения этой должности ей не хватило образования, и теперь она работала бригадиром лучшей на Волге бригады грузчиков.

Жизнь, прошедшая в труде, в упорном преодолении своей отсталости, наложила на Марию Спиридоновну неизгладимый отпечаток, у неё выработался тяжёлый характер человека честного, но чересчур самоуверенного, до всего дошедшего собственным умом. Домашними делами она занималась в той мере, какая требуется для того, чтобы разогреть припесённый из столовой обед. О полезности этой непритязательной пищи свидетельствовало могучее здоровье Николая. Кончив семь классов, Николай пошёл работать учеником слесаря в порт и сам стал заботиться о себе. Соне, любившей дом, было вдвойне трудно: она сама работала и ей приходилось преодолевать то пренебрежительное отношение к быту, которое установилось в семье мужа.

Нужно сказать, что Соня сумела преодолеть эти трудности. В этой маленькой и на вид такой хрупкой женщине было много внутренней спокойной силы, покорявшей шумливые и несколько неуравновешенные характеры свекрови и мужа. Она никогда не жаловалась, только иногда

говорила Кате или Дусе: «Ох, и достаётся мне с моими баламутами» — и улыбалась при этом мягко и неосуждающе. К тому же время и обстоятельства работали на неё. Ермаковы получили большую квартиру в новых корпусах, в семье появился достаток, и Мария Спиридоновна понимала, что жить так, как раньше жили, уже нельзя. И люди так уже не живут. Николай же во всём, что касалось семьи, подчинялся Соне. Он несколько раз предлагал ей оставить работу и заняться домом. Но Соня не хотела: она не представляла себе жизни без привычного и любимого дела...

На день рождения пришли родители Сони, затем приятели Ермаковых — Кошелевы с двумя детьми того же приблизительно возраста, что сонины дети, сестра Марии Спиридоновны — Прасковья Спиридоновна, или, как её называли в доме, тётя Паша, колхозница из Сергачского района, приехавшая в город к врачу. «Керчь» была в порту, и пришёл Сутырин. Правда, Дуся работала в вечернюю смену и не смогла прийти, но, по расчётам Сони, это было даже лучше. Николай будет злиться, если увидит её в своём доме рядом с Сутыриным. Но, чтобы не обидеть её, Соня велела Васе позвать маленького Алёшу: Серёже будет приятно побыть с сыном, и Дуся сама не захочет им мешать... Катя Воронина тоже не смогла прийти: была в этот вечер на собрании городского партийного актива.

Сутырин сначала посадил Алёшу возле себя, но затем мальчику стало скучно, и он пересел на другой конец стола, где сидели дети. Посматривая на него, Сутырин думал, что по сравнению с Васей Ермаковым Алёша выглядит намного старше, хотя разница между ними всего в три года. Алёша сидел, чуть сгорбившись и морща лобик, напряжённо прислушивался к разговорам взрослых. И было видно, что всё, о чём говорилось, он воспринимал по-своему. Когда среди детей начиналась возня, он принимал в ней участие, но смущённо улыбаясь и оглядываясь на отца.

Вася Ермаков, круглолобый скуластый крепыш и забияка, всё время вертелся на своём месте, передразнивая и задевая сидевших с ним рядом детей. У него была смешная манера повторять за взрослыми непонятные слова, коверкая и перевирая их.

Сутырин знал, что у Клары крупная недостача и она отстранена от работы. Вглядываясь в сына, он пытался угадать, знает ли об этом Алёша. Но на лице у мальчика ничего нельзя было прочесть — он был такой же тихий и стеснительный, как всегда...

Сутырин понимал, что неожиданная ревизия у Клары и снятие её с работы — только начало, что Кларе теперь не миновать суда. Он понимал, что всё это не может не коснуться и его, и болезненно морщился: эта женщина всю жизнь доставляет ему одни неприятности... Конечно, жаль её, но что он может сделать? Разве не предупреждал её? Больше всего он хотел спокойствия, а Клара лишала его этого спокойствия. И чем больше слушал он то, что говорили и гости и хозяева, тем меньше хотелось ему думать о Кларе, тем сильнее овладевала им тоска по собственному спокойному дому, по семье, по всем этим таким прозаическим, обыденным, но тёплым и согревающим сердце вещам.

За столом господствовала атмосфера той непринуждённой сдержанности, которая отличает простого человека, уважающего и угощение и труды хозяйки и не забывающего про самого себя; где закусывают огурчиками, капустой, грибами, всякими соленьями и маринадами, студнем, селедочкой с луком; где вслед за закуской подают пироги и чай; где любят спеть и сплясать и песни любят старинные, а если песня новая, то и её поют на свой особый лад; где есть патефон и приёмник, а по-

настоящему трогают душу только балалайка и баян, потому что баян протяжен, как широкая русская песня, а балалайка как бы выговаривает частушку, быструю и меткую, и есть в ней присущее русской душе сочетание широты и душевного порыва, раздолья и быстроты, заунывной мелодии и задорного перепляса.

Кошелева рассказывала о том, как Соня ещё в девушках была влюблена в Николая.

— Нет, ей тогда другой нравился, глаз с него не сводила, — сказал Николай.

— Было дело, — кокетливо улыбнулась Соня.

На другом конце стола Мария Спиридоновна говорила:

— Пересолила малость студень, кастрюля новая, никак к ней не приспособлюсь, к старой привыкла.

— Ещё вот привыкнешь щепотью соль класть, тут уж ложкой не клади — никак не потрафишь, — сказала тётя Паша.

— Васятка-то ладно, — снова слышался голос Сони, — мальчик, чего ему надо! А Надюшка — дело другое. Девочку одеть надо как положено, иначе не в ту компанию попадёт. Ведь скоро барышня...

— Был бы человек — в любом платье в люди выйдет, — сказал Николай, — мы-то сами в чём ходили?

— Не говорите, Николай Фёдорович, — возразила Кошелева, — мы сами в другое время жили.

— Одно время.

— Годы разные. Идём-то вперёд...

— Я ему толкую, а он всё своё, — сказала Соня, — говорит: форма есть. Так форма, она для школы, а девочка в гости ходит и в театр... Зимой коньки, фигурным катанием занимается, опять всё нужно.

— Да уж дети, дети, — вздохнула Кошелева, — всё им. Вот учим Татьяшку музыке, надо пианино покупать. А оно шесть тысяч стоит.

— Уж как я просила Николая насчёт пианино-то, — сказала Соня, — а он нет: машину захотел, «Москвича»... А что в нём толку? Куда нам на нём ездить? Так бы Надюшка играла, хоть для себя, для дома.

— Завела, завела, — недовольно проворчал Николай.

— Ну, — сказала Соня, поднимая рюмку, — под столом встретимся!

Но, убедившись, что все выпили, поставила свою рюмку на стол и, наклонившись к Сутырину, прошептала:

— Сроду её не пила...

Сутырин хмыкнул в ответ.

— Скучаешь, Серёжа? — тихо спросила Соня и улыбнулась ему.

— По ком это?

— Известно, по ком, — многозначительно произнесла Соня и вдруг, откинув назад голову, высоким голосом запела:

Волга-матушка глубока.  
Всю пройду — промеряю.  
Недалёко моя милка —  
Вечерком я сбегаю.

И Кошелева, полная, грудастая, с круглым добрым лицом женщина, тоже, лукаво поглядывая на Сутырина, подхватила:

На дорожке стоит столбик —  
Верстовой, нельзя рубить.  
На примете есть мальчишка —  
Занятой, нельзя любить...

— Заголосили, девки,— недовольно проговорила Мария Спиридоновна, — дайте хоть послушать, чего люди говорят...

Тётя Паша, Максим Фёдорович — отец Сони — и Кошелев вели разговоры о колхозных делах.

— В председателе всё дело, — рассуждала тётя Паша, — у нас их после войны четверо сменилось.

У Максима Фёдоровича голова и брови стали совсем седыми, но голубые глаза в сетке морщинок были всё такие же большие и светлые. Если бы не сквозила в них лукавость нижегородского грузчика, был бы похож на иконописного святого — мужичка-странника. После войны он в порт не вернулся. Служил на мельнице заведующим речным причалом.

— Не всяк монах, на ком клобук, — сказал Максим Фёдорович, — в ином только одно и звание, что начальник. Тут же опять критика...

— Рядом колхоз «Заря революции», — продолжала тётя Паша, — сто пятьдесят коров на ферме... Председатель с головой, он и государству, он и колхозникам — всех ублаготворил... А наш чурка — чурка и есть.

— Главное — контроль. Потому...

— Прошу прощения, Максим Фёдорович,— перебил Кошелев, худой человек в форме работника связи, — на одном контроле далеко не уедешь. Ежели человек на своём месте по совести не работает — никто за ним не усмотрит, и толку большого не будет...

— Сознательность нужна, — поддакнул Максим Фёдорович.

— Именно, что сознательность, — продолжал Кошелев. — Вот, к примеру, наша специальность, связистов. Участок мой—двадцать километров. Это, ежели посчитать, несколько сот столбов. А ведь на каждый надо влезть: изолятор ли плохо посажен или крюк погнулся — с земли-то не заметишь. Соскочил изолятор — короткое замыкание. В сырую погоду или зимой ветки свесились на провод — утечка тока, слышимость страдает. Надо ветки подрезать. Появилась на изоляторе ржавчина — опять же утечка тока, значит, каждый осмотри! Вот за прошлый год сменил я тыщу двести проволочных вязок, изоляторов пересадила — не сочтёшь. Одних столбов, что ветер расшатал, выправил девяносто штук, а крючьев выправил или новыми заменил и вовсе без счёту... Вот какая наша работа. Попробуй начальство уследи за ней! Тут ежели у монтера совести нет, то никто, никакая формальность не поможет... Так-то вот и в каждом деле... По совести надо работать... Тогда и производительность и всё будет.

— Правильно, — согласился Максим Фёдорович, — взять, к примеру, наш речной транспорт...

В разговор неожиданно вмешался Николай.

— Один человек на своём месте — ноль. Всё зависит от общей организации.

— Вот и я говорю: по совести надо работать, по совести жить, — сказал Максим Фёдорович.

— Всё это, папаша, известно, — сказал Николай нетерпеливо, — не об этом речь...

— А об чём, милый-дорогой, об чём? — кротко спросил Максим Фёдорович, побаивавшийся не только жены, но и своего раздражительного зятя.

— А сейчас речь о том, как производительность увеличить, вот о чём, — так же нетерпеливо продолжал Николай. — Совести-то и сознательности — этого у нас хватает, а вот порядку надо побольше.

— Так ведь об этом и говорим, — сказал Максим Фёдорович. — Каждый, значит, должен на своём месте соответствовать...

— Вы вот чего, Максим Фёдорович, — добродушно произнёс Сутырин, наливая себе и старику водки, — давайте-ка будем за столом соответствовать, а в больших делах и без нас разберутся...

— И то верно, — сказал Максим Фёдорович, — и выпьем... Бурлацкое горло всё прометёт... А чарка вина прибавит ума... Ваше здоровье!

— Вот и правильно, — жёлчно усмехнулся Николай, — чем дело делать, лучше водку пить.

Сутырин добродушно ответил:

— Всеми своё время, Коля. Давай-ка чокнемся, а потом споём...

Эх, гулянье моё, гуляньице моё,  
До чего меня гулянье довело! —

начинал Николай звучным тенором. И глухим басом Сергей подтягивал:

Со полуночи до белой до зари  
Нападают всё богаты мужики,  
Всё богаты мужики, расстарые старики...

Их голоса сливались в один.

Запрягают тройку вороных коней,  
Подкатили ко широкому двору... —

снова начинал Николай, и Сутырин подтягивал:

Подхватили меня, молодца, с собой,  
Повезли меня во Нижний городок,  
Завезли меня в соседний кабачок...

Последнее слово звенело и уплывало, медленно замирая и дрожа в воздухе... И чудилось детство, и вечер в деревне, закат, когда гонят с поля стадо и облако пыли движется по дороге, и последний шум улицы, и звон вёдер у колодца, и скрипение журавля, и сваленные у избы брёвна, на которых так хорошо сидеть вечером, кутаясь в отцовский пиджак и прислушиваясь к смеху и разговорам девушек и парней...

— Коля, Серёжа, — просила Соня, — ну, спойте ещё что-нибудь, спойте...

Все стали просить их спеть ещё. Но Николай, как всегда, спев, становился мрачен, он не любил похвал и не любил, когда его просили спеть ещё. Наклоняясь к Сутырину, он сказал:

— Выдь, Серёжа, в спальню. Разговор есть...

— Насчёт Клары слышал, нет? — спросил Николай, плотно закрывая за собой дверь.

— Слышал, — нехотя ответил Сергей, предчувствуя один из тех нравоучительных разговоров, на которые так был падок его приятель.

— Ну и что?

— Сколько верёвочке ни виться...

— Может, разговоры, не знаю, — нетерпеливо персбил его Николай. — Восемь тысяч недостачи, могут в тюрьму упрятать.

— Вполне свободно, — согласился Сутырин.

— Так ведь и тебе позор и сыну.

— Это как сказать. Я с ней семь лет не живу, а сын за родителей не в ответе.

— Она тебе законная жена.

— Что ж из того? Воровать-то не заставлял. Сам знаешь, из-за этого из дому ушёл.

— Ушёл ты, не ушёл, об этом никто не знает. Муж ты ей, значит и за неё и за семью отвечаешь.

— Отвечать будет тот, кто дела делал, — всё больше и больше раздражаясь, возразил Сутырин, — и не понимаю, к чему ты разговор этот затеял? Если бы я и хотел, то всё равно помочь тут нечем. А я, честно говоря, и помогать не хочу. Хватит! Хотела своим умом жить — пусть живёт.

— Разводиться надо было, — жёстко произнёс Николай, — а не в кусты прятаться. Не развёлся во-время — поправляй теперь дело, иначе позор тебе на всю жизнь: жена судимая... И Алёше тоже.

— Что же я могу сделать? — пожал плечами Сутырин.

— Не знаю... Может быть, деньги эти внести надо, может, ещё что.

— Откуда у меня такие деньги?

— Не знаю, не знаю... Поговорить надо тебе с ней, совет подать, пока не посадили ещё.

— Не пойду я к ней, — мрачно произнёс Сутырин, — не о чем нам говорить.

— Дело твоё, — холодно сказал Николай, — только я тебе вот что скажу: из одного капкана ты ещё не выбрался, а в другой попадёшь.

— В какой-такой капкан? — усмехаясь, спросил Сергей, отлично понимая, о чём говорит Ермаков.

— Сам знаешь.

— А всё-таки?

— Я про Дусю твою распрекрасную говорю.

— А что Дуся? — с вызовом спросил Сутырин.

У него сжалось сердце в предчувствии того, что скажет сейчас Николай. Он хотел и в то же время боялся услышать это.

— А то, — сказал Николай, — я тебе по дружбе говорю, Серёга: брось! Не пара она тебе, и ни к чему всё это... По себе дерево руби.

— Слыхали, — всё так же неестественно усмехаясь, сказал Сутырин.

— Для тебя она человек новый, — безжалостно продолжал Николай, — а мы её в порту давно знаем, знаем, кто она есть.

— А я и знать не хочу, — небрежно, беззаботным тоном произнёс Сергей, чувствуя, что Николай скажет ему сейчас что-то ужасное и отвратительное, и попрежнему желая и боясь это услышать.

— Не хочешь, как хочешь. Только уж потом на меня не пеняй. Хотел предупредить — сам не позволил... Будешь локти кусать, как из одной истории в другую попадёшь...

— Ну, говори, чего знаешь, — улыбаясь, сказал вдруг Сутырин.

Его тон, беззаботный и иронический, оскорбил Николая, и с той холодной жестокостью, которая пробуждалась в нём в такие минуты, он сказал:

— Ты у неё спроси, сколько она мужиков до тебя сменила, здесь на участке. И про Ляпунова, бригадира, и про других.

— А я это всё знаю, — спокойно сказал Сутырин, чувствуя биение собственного сердца, пытаюсь справиться со своим дыханием.

— Знаешь, так смотри, — сказал Николай, вставая, — моё дело тебя предупредить, а ты знаешь, так смотри.

— Как было, так и будет, — сказал Сутырин, не поднимая головы.

То, что сказал Николай, поразило Сергея. Смутные подозрения, которые были у него раньше, теперь стали фактом. Вся интимная сторона его и дусиной жизни, все ласки, милые особенности, всё, что казалось принадлежащим и известным только ему одному, теперь было открыто другим.



Он тут же ушёл от Ермаковых, сославшись на необходимость быть на теплоходе. Он хотел видеть Дусю и высказать ей всё. Пусть знает, что ему всё известно, пусть не думает, что сможет дальше его обманывать... И именно потому, что он узнал о Дусе сейчас, когда так был расстроен делом Клары, ему казалось, что Дуся обманула его вдвойне: он потерял не только любимую женщину, но и человека, которому доверял, в котором видел прибежище от неприятностей, чинимых ему Klarой. Ему казалось, что он ненавидит Дусю больше, чем Klarу. Та хоть соблюдала себя, а эта открыто, при всех, никого не стесняясь... С бригадиром жила, чтобы на работе поблажку иметь, не могла найти себе в другом месте... Может быть, за это и перевели на кран. Может быть, и сейчас она бывает с ним... По старой памяти... Ведь видятся-то каждый день... И этот, другой, посмеивается над ним.

Он увидел Дусю выходящей из ворот участка. Всё в ней ему ещё было дорого — каждая черта, каждое движение... Выражение озабоченности, которое было у неё на лице в то первое мгновение, когда он увидел её, сменилось удивлённым и радостным. Верно, подумала: из-за неё ушёл из гостей...

Они пошли рядом.

— Сегодня триста тонн перегрузила, — сказала Дуся, беря Сутырина под руку.

То ли из-за темноты, то ли потому, что была увлечена своими мыслями, она не замечала его состояния и не обратила внимания на то, что он молчит.

Она никогда не говорила с ним о подобного рода вещах. Но Сутырин знал, что Дуся выдвигается в первые крановщики порта, и в глубине души чувствовал: она это делает для него, хочет, чтобы он гордился ею, чтобы знал: она тоже не последний человек здесь. Раньше он увидел бы в её сообщении что-то трогательное и доверительное, но теперь увидел только ложь. Точно она инстинктивно боится предстоящего разговора, хочет показаться лучше, чем она есть, ложным спокойствием прикрывает сматение души.

Стесняясь хвастливости своего сообщения, Дуся добавила:

— Вагоны шли хорошо, да и грузчиков бригада попаласть хорошая.

Не глядя на неё, он спросил неожиданно хриплым голосом:

— Это чья бригада, Ляпунова?

Он почувствовал, как дрогнули её рука и плечо. Она отодвинулась от него.

Попрежнему не глядя на Дусю, он тем же хриплым голосом повторил:

— Чья бригада, спрашиваю? Ляпунова?

Она повернулась к нему. Её быстрый, встревоженный взгляд скользнул по его лицу. На мгновение он увидел её расширенные зрачки и выражение ужаса и страха в них и понял, что Николай рассказал правду и Дуся боится его вопросов и уже догадалась об их причине.

Равнодушным голосом, который уже не мог его обмануть, она произнесла:

— Нет, Курочкина.

Он усмехнулся.

— Ах, Курочкина... Жалко... Ляпунов подсобил бы... По старой памяти...

Она отпустила его руку и шла молча, не подымая головы.

Раздражённый её молчанием, он грубо сказал:

— Что ж молчишь? Рассказывай!

— Что я тебе расскажу, — устало проговорила она, — сам знаешь.

Он остановился и, повернув к ней искажённое злобой лицо, сказал:

— Да, знаю, всё знаю.

Тусклый свет уличного фонаря освещал её лицо, оно казалось совсем бледным. Её молчаливая покорность раздражала и злила Сутырина. Он думал, что она будет оправдываться, выкручиваться, защищаться. Он заранее злорадствовал при мысли, что сможет уличить её, припереть к стенке, но ничего этого не было. Она молчала, и в этом молчании он не чувствовал ни раскаяния, ни покорности. Если бы она оправдывалась, то, уличая её, он дал бы выход своему гневу и, может быть, успокоился бы. И оттого, что он не мог этого сделать, он злился ещё больше. Своим молчанием она загораживалась от его нападков.

Тогда Сутырин решил уничтожить её своим презрением. Пусть не думает, что он ревнует её... Неожиданно спокойно он сказал:

— Мне, конечно, на всё это наплевать. Ты мне не жена, я тебе не муж. Только посоветовать хотел: делай так, чтобы люди не видели. И ещё, — добавил он, — с одним мужиком живи.

Он говорил самые оскорбительные вещи. И то, что Дуся безропотно, без возражений сносила их, вдруг неожиданно успокоило его. Теперь всё! Всё кончено!

— Ну, мне сюда, — сказал он, когда они дошли до поворота.

Она вдруг прижалась к нему, обхватила его руками, спрятала голову на его груди. Пытаясь оторвать её от себя, он схватил её за руки, но она крепко держалась за него, и он вдруг с болью и страстью почувствовал её тело, такое знакомое ему и родное...

— Умру я без тебя, Серёженька, — тихо сказала Дуся, и опять он не услышал в её голосе ни слёз, ни мольбы, ни раскаяния.

Он чувствовал себя бессильным перед её отчаянием и чувствовал, что продолжает любить это тёплое, в безысходной тоске прижимающееся к нему тело. В её руках была страшная сила отчаяния, как будто только ими она пыталась и надеялась удержать его... Он оторвал её руки от себя, повернулся и быстро пошёл к теплоходу.

### Глава тридцать третья

Сразу похудевшая, осунувшаяся, постаревшая, работала Дуся на своём кране. Мысль обо всём случившемся, страшное ощущение потери не покидало её ни на минуту. Она не только потеряла самое дорогое. Оскорблённым оказалось её достоинство. Неужели она не стоит настоящей любви, настоящей жизни? Неужели не может иметь свой дом, свою семью, своих детей, как имеют это другие женщины? Разве она хуже других? Неужели своей любовью к Серёже не заслужила этого?

Соня видела её состояние, но приписывала его разлуке с Сутыриным. Лукаво поглядывая на Дусю, она пропела вполголоса:

Белу кофточку скроила,  
Полки укоротила.  
Полюбила я мальчишку —  
Сердце узаботила.

Но Дуся сухими глазами продолжала следить за грузом.

— Ты что, Дуся? — заглядывая ей в лицо, спросила Соня. — Что случилось?

— Разошлись мы с Серёжей, — не оглядываясь, глухим голосом ответила Ошуркова.

Соня обомлела.

— Ты что такое говоришь? Как это разошлись?

— Наговорили ему про меня, — попрежнему не оглядываясь и тем же глухим голосом сказала Дуся, — и такая я и разэтакая... Вот и разошлись.

— Когда же это случилось?

— Как у вас в гостях был, сразу после этого.

— Ах, так... — Соня осеклась. — Ну, ничего, может, ещё наладится.

— Нет, не наладится. Ничего теперь не наладится... — сказала Дуся и убеждённо добавила: — Николаева работа...

— Ну, что ты! — слабо запротестовала Соня, понимая, что это именно так. — Чего ты выдумываешь!

— Нет уж, Николай, — усталым голосом продолжала Дуся, — это точно... И не понимаю — зачем? Что я ему такого сделала, зачем в чужую жизнь лезть?.. Нехорошо...

Она некоторое время продолжала работать, потом, видно не в силах молчать, сказала:

— Люди!.. На чужой жизни камаринского сплясать ничего не стоит. Николай тоже. Точно я для него вот как этот куль с мукой — бросил туда, бросил сюда... Зачем? Может, моя жизнь и серёжина жизнь наладилась бы... Сколько нас по ветру трепало... Ан нет! Не дадим!

— Ну ладно, не расстраивайся! — жалобно проговорила Соня.

Дусин голос, монотонный, мёртвый, сверлил ей сердце. Ей хотелось плакать.

— Ты не огорчайся, не расстраивайся, я поговорю с Серёжей. Всё наладится, вот увидишь.

— Нет уж, что сломано, того не склеишь... Ну, понимаю: обидно ему слушать про меня разное... Понимаю... Так поговори, как с человеком, выслушай... Так нет, в душу наплевал. А за что? Разве я его не любила? Или от семьи увела? Ну, было у меня в жизни... Так ведь свободная была, бесконтрольная. От тоски, от безделья больше... А при нём разве что позволяла?

— Не рви ты моё сердце! — закричала Соня. — Вот увидишь, поговорю с Серёжей, и всё наладится. Ведь любит он тебя, знаю, что любит... Оттого и взорвался. Ему сейчас тоже нелегко: у Клары суд, думаешь, приятно? Тоже ведь — мать его ребёнка, жена законная... Вот и разнервничался...

— Как ты мог?! — сказала Соня Николаю. — Хуже бабы, честное слово! Дусе разбил жизнь и Сергею. Ну, какое ты имел право вмешиваться?

Николай сам был не рад тому, что произошло, но признавать свою вину не хотел.

— Ладно, — огрызнулся он, — разберутся и без нас с тобой.

— Подумать только! — говорила Соня, нервно расхаживая по комнате. — Тебя раз на совещание не пригласили, так ты сам не свой целый месяц ходишь. А тут жизнь, судьба, и тебе раз плюнуть. Наговорил, наболтал, сам не знаешь чего... И кто тебе дал право вмешиваться в чужую жизнь? И Сергей хорош — слушает.

— Как же ему не слушать, если говорят?

Соня остановилась перед Николаем.

— Если бы ко мне пришла какая-нибудь баба и начала на тебя наговаривать, я бы ей рта не позволила открыть!

— Завела, завела, — проворчал Николай, не зная, как ему прекратить разговор, понимая, что Соня сейчас в том редком состоянии, когда её невозможно заставить замолчать.

Она с грустью проговорила:

— Мне, Коля, очень неприятно, что ты это сделал. Очень...

Не глядя на жену, Николай пробормотал:

— Сам не знаю, как получилось... Выпили... Ну, и к слову пришлось... Я с ним о Кларе начал, о суде, ну, а тут слово за слово...

Всегда казалось, что главный в семье Николай. Соня очень умело поддерживала в нём эту иллюзию, особенно на людях. Но бывали минуты, когда Соня оставляла свою семейную дипломатию, все тщательно разработанные способы руководства мужем и высказывалась с прямоотой и непримиримостью, которые пугали Николая и ставили его в тупик.

Для Николая же осознать свою вину было мучкой, признать её — ещё большей. В этом хотя и честном, но чересчур прямолинейном уме мысль сидела так крепко, что выбить её оттуда было одинаково трудно как для собеседника, так и для него самого. И когда Соня увидела на лице Николая знакомое ей страдальческое выражение, которое обозначало у него сознание своей ошибки, а следовательно, и смятение духа, ей сразу стало жаль его, и она ласково сказала:

— Коленька, ну поговори ты ещё раз с Серёжей, объясни ему, пусть они сами разберутся... Нельзя же так. На Дусе лица нет, Сергей тоже переживает... Ну, поговори!

— Что же я ему теперь скажу? — угрюмо спросил Николай.

— Объясни, что ты совсем не это хотел сказать. Объясни, как Дуся работает теперь, старается...

— Вот ещё! — так же угрюмо пробормотал Николай.

Своего отвращения к Дусе как к женщине, потерявшей себя, Николай долго не мог преодолеть. Для него Дуся была олицетворением всей той грязи жизни, которой он не знал, но которую ненавидел.

Но чем лучше работала Дуся, тем большим, хотя и тайным уважением проникался к ней Николай. Труд, мастерство были для него главными мериллами ценности человека. Он оказался неправ, осуждая Дусю за учёбу у других крановщиков, — теперь все учились друг у друга. Он сам хотел установить теперь новую норму, не из тщеславия, а из органической потребности рабочего человека делать своё дело лучше, работать производительнее. Но он понимал, что эта новая норма принадлежит всем и в первую очередь тем, кто предложил перенимать опыт лучших крановщиков, в том числе, следовательно, и Дусе Ошурковой.

Они работали теперь на разных кранах. Но краны стояли рядом, и Николай, работая, машинально следил: опережает его Ошуркова или отстаёт. Он не смотрел в её сторону, но определял все движения на слух, по звукам крана: глухой шум и звон шестерён — поворот стрелы, свистящий звук — подъём груза, шум движения по рельсам — кран передвигается. Чтобы стрелы не сталкивались в воздухе, Дуся и Николай поворачивали их в разные друг от друга стороны.

Как всегда, когда работа шла хорошо и споро, радостное ощущение своей силы и мощи владело Ермаковым. Это была радость высоты, когда кругом на много километров всё видно и кажется, что ты совсем близко к самолётам, которые проносятся над тобой, рокоча моторами. Это была радость своей силы, когда кажется, что своими руками ты поднимаешь эти пять тонн, эти триста пудов, потому что машина увеличивает твою силу во много десятков раз. И от всего этого хочется ещё большей быстроты, и потому раздражает каждая, даже малейшая секундная задержка. А задержка эта заключалась в том, что Николай поворачивал стрелу быстрее, чем грузчики на вагонах успевали приготовить вязанку. И пока они готовили вязанку, стрела ожидала их и крик беспомощно болтался в воздухе. И он видел, что у Ошурковой происходит то же самое: на каждом цикле целых полминуты стрела дожидается, пока грузчики застроят вязанку. Из своей кабины Ермаков видел, что Дуся

тоже с недовольством посматривает на грузчиков и торопит их, но торопить грузчиков бесполезно, они быстро справлялись со своей работой, только не могли поспеть за краном.

И тогда Ермаков подумал о том, что если бы рядом не стоял дусин кран, то он поворачивал бы стрелу на обе стороны и брал бы лес сразу из двух вагонов. Один поворот он делал бы вправо, другой — влево. Пока он берёт вязанку из одного вагона, в другом готовят свою вязанку, и наоборот. Тогда не было бы этих задержек и работа пошла бы ещё быстрее. По существу он один выполнял бы ту работу, которую теперь выполняют оба крана — его и Ошурковой, — правда, не так быстро, как оба, но зато одним краном...

Вечером дома Николай попросил Марию Спиридоновну поставить ему завтра грузчиков сразу на два вагона, а кран Ошурковой отодвинуть.

— Пока попробую, — сказал он, — посмотрю, что из этого выйдет. А если выйдет, тогда можно будет и разговор поднять.

— Можно бы, — ответила Мария Спиридоновна, — только надо будет ещё грузчиков поставить, а у меня их в бригаде лишних нет. Придётся с Екатериной Ивановной поговорить. Да и тебе надо с Дуськой договариваться, как будете работать — кто в какой отсек, кто из каких вагонов.

— Договоримся, — мрачно ответил Николай.

Ему очень не хотелось обращаться к Ошурковой. В душе ему было стыдно за то, что он поступил не по-мужски, рассказав всё Сутырину. И он боялся, что Дуся заговорит с ним об этом, начнутся попреки и выйдет противный бабий разговор.

Но ничего этого не случилось. Дуся молча выслушала его и сказала:

— Можно. Только пусть грузчиков достаточно поставят.

И больше ни слова.

Она ни разу не взглянула ему в лицо, стояла отвернувшись. И потом, когда уже они начали работать на четыре вагона, тоже разговаривала так же спокойно, как будто ничего между ними не произошло. Но точно так же не смотрела на него. Николай, удивлённый выдержкой Дуси, чувствовал себя ещё более виноватым.

Собрание, на котором Дуся впервые почувствовала своё право на то, чтобы люди слушали её, было поворотным в её жизни. Ей стало ясно то, к чему она шла ощупью, чего добивалась, присматриваясь к работе других крановщиков, сопротивляясь влиянию такого мастера, как Николай Ермаков. Её поиски оказались правильными, и это наполнило её гордым сознанием того, что и её труд нужен людям.

Упорная и целеустремлённая, Дуся обладала внутренней гармонией истинно женской натуры, и эта гармония была и в её работе. Через две-три недели она по выработке сравнялась с лучшими крановщиками. Она научилась выбирать для крана наивыгоднейшее место и добивалась, чтобы и суда и вагоны тоже ставили так, как удобнее для работы. И её слушались. Требовательность, вызванная не капризом, не грубостью, а общими интересами дела, всегда убедительна для рабочего человека.

Но чем больше развивались новые стремления Дуси, тем больше отходили на второй план владевшие ею раньше побудительные мотивы. Ей попрежнему хотелось побольше заработать. Ей попрежнему хотелось, чтобы Сутырин гордился ею. Но теперь сама работа, эти мучительные и вместе с тем радостные поиски нового, лучшего доставляли ей огромное удовлетворение. И чем более значительными и очевидными становились для окружающих результаты её усилий, тем больше росло в ней чувство собственного достоинства, тем чувствительнее становилась она к общественному мнению о себе, к тому общественному мнению, с которым не

хотела раньше считаться. Она осознавала себя не просто Дуськой, о которой говорят с двусмысленной улыбкой, а передовым крановщиком Ошурковой, чьей работой интересуются все.

Именно поэтому Дуся, несмотря на всё, что произошло между ней и Сутыриным, продолжала работать так же, как работала раньше. И именно поэтому, когда Николай Ермаков, тот самый Николай Ермаков, который причинил ей столько зла, обратился к ней с предложением работать двумя кранами на четыре вагона, Дуся встретила его и ответила ему так, как подобало встретить одному работнику другого, обратившегося с предложением улучшить общее дело.

#### Глава тридцать четвёртая

Ни Леднёв, ни Катя ни перед кем не хотели скрывать своих отношений. Но огласить их они решили после того, как Леднёв переговорит с дочерью.

— Я не хочу, чтобы Ирина узнала об этом от кого-то третьего, — сказала Катя, — поэтому никто пока ничего и не должен знать.

Как и прежде, они встречались вечерами, обычно в субботу или в воскресенье, но не на откосе, как раньше, а уезжали на катере Леднёва километров за тридцать от города и купались где-нибудь на песчаном волжском берегу.

Это были чудесные прогулки.

Леднёв любовался Катей — гибкой и стройной в синем купальном костюме. Она заплывала далеко от берега, и он с беспокойством окликал её. Иногда, когда они плыли рядом, Катя вдруг ныряла, отплывала под водой в сторону и затем, вынырнув, смотрела, как Леднёв растерянно поворачивается то вправо, то влево и не может её найти. И Катю смешили и трогали и его неуклюжесть, и беспокойство, и то, что сам он держится поближе к берегу.

Потом Леднёв расстилал на песке свой плащ, и они долго лежали так, утомлённые, счастливые, покорённые прелестью этой ночи с её прохладой, таинственной тишиной пустынных берегов, неясными звуками ночной реки.

В такие минуты ей ничего не надо было, только лежать так вот, положив голову на его колени, ощущая прикосновения его рук, слушая его голос, его тихий смех. Всё в нём казалось ей таким особенным, удивительным. Она открывала глаза и долгим взглядом смотрела в его склонившееся над ней лицо.

Потом она закрывала глаза, ещё теснее прижималась к нему и говорила:

— Я тебя ужасно люблю. Я всё время думаю только о тебе. Я не могу понять, что ты со мной сделал...

Она улавливала в его тихом смехе нотки удовлетворённого самолюбия и печально говорила:

— Но ты так не любишь меня, как я тебя. Ты какой-то серьёзный, спокойный... А что, если ты меня разлюбишь?

— Я не могу тебя разлюбить.

— А вдруг?

— Никакого «вдруг» не может быть.

— Какой ты благополучный, — говорила она, растягивая слова, — благополучный какой-то... Всё тебе ясно, всё ты знаешь...

— Да, всё мне ясно, всё я знаю...

— И ничего не может произойти, ничего не может случиться...

— Ничего, конечно... Разве только ты вот сейчас простудишься.

— Ты уже хочешь ехать?

— Я боюсь — ты простудишься.

— Ну, побудем ещё, успеем.

— Тебе надо выспаться — завтра на работу.

— Ну, и пойду на работу. А ты начальство — можешь опоздать...

Потом она говорила:

— Я так люблю бывать с тобой. Знаешь, днём на работе я о тебе всё время думаю, а вот не так люблю... Нет, это не то слово... Я тебя так же люблю, но иногда хочется поругаться с тобой. Я понимаю, на работе не без этого, ты не можешь заниматься только моими делами... Я знаю, что я неправа. Потом эти осторожные звонки, наши тайные свидания. Это пока неизбежно... А здесь мы одни, и никто нам не нужен, и мы оба хорошие, самые лучшие. Правда ведь?

Вместо ответа он тихо смеялся.

— Ну, скажи, почему ты не отвечаешь?

Тогда он целовал её...

Она тихо говорила:

— Я тебе рожу сына. Ты не хочешь?

— Почему не хочу? Я этого не сказал.

— Но ты и не сказал, что хочешь. — Она вздыхала. — Я понимаю, ты думаешь об Ирине... Когда она приезжает?

— Послезавтра... Тебе, может быть, будет тяжело, неприятно...

Некоторое время она лежала молча, потом сказала:

— Я думаю не о себе, а об Ирине. Ей будет тяжело, и мне жаль её... Знаешь, дети на такие вещи реагируют очень болезненно...

Она поднялась и некоторое время молча смотрела на освещённую лунной реку...

— Но я понимаю, что должна всё взять на себя, — сказала она наконец, — и я верю, что Ирина полюбит меня.

Но то, что казалось таким ясным в рассуждениях, оказалось совсем другим в первый день свидания. С волнением подымалась Катя по лестнице и не без душевного трепета нажала кнопку звонка. Теперь первая встреча с девушкой, в жизнь которой она вторгается, страшила Катю. Она чувствовала себя виноватой перед Ириной. Этот дом, эта дверь казались ей чужими, как чужими вдруг стали люди, которые живут за ней... Мысль, что Ирина встретит её враждебно, угнетала Катю. Ей вдруг захотелось уйти. Но за дверью послышались шаги, и Леднёв открыл ей дверь...

Катя, ожидавшая встретить ребёнка, увидела девятнадцатилетнюю девушку, невысокую, тоненькую брюнетку с умным лицом и карими глазами, выразившими живое, может быть, несколько насмешливое любопытство. Чёрные, густые, сросшиеся на переносице брови и густой южный загар делали её похожей на армянку; вместе с тем в очертаниях лба и губ что-то неуловимо, но очень сильно напоминало Леднёва, и это сходство двух людей — блондина и брюнетки — было удивительно. Она лежала на диване с книгой в одной руке и яблоком в другой, несколько картинная в ярком халатике и зелёных туфельках с мохнатыми белыми помпончиками на носках.

— Вот, Иришка, знакомься, — суетливо говорил Леднёв, — товарищ Воронина Екатерина Ивановна, а это вот моя Иришка, целыми днями лежит и грызёт яблоки.

Ирина пошарила позади себя рукой, вытащила яблоко и протянула его Кате.

— Хотите?

Леднёв пододвинул к дивану стулья. Катя села и взяла яблоко. Оно было с одной стороны желтоватое, с другой — красное, и на стебельке висела зелёная веточка.

— Эти я в Понырях купила,—говорила между тем Ирина,—а вот эти...

Она снова начала шарить за спиной, но, не найдя то, что искала, поднялась на локте и повернулась. Пружины дивана ослабли, и по нему покатались яблоки, груши, сливы, две маленькие дыньки, нож с костяной рукояткой, тарелка... Всё это лежало за спиной девушки вместе с двумя книжками, помятой тетрадью, самопишущей ручкой, камешками с морского берега, полотенцем и большим пушистым котом, который лениво потянулся, спрыгнул с дивана и медленно, ни на кого не обращая внимания, пошёл по комнате.

— Большое хозяйство у тебя, — засмеялся Леднёв.

— А я решила весь день сегодня не вставать с дивана, — ответила Ирина, собирая раскатившиеся яблоки, — положила, чтобы всё было под рукой.

— Всё выдумываешь. — Леднёв потрепал дочь по щеке и встал. — Ну, вы меня извините, я пойду распоряджусь по хозяйству.

Леднёв вышел. Наступило неловкое молчание. Первой его прервала Ирина.

— Вы в пароходстве работаете? — спросила она, из-под полуприкрытых век окинув быстрым взглядом форменную одежду Кати.

По тому, как Ирина встретила Катю, можно было решить, что она ничего не знает об отношениях Леднёва и Кати. Но она не могла не заметить смущения отца и, следовательно, не могла не догадаться, что означает появление Кати в их доме. Кате казалось, что вежливость Ирины только прикрывает её неприязнь. Но Катя понимала, что всё зависит от неё: она старше Ирины и она входит в её жизнь... Дружелюбно посмотрев на Ирину, Катя ответила:

— Почти что. В порту.

— Я одно время тоже думала пойти в водный, а потом передумала и пошла в медицинский, — сказала Ирина, продолжая устраиваться на диване и оттого не глядя на Катю.

— Нравится?

— Первый год... Ещё только общеобразовательные проходят, общую медицину, а так ничего...

— Какую специальность вы изберёте?

— Специализация начинается только на третьем курсе...

Опять наступило молчание.

— Я вам очень завидую, самое счастливое время — институтское время, — сказала Катя для того, чтобы что-нибудь сказать, чувствуя, что говорит банальные вещи, которые обычно говорят студентам.

Ирина равнодушно вздохнула.

— Все так говорят. А мне хочется поскорее закончить институт. Ещё пять лет — долго.

— Да, я понимаю, — сказала Катя, — но потом, много лет спустя вы будете очень хорошо вспоминать это время. Когда учишься в институте, то всё впереди — что может быть лучше? Правда ведь? — Потом спросила: — Вы были на Кавказе?

— Я? Да, в Гаграх.

— Хорошо там?

— Мне не понравилось. Много народу, шум, жара. Вы там бывали?

Ирина опять скользнула по Кате быстрым взглядом.

— Нет. Стыдно сознаться, но я ни разу не была ни в Крыму, ни на Кавказе. Летом у нас самая работа, навигация.

— Да, это правда, — посочувствовала Ирина, — вот папа тоже никогда не может выбраться летом, а зимой какой курорт! Только в Ессентуки ездит лечиться.



Она похлопала себя по животу, показывая, что лечит в Эссендуках её отец.

— Что это вы обо мне говорите? — спросил Леднёв, входя в комнату.

— Говорим, что ты в Эссендуки ездешь, — сказала Ирина.

— Приходится. — Леднёв сел на прежнее своё место. Он был без кителя, в светлой рубашке с отложным воротником, но в форменных брюках с кантом.

— Ну, познакомились, поговорили? — спросил он, переводя взгляд с Ирины на Катю. В тоне его вопроса было нескрываемое желание, чтобы они подружились, и ещё большее желание уверить себя, что это именно так.

— Познакомились, — ответила Катя, с вопросительной улыбкой поглядывая на Ирину.

— Познакомились... Что это Галя нас обедать не зовёт?

Ирина поднялась с дивана.

Но всё то, что только улавливала Катя в Ирине, она в полной мере почувствовала за столом в поведении домашней работницы Галины Семёновны, тучной женщины в очках с железной оправой. Своей преувеличенной любезностью та показывала, что отлично понимает, какое положение собирается занять Катя в доме, где она сама прожила пятнадцать лет, выходила девочку, и, слава богу, хорошо выходила. И дом держала как полагается, но теперь, конечно, наступают другие времена... Ну и что же, так бывает: отработала жизнь, а теперь не нужна стала...

Всё это прочитала Катя на лице Галины Семёновны. Но, странное дело, оттого, что она теперь твёрдо убедилась в том, что и Ирина и Галина Семёновна всё знают и всё понимают, Катя сразу успокоилась. Всякая неопределённость всегда тяготила её, наоборот, определённость положения только подтягивала её. Всё ясно, всё в порядке! Все здесь ведут себя правильно потому, что иначе вести себя не могут. Галина Семёновна не может не беспокоиться по поводу того, что в доме, где она столько лет была полновластной хозяйкой, появится другая хозяйка, настоящая. Леднёв не может не смущаться потому, что жалеет дочь и немного стыдится её. И сама Ирина тоже должна насторожённо присматриваться к человеку, который вторгается в её жизнь. Всё это надо преодолеть, и тогда всё будет хорошо. Она должна войти в чужую семью, стать в ней родным человеком, и она сделает это, пройдёт через всё.

Сразу потеплевшими глазами она посмотрела на Ирину. Та рассказывала о Гаграх.

— Самая разная публика. — говорила она, — и рабочие, и колхозники, и служащие, и актёры были... Ну, а ещё много каких-то дамочек, не поймёшь, кто они и что. Жара невыносимая, а они туалеты демонстрируют, и кому нужны их туалеты...

— Подрастёшь, узнаешь, зачем нужны туалеты, — ответил Леднёв.

— Так ведь я не говорю, что они не нужны. Они нужны, но вопрос в том — где и когда. Там, кроме сарафана, ничего не надо, честное слово, сарафан и тапочки, больше ничего...

— Сама-то повезла целый чемодан, — засмеялся Леднёв.

— И напрасно! И зря повезла! Если ещё поеду, ничего с собой не возьму, честное слово... Вещевой мешок, и всё!

— Лучше всего, наверно, отправиться в туристский поход, — сказала Катя.

— Да, наверно, интересно, — согласилась Ирина, — только хлопотно. И потом не всякий может пойти в туристский поход. Ведь надо

итти. И не просто итти, а ещё и лазить по горам. Ну как вот, например, папа пойдёт?

— Не беспокойся, — сказал Леднёв, — так пойду, что и ты не догонишь...

— Давай попробуем...

— Давай, давай...

— Ну, уж, Константин Алексеевич, ходок вы действительно слабый, — засмеялась Катя, — помните, я вас приглашала в Кадницы, а вы боялись, что на горку не взберётесь...

— А вы из Кадниц? — живо спросила Ирина.

— Да.

— Хочу съездить в Кадницы, — сказала Ирина, — я так много о них слышала от бабушки... У меня бабушка в Харькове живёт, у тётки, как приедет, всё о Кадницах рассказывает.

— Взяли бы и съездили, — сказала Катя, — здесь недалеко.

— Да вот всё прошу его и прошу, а он всё не может и не может.

— Некогда, Иринушка, — сказал Леднёв.

— Да, всё некогда, некогда...

— Я вас свожоу в Кадницы, — сказала Катя, — я хорошо знаю эти места.

— Вот и съездим, а папа пусть дома сидит.

Ирина продолжала дружелюбно подтрунивать над Леднёвым. Она относилась к нему, как относится взрослая дочь к ещё не старому и любимому отцу в доме, где нет матери... В чём-то она держала себя даже как более взрослая. Видно, что выросла среди взрослых, привыкла участвовать в их разговорах и чувствовать себя равной со всеми. Но именно в отношении Ирины к Леднёву Катя почувствовала то тёплое и человеческое, что всё время искала в ней. Ей вдруг захотелось обнять Ирину и сказать ей: «Мы будем любить друг друга, будем хорошими друзьями». Всматриваясь в Ирину, Катя пыталась по ней составить себе представление о её матери, о покойной жене Леднёва. Она, конечно, была брюнетка, возможно грузинка, армянка или еврейка... Умная... Живая... Она была врачом, и Ирина тоже хочет стать врачом. Катя опять подумала о том, что Ирина выросла без матери.

С этим чувством уходила Катя домой.

— Посидели бы ещё, — говорил Леднёв, подавая ей пальто и с доброй, хотя и несколько смущённой улыбкой заглядывая ей в глаза. Он называл её на вы потому, что Ирина тоже вышла в коридор и стояла, прислонившись к косяку двери, поёживаясь, запахиваясь в свой яркий халатик, улыбаясь, как молодая хозяйка дома, которая рада гостям, но ещё больше радуется, что гости уходят и она снова устроится на диване, где ей так хорошо и приятно было одной.

— Я вас провожу, — сказал Леднёв.

— Нет, не надо. Я сразу на троллейбус и домой. — Катя повернулась к Ирине: — Так договорились, поедем в Кадницы?

— Поедем, — продолжая посмеиваться, сказала Ирина.

Из кухни вышла Галина Семёновна. Натянута улыбнулась:

— Уж и уходите... И не посидели вовсе... А у меня чай готов. Попили бы чайку...

— Нет, спасибо, меня дома ждут, надо итти.

— А то попили бы, — повторила Галина Семёновна тоном давно живущего в доме человека, который имеет право приглашать гостей к столу и который вместе с тем хочет в последнюю минуту несколько смягчить свою неприветливость, но запоздалой вежливостью только подчёркивая своё недружелюбие.

Катя всё понимала, но не сердилась и не обижалась. Сейчас Леднёв будет говорить с дочерью. Как ни тяжело было всем первое свидание, они прошли через него, дальше будет легче.

— Понравилась тебе Екатерина Ивановна? — спросил Леднёв Ирину, когда они вернулись в комнату.

— Ничего, симпатичная, — ответила Ирина, снова устраиваясь на диване и закладывая в углубление возле спинки фрукты и книги. — Спокойная и, видно, неглупая.

Леднёв прошёлся по комнате, придвинул стулья к столу, одёрнул скатерть, зачем-то переставил две книги на этажерке...

— Ты влюблён в неё? — неожиданно спросила Ирина, продолжая устраиваться на диване.

Первым побуждением Леднёва было сказать: «Ну вот ещё, что за глупости ты выдумываешь». Но он понял, что если скажет так, то на очень долгое время лишит себя возможности сказать дочери правду.

Продолжая переставлять книги на этажерке, он сказал:

— Немного есть.

— Я так и подумала.

— Почему?

— Все влюблённые удивительно глупеют. Прямо на глазах.

Он засмеялся.

— Вот как?! Значит, я выглядел дураком... Чем же?

— Так... Это трудно объяснить. Ты смущался...

— Не ври.

— Правда. Я всё видела. И она тоже. Сидит, точно аршин проглотила.

— Она вообще очень скромный человек, — сказал Леднёв, — и не болтунья. Оттого и молчала.

— Положим, не всё время она молчала. И не такая уж она скромная, как кажется.

Леднёв удивлённо повернулся.

— Ты что имеешь в виду?

— Она не то что недобрая или злая, а как тебе сказать... Суровая, строгая, немножко профсоюзная тётя... Сухая очень... Правда, красивая, но, понимаешь, немного похожа на классную даму... Вот увидишь, она тебе ещё будет нотации читать, если уже не читает.

— Ах ты, психолог! — Леднёв подошёл и сел на стул возле дивана. — Разве можно с одного взгляда определить человека?

Ирина убеждённо ответила:

— Конечно, можно. Только с первого взгляда и определишь человека.

— Нет, это неверно, — возразил Леднёв. — Для того, чтобы узнать человека, надо очень много времени.

— А давно ты знаешь Екатерину Ивановну? — Ирина лукаво сощурила глаза, точно поймала отца на том, что он сам мало знает Воронину и, следовательно, говоря о ней хорошо, противоречит собственным словам.

Леднёв потёр ладонью лоб.

— Я знаю её с апреля месяца.

Ирина лежала на спине, устремив глаза в потолок.

— С апреля... Это сколько же времени? Четыре месяца... Когда же это ты с ней встречался? Что-то я её ни разу у нас не видела.

— Встречался на работе, в порту... — неопределённо ответил Леднёв.

Он протянул руку и погладил волосы дочери. Ирина продолжала лежать, не двигаясь, попрежнему устремив глаза в потолок.

— Ты права, Ириша, у неё, конечно, жестковатый характер, но она добрый и порядочный человек. И я бы хотел, чтобы ты с ней подружилась.

Она вдруг прижалась щекой к его руке и, не открывая глаз, тихо спросила:

— Ты хочешь на ней жениться?

Он нервно откашлялся.

— Ну, до этого ещё далеко...

Она вздохнула.

— Нет, хочешь. Я это вижу... — И, помолчав, прошептала: — Ведь нам было так хорошо вместе...

Он снова погладил её, с нежностью ощущая в своей ладони её маленькое лицо...

— Дурочка, Иришка... Мы и будем вместе...

— Нет, это уже не то...

— Ах ты, моя девочка... Ну, а когда ты кончишь институт, выйдешь замуж, уедешь, с чем и с кем я останусь? С Галиной Семёновной?

Он спросил это шутливо, но за этим вопросом скрывалось подтверждение того, что он хочет жениться, думает об этом и что сегодняшний приход Екатерины Иваповны связан именно с этим, а не с чем другим.

Ирина снова откинула голову на валик дивана и устремила глаза вверх. Некоторое время они молчали.

Леднёв думал о том, что всю свою жизнь он отдал дочери. И всегда где-то подсознательно жило в нём опасение, что она может лишиться всего, к чему привыкла, в чём выросла, может остаться одна, маленькая, беспомощная...

— Да, это верно, папка, — сказала вдруг Ирина, не поворачивая головы. — Тебе, конечно, надо жениться. Мне это, конечно, не то что неприятно... А как тебе сказать... Какая-то чужая женщина будет здесь ходить, распоряжаться, надо будет к ней привыкать и ей к нам... Но это ничего, это ничего...

Попрежнему не оборачиваясь, она протянула свою тоненькую руку и провела пальчиками по его голове, волосам, лицу тем ласковым и нежным жестом, к которому он так привык и который так всегда трогал его.

Вошла Галина Семёновна и начала накрывать на стол к чаю. Она сердито молчала, как человек, который знает, что его считают в чём-то виноватым, но сам он этого не считает и готов дать отпор.

Галина Семёновна двигалась по комнате, сердито хлопая дверками буфета, звеня посудой, и делала всё это нарочно медленно, возилась, копошилась, дожидаясь, когда же с ней заговорят. Но с ней не заговаривали, и она, сердито стукнув дверью напоследок, ушла на кухню.

Ирина сказала:

— Я только хочу, папка, чтобы она тебя любила и была предана тебе. Знаешь, так много неискренних людей.

— Тебе она кажется неискренней?

— Нет, я не про неё говорю, а вообще... Она как раз, наоборот, кажется мне прямым человеком, даже, может быть, чересчур прямым... Но мне очень будет неприятно видеть, если она станет тебя огорчать...

— Ну, огорчать я себя не дам, — засмеялся Леднёв. — А потом, ты говоришь так, как будто я уже решил что-либо. Ничего я ещё не решил и не собирался решать. Екатерина Ивановна нравится мне как человек, я хочу, чтобы ты с ней подружилась. Она будет к нам приходить в гости, и тогда мы всё это посмотрим и всё обдумаем...

— Нет, папка, — сказала Ирина и снова прижалась лицом к его ладони, — ты уже всё решил.

## Глава тридцать пятая

Мысль о поездке с Леднёвыми в Кадницы захватила Катю: ей казалось, что эта поездка сдружит её с Ириной.

В ближайшее воскресенье она постаралась пораньше освободиться на участке. Накануне Леднёв сказал ей, что зайдёт утром в пароходство тоже на самое короткое время и к двенадцати часам будет готов. Они поедут до Кадниц на катере, а обратно, часам к шести, за ними приедет машина.

Анастасия Степановна, как всегда, когда ей приходилось хотя бы косвенно соприкасаться с грозной свекровью, засуетилась, собирая гостипицы и всё, что бабушка наказывала ей прислать.

— Разве угодишь старой, — ворчала она, — что ни сделай, всё нехорошо. Ты уж, Катерина, так скажи: мол, всё, что могла достать, прислала, а уж чего нет — того нет. И мне тоже некогда по магазинам бегать.

Впервые с начала навигации Катя так рано уходила с участка, и, хотя было воскресенье и она имела право на выходной день, она покидала порт с беспокойным ощущением чего-то недоделанного, с опасением, что в её отсутствие произойдёт что-нибудь непредвиденное. Но и это не могло омрачить радости, которую испытывала Катя оттого, что едет в Кадницы, едет с Костей и Ириной и увидит бабушку и родной дом...

В половине двенадцатого Катя позвонила Леднёву и сказала ему, что готова.

— Высылаю за тобой машину, — ответил Леднёв, — подъезжай к пароходству, я сейчас освобожусь.

В воротах Катя столкнулась с начальником третьего участка Костюковым.

— Катюша, — закричал он, — ты что, уходишь?

— Да. — Катя остановилась. — Решила сегодня немного отдохнуть, устала.

— Тебе можно.

— Что можно: уставать или отдыхать?

— Отдыхать.

— Почему это?

— Ты ведь у нас особенная, образцово-показательная. — Он беззлобно рассмеялся.

— Ладно, ладно, без намёков! — весело сказала Катя. — Завидуешь? Ну, говори, чего надо?

— Слушай, Катюша, честное слово, — торопливо заговорил Костюков, словно боясь, что его прервут и, не дослушав, откажут в просьбе, — честное слово, тебе маршрут под соль подгоняют, а у тебя всего одна баржа с солью.

— Ну и что? — угадывая просьбу Костюкова и сразу готовясь к отказу, спросила Катя.

— Слушай, — Костюков прижал правую руку к груди, — честное слово, будь человеком... У меня три баржи с солью!

— Ну да, — усмехнулась Катя, — вагоны передадут тебе, а я сама буду стоять.

— Да мне только начать, честное слово! А стоять ты не будешь. Мне на завтра Кушнеров вагоны обещал — перебросит тебе. Да и всё равно тебя без вагонов не оставят.

Этот второй намёк на особенное положение участка несколько кольнул Катю. В сущности, это не совсем так. Её участок получал вагоны, хотя

и лучше других, но тоже с перебоями. Правда, Костюкову действительно трудно, сразу три баржи подвалило.

— Ладно, — сказала она, — передай диспетчеру, я не возражаю.

Он схватил её за рукав и комично вытаращил глаза.

— А кто мне поверит? А где тебя потом искать? Напиши записку.

Длинные коридоры пароходства были необычно пусты. Отдалённое хлопанье двери, голоса из диспетчерской, заглушённые толстыми стенами, одинокие телефонные звонки, на которые никто не отвечал, — всё это только подчёркивало воскресную тишину большого учреждения.

Катя быстро прошла через приёмную — тоже пустую, без секретарши, стенографистки, без посетителей — и открыла дверь кабинета...

Она была настолько уверена, что сразу увидит Ирину, и так ждала её приветливой улыбки, что в первую минуту даже не сообразила, что Ирины в кабинете нет...

Леднёв стоя разговаривал по телефону. Кивком головы он поздоровался с Катей и глазами указал ей на кресло...

Кресла и стулья в кабинете стояли в том порядке, в каком их оставила уборщица, — видно было, что никто на них сегодня не садился. На столе не было бумаг, и сам Леднёв, стоявший с телефонной трубкой в руках, выглядел случайно зашедшим сюда человеком.

Решив, что Ирина задержалась дома и что они заедут за ней, Катя терпеливо дождалась Леднёва, рассеянно слушая, как он говорит с Толчёновым, начальником одного из портов на Волге. Но постепенно разговор заинтересовал её, и она начала внимательно прислушиваться.

— Всё это понятно, товарищ Толчёнов, — нетерпеливо морщась, говорил Леднёв. — Вы всегда ссылаетесь на объективные условия. Довольно, хватит. Вы с мая месяца не можете исправить положение. С мая месяца! Кто же за вас будет навигационный план выполнять?..

Катя хорошо знала Толчёнова, человека по натуре спокойного и доброго, но вечно раздражённого тем, что он работает в самом тяжёлом порту, в самых сложных и трудных условиях.

Хмуро посматривая на Катю, Леднёв некоторое время слушал молча, потом с ещё большим раздражением заговорил:

— При чём здесь условия?! На участке Ворониной такие же условия, а вот ведь добились скоростной погрузки. А у вас суда неделями стоят... Те же суда и те же условия, что и у вас. А вот добились. Захотели и добились. А вы не хотите. Или не можете, тогда так и надо сказать...

У Кати неприятно защемило сердце. Впервые при ней Леднёв ссылался на её участок, ставил его в пример. Она представила себе Толчёнова и условия его работы. Разве можно приводить ему в пример именно её участок, работающий в лучших и, честно говоря, во многом искусственных условиях?.. Ей за глаза вдруг стало стыдно перед Толчёновым, как школьнице, которую учитель незаслуженно ставит в пример другим ученикам, знающим, что это несправедливо...

И ироническое замечание Костюкова насчёт опытно-показательного участка предстало перед ней в новом свете.

— Ну, вот и всё, — сказал Леднёв, кладя трубку на рычаг, — можем ехать.

Выражение раздражения и нетерпеливости, которое было у него на лице при разговоре с Толчёновым, точно рукой сняло. Глаза мягко и приветливо улыбались Кате, как будто ничего не произошло. Он исполнил свой начальнический долг, поругал подчинённого, увидел Катю и потому сослался на неё. А теперь уже забыл об этом и думает только об их

поездке в Кадницы и больше ни о чём. И это было так просто и естественно в нём, что обескуражило Катю.

— А где Ирина? — спросила она.

— Ах, да, — спохватился Леднёв, — понимаешь, не может ехать...

— Да? — растерянно проговорила Катя, подумав, что Ирина, наверное, просто не захотела ехать с ней.

— Ты ей позвони, — сказал Леднёв, поднимая трубку и протягивая её Кате.

— Нет, зачем же? — ответила Катя, не глядя на Леднёва. — Не может, чего ж звонить?

— Позвони, позвони, — улыбаясь, сказал Леднёв, — она просила тебя...

Катя услышала в трубке голос Ирины, и этот голос, простой и приветливый, сразу успокоил её.

— Если бы вы знали, Екатерина Ивановна, как мне жалко, просто ужасно жалко. Но это так неожиданно, папа только сегодня утром мне сказал, а я как раз вчера договорилась с ребятами встретиться сегодня, в воскресенье, и теперь мне неудобно подводить.

— Не можете — значит не можете, что поделаешь, — сказала Катя, — поедем туда зимой на лыжах кататься.

— Вот это обязательно, — ответила Ирина, — обязательно.

Катер нёсся по реке, высоко задрав кверху нос, равномерно похлопывая по волнам широким днищем. Яростно стрекотал мотор. Вода бурлила за винтом, оставляя длинный пенистый след. Сильные брызги обдавали сидевших на корме Катю и Леднёва, не задевая, как заметила Катя, сидевшего перед ними моториста.

Вот уже остались позади зубчатые стены Кремля, широкая лестница, поднимающаяся к памятнику Чкалова, и самый памятник, массивы домов на высокой горе и маленькие домишки, сбегающие с неё по откосам, террасам, обрывам и припадающие к самой реке, и сразу потянулся берег, изрытый оврагами, заросший лесом.

Привычная и родная картина. Блестит в овраге ручеёк. Узкая тропинка вьётся меж зарослей вяза. Кусты черёмухи вошли в самую воду. Чайки кружат над рекой. В чаще деревьев — красные и зелёные крыши дач. Рощи осокорей — этого стройного, душистого, с дрожащими листьями спутника Волги от Горького и до самой Астрахани. Дальние излучины берега, синеватые и чёткие, точно вырисованные на небе. И белые глыбы утёсов, ослепительно сверкающие на солнце.

Катя с наслаждением вдыхала знакомый запах реки. Леднёв сидел рядом с ней. Он был без кителя, в сетке с короткими рукавами, хорошо сложенный, но не загоревший и не тренированный, отвыкший от физических упражнений.

Незаметно, чтобы не видел моторист, Катя щипала Леднёва за руку и вполголоса говорила:

— Ты создан для физической работы, тебе грузчиком работать, а не в кабинете сидеть. Ты хоть зарядку делаешь, скажи?

Вместо ответа Леднёв притягивал Катю к себе, но она вывёртывалась и с испугом показывала на моториста...

— Вот-вот, — продолжала она шёпотом, — всё сидишь в кабинете и заучиваешь такие приятные фразочки: «Как мы будем выглядеть?», «Руководство нас поправит», «Подберите людей!», «Правильно расставьте людей», «Поговорите с народом», «Не ссылайтесь на объективные условия»... Бррр... И где это ты нахватался всего этого, ну, скажи...

Леднёв беззлобно смеялся. В катиной передаче весь этот набор казённых фраз звучал действительно очень смешно.

— Нет, правда, скажи, — приставала Катя, то прижимаясь к Леднёву, то отодвигаясь от него.

Когда они проезжали мимо села Великий Враг, Катя сказала:

— Какое странное название «Великий Враг», правда?

Леднёв по своему обыкновению неопределённо поднял брови. Катя знала эту его привычку неопределённо поднимать брови в тех случаях, когда он не мог или не хотел выразить своего определённого отношения к чему-либо. Но сейчас это движение чем-то задело её.

— Как ты думаешь, откуда это название?

— Не знаю...

— Но что ты предполагаешь?

Он опять неопределённо повёл бровями.

— Ничего не предполагаю.

— Не хочешь высказываться, боишься ответственности? — вдруг рассмеялась Катя.

Он с удивлением обернулся к ней.

— Что ты этим хочешь сказать?

— Что?.. Да так, ничего.

— Нет, всё-таки.

— Понимаешь, — сказала она, — у тебя странная манера реагировать на всё мимически. Это, конечно, очень удобно — мимику можно истолковать по-разному.

— Какая же у меня мимика? — заинтересованно спросил он.

— Разная. — Катя быстро, но внимательно посмотрела на Леднёва, точно вспоминая все выражения его лица, которые ей приходилось видеть. — Разная. Вот улыбка: неопределённая, какая-то расплывчатая — её можно принять и за одобрительную и за осуждающую; многозначительная — её можно счесть и благожелательной и недоверчивой... Потом — этакое неопределённое поднимание бровей, какой-нибудь кивок, наклон головы, который может означать и согласие и простое принятие к сведению, а может и вообще ничего не означать. — Она снова посмотрела на Леднёва и, сама увлечёвшись этим описанием, со смехом продолжила: — Мычание, которое понимай как хочешь, а не хочешь — так вовсе не понимай... Богатая у тебя мимика, честное слово! И говоришь ты точно так же! Какое-нибудь фигуральное выражение, смысла которого бесполезно доискиваться, или неопределённая интонация голоса, по которой ничего не определишь...

— Расписала! — добродушно засмеялся Леднёв. — Когда ты всё это посмотрела?

— Сейчас, — ответила Катя, думая о том, что видела это и раньше, но только сейчас отчётливо осознала.

— И не права! — сказал Леднёв. — Я действительно не знаю, почему это село называется «Великий Враг». Но ведь и ты тоже не знаешь.

— Я не знаю, но предполагаю. Это название, повидимому, сохранилось с древних времён. Может быть, здесь враги стояли во время татарского нашествия, а может быть, раньше.

Леднёв опять неопределённо качнул головой и сам засмеялся этому движению. Потом сказал:

— А я думаю, что дело гораздо проще. Тут большой овраг. Наверно, отсюда и происходит. Сначала «овраг», потом «враг».

— Нет, — сказала Катя, — я настаиваю на своей версии. Она более романтична.

— Ну и пусть будет по-твоему.



Вдали, на высоком мысу, сквозь полуденное марево заблестел купол церкви. Её белая колокольня точно висела в воздухе. Кадницы!

— Жаль, всё же, что Ирина не смогла с нами поехать, — сказала Катя.

— Я виноват, — сказал Леднёв, — вчера пришёл — она уже спала, сказал ей только сегодня, а уже поздно.

— Ты говорил с ней? — тихо спросила Катя.

— Говорил.

— Ну и что?

— Она всё понимает. Так прямо и сказала: ты жениться хочешь.

— Ну?

— Ну и благословила.

— Ты правду говоришь?

— Честное слово, Катюша, — искренне сказал он. — Неужели бы я стал тебя обманывать? Она умная девочка, всё понимает, и ты ей понравилась. Только боится, что ты меня будешь обижать. — Он засмеялся. — Правда, правда!..

— Неужели я ей показалась такой ведьмой? — улыбнулась Катя, сразу поняв, что хотела сказать Ирина, и радуясь проницательности девушки.

— Нет, ты ей понравилась, но показалась немного строгой. Вот она и пожалела меня заранее. — И Леднёв добродушно добавил: — Наверно, не зря, а?

#### Глава тридцать шестая

Вот и Кудьма. Всё тот же шаткий деревянный мостик, лодки на берегу, сети на кольях и каменная тропа с острыми гранями булыжников и мелкой, осыпающейся под ногами галькой. Лавчонка сельпо, похожая на маленький кирпичный сарай. Узенькие улочки. Тесно прижавшиеся друг к другу дома. Наклонные участки огородов, сады на склонах горы. Старики в кителях с якорями на медных пуговицах, в форменных фуражках — отдыхающие на покое ветераны волжского флота. Незнакомые молодые люди, девушки — наверно, студенты, приехавшие на каникулы. Дети, которых узнаешь только по тому, из чьих домов они выходят. Затихающие в вечернем тумане звуки улицы. И поля в дальней синеватой дымке.

— Ничего не помню, — говорил Леднёв. — Абсолютно ничего... Одну минуточку, постой!..

Он показал вниз, на маленькую улочку, под углом спускающуюся к Кудьме.

— На той улице наш дом?

— Нет! — Катя взяла его за локоть и повернула в противоположную сторону, где виднелась такая же, отлого спускающаяся к берегу улочка. — Вон на той улице вы жили. Видишь?

— Неужели? — удивился Леднёв. — А мне казалось, что именно с этой стороны я всегда спускался к Кудьме.

— Это всегда так бывает, — сказала Катя, — всегда, когда давно где-нибудь не был, кажется, что всё было не так. Мне, например, когда я приезжаю в Горький по железной дороге, кажется, что вокзал расположен с другой стороны.

— Да, это бывает, но, повидимому, только в детстве... Хотя... В данном случае про меня этого сказать нельзя... — улыбаясь и тяжело дыша после подъёма в гору, ответил Леднёв.

Они повернули на улицу, где стоял дом Екатерины Артамоновны, и Катя сразу увидела у калитки бабушку.

«Ждёт почту», — подумала Катя и ускорила шаг, улыбаясь и волнуясь, как всегда, когда она приезжала в родной дом.

— Вот уж обрадовала так обрадовала, — говорила Екатерина Артамоновна, обнимая и целуя внучку. — Совсем забыли старуху. Жду, жду, никак не дождусь... Вот уж радость-то, радость...

— Познакомься, бабушка, — сказала Катя громко: бабушка была глуховата.

Леднёв протянул Екатерине Артамоновне руку, невольно улыбаясь важной осанке старухи.

— Милости просим, милости просим, — говорила Екатерина Артамоновна, тяжело подымаясь вслед за Катей и Леднёвым по шаткой лестнице, заваленной всякой рухлядью. — Посидите, отдохните с дороги... Купались, небось, закалялись. У нас тут летом хорошо. Зимой, конечно, глухомань. А летом — дача, как есть дача, и из города приезжают... — говорила Екатерина Артамоновна, перескакивая с одного на другое, как все одинокие старые люди, радуясь случаю поговорить.

Те же полутёмные верхние комнаты с белым кафелем огромной печки и металлическими сетками от комаров на окнах, старинная широкая деревянная кровать, бюро красного дерева, невесть когда и невесть откуда появившееся в доме. И бабушка, хотя и сильно постаревшая и расплывшаяся, совсем седая и тижёлая, но всё в той же, как всегда, выпущенной кофте и широкой юбке.

— Посидите, отдохните, — говорила Екатерина Артамоновна, подвигая стулья к столу, — сейчас самоварчик согрею, перекусите. У меня к случаю пироги, вчера пекла, как знала, что приедешь... Ты, Екатерина, снимай жакет-то, снимай... И вы, — обратилась она к Леднёву, — снимайте жакет... Уморились, упарились, небось, по жаре-то...

— Ничего не надо нам, — громко ответила Катя, снимая свою белую форменную куртку. — Перекупались мы немного. Вот отдохнём и поедем в город.

— Вот и посидите, — улыбаясь, говорила Екатерина Артамоновна, не слыша, что сказала Катя, но по тому, что Катя сняла куртку, решив, что они остаются надолго. — Сейчас самовар поспеет...

— Я говорю: не надо, — громко повторила Катя, — не надо возиться. Мы ненадолго.

— Ну, ну, — расслышав наконец, замахала руками Екатерина Артамоновна. — Успеете!.. Сейчас вон софьюну девчонку крикну, она мигом всё... — Она повернулась к Леднёву. — Самой уж трудно, так соседкина дочка помогает. Быстрая девчонка, выюн, повёртливая...

— Можно закурить? — спросил Леднёв, вынимая папирсы.

— Такая девчонка...

— Бабушка! Закурить можно? — крикнула Катя, кивая на папиросную коробку в руках Леднёва.

— Чего это?.. Курите, курите... У нас в дому-то все табашники были... Курите.

На столе посвистывал самовар, по тарелкам были разложены пироги с рисом и луком и залежавшиеся, слипшиеся конфеты с фруктовой начинкой. Пироги из простого теста и мелкого, второсортного риса, но очень вкусные, с румяной, чуть кисловатой корочкой. Чай с простыми конфетами. Леднёв пил стакан за стаканом, обтирая платком вспотевший лоб.

Екатерина Артамоновна сидела молча, стараясь услышать, о чём говорят за столом. Чувствовалось, что она только и ждёт, когда обратятся к ней. И хотя к ней обращаются с вопросом, не имеющим отношения к тому, о чём говорят за столом, ей кажется, что она принимает участие в общем разговоре.

— Не скучно вам здесь, Екатерина Артамоновна? — спросил Леднёв.

— Что ж делать-то, — ответила она, — живу одна, никто ко мне не ездит, забыли старуху... Скучно, конечно... Вот я не знаю: продать, что ли, дом... Пятнадцать тысяч дают... И в самом деле продать... Дом этот — один расход. А пятнадцать тысяч получу и уеду вон к Ивану или к Марии. Денег этих мне и хватит. Долго ли мне жить-то...

— Ну и продали бы.

Она покачала головой.

— А где помирать буду? Здесь всё на своём месте. И похоронят тут... И дети не скажут, что мать померла, ничего им не оставила.

— Рано вы о смерти думаете, Екатерина Артамоновна, — сказал Леднёв.

— Так ведь как сказать? Вот Павлов-то старик... Екатерина знает его... Двух годов до ста не хватает... Бодрый ещё старик... Так ведь не всякому дано... Вот, говорят, на Кавказе люди до ста двадцати лет живут. Отчего бы это? Пицца, что ли, такая?

— Воздух там, бабушка, горный, — сказал Леднёв.

Она с сомнением покачала головой.

— А почему на Украине долго живут? И в Архангельской губернии, в газетах вон пишут. — Она обидчиво поджала губы, точно хотела сказать: нечего старухе голову морочить, сама грамотная...

— Всё вместе, бабушка, — лениво сказал Леднёв, — и воздух, и пицца, и спокойствие. Конечно, и лечиться нужно, если больны.

— Старость могила лечит, — совсем уж строго отозвалась Екатерина Артамоновна.

Катя про себя посмеивалась, слушая этот разговор. Она знала ревнивое отношение бабушки к вопросам долголетия, и её забавляло, что Леднёв попал впросак.

— Бабушка, а ты помнишь их семью, Леднёвых?

— Помню, как же не помнить, я всех помню. И родителя вашего помню.

— А ты не помнишь, бабушка, почему их «кудесниками» звали?

— Леднёвых-то? Звали «кудесниками», звали, по-нашему, значит, деревенскому прозвищу. В деревне каждому прозвание дадут...

— А почему всё-таки «кудесниками»?

Леднёв удивлённо и заинтересованно посмотрел на Катю и произнёс вполголоса:

— Первый раз слышу.

— Вот сейчас услышишь, — также вполголоса ответила Катя, предчувствуя, что бабушка сейчас расскажет что-то смешное.

— «Кудесниками» почему? — сказала Екатерина Артамоновна, вытирая краем скатерти углы рта. — А потому, что родители ваши, уважаемый, родом не кадницкие, а из Дмитриевых Гор...

— Ну и что же? — нетерпеливо спросила Катя.

— А кто родом из Дмитриевых Гор, тех всех «кудесниками» зовут... Пароход такой был — «Кудесник», давно, в наше ещё время, — медленно и несколько нараспев начала Екатерина Артамоновна, как все старые люди понимая под «нашим временем» те годы, о которых слышала от дедов и прадедов. — Ну вот... Пароход этот дровами отапливался, машина, значит, на дровах работала вместо мазута. А мужики с Дмитриевых Гор те дрова поставляли. Хозяин-то прижимист был, денежку платить, ой, как не любил, ну и задолжал мужикам за дрова. Вот подходит, значит, «Кудесник» к Дмитриевым Горам: грузи, мужики, дрова! А мужики капитану: долги платить надо! А капитан им, мужикам, значит: погрузите, рассчитаюсь. Что будешь делать? Погрузили они эти дрова — давай теперь расчёт. А капитан им вместо денег — гудок! Прощайте, мол, люди добрые! Как такое?! По какому праву? Дмитриевские мужики упрямы,

за чалки уцепились — не пустим пароход, пока полного расчёту не будет. И держат те чалки всей деревней, смех! Ну, капитан скомандовал: полный вперёд! Они все с чалками этими в воду и попадали, и стар и мал... Думали пароход за чалки удержать, такие несообразные. С тех пор их «кудесниками» и зовут. За упрямство, значит...

Катя и Леднёв смеялись.

— Ну и ну, — говорил Леднёв, вытирая выступившие на глазах слёзы, — картина, действительно...

— Вы на меня, конешным делом, в обиде не будьте, — с достоинством поджала губы Екатерина Артамоновна, — так уж рассказала, как, значит, народ говорит...

— Да что вы... Какая обида? — сказал Леднёв.

— Кто знает, какой кто человек, — сказала Екатерина Артамоновна, — а чин на вас, видать, большой... Раньше-то у нас какие чины были! Вот мой родитель капитан тоже был, большие пароходы водил, а грамоте не знал, только что расписаться. Да и то, пока фамилию выведет, семь погов с него сольёт. Необразованный народ был. Вот и выдумывали прозвища разные. А по нынешнему времени, может, и за невежество сочтут... А я, старуха, одна живу... Была у меня собака — сдохла...

— Да, правда, — спохватилась Катя, — а я думаю: где Букет?

— Подумала, так бы спросила, — обиженно ответила Екатерина Артамоновна. — Сдох Букет, сдох... А кот вот этот, — она показала на гладкого рыжего кота, лежавшего на кровати и посматривавшего на людей, точно понимая, что о нём говорили, — скажу честно: не люблю. Хоть и живёт он у меня пятый год, а не люблю. Неискренний он, оттого и не люблю. Веры ему вот на столечко нет. — Она показала кончик ногтя и с осуждением посмотрела на кота...

Потом пошли рассказы об односельчанах, о всяких происшествиях домашней жизни, о родственниках.

— Вернулся Семён, — говорила Екатерина Артамоновна про младшего сына, жившего в Куйбышеве, — да и дома ничего хорошего. Вера на учителя кончает, Наталья на врача зубного учится. Девки смышлёные, только мать не слушают, ни во что мать не ставят, свысока разговаривают. Прошлым летом приезжали ко мне, ну да я их осадила — обиделись... Больше не едут... Разве можно на меня, на старую, обижаться? Того нет, этого нет... Где им достанешь?.. Известное дело: в городе-то в магазинах всем торгуют, а у нас тут и нет ничего... Ты бы им, что ль, Екатерина, отписала. Нельзя, мол, так...

Наступил вечер. Леднёв вышел на улицу посмотреть, не пришла ли машина.

— Генерал? — насупившись, спросила Екатерина Артамоновна.

— Генерал.

— Да, — пробормотала старуха и вздохнула. — Был бы человек. Как татаре, те говорят: было бы с кем река брести, котомы нести... Как будто ничего, уважительный... Родителя-то его я не одобряла, уж ежели правду говорить... Такой человек был притворный — что больше народу в церкви, то он выше руку заносит... Ну, а этот, может, и ничего... Да что и толку-то замуж выходить? Вон у Арефьевых...

За окном послышался шум подъезжающей машины. Катя встала и начала собираться.

— Пусть Виктор пирогов моих попробует, — говорила Екатерина Артамоновна, завёртывая в тряпочку пироги, — приехал бы, что ли, на каникулы, совсем забыли старуху-то...

— Он, наверное, придет, — сказала Катя. Ей стало очень жаль бабушку, её одинокую старость, и она несколько раз поцеловала её.

Старуха припала к её груди и вдруг по-старчески всхлипнула.

— Ну что ты, бабушка, зачем, — прижимая её к себе, жалобно заговорила Катя, — ну не надо, родная...

— Ах, Катюша, — всхлипывая и утирая слёзы, сказала Екатерина Артамоновна, — одна ты у меня, а вот помру я скоро...

— Ну что ты, бабушка, перестань, пожалуйста.

Екатерина Артамоновна печально мотнула головой.

— Нет, не говори, Катюша, прошёл мой век... Уж и ходить трудно, и не надо ничего... Только вот тебе мой завет: умру, так рядом с дедом Никифором похороните... Хоть и не в ладу с ним жили, а человек был... Дом этот, если не жалко, Семёну отдайте: семья у него, девочки...

— Да перестань ты...

Вошёл Леднёв. Стали прощаться.

— Извините, конечно, за угощение, — церемонно сказала Екатерина Артамоновна, — уж чем богаты...

— Спасибо, спасибо, — ответил Леднёв, — нас извините, побеспокоили вас...

— Вот именно, приезжайте, приезжайте, — не слыша его, говорила Екатерина Артамоновна, выходя вслед за ними на улицу, — отцу, внукам кланяйся, ну и другим прочим родственникам, ежели кому мила, — добавила она, имея в виду нелюбимую невестку...

— Хорошо, хорошо, передам, — сказала Катя, садясь в машину.

Когда машина поворачивала за угол, Катя оглянулась и через заднее стекло кузова увидела бабушку. Она стояла у калитки и смотрела вслед машине в той самой позе, в какой она каждый вечер выходила встречать почту, хотя и знала, что писем ей, наверное, никаких нет...

#### Глава тридцать седьмая

— Занятная старуха, — сказал Леднёв, сидя рядом с Катей на заднем сиденье машины. — Сколько ей? Семьдесят?

— Семьдесят три, — тихо ответила Катя, растроганная прощанием с бабушкой.

— Что с тобой, ты чем-нибудь недовольна? — спросил Леднёв, обращаясь к Кате.

— Ничего, — с усилием улыбнулась она, — устала, перекупалась, на солнце пережарилась... Так непривычно летом отдыхать, устаёшь ещё больше, чем от работы...

— И, повидимому, властная, — продолжал Леднёв о бабушке. — А умирать, видно, не хочется.

— Никому не хочется.

— Ещё бы! Только некоторые скрывают страх смерти, а она — нет.

— Она не боится смерти, а не хочет умирать. Это разные вещи, — сказала Катя.

— Да, конечно... Хорошая старуха. Конечно, как все старые люди, немного болтлива, немного за старое держится. — Он засмеялся: — «Кудесники», придумают ведь... Мне об этом отец никогда не рассказывал.

— Бабушка знает массу таких вещей, всяких побасёнок, легенд. И Волгу знает. И самое интересное, что дальше Горького никуда не ездила. Да и в Горький — раза два или три в своей жизни. А всё знает.

— Отец твой очень похож на бабушку, внешне, конечно...

— Да, он в мать, — подтвердила Катя.

— Да, кстати, — сказал Леднёв, — ты Ошуркову эту самую, крановщицу свою, особенно не выдвигай.

Катя удивилась.

— То есть как это? Во-первых, никто её не выдвигает. Она сама выдвигается. А потом, я не понимаю, что значит — не выдвигай?

— Видишь ли, — поморщился Леднёв, — в пароходство поступили неприятные сведения об одном штурмане, Сутырине. Кстати, он тоже плавает на «Керчи»... Из-за Ошурковой он бросил семью, жена его осталась без средств, пошла работать в торговую сеть, а там по неопытности, а может быть, по злому умыслу — уж этого я не знаю — проворовалась...

— Откуда эти сведения? — живо спросила Катя.

— Жена Сутырина была у меня.

— Ну и что она тебе говорила?

— То, что я тебе рассказал, то и говорила.

— Но какое это имеет отношение к работе Ошурковой?

— Согласен, не имеет. Но пойми, Катюша... — Леднёв взял её за руку. — Пойми простую вещь. Ошуркова выдвигается в первые крановщики. Ею начнут все интересоваться, и вдруг обнаруживается эта история: девица лёгкого поведения, увела у кого-то мужа, разбила семью... Как мы с тобой будем выглядеть? Мы-то должны знать наших людей, и знать не только по анкетам...

— Вот что я тебе скажу, — произнесла Катя. — Я отлично знаю Сутырина, и бывшую его жену Клару, и всю эту историю. Знаю я их ещё с детства. И в том, что она тебе рассказала, нет ни слова правды. Она разошлась с Сутыриным сразу после войны, сама его выгнала. Это очень неприятная особа, поверь мне, а Сутырин — кристально честный человек! С Ошурковой он познакомился не более года тому назад. Так что никакой семьи Ошуркова не разбивала. Да! О ней ходило много слухов, много сплетен. Но ведь всё это было когда-то. Теперь же она честно работает, это человек, которого труд переродил буквально на глазах.

Леднёв внимательно слушал Катю.

— Может быть, всё это и так...

— Не может быть, а точно, — вспыхнула Катя.

— Да, да, я понимаю... Всё это так. Но, как бы там ни было, Ошуркова — человек запятанный. И если мы передовое движение свяжем с её именем, то пятно ляжет и на это движение. Правильно ли так будет? Что в конце концов важнее? Интересы движения крановщиков или репутация Ошурковой? Я думаю, что первое. Никто не отнимает у Ошурковой её успехов, но поставить в пример другим мы должны человека, который своей жизнью и своим поведением не дал оснований к сплетням. А Ошуркова... Ты сама говоришь, что о ней много разговоров. Может быть, они и не во всём правильны, но ведь мы и не казним Ошуркову. Просто я хочу, чтобы с выдвижением Ошурковой не было неприятностей ни у меня, ни у тебя и не было бы разочарования у самой Ошурковой.

— Ах, какая подлая женщина, какое ничтожество! — брезгливо сказала Катя, думая о Кларе. — Я её помню ещё по школе. Холодный, лицемерный человек. Конечно, она всё теперь будет сваливать на Сутырина. А он размазня, толстовец какой-то, доверчивый, растяпа... Неужели итти на поводу у этой лживой бабы?

Леднёв пожал плечами.

— Что же сделаешь, обстоятельства в её пользу. Как говорит пословица: добрая слава на месте лежит, худая по дорожке бежит. Хорошо, будет суд, эту самую жену штурмана осудят. Но даже и этот факт бросает тень на Сутырина и, следовательно, на Ошуркову. На твоём месте, Катюша, я бы не стал держаться за Ошуркову. Тебе надо закрепить успехи и двигать дело дальше. А вместо этого придётся направлять свою энергию на реабилитацию Ошурковой. Нужно ли это? Ну, согласись, что я прав.

Катя, помолчав, возразила:

— Нет, Костя, я не могу согласиться с тобой...

Он холодно спросил:

— Это что, принципиальный вопрос?

Она посмотрела ему прямо в глаза.

— Да, принципиальный.

— Вот как? Чем же?

— Это вопрос человеческой судьбы. То, что Ошуркова повысила производительность своего крана и помогла повысить другим, конечно, очень важно. Но не менее, а, может быть, ещё и более важно то, что в процессе этой работы девица лёгкого поведения, как ты выразился, превращается в полноценного члена социалистического общества. Важно то, что человек в труде обрёл свою судьбу, и этот труд преобразил его нравственно. Это самое важное и самое ценное. Когда Ошуркова впервые пришла ко мне, я смотрела на неё так же, как и ты, может быть, даже хуже — я женщина. Но потом я поняла, что это — ханжество, что я подхожу к человеку с мелкой, обывательской меркой.

— Как в данном случае подхожу я? — с напряжением в голосе спросил Леднёв.

— Нет, ты подходишь с ещё худшей позиции. В твоём рассуждении люди — пешки, их можно двигать туда и сюда. Прости, Костя, у тебя вельможная мерка. Для тебя народ — абстрактное понятие, а он состоит из живых людей с их судьбами, ошибками и биографиями, может быть, такими, которые не всегда могут понравиться начальнику отдела кадров. И если человек обрёл счастье в самом главном, в труде, в пробуждении своих творческих сил, то тыкать его носом в его прошлые ошибки и заблуждения — преступно. Так же, как и итти на поводу у непорядочных людей, которые нашу требовательность к моральной чистоте используют для своей нечистой игры. А Клара именно такой человек.

Машина въехала в крайние улицы города. Сквозь стекло были видны маленькие деревянные домики, палисадники, тусклые фонари.

— Всё, что ты сказала, Катя, очень серьёзно, — глухо заговорил Леднёв, — очень для меня неожиданно и серьёзно. Я не думал, что ты такого мнения обо мне.

Его грустный голос тронул Катю. Она молча взяла его руку в свои, но не почувствовала тепла в его руке и опустила её. Блеснула тёмная полоса реки и светлая полоса асфальта набережной.

— Я хочу зайти на участок, — сказала Катя, — попроси шофёра остановиться.

Машина остановилась на повороте к мосту.

— Может быть, ты проводишь меня немного, — сказала Катя.

Леднёв вышел вслед за ней из машины.

Они прошли несколько шагов по направлению к воротам участка, потом остановились.

— Костя, — сказала Катя, и голос её задрожал, — ты обиделся на меня? /

Он криво усмехнулся.

— Это не то слово. Мне неприятно, что ты обо мне такого плохого мнения.

— Костя, я люблю тебя, иначе мне всё это было бы ни к чему. Но я не могу любить с закрытыми глазами. Не лишей меня права говорить то, что я думаю, таить что-то недоговорённое. Это хуже, поверь мне. У меня такое ощущение, что ты что-то утерял, из кабинета не видишь людей. Для тебя Ошуркова — крановщица, которую можно заменить другим крановщиком, а Ошуркова — это большая и сложная жизнь. Может быть, это та самая кухарка, которая должна научиться управлять государством. Ведь это, Костя, самое наше дорогое, мы с тобой в этом выросли. Разве я

могу во имя любви пренебречь всем этим. И разве тебе нужна такая любовь?

Он молчал, не глядя на Катю. Его лицо, освещённое первым светом луны, казалось бледным и хмурым.

— Ну, Костя! Ну, скажи мне что-нибудь... Почему ты молчишь? Ведь я тебе говорю это от чистого сердца, это говорит моя любовь. Разве мы не обязаны говорить друг другу правду?

Попрежнему не глядя на неё, он пожал плечами.

— Нет, почему же? Правду всегда надо говорить, но она должна быть действительно правдой.

— Значит, ты считаешь, что я всё говорю неверно? — упавшим голосом спросила Катя.

— Ты говоришь верно, но только со своей колокольни. Почему-то каждый думает, что ему на его месте всё виднее. Ты думаешь, что тебе всё виднее, а я думаю, что мне. Для тебя Ошуркова — одна из двадцати крановщиц, а для меня — одна из двух тысяч. Для тебя железная дорога — это один Кушнеров, а я имею дело с шестью управлениями дорог, с шестью Косолаповыми и с сотней таких начальников станций, как Кушнеров. Для тебя флот — это те несколько теплоходов, которые обслуживают твой участок, а для меня флот — это тысячи судов. У тебя один начальник — Елисеев, а у меня начальство в Москве, да и здесь в каждой области, от Калининской до Астраханской, хватает... Вот ведь что, Катюша...

Катя вслушивалась в каждое его слово, пытаясь найти в нём опровержение своего мнения. И не находила.

— И знаешь, Катя, — продолжал Леднёв, — я очень не хочу, чтобы мы с тобой ссорились, поверь мне!

— А разве я хочу ссориться? Я только боюсь за тебя, Костя. Боюсь, что ты живёшь старыми представлениями, старыми привычками. Иногда мне кажется, что тебе всё безразлично, даже мои дела...

Он сделал протестующее движение.

— Да, да, Костя, у меня такое ощущение. Помнишь, когда я первый раз была в твоём кабинете. Я так верила в тебя, верила, что всё переменится. Но я не вижу твоего настоящего участия, ты всё пустил по аппарату, всё превратил в бумагу, а меня и мой участок хочешь превратить в эталонное образцово-показательное мероприятие, в которое скоро никто не будет верить.

Он развёл руками.

— Ну, знаешь!..

— К сожалению, это так, Костя. Вот ты сегодня говорил с Толчёновым. Разве ты имел право ставить меня в пример? Зачем ты это сделал? Ведь результаты наши ничтожны и, если говорить правду, во многом искусственны. И я тебе прямо скажу: я не хочу и не буду работать на показ и не допущу, чтобы моим участком кто-то прикрывал свою плохую работу.

Против ожидания Леднёв вдруг добродушно улыбнулся.

— Ну, ну, Катюша, не нервничай. Всё это не так, как ты говоришь. Все не так. Но ты сейчас устала, чем-то взволнована. Поговорим об этом в другой раз.

— Ах, Костя, пойми, если я и волнуюсь, то только за тебя. Разве я волновалась бы, если бы у нас были просто разногласия по служебным делам? Они всегда могут быть. Но за всем этим стоит что-то гораздо большее. И я хочу, чтобы ты это понял.

— Ладно, постараюсь понять, — всё так же добродушно улыбаясь, сказал Леднёв. — Но обещаю тебе, что мы с тобой не поссоримся...



— Обещаю, — тоже улыбаясь, сказала Катя, умиротворённая его добродушием.

— Всё наладится, всё будет хорошо... Я не возражаю против твоей Ошурковой...

— Не в Ошурковой дело... — снова перебила его Катя.

— Да, да, я понимаю, — торопливо сказал Леднёв, — но мы начали с Ошурковой, поэтому я и говорю... Если ты считаешь нужным, пусть будет Ошуркова. Я думал, что без неё будет лучше, но не настаиваю. Что касается других дел, то поговорим ещё, Катюша, и поговорим конкретно. Я понимаю, тебе тяжело, ты делаешь большое и важное дело, не всё идёт гладко, но не надо нервничать... Ведь ты не думаешь, надеюсь, что я закостенелый бюрократ и негодяй...

Катя засмеялась.

— Нет, не думаю.

— И ты не перестала меня любить?

— Нет, не перестала...

— И мы с тобой не поссоримся, правда?

— Ну, конечно.

— Вот и хорошо. И я думаю, что ты изменишь своё мнение обо мне...

#### Глава тридцать восьмая

Бахтин приехал в Горький в семь часов утра, оставил свой чемодан в гостинице и вышел в город.

Как всякий человек, совершивший длительное плавание, он чувствовал себя так, словно он всё ещё находился на судне. С реки донёлся отдалённый гудок парохода — ему казалось, что сейчас судно должно отчалить. Он закрывал глаза — ему казалось, что он стоит на палубе и пароход даёт крен. Он смотрел на дальний берег — берег двигался... Это развеселило Бахтина, и он то закрывал глаза, прислушиваясь к отдалённым гудкам пароходов, то снова открывал их, стараясь смотреть так, чтобы ничто не попадало в поле его зрения.

Но постепенно это ощущение исчезло.

Бахтин шёл по городу. Пустынные улицы блестели первым утренним солнцем. Спящие громады зданий отбрасывали гигантские тени, а за стенами домов угадывалась жизнь, готовая вот-вот проснуться и заполнить своим шумом тротуары. Дворник в белом фартуке подметал мостовую. Девушка-почтальон с чёрной сумкой, набитой газетами, быстро ходила из подъезда в подъезд. Хозяйки в домашних туфлях на босу ногу спешили на базар. Базар ещё чистый, с закруглёнными следами метлы на неровном асфальте, но продавцы уже разложили на прилавках остроконечные пирамидки помидоров, стаканы с простоквашей и желтоватым варенцом, поздние огурцы, дешёвые пирожки...

Из волжских городов Горький больше всего олицетворяет Волгу. Астрахань — это город Каспия, он пахнет морем, рыбой, нефтью. Железнодорожные связи Куйбышева значительнее речных. Саратов — город степей и хлеба. В Горьком же всё определяется Волгой, она создала его географически, экономически и психологически...

Бахтин думал об этом, переходя большой мост через Оку, соединяющий обе половины города. Величавая картина громадного порта особому затрагивала его сердце. Но вместе с радостным ощущением утреннего сияния, неповторимой красоты речного простора, волнующей картины порта Бахтин ясно видел всё: и хорошее и плохое, настоящее и поддельное.

Елисева Бахтин застал в кабинете. Входили и выходили люди, звонили телефоны городской и речной, Елисеев переговаривался с начальниками участков.

Увидев Бахтина, он, отняв трубку от уха, изобразил на лице удивление: «Григорий Александрович! Какими судьбами?», хотя отлично знал, что Бахтин должен приехать, и дожидался его.

Елисеев положил трубку на рычаг, вышел из-за стола, придвинул Бахтину кресло.

— Не предупредили, и из Москвы никто не позвонил...

Бахтин усмехнулся. Начальник Куйбышевского порта, провожая его на пароход, прощаясь, сказал: «Сейчас пойду Елисееву звонить. Слово с меня взял: как Бахтин выедет, сейчас же позвони. Хитрющий старик».

— А зачем звонить, зачем предупреждать? — ответил Бахтин, расхаживая по кабинету.

Он знал Елисеева ещё с довоенных времён, когда работал секретарём обкома по транспорту в одном из волжских городов, где в порту служил тогда Елисеев. Бахтин уважал и ценил его, но не любил его нарочитую предупредительность к начальству, манеру, искусственно выработанную для того, чтобы иметь с начальством поменьше трений, а всё делать по-своему.

— А мы тебя тут ждали, ждали,— снова заговорил Елисеев в полном противоречии с тем, что сказал перед этим...

Его прервал голос в селекторе:

— Иван Калистратыч, Кочергин докладывает...

— Ты подожди, Кочергин! — громко закричал Елисеев. — Занят сейчас... К нам товарищ Бахтин приехал из Москвы. Понимаешь, товарищ Бахтин. Вот, вот. Что срочное есть — давай к Бугрову... Да, наверно, жди...

Бахтин только усмехнулся простодушному лукавству Елисеева, предупредившего начальников участков, что он, Бахтин, приехал.

— Всё дела, дела, Григорий Александрович, — снова начал Елисеев. Но Бахтин прервал его коротким вопросом:

— Как у тебя с Ворониной?

— Так ведь как сказать... Тужится она изо всех сил, за ней — и другие начальники участков. Сейчас вот налаживает новое дело — двумя кранами из четырёх вагонов брать. Крановщика Ермакова предложение... Ещё вот хочет грузить судно по мере его разгрузки. Как отсек в трюме освобождается, так и грузить. В общем, народ у нас разохотился на всякую рационализацию. Чельшев, слесарь, сконструировал солерыхлитель. Сам знаешь: соль в трюмах слёживается, ломаями разбиваем, а он вот специальный рыхлитель придумал. Тоже грузчик Воробьёв... Вагоны по участку передвигает паровоз, жди, когда его станция пришлёт, ну, а Воробьёв предложил передвигать электролебёдкой... В общем, ничего не скажешь, разбередила она народ, разбередила. Главное, условия создала. Раньше ведь условий этих не было. Каждый как думал? Зачем, мол, часы и минуты выискивать, когда суда всё равно сутками стоят. Ну, а теперь, как народ увидел настоящую скоростную работу, эти часы и минуты каждому понадобились... В общем, участки работают куда лучше. Ну, а если прямо говорить, то для государства польза могла бы быть куда больше. Болезни всё те же: график движения флота, подача вагонов. Да ты сам это хорошо знаешь.

— А что Леднёв?

Елисеев осторожно отозвался:

— Так что Леднёв? Надо войти и в его положение. Уж целый год держат исполняющим обязанности. И начальником пароходства не утверждают и от заместительства не освобождают...

— Ну хорошо, — спокойно сказал Бахтин, — вижу, не хочешь ты заранее ссориться с Леднёвым. А что местные власти?

— Собирают, разговаривают... Так ведь сейчас положение известное — скоро конец навигации, зачищаем хвосты, лозунг сейчас обычный: «Все силы на успешное завершение навигационного плана». И то сказать, что там ни делай, а план прежде всего спросят.

— Одно другому не мешает, — возразил Бахтин. — Надо и эту навигацию хорошо кончать и о будущей навигации думать.

— Само собой, — дипломатично ответил Елисеев.

Бахтин встал.

— Ну ладно, обо всём мы ещё поговорим, времени хватит. Пойдём-ка по хозяйству.

— По хозяйству так по хозяйству, — сказал Елисеев, складывая в ящик стола бумаги.

Но Бахтин видел, что он о чём-то задумался.

— побыстрее, побыстрее, Калистратыч! Не тяни... Чего тянешь?..

— Сейчас, сейчас, — ответил Елисеев, копошась в своих бумагах ещё медленнее. — На какой участок пойдём, с чего начнём?

— Я думаю, со второго участка.

— Со второго так со второго... Воронина на месте, — бормотал Елисеев, видимо, что-то обдумывая. — Ты ведь с Ворониной не знаком?

— Нет.

— Ну что ж, познакомлю. Она человек дельный, тебе понравится..

— Ты не тяни. Говори, что хочешь сказать!

— Да нет, я ничего. Ты вот только насчёт Леднёва спрашивал. Так ведь женится он у нас.

— Ну и слава богу, — удивлённо ответил Бахтин, не понимая, зачем ему это рассказывает Елисеев.

— Женится, женится! Как раз на Ворониной Екатерине и женится.

— Ах, вот оно что! — задумчиво произнёс Бахтин и прошёлся по кабинету, чувствуя на себе внимательный взгляд Елисеева. — Ну что ж, в сущности, это дела никак не меняет.

У Ворониной, в её маленькой конторке, сидели несколько рабочих, которых, как понял Бахтин, она собрала сюда после ночной смены, пока люди ещё не ушли домой.

Ни с кем из сидящих здесь Бахтин не был знаком. Воронину он сразу узнал по тому, что именно она вела это маленькое совещание, и по знакам различия на форменной куртке. Она слегка кивнула Елисееву, рассеянно взглянула на Бахтина и продолжала работать, не обращая больше внимания ни на того, ни на другого, видимо, привыкла к тому, что Елисеев часто является с незнакомыми людьми.

Сидя с Елисеевым на скамейке у самой двери, Бахтин разглядывал находившихся в комнате людей. Он сразу обратил внимание на статную красивую женщину, черноволосую, сероглазую, с вызывающим и в то же время неуловимо печальным лицом. Воронина назвала её Ошурковой, это была та самая крановщица — инициатор обмена передовым опытом. Бахтин почему-то представлял её себе совсем другой...

По фамилиям, которые называла Воронина, Бахтин определил и остальных. О некоторых из них, например, о крановщиках Ермакове и Сизове, он уже слышал раньше.

Но больше всего интересовала Бахтина сама Воронина. И разглядывая присутствующих, он главным образом наблюдал за ней.

Разговор шёл о работе двумя кранами на четыре вагона и об одно-временной погрузке и выгрузке теплохода «Харьков». По твёрдой и уверенной манере, с которой Воронина вела совещание, видно было, что она хорошо знает своих людей, умеет разговаривать с ними, как равная.

«Деловая», — подумал Бахтин.

Катя действительно привыкла к тому, что Елисеев часто приходил на участок не один, а ещё с кем-нибудь. Так было и на этот раз. Елисеев вошёл с плотным рыжеватым мужчиной, это мог быть и представитель из Москвы и из Ленинграда из научно-исследовательского института. Мало ли народу приезжает в порт. Может быть, просто какой-нибудь клиент...

Но сегодня, вопреки обыкновению, пришедший с Елисеевым человек всё больше и больше привлекал внимание Кати, хотя он и сидел молча и только всё время поглядывал на всех живыми карими глазами из-под выгоревших белёсых бровей.

Когда он вошёл, Мария Спиридоновна удивлённо подняла брови — видимо, знала его. Елисеев, который обычно сразу вмешивался в разговор, на этот раз сидел молча, точно считая неудобным при своём спутнике говорить первым. Катя хорошо знала в Елисееве эту годами вытрезившую сдержанность в присутствии большого начальства. «Может быть, это новый начальник пароходства?» — вдруг подумала Катя. Микулин уже год болеет, и все говорят, что он не вернётся в пароходство. А Леднёва всё не утверждают в этой должности и, как была уверена Катя, не утверждают.

Это соображение пришло Кате в голову потому, что она всё время думала о Леднёве и непроизвольно всё связывала с ним. И мысль о том, что сидящий возле двери незнакомый человек, возможно, заменит Леднёва, заставила Катю приглядываться к нему, и даже с некоторой ревностью.

Катя на минуту растерялась, когда после совещания Елисеев, знакомя их, назвал фамилию Бахтина. Чувство враждебности к Бахтину, заронённое в ней Леднёвым, хотя ничем больше не подкреплялось, всё же не угасало. Оно не могло сразу исчезнуть под действием того благоприятного впечатления, которое на неё произвёл Бахтин. Наоборот, это благоприятное впечатление мгновенно улетучилось, уступив место насторожённости. Катя знала, что Бахтин к ней недоброжелателен, и не хотела и не считала нужным перед ним оправдываться.

Именно поэтому Катя, докладывая положение дел, говорила не о том, сколько времени участок грузит суда, а о том, сколько времени суда простаивают в ожидании погрузки. Она не собиралась представить положение хуже, чем оно есть на самом деле, но и не хотела выгораживать себя перед Бахтиным.

Елисеев удивлённо поглядывал на Катю, но, когда он, порываясь что-то сказать, перебил её, Бахтин, не дав ему говорить, поддержал Катю:

— Правильно, Дело ведь не только в том, сколько времени участок грузит, а прежде всего в том, сколько времени суда стоят.

— Участок здесь ни при чём, — поспешно сказал Елисеев.

— А его никто в этом и не обвиняет, — усмехнулся Бахтин.

Катя нахмурилась.

— Мне товарищ Леднёв передавал, что вы считаете нашу работу недостаточной. Это справедливо, конечно, — результаты малы. Но в этих условиях мы старались делать всё от нас зависящее.

— Да, я говорил с Леднёвым, — спокойно сказал Бахтин. — Я считал, что вам необходимо наладить более живую и действенную связь с железной дорогой. Скоростная обработка вагонов — хорошо, а скоростная обработка судов и вагонов — ещё лучше.

— Это верно, — согласилась Катя. — Только ведь мало взять на себя такое обязательство. Надо его выполнить.

— Об этом и речь! — рассмеялся Бахтин. — И не только выполнить, но и выполнять.

— Не вижу в этом разницы,— сказала Катя.

— Выполнить можно и один раз, а выполнять — это значит ввести выполнение в систему, в правило.

— Ах, если так...

— Важно, чтобы железная дорога была заинтересована в вашей работе,— продолжал Бахтин,— тогда она помогала бы. Общие интересы — меньше драк. Впрочем, иногда бывает и наоборот, а?

— Бывает.

— Ведь как хорошо может получиться, — неожиданно весело сказал Бахтин,— единый график: флот — берег — железная дорога. Вот слушал я сегодня ваш разговор с крановщиками и бригадирами, во всём вы решительны, умеете, видно, руководить. А как коснётся флота и железной дороги, так и слышится в вашем голосе неуверенность. Эта неуверенность передаётся людям. Они и начинают думать: подойдёт ли судно, подадут ли вагоны? А вы в этом должны быть уверены. Уверенность — это важное слагаемое в обеспечении успеха. Вот... А что касается товарища Леднёва, то я не высказывал ему недовольства вашей работой. Он меня, повидимому, неправильно понял. А возможно, вы его неправильно поняли... — Он пристально посмотрел на Катю. — Я товарищу Леднёву высказывал недовольство его работой. Он вас не ориентирует на действительную связь с железной дорогой, и опыт вашего участка не распространяется на весь флот. Получается этакий показательный участок. Хорошо, конечно, но мало.

— Да, это верно,— сказала Катя.

Бахтин задумался на минуту и потом, нахмурившись, решительно продолжал:

— В чём беда некоторых работников? Они ведь не глушат никаких начинаний. Нет, ни в коем случае! Инициатива масс, движение новаторов... Они эти слова очень хорошо знают. Вы только посмотрите, с какой уважительностью они их произносят! А как же иначе, ведь это — новаторство... А вот распространить это новаторство, сделать его системой работы — тут стоп! Потому что для одного участка легко создать условия, а вот для сотен участков — потруднее. Да и потом ещё неизвестно, что из этого дела выйдет.— Бахтин вдруг так смешно подмигнул Елисею, что Катя не могла не улыбнуться.

Хотя Бахтин не назвал Леднёва, Катя отлично понимала, что он говорит именно о нём. Она сказала:

— Однако у этих людей репутация отличных руководителей.

Бахтин развёл руками.

— Репутация — вещь относительная. Умеет человек высказать своё решение в категорической форме — вот вам и репутация человека решительного. Ведь в каждом решении есть видимость мысли и предпосылка действия. Но от принятия решения до его выполнения ещё очень далеко.

Катя напряжённо слушала, удивлённая и огорчённая точностью этой характеристики Леднёва.

— Вот такой руководитель и умеет «принимать решения», решения, которые в данную минуту и в данной обстановке кажутся единственно правильными. Да ещё умеет эти решения высказывать с этаким... — в голосе Бахтина появился солидный басок,— с этаким уверенным видом, точно ему известно что-то такое, чего не могут знать другие. Ну, а если к этому ещё представительная наружность да обаяние человека успевающего, тогда... — он безнадежно махнул рукой, — тогда такую репутацию ничем не опровергнешь, пока, конечно, жизнь сама её не опровергнет. А, Иван Калистратыч, так ведь?!

— Да уж, — неопределённо протянул Елисей, — тогда всё!

— Ну вот,— сказал Бахтин тоном человека, заканчивающего свою слишком затянувшуюся речь,— а пароходство, как и всякое среднее звено хозяйственного аппарата, не всегда прямо связано с конкретной действительностью, и потому есть опасность, что вынесение решений может превратиться в самоцель, издание бесчисленных приказов — в метод работы.

Некоторое время все молчали, наблюдая за погрузкой судов.

Солнце ещё грело, но с реки уже дул прохладный ветер. Уже багровые, оранжевые листья осин перевешивались через ограду участка, мешаясь с жёлтыми листьями берёз и лип. Нити паутины плыли в воздухе, сверкая и переливаясь на солнце, повисая на металлических ногах кранов.

Катя задумалась. Она не понимала, почему Бахтин так откровенно говорит о Леднёве, да ещё при первом же знакомстве. Ведь, помимо всего, она подчинённая Леднёва. Удобно ли при подчинённом так говорить о его начальнике? Ей хотелось защищать Леднёва. Как ни прав был Бахтин, она не могла согласиться с ним, это казалось ей изменой Леднёву, предательством по отношению к любимому человеку.

— Всё это не так страшно,— сказала Катя,— везде есть дельные люди.

— Бесспорно! — воскликнул Бахтин.— Я и не думаю обобщать. Любые обобщения были бы здесь неверны. Я говорю об отдельных людях. И, конечно, всё это не так страшно. Разве у нас нет самозащиты? Критика и самокритика — раз! Проверка исполнения — два! А главное — творческая деятельность масс,— посмеиваясь, он ткнул пальцем в сторону Кати, затем в сторону Елисеева и, наконец, в себя,— то есть мы с вами. Вот и будем исполнять свой долг. А на первый случай распределим обязанности. Я беру на себя пароходство, всякие речные организации, Ивана Калистратовича попросим подготовить все дела по порту. Ну, а вы, товарищ Воронина, займитесь железной дорогой и всем, что связано с подачей вагонов. Договорились? — И, не дожидаясь ответа, тут же сказал: — Значит, договорились.

#### Глава тридцать девятая

Всё лето после происшествия с асфальтом Кушнеров дулся на Катю и держался с ней официально и насторожённо. Детское выражение обиды и недоверия было очень смешно на его толстом, красном, с большими роговыми очками лице и всегда забавляло Катю. Ей было смешно, что этот хитрец боится, что она его надует.

После разговора с Бахтиным Катя пришла к Кушнерову. Выслушав её, он ответил:

— Пожалуйста. Скоростная обработка вагонов, чем плохо? Мы только рады. Чем меньше вы будете задерживать вагоны в порту, тем для нас лучше.

— Но вы понимаете, Ефим Семёныч, — сказала Катя со всей кротостью, на какую была способна, — нам одним, без вас, с этим не справиться.

На толстом лице Кушнерова промелькнула удовлетворённая улыбка, точно он поймал Катю на том, что она только за тем и пришла, чтобы что-то выпросить.

— Чем же мы можем вам помочь? — спросил он.

Кате хотелось рассмеяться и сказать Кушнерову: «Знаете, Ефим Семёныч, просто смешно, что вы относитесь ко мне с таким недоверием, ей-богу, не стоит!» Но она только сказала:

- Прежде всего равномерно подавать вагоны.
- Старая песня.
- Нам нужно каждые восемь часов по сорок вагонов.
- Кушнеров усмехнулся, давая понять, что его не проведёшь.
- Легко сказать — сорок вагонов! А каких? Крытых, открытых, платформ, гондол? Мы ведь не знаем, с чем придут к вам суда, — с углем, с мукой, с рыбой, с солью. А может быть, — ядовито добавил Кушнеров, — с асфальтом...
- Мы будем за двенадцать часов сообщать вам, какие вагоны нам нужны, — не обращая внимания на его тон, ответила Катя.
- Кушнеров недоверчиво покосился на неё поверх очков.
- Откуда вы это знаете?
- У нас есть теперь информация.
- Ну, — протянул Кушнеров, — информация — это одно, а фактическое движение флота — другое.
- Иногда действительно так, — согласилась Катя. — Но в большинстве случаев информация теперь правильная.
- Ну хорошо, — сказал Кушнеров, — это вопрос не новый. Будете вовремя запрашивать вагоны — будете их получать, если только сами потом не будете задерживать. Ещё что?
- Вот что ещё. Ваши весовщики ходят оформлять документы из порта сюда, то есть за три километра, а вагоны ждут.
- Что же, мне их на «Победе» возить?
- Не надо возить на «Победе». Но надо открыть в порту отделение товарной конторы.
- Легко сказать. Такой вопрос решается министерством.
- Вот и поставьте вопрос перед министерством.
- Гм... Как это вы просто рассуждаете... Ну, ещё что?
- Долго идёт перевеска вагонов. На участке только одни вагонные весы, надо поставить вторые.
- Это мелочь. Ещё что?
- Нужна вторая колея путей.
- Такой вопрос тоже решается министерством — новое капитальное строительство.
- Я и прошу вас поставить вопрос перед министерством.
- Поставить вопрос я могу только перед управлением своей дороги, — отозвался Кушнеров. — А сочтёт ли оно нужным войти с этим в министерство — этого я не знаю. Думаю, что не сочтёт. Прежде чем строить новые пути, надо подумать о старых, они пришли в полную ветхость.
- И то надо и это, — сказала Катя.
- Сразу всего не сделаешь.
- Нужно сделать, Ефим Семёныч! Трудно дальше так работать.
- Я сам знаю, что трудно, — разозлился вдруг Кушнеров. — Только не всё можно сделать, что хочется.
- Ефим Семёныч, наш участок берёт на себя обязательство наладить скоростную погрузку и разгрузку вагонов. Намерены вы нам помочь?
- Он пожал плечами.
- Поможем, чем можем. А чем не можем, не поможем.
- Нет, вы ответьте прямо — хотите вы по-настоящему вместе с нами браться за это дело или не хотите?
- Как странно вы ставите вопрос, Екатерина Ивановна, — возмутился Кушнеров. — Может быть, вы хотите меня поймать на том, что я против?
- Катя засмеялась.
- Чудак вы, Ефим Семёныч, честное слово... Ну в чём вы меня подозреваете? Разве я вас обманывать пришла? Я хочу работать как следует,

и знаю, что вы тоже хотите. Но вместо этого мы только и делаем, что ссоримся.— И не без лести. добавила: — Конечно, ваше хозяйство побольше моего, вы обслуживаете весь порт. Но это отражается только на масштабе этой задачи: у вас больше, у меня поменьше, но задача всё равно одна...

— Задача одна, только выполняем мы её по-разному,— брюзгливо заметил Кушнеров и начал выкладывать свои претензии порту. Делал он это долго, не во всём справедливо, но Катя не возражала ему — пусть выговорится...

Выложив все свои претензии, Кушнеров смягчился, тем более, что Катя не возражала ему. В сущности, он был неплохой человек, но брюзга.

— Вон сколько дел! А ведь вы с меня будете спрашивать.

— Это уж конечно,— засмеялась Катя.

— Вот видите,— проворчал Кушнеров.

— Только ведь и вы будете с нас спрашивать,— сказала Катя.

— Да уж не без этого...

— Так что же мы решили, Ефим Семёныч?

Он ответил не сразу.

— Чего ж... Только вы не торопитесь, я позондирую почву в управлении дороги, поговорю с Косолаповым...

«Ох, службист!» — подумала Катя.

— Давайте напишем совместное письмо. Подпишете вы и Елисеев. Изложим в письме наши требования.

— Ну что ж, это, пожалуй, можно, — осторожно сказал Кушнеров. — Только вы мне текст этого письма сначала дайте посмотреть. Прежде чем будете перепечатывать...

После поездки в Кадницы между Леднёвым и Катей появилось то внутреннее отчуждение, которое возникает между людьми, когда один всё более и более критически относится к другому, а другой это чувствует и раздражён этим.

Кроме официальных встреч в пароходстве, они почти не видались. Леднёв разъезжал по отстающим портам — обычный в конце навигации аврал с выполнением плана.

Когда Катя звонила ему, она слышала в его голосе вопрошающие интонации, иногда шуточные, но всегда усталые, немного грустные, точно он снисходительно прощал Кате то, что к его служебным заботам она прибавляет личные недоразумения, и ждал, когда наконец она образумится и всё пойдёт по-старому. Он обращался с ней, как с взбалмошным, но любимым ребёнком. И Катя не понимала, действительно ли он так думает или пытается в этом найти успокоение для самого себя.

— Ах, Костя,— говорила она с отчаянием,— у тебя самая страшная броня — мягкая. От неё даже ничего не отскакивает...

— Да уж какой есть. Но не в этом дело,— отвечал Леднёв.

— В чём же?

— Дело в том, что я тебя люблю. И мне грустно, что из-за всей этой ерунды страдает наша любовь.

— Я тоже тебя люблю, Костя. Но есть любовь требовательная и любовь с закрытыми глазами.

— Я хочу любви, всё понимающей и всё прощающей.

— Значит, моя любовь не та, — печально говорила она.

Он старался переубедить её.

— Катюша, поверь мне, ты заблуждаешься. Не надо делать скоропалительных выводов. Не всё так быстро делается, как хочется. Ведь очень легко обвинить человека... Но я не обижаюсь на тебя, всякое в жизни бывает...



У неё падало сердце... Всё попрежнему, ничего не изменилось.

— Значит, ты всё же считаешь, что я неправа?

— Кто прав, покажет время. Не будем об этом говорить.

Но Катя не могла не говорить обо всём том, что было сущностью её жизни. И избегать этих разговоров — значило не встречаться с Леднёвым. Но не встречаться с ним она не могла хотя бы потому, что этого требовало дело. И она с горечью убеждалась, что с каждой встречей перед ней возникает образ нового Леднёва, всё более ей чуждого.

Ещё до приезда Бахтина она обращалась к Леднёву по ряду неотложных дел своего участка. Но каждый раз он отвечал ей, что готовит важное совещание, которое сразу разрешит все её вопросы и дела.

— Но пойми, Костя,— мягко убеждала его Катя,— ведь уже август. Время не терпит.

Он недовольно морщился.

— Какой же смысл несколько раз обсуждать работу твоего участка. Вот обсудим и всё решим. Не заниматься же этим сто раз.

Письмо, о котором Катя договорилась с Кушнеровым, Леднёв продержал у себя на подписи несколько дней. Когда Катя сказала ему, что письмо уже со всеми согласовано, в том числе и с Бахтиным, он ворчливо ответил:

— Бахтин приехал и уехал, а мне здесь работать. Разговоры, дорогая моя Катюша, забываются, а документы остаются.

Он вообще очень внимательно читал бумаги. Но Катя видела, что составление их превратилось у Леднёва в своеобразный культ, что логика документа вытесняет в его сознании логику дела.

Именно поэтому он был мелочно придирчив к редакции бумаг, которые подписывал, и заставлял перепечатывать их по нескольку раз. И хоть бы это шло от формализма, от педантизма! Нет! За каждым словом, знаком препинания, оттенком выражения для Леднёва стояла целая система служебных взаимоотношений, представляющая по существу высший критерий его деятельности. Главное — не быть битым, не попасть в какую-либо историю, не иметь пятна, обладать безупречной биографией. Главное — «как мы будем выглядеть». И Катя с горечью думала о том, что внимание, проявленное Леднёвым в своё время к её участку и так подкупившее её тогда, в сущности исходило из этой же осторожности, из этого же принципа — «как мы будем выглядеть»...

Он искренне считал свою репутацию чем-то вроде государственной ценности, охранял в себе нужного и полезного для государства работника. А он был не более, как передаточная инстанция. По существу он стоял в стороне и от того дела, которое делал Бахтин. Соревнование между флотом, берегом и железной дорогой шло мимо Леднёва.

Как-то он сказал Кате:

— Бахтин всё содоговоры пишет, газетки выпускает. Ну что ж, это его обязанность. На то он и партийный работник.

И эти слова были для Кати лишь свидетельством того, что Леднёв отстаёт от жизни.

Что же должна делать она?

#### Глава сороковая

Заболела плевритом мать. Катя ухаживала за ней.

— Вот умру,— вздыхала Анастасия Степановна,— как без меня будете?.. Плохая я вам мать, а всё мать. Другую не найдёте.

Вечерами в доме было тихо. Виктор ещё не вернулся из туристского похода, Катя с матерью была одна.

Громко тикали старые часы в столовой. Из окон соседней квартиры тянулась мелодия скрипки, однообразная, уже много лет слышанная, но, может быть, из-за этого особенно бередящая сердце. Катя читала в своей комнате, прислушиваясь к кашлю матери, иногда вставала, чтобы дать ей лекарство, переменить компресс или грелку; если мать просила побыть с ней, то присаживалась у изголовья и молча слушала её.

— Уйти бы надо было,— говорила Анастасия Степановна, тяжело дыша и кашляя, — а вот не решилась. Куда, думаю, с детьми денусь?

Никогда раньше мать не говорила о своей жизни, а теперь вот вдруг заговорила, и Кате было ещё больше жаль мать.

— Отец хороший человек, да ведь не любил никогда. Жалел он меня, а не любил. Чужая я ему была. Может, и не надо было ему на мне жениться. И я неразумная была. Видно, человек сам должен в жизни свою дорогу прокладывать, своими ногами ходить.

И, слушая мать, Катя думала, что вот рядом с ней прожил жизнь одинокий человек, её мать, и никому не было дела до неё. Ведь мать была гораздо более одинока, чем она сама, — кроме дома, она ничего не имела. В этом доме её заботы принимали, как само собой разумеющееся, а её недостатки — как нечто неизбежное и неотделимое от матери. А все недостатки матери заключались только в одном — в неумелости. Сначала была неумелой от страха перед бабушкой, а потом стала боязлива из-за своей неловкости.

— Сильней меня она была, потому и взяла верх,— говорила Анастасия Степановна про бабушку.—Я ведь почему молчала? Не хотела разлада в дому, мечтала — всё по-хорошему обойдётся. Боялась, люди будут говорить, мол, ссорю сына с матерью, чужую семью рушу. А бабка что — нет в ней деликатности.— Она тяжело вздохнула.— Ведь меня что пригнуло? Всю жизнь дома просидела — вот что. В войну хоть и тяжело было, а всё я свет увидела, когда на фабрике работала. Люди разные, а все к чему-то одному. Тебя, может, и не видят, а с людьми вместе и себя за человека считаешь.

И мать вдруг начала вспоминать свою работу на фабрике во время войны, какие-то эпизоды, то смешные, то невесёлые и до сих пор её волновавшие, хотя в её передаче они казались совсем незначительными. Но Катя чувствовала за её словами потребность в общении с людьми и удивлялась и стыдилась того, что раньше не замечала и не понимала этого в матери.

Кате хотелось погладить, поцеловать мать, но она боялась только расстроить её — в доме у них не привыкли к таким нежностям. Она только осторожно и молча поправляла её подушку.

Из-за болезни матери Кате приходилось почти все вечера проводить дома, а утром до работы надо было успеть приготовить еду, сходить в магазин, а то и сбежать на базар.

Ранние вставания, домашние заботы, поздние вечера, когда сидишь одна и никто тебе не звонит, никто тебя не ждёт и ты никого не ждёшь,— всё это снова вернуло Катю к той жизни, которой она прожила много лет.

Но Леднёв и Ирина неотступно стояли в её мыслях.

Она вспоминала их квартиру, кабинет Леднёва, напоминавший его кабинет в пароходстве, если бы не широкий диван, покрытый свисающим со стены ковром; столовую с балконом, выходящим на набережную, Ирину в её халатике, с грудой всякой всячины на диване...

Что они там делают? Неужели Ирина довольна разладом, который происходит между её отцом и Катей?

Она представляла себе Леднёва дома, вспоминала его редкие русые волосы, добрую улыбку, его простодушный эгоизм, на который

нельзя было сердиться... Может быть, она сама в чём-то ошибается? Может быть, она излишне нетерпима к недостаткам Леднёва, и такие ли это недостатки, чтобы из-за них терять его?

Как-то днём Леднёв позвонил ей на работу и пригласил вечером пойти в театр.

— Сима и Юрий Михайлович приглашают, — сказал Леднёв. — Очень звали. И билеты уже на руках.

Была суббота, шла премьера, и театр был полон. За последние годы Катя привыкла ходить в театр только зимой, ей казалось необычным, что на улице ещё светло и во время антрактов все выходят в скверик перед театром и смешиваются с проходящей по улице публикой.

Пьеса ей не понравилась. Муж возвращается с фронта безнадежно отставшим и застаёт свою жену общественно выросшей. Возникает разлад, но потом муж осознаёт свою вину и всё устраивается к лучшему. Играли актёры хорошо, но всё это уже не раз читалось и виделось. Всё в пьесе совершалось чересчур быстро, прямолинейно, не трогало душу и оттого звучало неприятно, фальшиво, а люди казались мелкими и незначительными. Неудачную роль бухгалтера колхоза исполнял Иноземец, которого Катя любила в роли Бессемёнова в «Мещанах» Горького. И сейчас ей было обидно за Иноземцева.

Леднёв смотрел на сцену с выражением, означавшим, что он пришёл сюда отдохнуть, и всё это в общем чепуха, но чепуха приятная, как и любой спектакль. Поставили — и ладно. Можно отдохнуть — хорошо. Есть возможность посмеяться — ещё лучше. Ведь когда выйдешь из театра, всё равно забудешь обо всём этом. И Катя знала, что если Леднёва позовут куда-нибудь или отвлекут разговором, то он выйдет и отвлечётся, а потом будет опять смотреть, как будто и не выходил и не отвлекался. Рядом с ней сидел благодушный человек, который хочет отдохнуть и рад тому, что отдыхает, а что является поводом для отдыха — ему безразлично. Он даже хочет, чтобы пьеса ему понравилась, — иначе отдых будет испорчен. И Катя не спросила Леднёва, нравится ли ему пьеса, она знала, что он только неопределённо поведёт бровями и скажет что-то тоже неопределённое.

Юрий Михайлович сидел на приставном стуле возле Кати и Леднёва. Сима появлялась то в одной, то в другой ложе, то ещё где-нибудь, то вовсе уходила за сцену и выходила только в антракте, весёлая, сияющая, на расстоянии очень красивая, и возбуждённо спрашивала:

— Ну как, нравится?

Видно было, что ей хочется, чтобы о спектакле отозвались хорошо, потому что это спектакль её театра. Но, так как сама она в спектакле не была занята, то ей в то же время хотелось, чтобы он не понравился. Про актёра, игравшего роль председателя райисполкома — бюрократа, Леднёв сказал: «Удачно он это изобразил». Сима сделала многозначительное лицо: иначе, мол, и быть не может — первоклассный актёрский состав. Юрий Михайлович критиковал игру главного героя и главной героини, да и вообще всех раскритиковал, — Сима скорбно закивала головой, как бы говоря: «Да, да. Но что делать? Такой уж порядок в нашем театре — великолепные роли дают таким бездарным актёрам». Катя сказала, что пьеса ей не нравится, — Сима развела руками, вот что, мол, нам приходится играть...

И, однако, во всём поведении Симы, во всех её метаморфозах была какая-то подкупающая беззаботность.

На стенах главного фойе висели фотографии артистов театра, снятых в разных ролях.

— Вот, Катюша, смотрите, — говорила Сима, бесцеремонно дёргая Катю за рукав, — вот это я в «Валенсианской вдове», а это вот — в «Волках и овцах». Вы знаете, к нам на этот спектакль приезжала Пашенная и, вот честное слово, говорила, что лучшей Купавиной она никогда не видала.

— Неужели? — удивлялась Катя, посмеиваясь про себя и разглядывая гулявших в фойе.

Знакомых было мало, зато было много людей, которых хотя и твёрдо помнишь, что видел, но не знаешь, где и когда.

Подчиняясь неувловимому, но общему вниманию, Катя посмотрела на высокого пожилого человека в синей гимнастёрке с отложным воротником и таких же синих брюках, заправленных в сапоги, — костюм, который был моден до войны, ещё на катиной памяти. Он стоял один у стены, у него было суровое лицо и внимательный, немного беспокойный взгляд. Катя увидела, как напряжённо-выжидательно он посмотрел на Леднёва, а тот, сразу на мгновение замкнувшись, едва заметно кивнул головой. Словно они и не поздоровались, а просто посмотрели друг на друга и отвернулись.

— Вы знаете, кто это такой? — наклонившись к Кате, прошептала Сима, не обращившись, но глазами указывая ей на человека в синем костюме.

— Нет.

— Это Спириин... Ещё за несколько лет до войны он был здесь в обл-исполкоме очень большим начальником. Потом была какая-то история, в общем, его уже много лет не видно было... Говорят, его теперь в партии восстановили, он в Москву ездил.

Катя посмотрела на Леднёва, пытаясь понять значение взгляда, которым он обменялся со Спириным. Но лицо Леднёва было, как всегда, бесстрастно и безмятежно...

В один из антрактов мужчины ушли на улицу курить.

— Да, Катюша, я всё хотела у вас спросить, — сказала Сима, доверительно и интимно беря Катю под руку, — что такое происходит между вами?

— Между кем? — спросила Катя.

— Между вами и Костей. Какие-то вы оба странные. А? В чём дело? Вы не думайте, Костя мне ничего не говорил. Но я вижу, вижу! Какая кошка между вами пробежала?

По её тону и по той поспешности, с которой она объявила, что Леднёв ей ничего не говорил, ясно было, что он не только всё рассказал Симе, но и сам просил поговорить с Катей. В первую минуту это её укололо, но, подумав, она решила, что, в сущности, это и понятно. Ведь для Леднёва её состояние — не более, как бабья блажь, а он не любил обременять себя житейскими сложностями. Вот и счёл за лучшее, чтобы с Катей поговорила женщина — например, Сима.

— Да нет, Сима, — сказала Катя, стараясь улыбаться возможно естественнее, — ничего не происходит, вы ошибаетесь. Так просто, некоторые недоразумения по службе. Мы ведь вместе работаем. Бывают стычки.

— Ах, Катюша! — Сима прижала к себе катин локоть. — Служебные дела — какая это всё ерунда! Поверьте мне! Какое это может иметь значение? Вот Юра — мы с ним каждый день ссоримся. Мне нравится пьеса, а ему нет. Ему нравится музыка, а мне не нравится. Что же, нам из-за этого расходиться? Видите, не разошлись. Восемнадцать лет!

— Это не совсем так, — сказала Катя. — Вы спорите о предметах, которые вас обоих непосредственно не касаются.

— Да, но это касается искусства, — несколько торжественно произнесла Сима, успев в то же время с очаровательной улыбкой поклониться зна-

комой. — Тут могут быть самые различные точки зрения. А у вас ясное дело: надо отправлять эти самые баржи... О чём тут можно спорить?

Вдруг смешавшись, она замолчала. Им навстречу шла полная женщина с красивым русским лицом. Она приветливо улыбалась Симе.

— Здравствуйте, милочка, здравствуйте, дорогая, — целуя её и вся сияя, заговорила Сима. — Сколько лет, сколько зим... Вы знакомы? Ах, нет!.. Знакомьтесь... Варвара Акимовна, Екатерина Ивановна... Как, нравится вам? Правда, отлично, прекрасный спектакль? Зорина хороша, правда? Чудесна? Да, да... Ах, вас ждут. Ну идите... Ещё увидимся.

— Красивая женщина, — сказала Катя, — кто она?

— Брач. Быстрова Варвара Акимовна, — не глядя на Катю, ответила Сима. — Так вот, Катюша, я опять о том же... Честное слово! Ну, дорогая моя, хорошая, ну зачем вам мучить себя и его? Ведь Костя вас любит. Он вам предложение сделал, правда? Ну вот, видите. А для мужчины, тем более его возраста и положения, это оч-чень ответственный шаг. Значит, он вас любит. И дома у него все знают и Ирина. И вот нате вам, не успели пожениться, а уже ссоритесь. Вы сначала поженитесь, а уж потом ссорьтесь!

— Для этого не стоит выходить замуж, — тяжело рассмеялась Катя.

— Без этого не бывает, — беззаботно тряхнула завитыми волосами Сима. — А у вас будет прекрасная жизнь, поверьте мне. Оба свободные, красивые, любите друг друга, у Кости видное положение. То, что я говорю, — не мещанство, а жизнь, да, да, реальная жизнь, уверяю вас... Семейные заботы, дрязги... Бррр. Сразу постареешь на двадцать лет... Катя, окручивайте его немедленно, и дело с концом! Вы же умная женщина, чёрт возьми. А все эти разногласия и споры, ну их... честное слово! Изменять он не будет, вы моложе его, было бы время за вами углядеть.

В идущем навстречу потоке толпы Катя увидела Леднёва и Юрия Михайловича. В этой смешанной толпе зрителей Леднёв заметно выделялся — представительный, чуть-чуть сутулый генерал, медленно идущий и спокойно разговаривающий с пожилым мужчиной в элегантном сером костюме. Леднёв пытливо посмотрел на Симу и Катю, улыбнулся, дружески кивнул и прошёл с Юрием Михайловичем дальше. Катя догадалась, что он не хочет мешать разговору, который сам подстроил.

Опасаясь, что на обратном пути Леднёв и Юрий Михайлович подойдут к ним, Сима заторопилась.

— Здесь ваша судьба, я это говорю вам как женщина, как друг и как друг Кости. Я не хочу, чтобы его окрутила какая-нибудь фифа. Ему нужна именно такая жена, как вы. Катюша, ведь вы одинокая женщина, — сказала она вдруг с пафосом. — Ну, когда такой случай ещё представится? Правда, правда, будем говорить откровенно, без дураков. Где они, свободные мужчины? Ведь вам уже тридцать! А дальше? Одинокая старость? — Сима округлила глаза. — Это ужасно!

Зазвенел звонок, публика скапливалась у дверей, проходя в зал.

— Всё это не совсем так, как вы говорите, — сказала Катя. — Однако пора идти в зал... А одинокой женщиной можно остаться, даже выйдя замуж.

Катя и Леднёв сели на свои места. Юрий Михайлович задержался у ложи, в глубине которой сидел тот самый человек, которого Сима назвала Спириным.

Катя спросила Леднёва:

— Этот человек, стоявший в коридоре, в синем костюме, — Спирин?

— Да.

— Ты его знаешь?

— Знал когда-то, — спокойно ответил Леднёв и сочувственно добавил: — Потёрла его судьбишка.

— Ты его хорошо знал?

— Как тебе сказать... В одном затоне работали... В институте вместе учились...

— А сейчас ты с ним встречался?

— Сейчас нет... Всё это не так просто. Много лет прошло.

Катя помолчала.

— Я бы на твоём месте подошла к нему.

— Зачем?

— Он ждал этого.

— Ты думаешь?

— Я видела.

Леднёв качнул головой:

— Возможно... — и отвернулся к сцене.

После спектакля собрались поехать куда-нибудь поужинать. Но Катя отказалась, сославшись на болезнь матери, с которой она оставила соседку, и Леднёв пошёл её проводить.

Они шли молча. Леднёв ожидал, что после беседы с Симой Катя первая заговорит с ним, да и был недоволен катиным отказом поехать в ресторан. Катя тоже думала о разговоре с Симой.

— Меня Сима познакомила с одной женщиной, её зовут Варвара Акимовна. Ты её знаешь? — спросила Катя.

— Когда она тебя с ней познакомила? — вопросом ответил Леднёв.

— Сейчас вот, в театре.

— Интересно. Ну и что?

— Ничего. Я вот и спрашиваю: ты её знаешь?

— Знаю. А что?

Катя остановилась.

— Почему ты так грубо мне отвечаешь, Костя?

Он пожал плечами.

— Чем же грубо? Ты меня спрашиваешь, знаю ли я человека. Я отвечаю, что знаю, и в свою очередь спрашиваю: для чего ты задаёшь мне этот вопрос? А ты не отвечаешь.

— Ах, Костя, — сокрушённо заговорила Катя, — неужели ты меня подозреваешь в какой-то мелкой, бабьей ревности? Она приятная женщина и мне понравилась. Поверь мне, я говорю правду. Ведь ты всё знаешь о моей жизни, я ничего от тебя не скрывала, потому что не нахожу в ней ничего постыдного. Почему же ты думаешь, что я иначе отношусь к тебе? Неужели ты считаешь меня способной на мелкую ревность? Разве я тебе давала основания к таким подозрениям?

Смягчившись, он сказал:

— Я был когда-то с ней знаком, потом мы разошлись. Но я не хотел, чтобы всё это тебя касалось. Поэтому ничего и не рассказывал.

— Я никогда не требовала и не просила тебя мне рассказывать. Но уж если я тебя об этом спросила, ты мог мне просто и спокойно ответить. А ты мне ответил, как ревнивой бабе.

— Поверь, Катюша, что тебе это показалось, — произнёс Леднёв утомлённым голосом, — ты сама меня всё время в чём-то подозреваешь. Вот сегодня... Да что говорить!..

Катя поняла, что он хотел сказать о Спиристине, но потом решил не говорить.

— Да что говорить, — продолжал Леднёв, — я не понимаю, что с тобой. Ведь это в конце концов невыносимо. Со дня нашей поездки в Кадницы я тебя не узнаю. Тебе не нравится каждое моё слово, каждое моё движение. Если ты не хочешь со мной встречаться больше — так и скажи. Ушла любовь — так и скажи...

— Нет, Костя, — Катя печально покачала головой, — любовь не ушла. И, может быть, это и есть моя беда.

— Ну, если ты это считаешь своей бедой...

— Да, иногда считаю своей бедой.

Он пожал плечами, криво усмехнулся.

— Не будем об этом сейчас говорить, Костя, — сказала Катя.

— Нет, почему же, я готов.

— А я ещё не готова. К тому же я тороплюсь. И тебя ждут твои друзья.

— Хорошо, — сказал Леднёв, — отложим. Но нам надо поговорить.

— Да. Надо. Обязательно, — устало ответила Катя.

### Глава сорок первая

«Керчь» на участке не появлялась — разгрузится на причале мельницы и уходит в обратный рейс. Отец несколько раз бывал дома, сидел с матерью. Как-то он сказал Кате, что механик их теплохода Муртазин хочет для экономии времени заправлять судно горючим одновременно с погрузкой. Катю это заинтересовало, и когда «Керчь» пришла на мельницу, она поехала туда.

Но после разговора с Муртазиным она не торопилась уйти с теплохода — хотелось повидать Сутырина. Хотя Кате и неудобно было вмешиваться в его отношения с Ошурковой, ей казалось, что старинное знакомство с ним даёт ей на это право.

Катя стояла на палубе, разговаривая с Мелковым, когда кто-то окликнул её. Она оглянулась. Это был Сутырин.

На его чёрном кителе лежала серая мучная пыль, и весь он выглядел помятым, серым, как будто только что встал с постели или провёл бессонную ночь.

— Давно не видались, — заговорил он, улыбаясь и снимая фуражку. — Как живёте, Екатерина Ивановна?

— Ничего, спасибо. Как вы?

— Тоже ничего...

Они сошли с теплохода.

— Провожу вас немного, — сказал Сутырин, шагая рядом с ней по широкому двору мельницы.

— Пойдёмте, — охотно согласилась Катя.

Они миновали ворота и вышли на вновь строящуюся набережную Оки. Слева тянулись новые жилые корпуса, только отстроенные, со свежими посадками деревьев между кучами строительного мусора и с сияющими новой, свежей краской вывесками магазинов. Во дворах, ещё не огороженных заборами, стояли маленькие деревянные столики с деревянными скамейками вокруг; там играли в домино. На кучах песка играли дети. Бельё висело на верёвках, протянутых между деревьями.

Справа уходила вдаль Ока. Два художника, оба старенькие, в соломенных шляпах, сидели на берегу на маленьких раскладных стульчиках и рисовали.

— Ну, так что новенького, Сергей Игнатьевич? — спросила Катя. — Рассказывайте.

— О чём рассказывать? — печально проговорил Сутырин. — Дела всё старые...

— Я слыхала, у вашей бывшей жены неприятности на работе, — сказала Катя, поглядывая на грустное лицо Сутырина. Хороший, но слабый человек. Про таких, бывало, бабушка говорила: «Его только ленивый не обидит».

— Да, есть. Растрата...

Катя покачала головой.

— Плохо... Но ведь вы с ней давно разошлись?

— Давно... Почти семь лет уже.

— У вас оформлен развод?

— Нет ещё.

— Она не согласна?

— Так как-то... Не говорили толком.

— Не хотелось возиться?

— И это было...

— Процедура неприятная, — согласилась Катя, — но если уж её всё равно не миновать, то чем скорее, тем лучше.

— Слабость наша, — усмехнулся Сутырин, глядя в сторону.

Стараясь не упустить нить, которая может привести их к разговору о Дусе, Катя сказала:

— Такая слабость очень часто потом оборачивается против нас самих.

— Всего не предугадаешь, — ответил Сутырин, — так вот получается. Ведь вы меня с каких лет оппортунистом считаете... — Он остановился и, виновато улыбаясь, сказал: — Дальше не пойду. Надо на судно возвращаться.

Катя тоже остановилась. Но она вовсе не была намерена оставить этот разговор незаконченным.

— Давно вы у Ермаковых были? — спросила она.

— Давно уж. С месяц. Всё как-то не приходится.

— Николай теперь стал работать по-новому — на два вагона.

— Толковый человек, — сказал Сутырин, — дело своё знает...

— Собственно, это они вдвоём с Ошурковой предложили...

Она прямо посмотрела в лицо Сутырину. Он покраснел и отвёл глаза в сторону. Не отрывая от него взгляда, Катя спросила:

— Вы никому ничего не хотите передать, Сергей Игнатьевич?

Попрежнему глядя в сторону, он пробормотал:

— Кому это?

— Ошурковой!.. Дусе!..

— Да нет, чего уж там передавать...

Катя взяла его за руку.

— Сергей Игнатьевич! Вы мне позволите говорить об этом?

— Чего же, говорите, — сказал он, отводя глаза.

— Я, конечно, не имею права вмешиваться в ваши дела. Да я и не знаю толком, что произошло между вами. Но я хочу вам сказать: Дуся Ошуркова очень достойный человек и очень достойная женщина, поверьте мне, я тоже женщина и понимаю эти вещи... А то, что было когда-то, — она махнула рукой, — стоит ли об этом думать! Жизнь надо подчинять будущему, а не прошлому... А прошлое уже прошло, и хорошее и плохое — всё прошло...

— Не всякое забывается, — мрачно сказал Сутырин.

— Неправда, Сергей Игнатьевич, неправда!

Катя положила обе руки на плечи Сутырина и повернула его к себе. Сутырин смущённо улыбнулся.

— Надо помнить всё хорошее, а не всё плохое, — заговорила Катя. — Ошибки у всякого были и есть. Разве ваша женитьба на Кларе не ошибка? И у Дуси были ошибки, так что же, кончена жизнь? А вы думаете, у меня их не было? Если бы у меня не было в жизни ошибок, так, может быть, и я до тридцати лет в девках бы не просидела, а может быть, и ещё присажу...

Голос Кати дрогнул.

— Спасибо вам за доброе слово, Екатерина Ивановна, — сказал Сутырин, — но тяжёло всё это. Глаза бы не глядели.



— Тяжело. Только надо пройти через это. Ничего в жизни легко не даётся — ни любовь, ни счастье. А то, что даётся легко, то ничего и не стоит.

Он молчал, охваченный своими мыслями.

— А помните, Сергей Игнатьевич, — спросила Катя, — когда-то, ещё на «Амуре», мы говорили о Жене Кулагине?

Сутырин улыбнулся своей доброй улыбкой.

— Так ведь много чего говорили. Разве всё упомнишь?

— А вот я помню. Я тогда нападала на Кулагина, а вы защищали. Вы говорили, что людей надо понимать, жалеть, в общем, что-то в этом роде.

— Может быть, и говорил.

— Так вот. Вы были неправы. Дело вовсе не в жалости — не все её стоят. Но вы тогда показались мне очень добрым человеком. Почему же сейчас, когда есть женщина, которая действительно заслуживает и вашей доброты и вашего понимания, вы отказываете ей и в том и в другом?

Сутырин ничего не ответил, и Катя продолжала:

— А я вам скажу почему. Тогда это не задевало вас лично, а сейчас задевает.

— Вот видите, — мрачно проговорил Сутырин, — вы Женьку не хотели прощать, а хотите, чтобы я Дусю простил.

— Дусю нечего прощать, — жёстко ответила Катя, — Дуся перед вами ни в чём не провинилась. Вы подумайте о том, простит ли она вам то зло, которое вы ей теперь причиняете. Вы можете её любить или не любить — дело ваше. Но оскорблять её достоинство человека и женщины вы не имеете права. А вы это сделали. Ударили человека по больному месту. Это жестоко и непорядочно.

С плохо скрываемым смущением он пробормотал:

— Я ей зла не хочу. Может, что в сердцах и сказал, только зла не хочу. А что касается остального, так через это я перейти не могу, сердце не позволяет, и жизни у нас не будет.

— Это вопрос другой, — сказала Катя, — вы можете разойтись с ней. Но лишать её своего уважения вы не должны. И она должна это знать. Она сейчас на хорошем, правильном пути, и не надо ей мешать. Наоборот, поддержать её надо.

Помолчав, он сказал, улыбаясь:

— Наговорили вы обо мне, Екатерина Ивановна, всякого... А всё же душевный вы человек, хорошо с вами говорить, на сердце легче... Только вот итти мне надо, сейчас отправляться будем.

— Ну-ну, — Катя протянула ему руку, — не обижайтесь...

— Зачем же...

— Вот и не обижайтесь. И советую: как в порт снова придёте, зайдите к Дусе и поговорите с ней, просто поговорите.

Сутырин ничего не ответил.

С мельницы Катя пошла на участок пешком. Перейдя через мост, она увидела впереди себя двух мужчин, свернувших к участку. В одном из них Катя сразу узнала Бахтина, а когда поравнялась с ними, то с удивлением узнала во втором Спирина, того самого, которого видела в театре.

Катя догнала их как раз в ту минуту, когда они, прощаясь, остановились около переулка, ведущего к воротам участка... Увидев Катю, Бахтин кивнул ей и сделал рукой движение, чтобы она не торопилась — он сейчас её догонит.

Катя замедлила шаг.

— Ну, прощай, дружище, — донеслись до неё слова Бахтина, — будешь в Москве, жду обязательно. Ну, желаю тебе удачи, дорогой...

Совершенно произвольно Катя на мгновение обернулась и увидела, что Бахтин обнял Спирина и они поцеловались неуклюжим мужским поцелуем...

Потом он догнал Катю.

— Екатерина Ивановна, могу вас обрадовать — сегодня уезжаю в Москву.

— Почему это должно меня обрадовать? — удивилась Катя.

Он погрозил ей пальцем.

— Не притворяйтесь. Когда от меня уезжает начальство, даже самое уважаемое, я всегда доволен. Чего уж греха таить!.. С начальством хорошо, а без начальства ещё лучше... — Он окинул взглядом участок, суда на причалах, краны, вагоны. — А мне вот, честно говоря, жалко уезжать... Опять стол, кабинет, секретарь, бумаги, министр требует...

— Ну, и не уезжайте...

— Нельзя, — вздохнул Бахтин, — вызывают, я лицо должностное. Ещё со службы выгонят.

Катя смотрела на третий причал, где грузили теплоход «Петрозаводск». Бахтин проследил за её взглядом и вдруг сказал:

— Стоп! Запомните ваши мысли в эту минуту, а я их вам сейчас точно передам, совершенно точно. Хотите?

— Давайте, — улыбнулась Катя.

— Ну вот, — начал Бахтин, глядя на причал, — вязанка раскачивается над трюмом несколько сильнее обычного. Вы думаете: вот этот грузчик, что отбегает в сторону, — трусоватый и неопытный. И хотя он отскакивает — его-то как раз груз и может задеть. А вот тот грузчик, в зелёной майке, — опытный и смелый, ловко хватает ношу рукой и направляет её в трюм. И вы думаете: надо сказать тому, первому, чтобы он брал пример со второго... Как, угадал?

— Приблизительно так, — рассмеялась Катя.

— Ну вот, видите. А сигнальщик, что стоит внизу, в трюме, слишком часто просит повторить сигнал — чересчур осторожен, и это задерживает работу крана. Тоже угадал?

— Тоже угадали, — улыбаясь, ответила Катя.

— Значит, могу читать мысли на расстоянии, — весело сказал Бахтин, вытирая платком лоб и голову.

— Когда вы снова к нам? — спросила Катя.

— Вот уж этого не знаю. А вы, если будет надобность, пишите мне и звоните. Впрочем, можете и без надобности, так просто.

— Хорошо, я буду вам и звонить и писать.

— Главное, — серьёзно сказал Бахтин, — не дайте заглухнуть соревнованию. За организацию дела я не опасаюсь — вы прирождённый организатор, это у вас пойдёт. А вот эту крепкую, — он потряс сжатым кулаком, — взаимосвязь с флотом и с железной дорогой, это живое, настоящее дело не давайте удушить казёнщиной, формализмом. Людей бездушных, карьеристов за километр к нему не подпускайте. Для них ведь в какую дуду ни дудеть, лишь бы и их писклявый голосок был слышен.

Они подошли к крану Ошурковой. Дуся, закончив смену, стояла возле него вместе с Соней Ермаковой. Катю поразила бледность лица Дуси, и она спросила:

— Что с вами, Ошуркова, вы нездоровы?

— Да ничего, — тяжело дыша и странно заглатывая воздух, ответила Дуся, — вот сейчас...

— Больна она, больна, Катюша, — быстро и озабоченно заговорила Соня, не обращая внимания на Бахтина. — Больна, нужно в больницу отправить.

Дуся болезненно поморщилась.

— Да брось ты, Соня... Не слушайте вы её, Екатерина Ивановна...  
— Это ты её не слушай, — перебила Соня, — видишь, с пог валится.  
— Да нет, — ещё больше бледнея и вдруг оседая, пробормотала Дуся. — Вот только...

— Ничего, ничего, — быстро, но спокойно проговорила Катя, ловко подхватывая Дусю и бережно опуская её на землю. — Товарищ Бахтин, поддержите! Соня, беги, вызывай скорую помощь или машину начальника порта!..

Бахтин с напряжённым и нахмуренным лицом неловко поддержал Ошуркову. Он сразу подчинился Кате, распорядившейся с таким хладнокровием, что работавшие на причалах грузчики и матросы даже не заметили, что произошло, и подошли только тогда, когда санитарная машина, ревя сиреной, въехала на участок и выскочившие из машины санитары положили Ошуркову на носилки.

— Прямо в гинекологическую пусть везут, — прошептала Соня Кате.

— А вы прямо как врач действовали, — с уважением поглядывая на Катю, сказал Бахтин.

Она ответила спокойно, даже несколько равнодушно:

— В порту всякое бывает... К тому же я когда-то работала медицинской сестрой.

— А что с ней, с Ошурковой?

— Повидимому, что-то женское...

Когда они уже дошли до конторы, Бахтин сказал:

— Надо бы сообщить домой, мужу.

— Вы про Ошуркову?

— Да.

— Конечно, — помедлив, ответила Катя, — мы сообщим.

#### Глава сорок вторая

Наконец состоялось давно обещанное Леднёвым совещание о работе второго участка.

Катя пришла в пароходство к точно назначенному часу, но Вера Всеволодовна, секретарь управления, попросила её подождать — совещание немного задерживается, Леднёв ещё занят. Это была хмурая пожилая особа с чёрными крашеными волосами, падавшими на лоб длинной чёлкой. Вера Всеволодовна сидела за уставленным телефонами столом и держалась мученицей, обречённой охранять начальство от назойливых и бестолковых посетителей. Впрочем, с Катей она держалась любезно и даже несколько общительно — знала об отношениях Кати и Леднёва в той мере, в какой полагалось это знать секретарше. Она изобразила на своём лице улыбку, а то обстоятельство, что Леднёв ещё занят, сообщила Кате не так, как всем, а совсем по-другому — тихо и доверительно, своим интимным обращением выделяя Катю из общей массы посетителей.

В приёмную входили сотрудники, справлялись, когда освободится Леднёв, просили доложить о них или подписать нужные бумаги. Тут же в приёмной вертелся корреспондент местной речной газеты Пахрюков — видимо, Леднёв хотел, чтобы сообщение об этом совещании было опубликовано в газете. Ещё бы, управление специально обсуждает работу передового участка...

Леднёв вёл совещание спокойно, уверенно, не перебивая ораторов, но и не позволяя им нарушать регламент. Если он и вставлял изредка какое-нибудь замечание, то уже после того, как выступавший кончал говорить. Иногда он подымался и становился за стулом, облокотившись на него и чуть нагибаясь вперёд, всей своей позой выражая внимание к тому, кто

выступает. Всем своим поведением он создавал, казалось, атмосферу спокойной деловитости. Никто никого не перебивал, никто не повышал голоса, всех Леднёв выслушивал с одинаковым вниманием. Всё шло спокойно и деловито. Но чем больше слушала Катя выступления, чем больше осмысливала то, что здесь происходит, тем яснее она понимала, что всё это — лишь видимость деловитости...

Выступали разные люди, говорили, казалось бы, о самых разных вещах, приводили самые разнообразные цифры, но во всей этой внешней разности была удручающая одинаковость. Каждый говорил только о своём участке работы: главный бухгалтер — о финансах, начальник снабжения — о снабжении, начальник планового отдела — о выполнении плана, начальник отдела кадров — о кадрах, начальник отдела труда и зарплаты — о труде и зарплате... Каждый говорил о своём, частном, забывая об основном и главном, что должно было здесь решиться и что, как вода, растекалось среди бесчисленных песчинок маленьких ведомственных интересов. Была странная одинаковость в самой схеме выступлений, в оборотах речи, выражений — до того, что если бы, например, в речи начальника одного отдела слово «порт» заменить словом «движение», то его речь была бы повторением речи другого.

И ведь всё это были честные люди, хорошие и знающие работники, любящие своё дело и преданные ему. Но они словно отвыкли говорить о том, что лежит вне круга их прямых обязанностей.

В конце заседания выступил Леднёв. Катя слушала его и удивлялась: всё правильно, всё на своём месте, а по существу — ничего нет, ничего не сказано. Он отметил значение того, что делается в втором участке, и недопустимую медлительность управления в поддержке и развёртывании этого дела («Плохо поворачиваемся, товарищи»), сказал, что давно пора наладить нормальное движение флота («Пора покончить с этим позорным явлением») и что надо урегулировать отношения с железной дорогой («Дальше так работать нельзя»). И ещё много правильных и хороших вещей говорил Леднёв, говорил гладко, кругло, но Катя не услышала того единственного слова, которое показало бы, что он сам по-настоящему понял порочность своего собственного стиля работы.

После его речи с минуту царило молчание. Потом Леднёв подвёл итог:

— Ну что ж, товарищи... Говорили сегодня много, надо это претворить в дело. Я думаю, создадим комиссию и поручим ей подработать текст приказа. Срок — неделя, я думаю, этого будет достаточно... Какие будут предложения по составу комиссии?

Он обвёл взглядом присутствующих и поймал устремлённый на него взгляд Кати. Леднёв дружелюбно улыбнулся и сказал:

— Да, товарищи, чуть не забыл. Может быть, товарищ Воронина хочет ещё что-нибудь сказать?

— Да, я хотела бы, — ответила Катя.

— Пожалуйста. Десять минут, — сказал Леднёв, опускаясь в кресло. Все обернулись к Кате. Леднёв снова ободряюще улыбнулся ей.

Катя встала и медленно, подбирая слова, начала:

— Всё, что говорилось здесь, повидимому, правильно. Беда только в том, что всё это говорилось много раз, а организация дела остаётся старой. Плохая организация! А люди хотят работать по-новому, хотят повышать производительность своего труда. Ещё весной товарищ Леднёв обещал наладить движение судов, улучшить взаимоотношения с железной дорогой, подтвердил это обещание перед всем рабочим коллективом, но обещания эти так и остались обещаниями. Я знаю, что по этому поводу пишется много бумаг, но бумага остаётся бумагой. Мы в порту тоже получаем горы указаний, инструкций, распоряжений. Возможно, они очень хороши, все эти бумаги, но мы бы их все отдали за пусть даже

плохой, несовершенный, но хоть какой-то порядок в подаче судов и вагонов. Я боюсь, что после этого совещания мы опять получим большую и умную бумагу, но положение дел останется прежним.

В этом месте катиной речи послышался тот сдержанный шум, который обычно называют «оживлением в зале». Кто-то засмеялся: Леднёв добродушно улыбнулся, точно санкционируя катину шутку. Но Катя почувствовала, что этой снисходительной улыбкой Леднёв её обвинение превращает не более как в удачный ораторский приём.

Повысив голос, она продолжала:

— Я считаю своим правом и своим долгом говорить о том, что мешает и нам и другим работникам на местах. Это прежде всего канцелярско-бюрократический стиль руководства. У меня такое ощущение, что вся наша работа в порту, все усилия команд судов — всё это идёт само по себе, а деятельность наших руководителей — сама по себе.

Катя видела, как сереет лицо Леднёва, как нервно вертит он в руках карандаш, видела, какими напряжёнными становятся лица остальных участников совещания.

— Я не сомневаюсь, — продолжала Катя, — что работа комиссии будет плодотворной и на свет появится хороший приказ. Но вот хронометраж работы крановщиков себя оправдал — разрешите провести такую же работу по грузчикам и по другим профессиям. Почему вы забрали от нас нормировщиков?!

— Они обрабатывают материал по кранам, — бросил с места начальник отдела труда Бобрянский.

Катя повернулась к нему.

— Материал по кранам давно обработан, товарищ Бобрянский, вы теперь составляете брошюру: «...автор М. Бобрянский, под общей редакцией К. Леднёва». Это очень хорошо, все мы с удовольствием читаем эту брошюру, но на это есть зима. Зимой можно составлять брошюры, а изучать работу грузчиков нельзя! И эта работа должна быть проведена сейчас. И я также прошу, не дожидаясь составления резолюции, завтра же вернуть нормировщиков к нам на участок.

— Нормировщики будут возвращены, когда управление сочтёт это нужным, — хмурясь, произнёс Леднёв.

— Вот я и прошу, чтобы оно сочло это нужным, — ответила Катя.

— Просить вы, конечно, можете, — сказал Леднёв, иронической интонацией выделяя слово «просить».

Не обращая внимания на его тон, Катя продолжала:

— Точно так же я прошу, — она сделала ударение на слове «прошу», — я прошу дать суда направлением на Молотов, на Уфу, вообще в камском направлении. Грузов туда скопилось два склада, а тоннаж под этот груз не подают.

— Вот видите, — насмешливо сказал Леднёв, обводя взглядом собравшихся, точно приглашая их присоединиться к его насмешливости, — вот видите, вы просите наладить ритмичный подход теплоходов Сталинградской линии и в то же время требуете судов на Каму, которые займут причалы и сорвут движение на основной линии.

Удивляясь демагогии Леднёва, Катя покачала головой.

— Это не так. Груз на Каму есть, значит он должен вывозиться — нормальный график вовсе не исключает оперативности. Ведь уже идёт массовый поток сельскохозяйственных грузов, а нам их некуда будет выгружать... И, наконец, главное! Соревнование флота и берега принесло свои плоды. Соревнование, которое налаживается теперь с железной дорогой, тоже даст результаты, мы очень на это надеемся. Но в том и другом случае нужна ваша помощь, и мы просим эту помощь нам оказать...

Катя видела, что Леднёву неприятно всё то, что она говорит, неприятна и её настойчивость и то, что она уже давно исчерпала время, отпущенное ей регламентом, но продолжала говорить. Она предъявила все свои претензии, вплоть до последней мелочи, до рукавиц и запасных аккумуляторов. Она видела, что почти все начальники отделов делают в своих блокнотах пометки, значит записывают, значит её выступление не останется безрезультатным.

— И, наконец, последнее. За всем, о чём я прошу, стоят живые люди с именами и фамилиями. Всё это нужно им, они не могут обходиться без этого. Вот это надо помнить.

Леднёв сделал нетерпеливое движение, точно хотел сказать: «Мы сами знаем, что нам надо помнить». И Катя добавила:

— Я никого не собираюсь учить. Но высказать своё мнение — это не только моё служебное, но и гражданское право.

Совещание кончилось. Леднёв подчёркнуто официальным тоном предложил Кате задержаться.

Катя пересела в кресло у его стола. Она знала, что Леднёв оставил её для последнего, решительного объяснения, и спокойно ждала его. Все её колебания кончились. Она сделала то, чего долго не могла сделать, и теперь всё было ясно, всё на своём месте. А дальше... Дальше всё зависит от Леднёва, только от него и больше ни от кого.

Некоторое время Леднёв молча, не глядя на Катю, перебирал бумаги, приводя в порядок стол после совещания. Уборщица выносила стулья, по одному в каждой руке, боком протискиваясь в узкий проём двери. Вера Всеволодовна вытряхивала пепельницы в корзинку и с чисто секретарской педантичностью сначала разглаживала, потом просматривала каждую валявшуюся на столе для заседаний бумажку и только затем отправляла её в корзинку. Потом, проверяя, всё ли в порядке, она в последний раз обвела комнату внимательным взглядом квалифицированной секретарши — строгом, бесстрашном, не видящим ничего, кроме того, что ей полагается видеть... Наконец и она вышла.

Катя вдруг весело посмотрела на Леднёва. На минуту ей вдруг показалось, что ему надо рассмеяться и сказать, что она была права, и тогда всё уладится.

Но Леднёв не рассмеялся и ничего этого не сказал. После того как Вера Всеволодовна вышла, он ещё больше нахмурился, лицо его напряглось, покраснело, глаза стали мутными, какими-то отчуждёнными.

— Я не буду говорить о твоём сегодняшнем выступлении, — сказал Леднёв. — Твоё право — говорить и думать всё, что ты хочешь. Меня интересует другое: зачем тебе понадобилось ложно информировать Бахтина?

Этого Катя совсем не ожидала.

— Я не понимаю, о чём ты говоришь... Когда я неправильно информировала Бахтина? В чём?

— Докладывая о времени погрузки судов, ты включила в него также и время простоя в ожидании погрузки, то есть то время, за которое ты никак не отвечаешь.

— Ах, вот оно что, — протянула Катя и откинулась на спинку кресла.

— Да, именно... Ты это сделала, чтобы представить картину хуже, чем она есть. И вот я спрашиваю: для чего тебе это понадобилось?

— Для чего... — задумчиво ответила Катя, думая о том, что ей предстоит совсем не тот разговор, который она ожидала. — Зачем ты спрашиваешь? Для того, чтобы Бахтин увидел действительное положение вещей.

— Так. Допустим, — стараясь оставаться спокойным, сказал Леднёв. — Но ты отлично знаешь, что Бахтин собирает против меня материал. Почему ты не рассказала ему объективно? Ты представила ему положение в самом худшем виде. И всё это за моей спиной. Меня хотят сделать мальчиком для битья, а ты помогаешь этому...

Сдерживаясь, Катя сказала:

— Прежде всего, никакого материала Бахтин не собирает. Он не из таких людей.

Леднёв саркастически усмехнулся.

— Да, да, — продолжала Катя, — не из таких людей. Ему незачем ходить и собирать материал — весь материал в его руках... Даже смешно говорить об этом. У меня был с ним партийный разговор. Я была обязана сказать прежде всего о том, что плохо, в чём нам надо помочь. А ты придираешься к этому просто потому, что не знаешь, с чего начать. Хорошо, я тебе помогу.

Катя помолчала, приводя в порядок свои мысли.

— Так вот, Костя, ты хочешь, чтобы я тебя принимала целиком, таким, какой ты есть... Я не могу...

Леднёв снова усмехнулся. Катя холодно посмотрела на него.

— Всё это очень серьёзно. Серьёзно для нас обоих.

— Говори лучше о себе одной, Катя, — сказал Леднёв.

— Нет, я буду говорить о нас обоих, — спокойно ответила Катя. — И вот что я тебе скажу...

Подняв руку, он с нескрываемым раздражением перебил её:

— Не надо! Я отлично знаю, что ты скажешь. Ты мне уже достаточно говорила. Я хочу знать одно: где ты была раньше? Разве ты не видела, какой я есть, разве я в чём-нибудь изменился? Все теперь знают, что не сегодня-завтра ты — моя жена, даже знают, что фактически ты мне жена. И выходит, что же, интрижка? Банальная, дешёвая интрижка. Вот о чём подумай! Очень красиво. И для меня и для тебя. Погуляли у всех на глазах и разошлись... начальник с подчинённой... Ничего себе... Красиво!

Катя отвернулась.

— Ты всё думаешь о своей репутации. А я сейчас думаю о большем... Я теряю тебя.

— Это разные вещи... Дело не в репутации.

— Нет, Костя, дело в репутации, — сказала Катя, — но не в той репутации, за которую ты так боишься. Это репутация показная. А вот твоя настоящая, истинная репутация зависит совсем от другого. Тебе надо понять, что происходит. Твоя жизнь сейчас определяется только одним — осторожностью. Ты хочешь, чтобы за тебя думали вышестоящие начальники. А тебе самому останется думать только о том, как ты перед ними будешь выглядеть. Вот, к сожалению, твоя истинная репутация в настоящее время. И должна тебе сказать: Бахтин, партийный работник, знает наше производство лучше, чем ты.

— Ну, хорошо, — криво усмехаясь, сказал Леднёв. — Допустим, что всё это так. И работник я плохой, и перестраховщик, и очковиратель, и даже дела не знаю. Но ты меня любила как человека или как исполняющего обязанности начальника пароходства? А если бы я не был водником? Допустим, был бы я электриком или агрономом... Тогда как? Тогда мои деловые качества тебя бы не касались, ты бы просто о них не знала. И всё было бы хорошо и прекрасно. Значит, беда в том, что мы с тобой служим в одном ведомстве?!

— Не знаю, Костя, не знаю... — устало сказала Катя. — Что было бы, если бы... Я не могу рассуждать так. Случилось, что мы работаем вместе. Ты весь передо мной. Как я могу уйти от какой-то стороны твоей жизни,

уйти от твоей работы?.. Ведь это и моя работа, и моя жизнь... Я помню, как ты отнёсся к Ошурковой, и видела, как разговаривал Бахтин со Спириным. Ты тяготишься чужими неудачами, сторишься чужих невзгод. А так, Костя, нельзя. Тебе вручены судьбы тысяч людей, а ты думаешь только о своей судьбе.

Леднёв сидел, не поднимая глаз, и вертел в руках карандаш. Потом он провёл карандашом по модели теплохода, и Катя услышала быстрый, дробный звук, который так запомнился ей с того дня, когда она впервые пришла в этот кабинет.

— Всё это понятно,— сказал Леднёв.— Какие же выводы ты делаешь из этого для себя?

Вот последняя, тяжёлая минута... Катя с трудом перевела дыхание.

— Выводы? Не знаю, не знаю... Я не могу жить с человеком, жизнь которого не является моей жизнью.

— Вот это ясно, — сказал Леднёв и, лёгким движением бросив свой карандаш на стол, посмотрел на Катю. Но она ничего не увидела в его взгляде.

Он встал, подошёл к открытому окну и спросил:

— Это твоё окончательное решение?

— Да... Если ты, конечно, не хочешь в чём-то со мной согласиться.

— Я ни в чём не намерен с тобой соглашаться. Разговоры на эту тему бесполезны, — не оборачиваясь, спокойно ответил он.

— Ну что ж... — Катя встала. — Тогда до свидания, Костя...

— До свидания...

Катя медленно направилась к двери. Ей казалось, что она сейчас заденет за этот толстый ковёр, упадёт и всё тогда будет выглядеть смешно и глупо.

Она дошла до двери и остановилась. Неужели он даже не посмотрит на неё? Катя медленно повернула голову.

Леднёв стоял у окна, не оборачиваясь. Белый китель морщился на его сутулых плечах. Кате показалось, что она видит, как ветер шевелит его русые волосы. За окном звенела улица. Было хорошо слышно, как снаружи, в нишах стены, вьются голуби. Они ворковали, хлопали крыльями и царапали когтями жёсть карниза.

— Прощай, Костя, — сказала Катя, и голос её дрогнул.

— Прощай, — ответил Леднёв, не оборачиваясь.

*(Окончание следует)*





---

Б. СЛУЦКИЙ

★

## ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

### ИТАЛЬЯНЕЦ

В конце войны в селе Кулагино  
Разведчики гвардейской армии  
Освободили из концлагеря  
Курчавого больного парня.  
Была весна и наступление...

До полного выздоровления  
В советский госпиталь положенный,  
Он отлежался, откормился,  
С врачами за руку простился —  
И началось его хождение  
(Как это далее изложено),  
И начались его скитания,  
Путь в Рим из пятого барака!  
Гласила: «Следует в Италию» —  
Им  
предъявляемая справка.

Через двенадцать язык,  
Четырнадцать держав  
Пошёл он, эту справку сжав,  
К своей груди прижав.

Из бдительности  
ежедневно  
Его подробнейше допрашивали.  
Из сердобольности душевной  
Кормили кашею трёхразовую.  
Он шёл и шёл за наступлением  
И ждал без всякого волнения  
Допроса,  
а затем обеда,  
Справку  
загодя  
показывая.

До самой итальянской родины  
Дорога минами испорчена.  
За каждый шаг, им к дому пройденный,  
Сполна  
солдатской кровью  
плочено.

Он шёл по танковому следу,  
 Прикрыт бронёй. Без остановки  
 Шёл от побудки до обеда  
 И от обеда до ночёвки.

Чернявый, маленький, хорошенький,  
 Приятный, вежливый, старательный,  
 Весь, как воробушек, взъерошенный,  
 В любой работе очень тщательный,  
 Колол дрова для поваров.  
 Толкал машины — будь здоров  
 И плакал горькими слезами,  
 Закапывая мертвецов.  
 Ты помнишь их глаза усталые,  
 Пустые, как пустые комнаты?  
 Тех глаз не забывай

в Италии!

Пожалуйста, их в Риме вспомни ты!

Ты,

проработавший уставы  
 Сельхозартели и военные,  
 Прослушавший на всех заставах  
 Политбеседы откровенные,  
 Твердивший буквы вечерами,  
 Читавший сводки с шоферами,  
 Ты,

овладевший политграмотой  
 Раньше итальянской грамоты, —  
 Немногого мы просим — памяти!

Мы знаем: помнят итальянцы,  
 Французы тоже не забыли,  
 Как умирали новобранцы,  
 Как ветеранов хоронили,  
 Чтобы по танковому следу  
 Они пришли в свою победу.

### ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР

По телефону из Москвы в Тагил  
 Кричала женщина с какой-то чудной силой:  
 — Не забывай! Ты слышишь, милый, милый!  
 Не забывай! Ты так меня любил.

А мы — в кабинах, в зале ожидания,  
 В Москве, в Тагиле и по всей земле —  
 Безмолвно, как влюблённые во мгле,  
 Вдыхали эту радость и страданье.

Не забывай её, не забывай!  
 Почаще вести подавай!



---

ГОВАРД ФАСТ

★

## САЙЛАС ТИМБЕРМЕН

*Роман\**

**К**огда они вернулись в зал заседаний, Боб Аллен был уже там; он скромно сидел в самом конце первого ряда, отведённого для свидетелей, уставившись взглядом в портфель, лежащий у него на коленях, и даже не взглянул на них, когда они вошли.

Вид его ни у кого из них больше не вызывал сомнений; они промолчали; даже торжество Мак-Алистера погасло, как только сбылось его мрачное предсказание. Когда Эдна Кроуфорд заявила: «Я скажу ему пару слов. Это просто дико!» — никто не попытался её удержать; она подошла к Аллену, а тот застыл, как каменный, так что даже они в другом конце зала почувствовали, как он напряжён. Минуту Эдна постояла возле него, так и не вымолвив ни единого слова. Спенсер заметил:

— Если уж Эдна потрясена, значит весь мир сошёл с катушек.

На что Федермен сказал:

— Не весь мир, а только ваш мир, Харт.

Да, мысленно согласился с ним Сайлас, это был мир Хартмана Спенсера и Эдны Кроуфорд. Но каков же был его собственный мир?

Спенсер сказал:

— Мой мир покоился на четырёх столбах — таких, как Эдна Кроуфорд. То был хороший мир, добропорядочный мир. Он породил Эмерсона<sup>1</sup> и Торо<sup>2</sup>, Уитмена<sup>3</sup> и Ингерсолла<sup>4</sup>.

Спенсер проявил гораздо меньше философской терпимости, чем ожидал от него Сайлас; он ведь мог бы добавить, что тот же мир произвёл и судью Тейера<sup>5</sup>.

— Я чувствую себя дурой, — сказала мисс Кроуфорд, вернувшись на своё место.

«А разве все мы чувствуем себя иначе?» — подумал Сайлас.

Вспыхнули прожекторы, и в зал вошли сенаторы, получившие подкрепление в лице дородного Мэрдока от штата Индиана. Атмосфера была накалённая; если утром она ещё была нормальной — в той мере, в ка-

---

<sup>1</sup> Эмерсон Ральф Уолдо (1803—1882) — американский писатель и буржуазный философ; выступал против рабства. (Примеч. перев.)

<sup>2</sup> Торо Генри (1817—1862) — американский писатель, последователь Руссо; резко критиковал правительство США. (Примеч. перев.)

<sup>3</sup> Уитмен Уолт (1819—1892) — американский поэт-демократ. (Примеч. перев.)

<sup>4</sup> Ингерсолл Роберт Грин (1833—1899) — американский общественный деятель, известный своими выступлениями по антирелигиозным вопросам. (Примеч. перев.)

<sup>5</sup> Судья Тейер присудил Сакко и Ванцетти к смертной казни на электрическом стуле. (Примеч. перев.)

\* Окончание. Начало см. №№ 1, 2 с. 5.

кой в этой части света она могла быть нормальной, — вечером всё было по-другому. Не только никому не было скучно, но никто и не собиравался скучать, и часть зала, отведённая для публики, была набита битком.

— Заседание комиссии объявляется открытым, — провозгласил д'Мэрси, выполняя свою почётную обязанность председателя. — Господин советник, кто будет первым свидетелем?

Дэви Кэнн покрасовался, как павлин. Хотя он сидел на месте, Сайласу почему-то казалось, что он всё время подсакивает, как ванька-встанька. Было бы несправедливо, подумал Сайлас, принять его кривую улыбку нетерпения за злобную усмешку. «Усмешка» — старинное слово, оно родилось в давным-давно минувшие времена, когда злодейство было неприкрытым. Дэви Кэнн отнюдь не был ни старомодным, ни откровенным человеком; он больше смахивал на вирус, уже приспособившийся к антибиотикам, и был взращён новыми условиями и новыми веяниями.

— Роберт Аллен, — ответил он, и его маленькие глазки стали масляными от возбуждения.

Аллен, не расставаясь со своим портфелем, подошёл к столу для свидетелей. Он был один-одинёшенек, даже без адвоката — этакий храбрец и молодчага.

Всем своим видом он словно говорил: «Что тебе думать о других? Думай о себе».

Д'Мэрси сказал:

— Пожалуйста, поднимите правую руку, мистер Аллен. В деле, которое разбирается сейчас комиссией, клянётесь вы говорить правду, всю правду и только правду, и да поможет вам бог?

— Клянусь.

— Назовите, пожалуйста, ваше имя и фамилию, — попросил его Дэви Кэнн.

— Роберт Д. Аллен.

— Аллен? А-л-л-е-н?

— Совершенно верно.

— И вы являетесь преподавателем Клемингтонского университета?

— Да.

— Профессором?

— Преподавателем.

— Другими словами, мне не следует называть вас «профессор Аллен»?

— Нет... во всяком случае, пока ещё нет, — ответил он с ангельской скромностью и простодушием.

— Мистер Аллен, — спросил Кэнн, — чем отличается положение преподавателя от положения профессора?

— Я полагаю, что всё зависит от учебного заведения; в каждом из них есть свои особые правила. В Клемингтоне докторская степень необходима даже для доцента. Я имею в виду степень доктора философии. Конечно, можно иметь докторскую степень и всё же не получить звания профессора: его присуждает университет.

— Профессура даёт более высокий заработок?

— Да, конечно, более высокий заработок, больше почёта, более прочное положение. В Клемингтоне начинают карьеру с должности студента-инструктора; студент-инструктор учится на последнем курсе и одновременно преподаёт. Я считаю преподавателем, то есть имею штатную должность, работая под руководством профессора.

— Кто ваш руководитель, мистер Аллен?

— Профессор Тимбермен.

— Давно вы служите в Клемингтоне, мистер Аллен?

— Четвёртый год, седьмой семестр. Но я преподавал и годом раньше, когда ещё учился.

— Какой вы преподаёте предмет?

— Американскую литературу — преимущественно современную.

— Вы ведь сами тоже окончили Клемингтонский университет, не правда ли?

— Да, сэр, совершенно верно.

— Будучи студентом, вы учились когда-нибудь у профессора Тимбермена?

— Да.

— А у профессора Амстердама?

— Нет, сэр.

— Я назову вам ещё несколько фамилий: Лоуренс Кэплин, Леон Федермен, Алек Брэди и Хартман Спенсер. Учились вы у кого-нибудь из них?

— Только у одного из них, у профессора Кэплина.

— Значит, будучи студентом, вы знали как профессора Кэплина, так и профессора Тимбермена?

— Да.

— А в то время, когда профессор Тимбермен был вашим преподавателем, вы не заметили у него попыток внушить студентам определённую доктрину?

— Простите?..

— Давайте поставим вопрос иначе. Вы считаете, что метод преподавания профессора Тимбермена был американским методом?

— Видите ли, сэр... последний год, когда я у него учился, был 1941 год. В то время он очень критически относился к нацистам. Он постоянно подчёркивал несовместимость нацизма и литературы.

— А не помните ли вы, критиковал он в такой же степени и коммунизм или Советский Союз?

— Нет, сэр, я не припомню ни одного критического замечания по их адресу. Наоборот, я помню, как он хвалил несколько русских книг.

— А вы помните названия этих книг? — неожиданно вмешался Брэнниген.

— Нет, сэр. Но он рекомендовал студентам некоторые американские книги, написанные авторами, которые сейчас не в чести, хотя тогда они и были в моде. То были книги, резко критикующие американский образ жизни и американские порядки. Профессор Тимбермен всегда был настроен очень критически. Он постоянно находил изъяны в американском образе жизни.

— Вы можете назвать эти книги? — наседал Брэнниген.

— Могу назвать некоторые из них. «Американская трагедия» Теодора Драйзера, «Бэббит» и «Элмер Гантри» Синклера Льюиса, «Мартин Иден» и «Железная пята» Джека Лондона. Были, конечно, и другие.

Инициатива вопроса перешла к Брэннигену.

— Насколько я помню, Теодор Драйзер был членом коммунистической партии? Профессор Тимбермен когда-нибудь предупреждал об этом студентов?

— Нет, сэр.

— «Бэббит» и «Элмер Гантри» — книги, проповедующие ненависть к дельцам и к свободному предпринимательству, не так ли, мистер Аллен?

— В некотором смысле да, сэр. В «Бэббите» высмеивается торговец недвижимостью, а «Элмер Гантри» — пасквиль на церковь.

— Синклер Льюис ведь тоже был коммунистом, не так ли?

— Насколько я знаю, он не был им открыто. Но он свободно мог бы им быть.

— А Джек Лондон был коммунистом и этого не скрывал — не то что некоторые в наши дни. Не посвящены ли обе его книги, которые вы называли, проповеди насильственного ниспровержения правительства?

— «Железная пята» — несомненно, сэр, что же касается «Мартина Идена», то там это только, так сказать, в подтексте.

— Вы имеете в виду, что там не говорится об этом напрямую?

— Да, сэр.

— А не помните ли вы, предупреждал ли профессор Тимбермен своих студентов о характере и цели книг, которые он так советовал им читать и изучать?

— Нет, сэр. Не помню.

— А вы когда-нибудь подозревали профессора Тимбермена в склонности к коммунизму?

— Да, сэр, подозревал.

До сих пор Сайлас слушал рассеянно, словно очень издалека, потому что мысли его лихорадочно обгоняли друг друга, молниеносно переключаясь с предмета на предмет, но никак не связывали его самого с приятным молодым человеком, который сейчас давал показания. Казалось, их давал кто-то посторонний, и Сайлас к ним прислушивался только краем уха: они были нелепыми, ребяческими, бессмысленными, они были ложью, полуправдой, четвертью правды. Он никогда не включал в свой курс «Железную пята»; он и сам-то её ни разу не перечитывал с тех пор, как был подростком, и всегда считал «Мартина Идена» весьма сентиментальным и незрелым произведением. Зная, с каким трудом даётся обязательное чтение, он обычно рекомендовал при изучении Драйзера читать «Сестру Кэрри», иногда «Финансиста», но почти никогда не включал в список «Американскую трагедию»; впрочем, несколько недель назад он действительно говорил Бобу Аллену, как высоко ценит эту книгу. Рассудок настойчиво требовал, чтобы он отделил себя от существа, сидевшего за свидетельским столом; даже логика и та отказывалась его признать. Но как ни старались его мысли побыстрее приспособиться к действительности, факт оставался фактом: он прожил сорок лет своей жизни в одном мире и не мог так сразу отрешиться от него ради какого-то другого. Если бы он как-нибудь вечером лёг в постель рядом с Майрой, с ощущением её привычного тепла и близости, а на следующее утро проснулся в пустыне Аризоны, ему было бы трудно с этим примириться. Ему было трудно примириться и сейчас.

Но когда он услышал последний вопрос и ответ на него Аллена, Сайлас вскочил, не сознавая того, что он делает; Мак-Алистер и Брэди силой усадили его на место.

— Спокойно, спокойно, приятель, — приговаривал Мак-Алистер, и Сайлас услышал, как Эдна Кроуфорд прошептала:

— Бедный Сайлас!

«Бедный Сайлас, — снова и снова отдавалось в его мозгу. — Бедный Сайлас!» Но у Брэннигена не было времени для жалости; он работал исправно.

— Когда, — спросил он, — вы впервые заподозрили профессора Тимбермена в коммунистических настроениях?

— Когда я заметил, как тенденциозно он преподаёт свой предмет. Всегда против богатых. Всегда насмехаясь над людьми с положением. Он так облагораживал бедняков, что это совсем не было похоже на действительность.

— Вы не считаете, что так вообще принято преподавать на факультете английского языка в Клемингтоне, мистер Аллен?

— Нет, сэр, не считаю. Правда, профессор Кэплин высказывал неприязнь к английскому дворянству, но ведь там речь шла только о средних веках.

— А вы не думаете, что поэтому ему легче было скрывать свои убеждения, чем профессору Тимбермену?

— Возможно...

Сайлас взглянул на Лоуренса Кэплина: лицо у того побледнело и было напряжённым, но губы непрерывно подёргивались от сдерживаемого смеха. Впервые Сайлас до конца осознал трагедию, которая происходила в жизни шестерых его товарищей. Что касается его самого, он никогда не считал того, что случилось, трагедией. Конечно, это был удар, жестокий удар, но отнюдь не смертельный; он настиг его посреди реки, свернул его с привычного жизненного пути; теперь на его плечи легло тяжкое бремя поисков нового пути и новой жизни. Но он не сомневался в том, что сможет начать новую жизнь. Рядом с ним была Майра, он был сравнительно молод, здоров. Его предками были люди, привыкшие работать своими руками; он не отчаивался от того, что и ему, вероятно, снова придётся заняться физическим трудом.

Но что делать Кэплину, старому Айку Амстердаму, что будет со всеми остальными? Что гложет сердце Лоуренса Кэплина сейчас, в этот миг?..

— Вы сказали, что профессор Тимбермен заставлял своих студентов читать книги, ратовавшие за насильственное свержение правительства. А вы слышали когда-нибудь, чтобы профессор Тимбермен сам высказывался в таком духе? — Голос Брэннигена звучал тихо, ласково.

— Да, слышал, — ответил свидетель также тихо и почти извиняющимся тоном. (Прости меня, прежде чем я воткну нож свой в живот тебе. Постарайся понять, как скорбит душа убийцы.)

— Прошу вас, расскажите подробнее.

— Как-то в доме профессора Тимбермена, в сорок седьмом году, мы...

— Простите, мистер Аллен. Попрошу вас назвать имена всех, кто там присутствовал.

— Слушаю. Профессор Тимбермен, его жена, профессор Амстердам, профессор Кэплин и профессор Федермен... ну и, разумеется, я тоже.

— Что это было — вечеринка или собрание?

— Видите ли, сэр, трудно отделить одно от другого. В университетском быту лучше всего скрыть собрание под видом вечеринки. Или, скажем, партии в бридж.

Сайлас и Майра не играли в бридж, но сейчас это не имело никакого значения — во всяком случае, для кипевшего от негодования Сайласа.

— Значит, можно считать, что в тот день у профессора Тимбермена состоялось собрание?

— Да, сэр. Думаю, что можно. — Теперь в голосе Боба Аллена звучала нотка глубочайшего сожаления, самой искренней печали. Каждому должно было быть понятно, что ему тяжело, что ему мучительно тяжело. Как бы ни страдал сейчас некий Сайлас Тимбермен, Роберт Аллен страдал несколько не меньше.

— Что же произошло на том собрании?

— Профессор Тимбермен говорил о необходимости создать в Клемингтоне организацию, которая могла бы в нужный момент взять на себя управление университетом, — подобное выступление должно было

совпасть с куда более широким выступлением во всей стране. Он спросил меня...

Сайлас вскочил с места в бешенстве.

— Ложь! Ложь! Он лжёт, говорю вам!

Друзья усадили Сайласа прежде, чем его успели схватить судебные приставы.

— Вы так делу не поможете,— увещевал его Мак-Алистер.— Я понимаю, как это гнусно, но ведь криком ничего не достигнешь. Бога ради, слушайте... слушайте, говорят вам! Ведь от того, что он скажет, зависит ваша жизнь. Слушайте!

— Мистер Аллен, является ли профессор Тимбермен членом коммунистической партии?

— Да, является.

(Слушай его. Слушай каждое слово. Ты ведь учишься в новой школе, в школе Брэннигена.)

— ...Иными словами, мистер Аллен, было принято решение использовать Марка Твена для подрыва авторитета университетской администрации и, в частности, для дискредитации Эдварда Лундфеста, который уже принял меры к тому, чтобы обезвредить профессоров Кэплина и Тимбермена?

— Совершенно верно.

— Спекулируя на том, что Марк Твен занимает слишком прочное место в сердцах американцев?

— Да, сэр. Они считали его могучим союзником.

(Слушай его, слушай. Это ведь Боб Аллен, муж Сью Аллен — какая молодая, прелестная пара! Постарайся понять, почему он так поступает. Многие уже так поступали, многие поступят ещё. Слушай же его, так велит Мак-Алистер. Зачем ты тратил свою жизнь на гуманитарные науки? Тебе следовало изучать болезни, вот это дело для учёного. Айк Амстердам — настоящий учёный. Погляди на него. Он насколько не потрясён. Он совершенно спокоен, ему даже забавно. Видно, он не первый раз встречает таких, как Боб Аллен...)

— ...За воззвание обычно агитировал профессор Брэди. Это он с ним возился.

— Значит, распространением возвания о мире занимался профессор Брэди?

— Да, он.

— Как ваше мнение, мистер Аллен, профессор Брэди преследовал при этом интересы мира?

— По-моему, нет. Он хотел украсть у нас наше величайшее оружие в борьбе против коммунистической тирании — атомную бомбу.

— Есть у вас какие-нибудь особые данные для такого утверждения?

— Да, есть. В беседе со мной он и профессор Тимбермен подчёркивали, что, если удастся собрать под возванием достаточное число подписей, применение атомного оружия станет невозможным.

(Погляди на Брэди и молчи. Ведь Брэди молчит, он погружён в раздумье. Брэди — историк. Мысленно перед ним проходит вся история человечества, Брэди молчит, наблюдает и думает... Ему интересно, страшно интересно...).

— ...Другими словами, профессор Тимбермен требовал, чтобы вы не участвовали в гражданской обороне?

— Совершенно верно.

— А были при этом свидетели?

— Да, был профессор Кэплин.

— А профессор Кэплин соглашался с профессором Тимберменом?

— У них были тактические разногласия. Кэплин полагал, что из-за



этого не следует вступать в бой с президентом Кэботом. Ему казалось, что, поскольку большинство американцев лояльно, их всё равно не поднимешь против гражданской обороны...

(Кэплин постарел лет на двадцать. Куда теперь денется Кэплин? Скопил он хоть немножко денег, чтобы прожить некоторое время очень экономно? Что за странная причуда — думать сейчас о деньгах, Сайлас! А сколько денег ты скопил сам? Тебе по крайней мере повезло — ты не еврей. А может, ты еврей? Вот, например, Федермен... Говорят, что каждый грош, который у него есть, уходит на врачей... Если тебе нужно понять Боба Аллена, тебе пужно понять и Федермена. Федермен — учёный. Чтобы понять, что такое человечество, изучи хотя бы одного человека... или что-то в этом роде. Федермен и Брэди — им обоим очень интересно, они не хотят пропустить ни одного слова. Даже Хартман Спенсер и тот словно наблюдает за очень важным экспериментом. Кто бы мог подумать, что с ними будет и Хартман, — ведь он такой джентльмен. Ему всё время предлагали пост директора средней школы. Раньше, до того, как всё это случилось. Хартману Спенсеру теперь уже не дождался таких лестных предложений...)

— ...И вы утверждаете, что митинг в университетском городке был открыто созван коммунистической ячейкой?

— Да, сэр.

— Вы причислили к ячейке всех мужчин, вызванных сюда из Клемингтона. А мисс Кроуфорд тоже входит в ячейку?

— Да, сэр, — ответил Боб Аллен с искренним сожалением.

(Значит, и Эдна Кроуфорд. Старая дева, мисс Эдна Кроуфорд. О ней ходила легенда, будто она потеряла любимого человека на какой-то войне... Нужно же было объяснить, почему красивая женщина осталась старой девой. Любопытно, что Эдна Кроуфорд как-то рассказывала, почему она всегда голосует за республиканцев, — уж больно ей не по душе смелые антраша демократов! Наверное, никакого возлюбленного и не убивали на войне; женщины не остаются из-за такой ерунды в старых девах. А что, если встать и крикнуть: «Только не Эдну, кого хотите, только не Эдну! Если вы обидите Эдну, мир погибнет, весь мир превратится в обломки, и вам его больше не восстановить. Поймите! Неужели вы не понимаете?» Но ты уже не можешь встать и крикнуть. Взгляни лучше на Эдну. Мисс Кроуфорд не погибла. Она сидит, выпрямившись, как стрела, а её голубые глаза горят гневом и ненавистью. Ну, уж если вы пустились на такие дела... если вы обижаете такого человека... Что теперь будет?)

## Глава седьмая

### КАМЕНЬ

Понедельник, 3 декабря 1950 года.

Сайлас снова поднял трубку; это был, если говорить точно, его шестнадцатый телефонный звонок. Теперь он звонил Стиву Кэвеноу, который мнил себя Менкеном<sup>1</sup> штата Индиана и написал нашумевшую на всю страну книжечку; она, непонятно почему, разошлась огромным тиражом и называлась: «Образы. Как их творят и как губят». Сайлас обвёл фамилию Кэвеноу кружочком и сказал телефонистке номер. К телефону подошёл сам Кэвеноу.

<sup>1</sup> Менкен Генри-Льюис (род. в 1880 году) — американский литературный критик. (Примеч. перев.)

— Алло! Это вы, Кэвену? Говорит Тимбермен, Сайлас Тимбермен. Наступило мёртвое молчание, — Сайлас теперь его уже, так хорошо знал.

— Ах, это вы... да, да, конечно. Как поживаете?

— Прилично, — сказал Сайлас. — Кэвену, я вам звоню насчёт того, что происходит в нашем университете; кое-кого из нас это очень волнует. Брэди, Амстердам и я подумали: а что, если мы соберёмся, человек сорок—пятьдесят преподавателей, и поговорим вместе? Возможно, мы что-нибудь надумаем, а? Правда, может, толку от этого и будет не много... А впрочем, мы ничего не теряем, почему бы не сделать попытку...

Ему казалось, что он слышит, как Кэвену говорит себе: «Ещё бы! Тебе-то, конечно, нечего терять, бедняга!»

— Да, да, вы совершенно правы. Мне кажется, стоит сделать попытку... Но вы себе даже не представляете, как я сейчас занят. Просто по уши. Правлю рефераты, к тому же на меня навалили два дополнительных семинара... В ближайшие две недели ни о каких собраниях нечего и думать! Ей-богу, у меня не найдётся ни одного свободного вечера. Вы же знаете, как я отношусь к таким вещам, Сайлас... Я никогда не вмешивался в политику, но моё отношение...

— Ясно, — сказал Сайлас и повесил трубку.

Следующим в списке был Джоэл Сивер; Сайлас сел и с недоброжелательством и отвращением уставился на телефон.

В кабинет вошла Джералдайн и, заметив его понурый вид, вдруг забеспокоилась и стала заботливо спрашивать, не болит ли у него голова и не захворал ли он. Сайлас невольно улыбнулся.

— Поди сюда, — сказал он ей. — А ну-ка, обними меня. И поцелуй. Только как следует, разве я зря тебя так люблю?

Он усадил её на колени и крепко обнял. Так они и сидели, покуда она не заметила:

— Ты теперь совсем другой.

— В каком смысле?

— С тех пор, как начались неприятности.

— Неприятности? Да не такие уж у нас неприятности.

— Ты теперь гораздо лучше, — сказала Джералдайн печально.

Он вдруг понял: она взрослеет. Все они взросли.

Сайлас решил пройтись и лично повидать Джоэла Сивера, который жил от него всего в нескольких кварталах. Он успеет сходить к нему до обеда.

— Ты куда отправляешься? — спросила его Майра, увидев, что он надевает пальто.

— Схожу к Джоэлу Сиверу.

— А ты знаешь, что идёт снег?

«Первый снег, — подумал он, выходя из дому. — Майра сказала, что идёт снег, а на самом деле ей хотелось спросить меня: зачем ты туда идёшь? Чтобы тебе стало ещё больнее? Ведь Джоэл Сивер ничем не лучше других».

Выйдя на улицу, он поднял воротник пальто. Таяли сумерки, и снег падал большими мягкими хлопьями, ранний недолговечный снег, предвестник зимы. Сайлас больше всего на свете любил такую пору — одно время года уже прошло, а другое ещё не наступило; в такие дни что-то умирает, что-то нарождается вновь и реки жизни текут быстрее и полноводнее. На душе у него в такие дни всегда бывало легко. «А что, если и вправду Джоэл Сивер?..» — спрашивал он себя, вспоминая, что Сивер тоже подписал воззвание о мире. Ему казалось, что, если им удастся пробить брешь — с помощью хотя бы горсточки людей, другие пойдут за ними. Ведь логика и разум — сила, с которой нельзя не счи-

таться, а для тех, для кого логика и разум — их жизнь и профессия, эта сила должна быть непреоборимой.

Погружённый в мысли, он незаметно прошёл несколько кварталов до дома Сивера и постучал в дверь, уже твёрдо уверовав в убедительность своих собственных доводов. Ему отперла Рут Сивер. Хотя они и не были особенно дружны, но знали друг друга давно, и Сайласу не верилось, что Рут может быть с ним невежлива. Ведь когда ты знаешь, что человек, который к тебе пришёл, не очень уверен, будут ли ему рады, ты просто из кожи лезешь вон, чтобы его успокоить.

Слегка удивившись, Рут воскликнула:

— Сайлас? Здравствуйте... Вам, повидимому, нужен Джозэл?

Она и не подумала лезть из кожи вон, чтобы показать, как ему рады, но всё же впустила в дом; он стоял в прихожей в пальто, уязвлённый этим маленьким знаком своей отверженности, и рассматривал дом Сивера, впервые думая о том, как удивительно похожи друг на друга все дома в Клемингтоне, похожи внутри и снаружи; в них одинаковая мебель и одинаковые запахи. Взять хотя бы этот дом, — ничто не говорит вам, что это дом именно Джозела Сивера — индивидуума и неповторимой личности...

Сайлас выругал себя за жёлчность и, когда к нему вышел Сивер, высокий, седовласый, румяный и, как всегда, представительный, постарался держать себя возможно естественнее и проще. Сивер поздоровался с ним довольно тепло. В прежние времена Сайлас и не подумал бы обращать внимание, как с ним здороваются люди, и уж во всяком случае огорчаться по этому поводу. Теперь же то, как с ним здоровались, служило не только барометром его собственного положения, но и определяло ход истории.

— Чего же мы тут стоим? Давайте-ка сядем и поболтаем, — предложил Сивер.

Сайлас выразил надежду, что он не отрывает Сивера от важных дел, а Сивер заверил его, что, к счастью, в их распоряжении целый час, который у него ничем не занят. Во всяком случае, он рад видеть Сайласа, тем более, что тому в последнее время, видно, пришлось нелегко.

— Да, нелегко, — признался Сайлас. — Однако ко всему привыкаешь, вот в чём, по-моему, беда. Ведь не так-то просто примениться к любым обстоятельствам. Когда мы были в Вашингтоне, мы уже там примирились с мыслью, что нас уволят. Когда же через несколько дней после возвращения нас и в самом деле уволили, мы уже привыкли к этой мысли и почти не сопротивлялись. Теперь мы понемножку начинаем разбираться в том, что у нас происходит. Если бы кто-нибудь мне сказал ещё месяц назад, что меня лишат работы, выгонят с позором из университета за подрывную деятельность и что я должен буду начинать жизнь сначала, ей-богу, я назвал бы такого человека сумасшедшим!..

— И были бы правы, — согласился Сивер. — Но разве у вас нет возможности восстановиться на работе? Ведь ваше дело ещё будет обсуждать учёный совет?

— Который состоит из Кэбота, Лундфеста и Пэпхема?.. Да и не в этом дело. Даже если бы совет состоял из самых беспристрастных членов деканата, разве мы могли бы на что-то надеяться?

— Но ведь ещё не доказано, что вы коммунист.

— Не доказано. А я и не был уволен за то, что я красный; никого из нас в этом не обвиняли. В приказе сказано, что мы уволены за «нежелание сотрудничать» — поступок, недостойный преподавателя. Такая формулировка похожа на ругать. Её не ухватишь. В том-то и проклятие, Джозэл, — наша мнимая вина хоть и скользит между пальцев, она разьедает мясо до костей. Понемножку, постепенно. Совсем не так, как,

бывало, в Германии. Там действовали грубо, нагло, вопя во всю глотку всякую чушь о чистоте крови, о расе, о вожде... Там профессоров сажали на тачку с навозом или водили по улицам с верёвкой на шее и позорной надписью на спине. И весь мир содрогался. Говорили: «Ну что за звери! Жестокие, бесчеловечные звери!» У нас же всё делается иначе, шито-крыто — нет ни верёвок, ни тачек с навозом, ни позорного столба, если не считать позором того, что у человека отнимают средства к существованию, дело его жизни и надежды на будущее. Но ведь всё это — для его же блага. Если он будет сотрудничать, если он будет хорошим американцем — таким, например, как Боб Аллен, — его простят. Ему говорят: ты можешь жить с нами, если поступишь так, что тебе станет противно жить с самим собой. Всё происходит вполне прилично — ведь у нас демократия! Но конечный результат такой же, как и там, у них. Джоэл, поймите, уже больше пятисот преподавателей изгнано из нашей системы образования! Я этого не знал раньше, а если бы и знал, то всё равно не поверил бы. Надо было, чтобы это случилось со мной самим.

— Когда вас слушаешь, право, становится страшно, — признался Сивер.

— Разве то, что я говорю, — неправда?

— Но что же мы можем поделать? Если смотреть на вещи трезво, мы ведь бессильны.

— А я не верю, что мы бессильны. Мы обсудили положение с Брэди и Федерменом; им тоже кажется, что кое-что можно сделать.

— Мы ещё долго будем расплачиваться за это проклятое воззвание, которое подсунил нам Брэди! Такой идиотизм, такое ребячество...

— Послушайте, Джоэл, — терпеливо продолжал Сайлас, — не стоит сейчас об этом спорить. Воззвание выдумал совсем не Брэди, но я даже и по этому поводу не хочу с вами препираться. Дело в том, что мы попали в тяжёлое положение и нам надо что-то предпринять. Мы думаем, что сделать кое-что можно. Спрашивается: почему они ограничились только семью преподавателями? С тем же успехом они могли бы уволить десять, двадцать, тридцать, однако они выбрали только нас семерых. Почему? Ответ напрашивается сам собой. С семью профессорами нетрудно справиться; семь—это не так уж мало, но и не слишком много. Уволить двадцать человек — значит раздуть слишком крупное дело, а с тридцатью преподавателями из одного и того же университета справиться куда труднее. А если, скажем, нас будет пятьдесят или сто — тогда мы сможем подорвать их на их же собственной mine. Мы знаем, что у нас в университете работает не меньше ста порядочных людей, людей с чистой совестью; они отлично понимают, что у нас происходит. Вот мы и хотим собрать этих людей вместе, а потом, если удастся, сделаем так, чтобы их стало ещё больше. И тогда профессора уже не будут так одиноки, как вот мы сейчас.

— Сколько же человек из этой сотни дали вам согласие? — спросил его напрямик Сивер.

— Как вам сказать... не знаю, что удалось сделать Брэди и остальным...

— Но вам-то ничего не удалось?

— Покуда что ничего, — признался Сайлас.

— Чего же вам надо от меня, Сайлас? Чтобы я был героем? Конечно, я хотел бы быть героем, кто этого не хочет? Но с годами такое желание понемножку пропадает... У меня жена, дети, дом, который обходится мне в сто двадцать долларов в месяц, а есть ведь тоже надо? Как видите, я подхожу к вопросу практически...

— Вы уверены, что так уж практически? И надолго ли вам хватит вашей практичности? Кэбот взял на заметку всех, кто подписал воззвание

о запрещении атомной бомбы. Сколько времени вам ещё осталось, Джоэл? Вам будет легче, если всех честных людей в университете перебьют поодиночке, втихомолку?

— Я не верю, что это возможно.

— Я тоже не верил,— с горечью согласился Сайлас.— В конце концов меня ведь зовут Сайлас Тимбермен. Я не еврей, не негр. Я белый, протестант, американец. И даже не подписчик журнала «Нэйшн»<sup>1</sup>.

— Но вы же не станете отрицать, что кое в чём вы всё же замешаны? Поверьте, я вам сочувствую. Правда, вы не очень умно себя вели. Когда я прочёл ваши свидетельские показания, я подумал, что вы зря держались так вызывающе. Ведь в конце концов речь идёт о наших устоях! Не станете же вы лишать комиссию конгресса права расследовать факты?

— Наподобие инквизиции?

— Слова, Сайлас, слова. Мы стали рабами слов. «Гестапо», «инквизиция», «Звёздная палата»<sup>2</sup>, «охота за ведьмами» — у нас уже создана целая словесная мифология.

— Какая там мифология! Попробовали бы вы эту мифологию на собственной шкуре!

— Не знаю, может, вы и правы... Однако всё обстоит совсем не так просто, как вы изображаете. Разве дело только в воззвании о запрещении атомной бомбы? А ваше отношение к гражданской обороне? И потом, вспомните свою стычку с Лундфестом... Ведь он был поставлен в совершенно невозможное положение!

— Вы его защищаете? — тихо спросил Сайлас.

— Бог с вами, Сайлас! У вас просто мания преследования! Я вовсе его не защищаю! Я просто говорю, что и ему нелегко, ведь не станете же вы отрицать. Да и свидетельство Боба Аллена... Мне не хотелось в это вдаваться, но вы меня сами вынуждаете...

— Свидетельство Боба Аллена?

— Но оно есть, Сайлас. Оно существует.

— Вы ему верите? — спросил совершенно ошеломлённый Сайлас.

— Как вам сказать... Да и какое значение имеет, верю я или не верю; куда важнее то, что ему верят другие — те, кто знает вас много хуже, чем я...

— И вы верите, что я коммунист? Проработав со мной столько лет, вы верите, что я коммунист?

— Ей-богу, Сайлас, не знаю. Если хорошенько разобраться, я не знаю, есть ли вообще на свете коммунисты, существует ли вообще такое понятие! Мне, например, казалось, что Айк Амстердам и Алек Брэди — коммунисты, пожалуй, что и Леон Федермен тоже, но кто их знает? Я не судья в таких делах! А вот Боб Аллен, он, повидимому, разбирается. Говорите о нём, что хотите, — он вёл себя, как подлец, и никто ведь не станет защищать доносчика, — но он знает что к чему. И люди ему верят. Младший брат моей жены сейчас дерётся в Корее. Естественно, что она не может относиться равнодушно...

«Зачем я здесь? — подумал Сайлас.— Безнадёжное дело. Его не сдвинешь с места, до него ничего не доходит. Он весь во власти страха. Глупо продолжать. Споря с ним, только унижаешь себя».

---

<sup>1</sup> «Нэйшн» — американский общественно-политический еженедельный журнал (основан в 1865 году) либерального направления. Рассчитан на интеллигенцию и мелкобуржуазные круги. (Примеч. перев.)

<sup>2</sup> «Звёздная палата» — высшее судебно-административное учреждение Англии в XV—XVII веках. Обладала широкими полномочиями и правом применять пытки, судила на основе доносов и оговоров свидетелей. Была уничтожена английской буржуазной революцией в 1641 году. (Примеч. перев.)

Но он не мог с ним не спорить, он должен был продолжать, он вынужден был разговаривать мягко, деликатно, не выходя из себя. Сам-то он уже был причислен к определённой категории людей, на нём горело клеймо, и оно больше никогда не исчезнет. Ему приходилось теперь делать усилие, чтобы вспомнить, каким он был ещё совсем недавно. А потому он не мог не сказать Сиверу:

— Послушайте, Джозел, давайте на минуту забудем о себе; поговорим лучше о том, что происходит у нас в Клемингтоне, тут уж нам не придётся спорить. Наш университет считался самым либеральным учебным заведением Среднего Запада. Не только пять или десять лет назад, но ещё и вчера. Нет такого факультета журналистики, который не смотрел бы на «Фулкрум» с завистью, как на маленький очажок свободной и независимой прессы. Самая мысль о том, что в Клемингтоне нельзя говорить правду, казалась невероятной; немислимо было предположить и то, что какой-нибудь преподаватель может потерять работу, если он поступит по велению своей совести. Это не значит, что у нас не было недостатков. Были мелкие неполадки, борьба личного честолюбия, стяжательство, зависть, несправедливость — всего этого не могло не быть в таком людном месте, как Клемингтон. Но в целом у нас царила свобода мысли, свобода слова, свобода научного исследования. Ну, а теперь? На городок опустилась такая плотная завеса страха, что её хочется вспороть ножом. И звоню людям по телефону и слышу в их голосе страх; мне говорят — и верят в это, — что телефонные разговоры подслушиваются. Конечно, ерунда, но подумать только, о чём говорят у нас в Клемингтоне! Мне рассказывают, что на литературном факультете за пять недель ни разу даже не упомянули имени Марка Твена. Брэди читал курс истории французской революции, — уволив Брэди, они ликвидировали и самый курс тоже. Во всей Америке только у нас читался курс по истории американских индейцев на основе исследований Льюиса Г. Моргана; теперь он больше не читается, потому что Энгельс использовал работу Моргана в своём «Происхождении семьи». Весь факультет национальной экономики попал под следствие по дурацкому доносу о том, что изучение полового вопроса ведёт к разрушению американской семьи, и всё потому, что Эдну Кроуфорд вместе с нами потащили в Вашингтон...

— Я знаю, Сайлас, — кивнул Сивер, показывая, что он и не собирается ничего отрицать. — Когда вы сопоставляете все эти факты, становится страшновато. Но имеем ли мы моральное право нагромождать их в одну кучу? Нам ведь ещё не грозит светопреставление, и даже Клемингтону не угрожает гибель. Единственное, что нам сейчас остаётся, — это выждать. Времена меняются. В тысяча девятьсот девятнадцатом году из университета уволили четырёх профессоров-социалистов. Когда истерия поутихла, их приняли обратно.

— Но сейчас у нас не девятнадцатый год, — уныло заметил Сайлас.

— Конечно, нет. И всё же, мне кажется, истерия и теперь не поможет.

— Правильно. Я и хочу объявить ей войну. И в этом прошу вашего содействия.

— Не смогу, Сайлас. Не вижу смысла. По-моему, вы увлекаетесь. На вас оказывают давление Брэди и Амстердам...

\* \* \*

Отличительным свойством человеческого организма, а может быть, и всякого живого организма вообще, является стремление создать для себя нормальные условия существования. Человек либо отталкивает от себя всё необычное, неприемлемое, невероятное, либо до тех пор старается

осмыслить явление, покуда оно не превратится в допустимое, нормальное, обычное. Известно множество случаев, когда люди спокойно продолжали жить в доме, хотя и знали, что он должен вот-вот рухнуть; множество крестьян, зная о том, какая им угрожает опасность, упрямо пахали заминированное поле... Люди приспосабливались к бомбам, к сражениям, к потопу, к болезням,— чего ж тут удивительного, что семь профессоров, представ перед сенатской комиссией, вернулись в Клемингтон, к обычной жизни, хотя распорядок этой жизни уже и не был прежним.

Они стали приспосабливаться к тому, что с ними произошло, ещё до того, как это произошло на самом деле, и поэтому то, что с ними случилось, не казалось им теперь ни странным, ни удивительным. Все они были официально уволены из университета; каждому из них угрожал конец профессиональной карьеры; перед каждым из них вставал вопрос: как жить дальше, как прокормить семью, как просуществовать? И всех семерых объединяло чувство, что такая судьба уготована не им одним.

От всех семерых, к счастью, было скрыто, что о них отнюдь не забыли,— ведь в Америке расстоянье от Вашингтона до такого городка, как Клемингтон, может быть порой непередаваемо огромным.

Хотя Сайлас и предполагал, что с ним ещё многое может случиться, он не мог этого знать наверняка. Надежда на то, что против него пока ничего больше не замышляют, несколько утешала его. Он мирился с будущим так же, как с ним мирится всякий нормальный человек: стараясь не заглядывать в волшебное зеркало, чтобы не увидеть там очертаний этого будущего; к тому же Сайлас кое-чего и не знал.

Он не знал, например, того, что в одном из просторных и чинных зданий Вашингтона хранится папка с надписью «Тимбермен Сайлас» и что папка эта не только становится всё более пухлой, но привлекает к себе совсем неожиданный интерес. Он был бы поражён, узнав, сколько людей разослано в самые дальние уголки страны, чтобы разузнать о некоей персоне по имени Тимбермен Сайлас, и, может быть, его бы позабавили их отчёты, своевременно полученные и аккуратно подшитые всё в ту же папку. Он был уже ко многому приучен, но всё ещё никак не мог привыкнуть к тому, что чепуха, помноженная на чепуху, превращается в слона. Его бы могло заинтересовать, обеспокоить и даже в какой-то мере поразить, знай он, сколько важных и влиятельных лиц листало эту папку, как часто и с каким жаром она обсуждалась.

Однако внимание, которым он был удостоен, не было чем-то исключительным. В том же чинном вашингтонском здании, ранней зимой 1950 года хранилось множество подобных папок; правда, многие из них так и лежали нетронутыми, зато вокруг некоторых из них шли горячие споры.

Пришло, видно, время для таких порядков. За всю историю страны, за всю жизнь нации — с её борьбой, мечтами и надеждами — не было ещё такой поры. Не было ещё такой поры, чтобы весь народ был напуган, а вот пришла пора, и он узнал страх. Не было ещё такой поры, чтобы боязнь и предрассудки разжигались так упорно и неусыпно. Не было ещё такой поры, чтобы от народа так много скрывали, но страх проник повсюду,—редакторы, репортёры, обозреватели почувствовали этот страх, и хотя никто толком не знал, о чём надо писать и что надо говорить, все понимали, о чём нельзя писать и чего нельзя говорить.

Пришла пора, и народ узнал о себе то, чего он раньше и не подозревал; точно змея из-под поросших мхом камней, выползло на свет божий зло; лжецы стали героями, а доносчики возвысились. Сутенёр раньше был стыдливым обитателем публичных домов, а доводчик нашёптывал тайны ипподрома игрокам на скачках, теперь же сутенёры и доводчики стали королями и князьями нового порядка...

\* \* \*

Эд Лундфест никогда не был человеком непосредственным, и теперь, сидя за рулём своей машины, он репетировал ту роль, которую ему, по видимому, придётся играть. Он знал, что производит отличное впечатление на большинство людей, хотя успех давался ему нелегко и не сам собой. Ему казалось, что люди, небрежные к тому, как складываются их отношения с ближними, рискуют и жизнь свою прожить, как бог пошлёт, а ему не хотелось, чтобы у преподобного Элберта Мастерсона сложилось о нём такое представление. Он чувствовал не хуже других, как нарастают в Клемингтоне события, как убыстряется их течение, и, занимая выгодную позицию на самой верхушке административной лестницы, знал, что события эти тоже не происходят сами собой. Может, он и не сумел бы толком объяснить, какие далеко идущие политические замыслы служат подоплёкой клемингтонских событий, однако кое-что он об этих замыслах слышал, а ещё лучше ему было известно, какую он сам в них играет роль. Главное, ему была ясна общая картина. Его не очень интересовало, будет ли Антони Ч. Кэбот выдвинут кандидатом в президенты или в вице-президенты Соединённых Штатов, а то и всего лишь в губернаторы их штата; гораздо больше волновало его, кто унаследует от доктора Кэбота пост президента Клемингтонского университета. К заветной цели нужно было проложить ещё немало дорог, но прежде всего ему хотелось проложить самую ближнюю, свою собственную дорогу, — кто же, кроме него, об этом позаботится? Вот с этой-то целью он и отправился к преподобному Мастерсону.

Клемингтон мог похвалиться одиннадцатью церквями, принадлежащими различным протестантским сектам, не считая большой католической церкви, которую без особых на то оснований звали собором. Так как во всём городке проживало не более семи еврейских семейств, синагоги здесь не было, протестантских же церквей хоть и насчитывалось много, однако и здания их и количество прихожан были невелики. Преподобный Мастерсон был методистским пастором; его крошечная, заросшая плющом церквушка, с пристроенным к ней домиком священника, могла бы значиться где-то посредине списка протестантских церквей города. Приход её был невелик — не больше ста двадцати семей. — и весьма пёстрый по своему социальному составу. О нём нельзя было сказать, как, например, о прихожанах епископальной или пресвитерианской церквей, что к нему принадлежат все самые богатые люди в городе, или как о баптистах, что они занимаются главным образом физическим трудом. Посетители методистской церкви отличались постоянством, чего так не хватало, скажем, «адвентистам седьмого дня» или «свидетелям Иеговы», а по своему положению в обществе хоть и походили на унитариев и индепендентов, однако всё же чуточку от них отличались. Может быть, Лундфест и учёл все эти обстоятельства, а может, он просто подумал о том, что из всех священников Клемингтона преподобный Мастерсон пользовался самым большим уважением и лучше других мог выполнить ту высокую задачу, в которой был заинтересован далеко не один Клемингтон.

Ему, конечно, хотелось, чтобы преподобный Мастерсон был человеком попокладистее, с менее самобытным характером, — кто знает, куда может привести человека такой характер в наше смутное время. Право же, он не ошибся, начав с Мастерсона и взяв его, так сказать, за отправную точку. Если Мастерсон ему откажет. — он предусмотрел и такую возможность, — ну что ж, тогда он обратится к другим!

Было около четырёх часов дня, и снег только что начал падать, когда Эд Лундфест остановил машину у дома священника. Преподобный Мастерсон жил в простой красивой пристройке к церкви, наполовину сложенной из камня, наполовину — из увитых плющом, потемневших от времени



брёвен; летом два огромных вяза защищали её от солнца. Элберт Мастерсон и его жена прожили здесь уже полтора поколения. Дети их выросли и разбрелись в разные стороны, и поженились и народили своих детей. Старики тихо доживали свой век вдвоём, и когда Лундфест постучал молотком в дверь, миссис Мастерсон — сухонькая старушка с тёмными глазами — сама ему отворила. Лундфест был с ней немного знаком, и они обменялись вежливыми приветствиями, а так как ему явно нужен был сам пастор, миссис Мастерсон проводила гостя в кабинет, где пастор, по её словам, переписывал вчерашнюю проповедь.

— Разве он собирается произносить её снова? — невольно вырвалось у Лундфеста.

— Нет, зачем же? Думаю, что нет. Но он утверждает, что проповедь приобретает смысл только тогда, когда она произнесена и когда он видит, как люди её восприняли. После этого он изменяет её в тех местах, которые, как ему кажется, были неверны или недостаточно доходчивы.

— Он готовит проповедь для печати?

— Что вы! Этого у нас ещё и в мыслях не было. Но он считает, что так надо делать всегда. Проповедь-то ведь уже произнесена, вот ему и хочется, чтобы в ней всё было правильно.

Лундфесту пришлось с ней согласиться; он прошёл в кабинет, который показался ему пещерой из книг, освещённой посредине лампой под абажуром. Преподобный Мастерсон быстро встал из-за стола и направился ему навстречу. Это был высокий сухопарый человек лет шестидесяти пяти с длинным, приятным, хоть и некрасивым лицом, на котором светила широкая, приветливая улыбка.

— Здравствуйте, Лундфест,— сказал он.— Вот не ждал! Надеюсь, что вас привели ко мне хорошие вести.

— Да что вам сказать? И хорошие и дурные, как всякие вести, а в наши дни особенно. Ехал мимо и решил к вам заглянуть. Надеюсь, что не буду некстати?

— Наоборот, весьма кстати. Вы не боитесь сидеть под этим сводом из книг, который нависает над вашей головой, как дамоклов меч? Не наводит это вас на мысль — да простится мне богохульственный каламбур, — «поднявший книгу от книги и погибнет»?

— Не такое уж богохульство по нынешним временам,— заметил Лундфест, усаживаясь на стул, на который указал ему пастор.

— Может, и нет, но мысль нечистая, и мне самому стало стыдно. Я частенько подумываю о сродстве нашей веры не только с самой великой из книг — библией, но и с книгами вообще. У нас говорят, что не будь протестантов — не появилось бы и книгопечатания, а вот другие считают, что не появившись печатного станка и наборной кассы — не было бы и протестантской религии. Мне лично кажется, что и те и другие впадают в крайность. Силы, которые двигают жизнь вперёд, никогда не действуют прямолинейно: они переплетены друг с другом, как нити в старинном фитиле, — я-то их ещё хорошо помню, а вот ваше поколение, верно, никогда не видало фитиля для лампы. Так и книги, они тоже вплетены в нашу жизнь и в нашу память.

Слова священника были для Лундфеста той спасительной нитью, которую он искал, чтобы начать нужный ему разговор, и он заметил, что, как ни странно, именно книги и привели его сегодня к преподобному Мастерсону.

— Не может быть! Вот интересно.

— Вы, наверно, слышали о наших маленьких неприятностях?

— Краем уха. Время от времени я читаю «Фулкрум», а среди моих прихожан есть несколько ваших студентов. Увы, только горсточка, к моему великому сожалению.

— Скорблю вместе с вами,— в тон ему заметил Лундфест.— Надеюсь, что скоро их будет больше. Как бы то ни было, мы пережили за последнее время крайне неприятные события. Сначала эта глупейшая история с Марком Твеном, а потом в городке раскрылся целый коммунистический заговор! Клемингтон приобрёл дурную славу.

— Да?

— Я хочу сказать, что подобные вещи не доставляют нашей администрации ни малейшего удовольствия. Да и впечатление, которое они производят, вряд ли можно назвать благотворным. Волей-неволей пришлось уволить замешанных в этом деле профессоров.

— Слыхал,— сказал пастор,— и сокрушался. Я бы предпочёл, чтобы наш университет был как вон тот старый вяз, — он так прочно ушёл корнями в почву, что его не могут покачнуть проделки нескольких коммунистов. Кстати, как же вам не удалось перетянуть их на свою сторону... если они и в самом деле коммунисты?

— В этом нет никаких сомнений.

— Ну что ж, продолжайте. Простите, что я вас прервал.

— Видите ли, перед нами встал целый ряд трудных вопросов. Если в мешке оказалось гнилое яблоко, почём знать, не испорчены ли остальные? Нам в Клемингтоне ведь никогда ещё не приходилось сталкиваться с такими вещами, как подрывная деятельность, но, правда, и времена сейчас небывалые. На нас лежит священный долг — превратить наш университет сверху донизу в оплот американизма. А сделать это не так-то легко. Задача перед нами стоит сложная, многосторонняя, и, поверьте, не один я несу за всё это ответственность. Но если речь идёт о литературе, мы, естественно, имеем дело с книгами.

— Несомненно.

— А книги, если ими умело пользоваться, могут стать орудием дьявола. Нам меньше всего на свете хотелось бы, чтобы нас обвиняли в сожжении книг или в чём-нибудь в этом роде. Я целиком разделяю ваше благоговение к печатному слову. Однако мы знаем, что хитрые и бессовестные люди используют книги против нас, и притом очень ловко. Неважно, что я чуть было не стал жертвой недавней полемики о Марке Твене. Куда важнее, что в юности нас не предостерегали от такого чтения, как «Человек, который совратил Гедлиберг», и что разоблачение этой вредной книжонки создало вокруг неё как раз ту атмосферу, которой нам так хотелось избежать: атмосферу сожжения книг.

— Как же, как же, «Гедлиберг»...— сказал пастор.— Не перечитывал этого рассказа лет двадцать. Однако вспоминаю с удовольствием.

— Вот именно. Но время меняет наши восприятия.

— Бывает и так.

— И всё же мы не хотим жечь книги, и университет не желает в какой бы то ни было мере ограничивать круг чтения... Нам казалось, что если бы комиссия из видных клемингтонских граждан, возглавляемая каким-нибудь почтенным лицом вроде вас, господин пастор, взяла на себя обязанности, так сказать, библиотечного совета... — он внимательно следил за выражением лица собеседника, — и определила бы, какие книги соответствуют нашему американскому образу жизни, а какие покушаются на истину, на знания, на всё, что нам дорого,— может быть, наша задача тогда и была бы решена...

Священник молчал, подперев подбородок рукой; он сгорбился над своим заваленным книгами столом, и его длинное, угловатое лицо было задумчиво. Лундфест не мог разгадать его мыслей. Черты его не выражали ни удовольствия, ни неудовольствия; казалось, он был просто погружён в свои думы. После долгого и неловкого молчания священник мягко сказал:

— Другими словами, вы хотите, чтобы я взял на себя тяжкое бремя цензора?

— Цензора? Ну, зачем такие слова! Цензура над мыслями — ведь это как раз то, с чем мы боремся.

— Назовите другим словом.

— Я бы назвал ваши функции скорее судейскими.

— Ага, я должен буду выносить приговор книгам? Понятно. Знаете, профессор Лундфест, вы открываете передо мной широкие возможности. Пожалуй, одной из первых книг, которую мне придётся засудить, будет некий трактат о неповиновении и противодействии земным властям, написанный около двух тысяч лет назад четырьмя евреями. Ведь нынче оспаривают даже его соответствие истине, ибо все четыре автора излагают один и тот же случай совсем по-разному.

— Вы шутите?

— Какие тут шутки! Вы вот пришли в скромное убежище священнослужителя — а я никого не гоню — и делаете никому не известному пастьерю из заштатного городка крайне лестное, с вашей точки зрения, предложение... А я удивляюсь, почему же не содрогнулись небеса? Вам понятна моя мысль, профессор?

— Боюсь, что не совсем.

— Вы рассчитывали, что я соглашусь и приму вас в свои объятия?

— Ну, зачем же в объятия... Мы стоим лицом к лицу со злобным и беспощадным врагом...

— Когда же у человека не было врагов, профессор? Душа человеческая испокон веков боролась против всяческих оков и преград. Но, знаете, профессор, я не решился бы вынести приговор даже вашим собственным книгам. В недавние годы стало принято предварять любое выражение мыслей клятвой, что ты ненавидишь коммунизм куда более, чем твои ближние. А я вот обойдусь без эдакого причитания. Я даже не уверен, что ненавижу коммунизм, ведь я ничего о нём не знаю. Но я ненавижу со всей яростью, какой наделил меня господь, врагов души человеческой! Мелких стяжателей, которые боятся книг, потому что боятся света! Злые, нечестивые люди, они готовы заглушить любой голос, кроме им удобного! — И он добавил уже мягче: — Я не имею в виду кого-нибудь лично, поверьте мне...

«Ещё бы, не имеешь, будь ты проклят!» — подумал Лундфест, но вслух он сказал:

— Должен сознаться, преподобный Мастерсон, что вы меня удивили.

— Значит, теперь я коммунист?

Лундфест снисходительно засмеялся.

— Что это вам вздумалось делать из меня злодея? Мне всё же кажется, что вы слепы, вы не видите тех опасностей, которые нам угрожают.

— Возможно. Боюсь, что мне так и придётся доживать свой век слепым. Двадцать лет назад я с наслаждением прочёл «Гедлиберг» и не могу примириться с мыслью, что живу в такой стране, где мне могут запретить его читать. Видите ли, профессор, в какие бы красивые слова вы это ни облекали, мне всё же кажется, что вы собираетесь жечь книги. Если я прав, то да поможет вам бог и да поможет он всем нам, ибо костры из книг — последние костры, которые разжигают безумцы, прежде чем погнубить...

— Вы выражаетесь слишком резко, преподобный, — оборвал его Лундфест, не в силах дольше сдерживать злость. — И к тому же необдуманно, должен вам сказать!

— Возможно. Но я говорю то, что думаю.

Священник проводил Эда Лундфеста до двери и пожелал ему доброй ночи.

\* \* \*

День выдался несчастливый, и Майра Тимбермен долго будет его помнить, хотя совсем не потому, что его, казалось бы, ничто не предвещало. Майра, наконец, поняла: в жизни редко что случается неожиданно-негаданно, только ждёшь обычно чего-то совсем другого. И не по иронии ли судьбы пройдя через испытания, она гораздо глубже поняла ту древнюю цивилизацию, которую так долго изучала, а потом и описывала своим студентам. Словно сдуло пыль веков и под нею открылась взаимосвязь событий и движущих сил.

Ирония была и в том, что дошло всё это до неё слишком поздно. Утром она получила письмо от председателя того фонда, который оплачивал её лекции. В тщательно подобранных выражениях ей сообщалось, что решено прекратить преподавание некоторых отраслей знания, которые, как там было сказано, «не входят в орбиту деятельности фонда». Высказывалось сожаление, что её лекции попадают в эту рубрику, и надежда, что в ближайшее время будут изысканы средства для того, чтобы в Клемингтоне могло возобновиться изучение античной цивилизации.

В тоне письма звучало такое искреннее огорчение, что сначала Майра даже посочувствовала его автору; ей захотелось воскликнуть: «Ах, бедняжка, несчастный, замученный фонд, который не знает, куда девать свои 22 миллиона долларов, а ему ещё морочат голову всякой ерундой вроде античной цивилизации!» Однако через несколько минут она поняла, что подобному учреждению просто не пристало пользоваться услугами жены профессора, которого допрашивала сенатская комиссия. Сайлас застал её в слезах — что бывало с ней совсем не часто — и никак не мог понять, что означала для неё утрата этой части её существования и почему она была убита куда больше, чем он. Майра ничего не могла объяснить; она не сумела передать словами все свои надежды и сомнения, рассказать про ту мучительную борьбу, которая шла у неё в душе, и про те пути, которые она уже нащупывала.

— Не обращай на меня внимания, Сай. Сейчас пройдёт.

Она знала, как ему нужна её поддержка. Что с ними станет, если у них не хватит сил друг для друга? Когда в тот же день, только позднее, пошёл первый снег и Сайлас отправился к Джоэлу Северу, она знала заранее, что скажет Север, и сердце её сжалось при мысли о Сайласе; ей так хотелось защитить его, уберечь, заслонить от всего, что ему ещё предстояло.

Когда Сайлас ушёл, зазвонил телефон. Сьюзен подняла трубку и сказала:

— Прсят Сайласа, мамочка!

Майра услышала мужской голос. Её спросили:

— Кто говорит?

— Миссис Тимбермен. А кто говорит со мной?

Ей ответили:

— Это тебя не касается, красная сука. Я звоню по делу. Ты и твой муж — вот какое у нас теперь дело.

— Кто говорит? — переспросила Майра. — Что за дурацкие шутки?

— Шутки? Послушай, ты, красная сука, мы шутить не любим. Зарубите себе на носу, и ты и твой Сайлас: катитесь-ка отсюда. Катитесь вон из Клемингтона! Клемингтон — приличный город, тут живут порядочные, богобоязненные американцы. Здесь вам не место. Смывайтесь, пока не поздно.

В аппарате щёлкнуло — повесили трубку. Воцарилась мёртвая тишина.

Майра молча вернулась к детям, но, повидимому, выражение лица её было красноречиво.

— Что случилось? — спросила Сьюзен.

— Ничего не случилось.

Но, конечно, выражение лица её было красноречиво, и она не могла ничего скрыть. Что-то стряслось с миром — странное, нехорошее, жуткое.

Майра никак не могла решить, сказать или не сказать об этом Сайласу, когда он вернётся, и в конце концов поняла, что не может не сказать. Он выслушал её молча, чуть-чуть покачал головой, но внешне остался спокоен. Она сказала себе: «Ну вот. Он не хочет показать мне, что у него на душе. Мы стали скрывать свои чувства друг от друга».

\* \* \*

В восемь часов вечера Майра открыла дверь высокому, некрасивому, пожилому человеку. Он сказал ей:

— Простите, что явился к вам незваным гостем. Меня зовут Элберт Мастерсон. Я здешний методистский священник.

Майра его уже раза два где-то видела, и дважды он выступал в университете.

— Простите, бога ради, но я вас совсем не узнала.

— Что же тут удивительного? Я-то вас запомнил с первого взгляда: не часто ведь встретишь такую красивую и душевную женщину. А с чего бы вам запоминать меня? Разрешите войти?

— Прошу вас. Мне сегодня немножко не по себе. День был какой-то нескладный, вот я и расстроилась. Уж вы меня извините. Позвольте, я помогу вам снять пальто. Снег больше не идёт?

— Да, перестал. И луна взошла, светло, как днём. Природа всегда прекрасна и редко доставляет нам огорчения, правда?

— Да... да, конечно...

Майра старалась собраться с мыслями. Она провела пастора в гостиную и усадила его, недоумевая, зачем он пришёл. Он спросил, дома ли её муж.

— Дома. Он наверху, читает перед сном детям сказку.

— У вас, кажется, трое детей — две девочки и мальчик?

— Да, трое, — ответила Майра, подозревая, что за этим последует новая попытка вернуть заблудших овец в лоно святой церкви.

— И ваш муж всегда читает им на сон грядущий?

— Нет, не каждый вечер. Когда он свободен. Мы ведь последнее время все немного расстроены — вы, наверно, слышали, — поэтому им полезно побыть сегодня вместе. Иногда он читает им книжку, а иногда и сам сочиняет какую-нибудь историю.

— Вот оно что! А вы знаете, живой рассказ лучше книжного, хотя бы потому, что вы всегда можете придумать выход из любого тяжёлого положения...

Майру сразу покорила его сердечность, и она почувствовала, что Мастерсон ей нравится. Ему, наверно, нетрудно расположить к себе человека, этому простому и откровенному священнику. В его некрасивом лице было что-то трогательное, он немножко смахивал на длинноухую собаку. Ему очень хотелось, чтобы люди относились к нему с симпатией, и он этого не скрывал.

— А ведь, пожалуй, вы правы, — сказала Майра.

— Но талант рассказчика — талант вымирающий, его теперь редко встретишь. А жаль. Могу я обождать вашего мужа? Мне хотелось бы с ним поговорить.

— Пожалуйста, подождите. Он сейчас придёт.

Священник устроился поудобнее и, потягивая херес, которым угостила его Майра, принялся рассказывать всякие смешные истории из жизни своего прихода. Вошёл Сайлас, и они пожали друг другу руки.

— Рад вас видеть, мистер Тимбермен. Надеюсь, вы простите моё вторжение. Я зашёл к вам потому, что сегодня со мной случилось нечто любопытное, хоть и не слишком приятное, вот я и решил с вами поговорить.

И он рассказал Майре и Сайласу о посещении Лундфеста и о разговоре, который у них состоялся. Рассказывал он беспристрастно и как будто даже спокойно, не давая никаких моральных оценок; окончив свой рассказ, он умолк. Сайлас сразу заметил, что Майра взволнована и огорчена.

— Ну что ж, — сказал Сайлас, — вас эта история очень удивила, пастор?

— А вас нет, мистер Тимбермен?

— Нет, меня, пожалуй, не очень, — медленно ответил Сайлас. — Месяц назад я, вероятно, поразился бы и даже ужаснулся, а теперь — нет. Теперь нет, — повторил он тихо, словно самому себе. — И в этом есть даже некая своеобразная логика.

— Логика?

— Когда всё цивилизованное общество обращает свои силы на уничтожение людей, разве можно всерьёз огорчаться из-за каких-то книг?

— А разве нельзя? Не нахожу.

— Как же не огорчаться? — возмутилась Майра. — По-моему, это подлая затея и нельзя не огорчаться по такому поводу. Я давно знаю Эда Лундфеста, и если бы кто-нибудь раньше рассказал мне о нём что-нибудь подобное, я бы, наверно, не поверила.

— А я всё время думаю, почему он пришёл именно ко мне.

— Надо же было ему с кого-то начать, — пожал плечами Сайлас.

— Я вас не очень хорошо понимаю, профессор.

— Не понимаете?

— Видите ли, я старик, да ещё и духовное лицо, а нам многое разрешается. Мы так давно позволяем себе всякие вольности, что они вошли у нас в плоть и кровь, и мы даём себе право вторгаться в такие области, куда робеют войти даже ангелы небесные. Стоит нам надеть обычный крахмальный воротничок задом наперёд — и вот мы уже можем проникнуть в самые потаённые уголки человеческого сердца, в самые интимные его горести. Это мне и дало смелость прийти к вам. Но пришёл я на самом деле потому, что я боюсь. Я боюсь, профессор Тимбермен. И этот страх для нас какой-то новый. Непривычный. Хуже всего то, что он подбирается к нам исподтишка. Декан университета... ведь он декан, ваш Лундфест?

— Да.

— Декан университета является в мой дом и преспокойно предлагает мне возглавить комиссию по сожжению книг, причём с таким невозмутимым видом, словно речь идёт о том, чтобы я возглавил комиссию по призрению сирот. Вы поймите, я живу в штате Индиана, в Соединённых Штатах Америки, я прожил тут весь свой век, и, не скрою, мне здесь нравилось. Я думал, что подобные вещи у нас невозможны. Поверьте, я пришёл к вам не под настроением минуты. Я о многом передумал. Скажите мне хоть вы: правда, что у нас пошло такое?..

— Правда.

— А почему я об этом не знал?

Сайлас пожал плечами, а Майра сказала:

— Порой человеку трудно бывает знать. Он знает, а как будто и не знает. Люди напуганы.

— А вы боитесь? — спросил он её тихонько.

— Я? — Майра улыбнулась. — Думаю, что да. Мы с ним оба без работы. Сейчас вот мне выкрикивали какие-то угрозы по телефону. Детей моих травят и мучат в школе. Сегодня, например, моей старшей дочери, Джералдайн, читали правоучение о плодах безбожия. Мальчишки избили Брайана. Сайлас, повидимому, совершил целых два преступления: он оскорбил конгресс и сказал правду. Люди, которых мы знаем много лет, боятся к нам зайти. Разве у меня нет причин бояться?

— Причины, конечно, есть. А не станет ли вам легче, если я скажу вам, что у вас есть брат? — спросил он очень просто. — Я говорю о себе. Готов оказать вам любую помощь и утешение, если буду в силах...

— Вы совсем не обязаны...

— Нет, обязан. Обязан. И не я один. Есть и другие. Разве вы не знаете?

Они ему ничего не ответили.

— Да неужели же вы не знаете? Вы должны знать. Их очень много. Может быть, в отличие от них, я только говорю откровеннее, а может, мне просто нечего терять. Но вы не одни. — Потом он спросил: — Скажите мне, вы коммунисты?

— Меня об этом спрашивают в третий раз, — сказал Сайлас, уже с улыбкой. — Сначала Антони Кэбот, потом Брэнниген, а теперь и вы.

— Компания не очень почтенная.

— Мы не коммунисты, — сказал Сайлас, — и самое странное заключается в том, что мы, пожалуй, не знаем никого, кто был бы коммунистом!

— А я-то надеялся, что вы всё-таки коммунисты, — сказал пастор с искренним сожалением. — Мне так хотелось вас о них расспросить. Меня они очень интересуют. Кажется, мистер Лундфест думает, что я тоже коммунист, а я не знаю, льстит он мне или нет. Не кажется ли вам, мистер Тимбермен, что уж слишком многого мы не знаем?

Сайлас кивнул.

— Что ж, значит всем нам пора подучиться. Скоро праздники. Могу я пожелать вам бодрости? Вам будет нелегко.

Потом он сказал им: «До свидания» — и ушёл.

\* \* \*

Оставшись одни, Сайлас и Майра решили пораньше лечь спать — они сегодня так устали, — однако им не суждено было ни лечь в постель, ни отдохнуть. Через несколько минут после ухода пастора позвонил Брэди и сообщил, что сейчас придёт; он не спросил разрешения прийти, а просто заявил, что придёт, без всяких объяснений. Вскоре он появился в сопровождении Спенсера, Джерома Ленокса и ещё одного студента — плотного, широкоплечего парня, которого звали Вилли Талбот; Сайлас вспомнил, что встречал его фамилию среди участников местной футбольной команды. Брэди не стал терять времени даром и, не обращая внимания на усталость Сайласа и Майры, прямо перешёл к делу.

— Затеваается какая-то мерзость, Сайлас. Мы об этом случайно узнали... Нечто такое, чему можно и нужно дать отпор, покончить с этим раз и навсегда. Есть основания предполагать, что ночью здесь могут произойти всякие безобразия...

— Господи, о чём вы говорите? — спросила его Майра.

— О грязных замыслах и подлых душонках отребья человеческого. Они задумали устроить налёт на вас с Сайласом сегодня ночью. Что-то вроде демонстрации или погрома — называйте как хотите.

— Не может быть! — сказал Сайлас.

— Конечно, не может. И тем не менее. Это так!

— Но что они замышляют? Чёрт возьми, Алек, неужели вы не можете объяснить толком? У меня сегодня и так полным-полно всяких неприятностей...

— Я не могу объяснить толком того, что не имеет объяснений. Расскажите-ка ему лучше вы, Ленокс.

— Да и я ведь знаю немного. Мы слышали, что сегодня ночью банда хулиганов, бездельников и великовозрастных болванов собирается устроить вам нечто вроде фашистского погромчика. Не знаю точно, что именно, когда и сколько их будет; известно только, что решено это сделать сегодня ночью и что цель у них — напугать вас и выжить из Клемингтона. Не думаю, чтобы они затеяли что-то серьёзное: наверно, пошумят и выкинут какую-нибудь глупость — скажем, сожгут крест тут у вас на лужайке перед домом... Один из них пытался втянуть в это дело Вилли, от него мы и узнали.

— Это всё не так страшно, важно не дать им распоясаться, Сайлас, — сказал Брэди. — Но о таких вещах всегда лучше знать заранее, чтобы во-время принять меры. Хотя бы для того, чтобы они не перепугали детей.

— И всё равно я ничего не понимаю, — сказала Майра. — Можно подумать, что мы живём в каком-то страшном сне. Кто собирается сюда прийти? Зачем? Почему они хотят, чтобы мы уехали из Клемингтона?

— Ну, почему ненормальные, обезумевшие от ненависти люди делают то или другое? Вы знаете это не хуже меня, Майра.

— Не знаю! Не знаю! Кто-то позвонил нам сегодня... — И она рассказала о телефонном разговоре. — Но почему? И кто они такие?

— Стоит ли раздумывать над тем, кто они такие? Куда важнее решить, что теперь делать.

Сайлас теперь был спокоен. Он сидел в кресле, курил сигарету и наблюдал за Брэди. Давным-давно, в детстве, он как-то раз узнал, что его собираются поколотить; сегодня избили Брайана, а вот когда он был немногим старше Брайана, он узнал, что его поджидают за углом мальчишки и что их много против него одного. Отвага, которую рождает оскорблённое достоинство, даётся нам с самого детства, и если боль — а он её тогда испытал — была уже забыта, стыд остался в его душе навсегда. Сейчас он тоже чувствовал стыд, а стыд, как он знал, бывает страшнее смерти. Кругом свирепствовал опасный недуг, с которым нужно было бороться, вот почему в голосе его звучала ярость, когда он сказал Майре, что нечего ей теперь причитать.

— Разве это их оставит? — спросил он её холодно, а потом сказал Брэди: — Вместо того, чтобы поблагодарить вас за то, что вы пришли нас предупредить, видите, как глупо мы себя ведём. Ничего не поделаешь, у нас ещё не выработалась привычка к таким вещам. Нам кажется, что она у нас уже есть, но её ещё нет. Ничего, Алек, привыкнем. Как вы думаете, что делать? Дети спят. Может, их разбудить?

— Нет, что вы, пусть спят. Вдруг ничего не произойдёт, а если и произойдёт, дети ведь могут и не проснуться. Такие налёты обычно не очень хорошо организованы. Этот сброд пока ещё только нашупывает почву. Попытка завербовать Талбота — лучшее тому доказательство. Они ведь не знают, кто с ними, а кто против них, и поэтому были поражены, когда Талбот послал их к чёртовой матери. Хорошо бы узнать, Сайлас, кто стоит за ними. Ведь такие вещи никогда не происходят стихийно. За всем этим должна быть чья-то организующая рука, чей-то ум, чьё-то решение, чья-то цель вселить панику, сломить волю к сопротивлению. А тем временем те, кто сеет панику, укрепят и своё влияние и свои позиции... Нам трудно понять всю эту механику — у нас мрзгд устроены иначе.



— Но кто же всё-таки стоит за ними? — спросила Майра.

— Трудно сказать. Гадайте сами. Может быть, кто-нибудь из Американского легиона, а может быть, городское хулиганье. Не знаю. Не думаю, чтобы эту мерзость состряпали у нас в университете, хотя...

— А почему бы нам не позвонить в полицию?

— Можно позвонить и в полицию, если вы с Сайласом найдёте нужным. Но я заранее вам скажу, как она будет себя вести: вас либо высмеют и попросят дать знать, когда действительно что-нибудь случится, либо пошлют дежурную машину; машина покружит вокруг дома и, если ничего подозрительного не будет замечено, отправится восвояси. Зачинщики налёта тоже ведь знают, что у нас есть полиция... Но теперь всё ещё так неясно, что трудно сказать, на чьей стороне будет полиция и как она себя будет вести. Заметьте, они выбрали не Айка, не Хартмана, не Лоуренса и не меня; они не зря остановились на вас с Сайласом. Они знают, что вы куда уязвимее... Ну да, можно, пожалуй, сообщить в полицию, но мне не хотелось бы этим ограничиваться. Нагрянет банда взбудораженных, разъярённых молодчиков, да ещё и не слишком трезвых, и мало ли что может выйти. Мне кажется, что нам следует позаботиться о том, чтобы сегодня ночью не произошло ничего серьёзного, а завтра всю эту историю надо будет предать гласности, да так, чтобы им некуда было деваться... Весь вопрос — как быть сегодня... Ваш дом примыкает к лесистому склону холма и к тому же стоит на отлёте, — стоит ли рисковать?

— Согласен, — тихо сказал Сайлас. — Что же, по-вашему, нужно делать?

— Выставить на всю ночь нечто вроде патруля. Леннок утверждает, что можно позвать кое-кого из студентов; они с радостью помогут; позвоним Майку Лесли и попросим его приехать, прихватив с собой нескольких рабочих. После того как он побывал здесь, Майк вряд ли откажется, да он и не захочет отказываться. И тогда мы будем почти наверняка в безопасности. Поможет нам и кое-кто из профессуры. Для того, чтобы дать отпор такому сброду, особой смелости не требуется.

— Что же, ладно, — согласился Сайлас. — Если так, давайте действовать. Будь я один, я бы либо отделался смехом, либо очень бы перепугался; хорошо, что у меня есть возможность не сидеть сложа руки.

Но Майра не успокоилась, страх её не покинул. Худшее, что может случиться с человеком, это то, что по всем законам логики и разума не должно было бы случаться. Весь мир стал каким-то призрачным, а вместе с ним потеряли реальные очертания и Брэди и все остальные. Весь мир сошёл с ума, но до сих пор его безумие было благопристойным, он ещё соблюдал правила вежливости и определённый ритуал и был похож на респектабельные похороны. Представьте себе, что умер один из тех, кого её мать называла «приличными» людьми, и отдать ему последний долг собрались такие же «приличные» люди; все ведут себя чинно-благородно, соблюдая строжайший декорум. И вот вдруг тишину нарушил душераздирающий вопль, словно один из «приличных» участников похорон ни с того ни с сего закричал диким голосом.

\* \* \*

«Ужас», по мнению Сайласа, был словом, лишённым всякого содержания, и находился в ряду таких же бессмысленных слов, как «безумие», «убийство», «кошмар» и прочие определения не существующих в действительности вещей. Во всяком случае, они не существовали для таких людей, как он, Сайлас, разве что о них писалось в книгах, которые он читал, читал спокойно, чувствуя себя в безопасности и наслаждаясь приятным возбуждением человека, никак лично не затронутого. Ужас, который

встал перед ним сейчас, заключался в том, что все эти слова вошли в его обиход и стали частью его существования.

Он сидел на кухне с Майком Лесли, пил кофе и смотрел, как Майра заваривает свежий кофе. Время зашло за полночь; в кухне было тепло и уютно, а луна за окном освещала присыпанную снегом лужайку. Сайлас провёл в дозоре целый час, прохаживаясь взад-вперёд и чувствуя себя довольно глупо; однако тревога его всё же несколько улеглась. В этом сейчас было его преимущество перед Майрой.

— Вам бы не мешало поспать, миссис Тимбермен,— говорил ей Лесли.— Мы сами, если понадобится, сварим себе кофе. Я ведь знаю, что значит иметь детей и вставать из-за них чуть свет.

— Я всё равно не засну.

Просто не верилось, как медленно возвращается к Сайласу тепло, сколько времени ему понадобилось, чтобы прогнать из тела этот противный озноб. И ведь нельзя сказать, чтобы на дворе было уж очень холодно; на войне бывало куда холоднее, но с тех пор прошло более пяти лет, и ему теперь уже стукнуло сорок. Да и жира на нём маловато, он всегда быстро мёрз.

— Забавно у меня получается с этим кофе,— заметил Лесли.— Если хорошенько припомнить, в моей жизни не было ни одной переделки, когда бы я не сидел вот так, как сейчас, с чашкой горячего кофе. И запах чёрного кофе всегда напоминает мне прошлое. Даже когда мы попали в мешок в Арденнах, нас и то однажды напоили горячим кофе. Без молока, конечно. Я тогда пил его, и он мне напоминал дежурство в пикете. А когда я пью его в пикете, мне сразу приходят на память Арденны.

— А мне он напоминает студенческие годы, когда мы пили кофе, чтобы не заснуть,— сказала Майра.

— Смешно, но когда я пью кофе за завтраком, я всегда пью его с молоком. Вот что значит привычка!

А Сайлас вспоминал, как он шагал вокруг дома с Алеком Брэди; его тогда занимала мысль, что же он станет делать, если они кого-нибудь встретят, и очень забавляла палка, которую он с собой взял. Брэди был странный человек: типичный учёный и даже незаурядный учёный, однако у него был богатейший жизненный опыт и самые разносторонние познания. И насчёт полиции предсказания его тоже оправдались. Полицейские пришли и тут же ушли. Думал ли когда-нибудь Сайлас, спросил его Брэди, что полиция — сравнительно новое изобретение? Пока общество не достигло определённого уровня своей организации, оно не знало, что такое полиция. Люди сами защищали свою собственность или собирались для этой цели в небольшие общины. «Но ведь у меня нет никакой собственности,— мысленно ответил ему Сайлас,— потому что, когда я перестану делать ежеквартальные взносы в банк, у меня отберут даже этот дом. И куда же тогда денутся Тимбермены?» Удивительно, как он мало забьётся о своём будущем, а может, и совсем не удивительно, если подумать, каким неопределённым рисовалось ему будущее. Он не знал, что будет делать дальше. Единственное, что он умел, — это преподавать. Есть ли где-нибудь такой университет, который ещё не поддался общему безумию? Рано или поздно им всё равно придётся уехать из Клемингтона, так зачем же играть в героизм сегодня и сидеть в этом доме, который всё равно попадёт в чужие руки?..

— Пожалуй, я съем бутерброд,— признался Майк Лесли,— если уж вы меня так упрашиваете, миссис Тимбермен.

— С ветчиной и сыром?

— С ветчиной и сыром, вот это здорово. А знаете, мне нравятся ваши университетские ребята. Хорошие ребята! — произнёс он тоном человека, только что сделавшего открытие.

— Вы когда-нибудь были студентом, Майк?

— Да что вы! Наверно, мне бы это даже понравилось, но тогда я был бы не тем, что я есть, а кем-нибудь другим. У каждого человека только одна жизнь, и живёт он не так, как ему хочется, а как она велит...

— Мы теперь в этом убедились, — сказала Майра.

Сайлас думал о Майре. Поглядите на Майру! Почему ей легче примешаться к любым обстоятельствам, чем ему? Почему она быстрее сходится с людьми? Если её что-то тревожит, она приравнивается к новым обстоятельствам и тревога её уходит; а вот с ним дело обстоит совершенно иначе. Он не умеет заглушить в себе тревогу и без конца ворошит в уме то, что его волнует. У родителей Майры есть деньги, а его родители умерли, но жили они и умерли в бедности; их единственной мечтой было дать образование сыну. Он вспомнил невнятную болтовню Антони Кэбота по поводу его родословной. Род Тимберменов — неплохо! Но замок Тимберменов в осаде. Сайлас улыбнулся своей мысли. У родителей Майры всегда были деньги, но вот Майра не боится нищеты, а он боится; будущее его окутано страхом.

Он поставил чашку, и Майра спросила его:

— Куда ты, Сай?

— Пойду взгляну на детей.

— Да ты ведь только что у них был.

— Ну и что ж... Ты ведь знаешь, какой я...

Он поднялся наверх, раздумывая над тем, чувствует ли Майра то же, что и он, когда смотрит, как спят их дети. Разве человеческая сложность не самая в то же время немудрёная простота? Девочки спали в одной комнате, а Брайан — отдельно, в своей маленькой каморке. В комнаты проникал свет луны, и Сайлас мог хорошо разглядеть спящих детей. Как всегда, Брайан скинул во сне одеяло, и Сайлас снова его укрыл. Сьюзен открыла глаза, улыбнулась отцу и опять заснула.

«Хорошо быть в такое время ребёнком», — подумал Сайлас.

\* \* \*

В половине второго Спенсер, Талбот и ещё кое-кто из студентов, патрулировавших вокруг дома, увидели, что по откосу холма спускаются четверо или пятеро каких-то людей. Заметив, что их обнаружили, они бросились врассыпную, а ещё несколько неизвестных, появившихся по ту сторону дороги, перед домом, спрятались в тени деревьев. Целый час потом было тихо; никто больше не показывался. Рабочие, приехавшие из Индианополиса, прочесали густой кустарник на склоне холма и пустыри по обе стороны дома Тимберменов, но никого не обнаружили.

На заре, без четверти три, Брэди вошёл в кухню и сказал:

— Я отправил клемингтонских ребят по домам, пусть поспят. Остались я, Харт, Лесли и парни, которых он привёз с собой, да и, конечно, вы оба. Думаю, что больше ничего не произойдёт; храбрые рыцари, увидев, что мы наготове, изменили свои планы. Однако кто их разберёт? Мы будем здесь до утра и не станем гасить свет. А вы с Майрой ложитесь-ка лучше спать.

— Вы о нас не беспокойтесь. Обидно, что на всех не хватит постелей.

— Неважно. Мы устроимся на диване и постелем что-нибудь на пол; поищите только, не найдётся ли у вас лишних одеял?

Майра притащила две раскладушки, надувной матрац и собрала все подушки и одеяла, какие были в доме. Постели получились не очень удобные, но всё же люди смогли хотя бы прилечь; когда Майра с Сайласом добрались до своей кровати, время подходило к четырём часам утра.

— Ну и денёк же у нас выдался сегодня, да, положим, и ночь тоже. — вздохнула Майра. — Нет, такая жизнь не для меня. Я раньше думала:

какое счастье испытать смертельную опасность, вроде тех женщин, о которых пишут в книжках: они охотятся на львов, лазят по горам... Но я не испытываю никакого счастья, Сайлас. Совсем наоборот.

— Какое уж тут счастье,— пробормотал Сайлас. Уткнувшись головой Майре в плечо, он свернулся клубком и сразу же стал засыпать.

— Ты костлявый, как чёрт, Сайлас. Слышишь? Смешно, я тебя раньше совсем не знала. Ты спишь? А мне совсем не хочется спать, Сай...

Она продолжала что-то говорить, но он уже погрузился в сон, а потом ему показалось, что он не успел ещё глаза закрыть, как сна вот уж словно не бывало; сидя на постели, он позвал:

— Майра!

Майра спала с ним рядом. Луна, видно, зашла, потому что в комнате было совсем темно, и, сидя на постели, он старался сообразить, что же его разбудило. Вдруг он услышал крики. Сайлас перекинул ноги через край кровати, натягивая на ходу брюки, и, сунув босые ноги в ботинки, подбежал к окну. Майра тоже проснулась и закричала:

— Что случилось? Что такое, Сай?

Яркая вспышка огня за окном осветила комнату, и Сайлас, вздёрнув шторы, увидел покосившийся крест, горящий быстрым, яростным пламенем, как горит облитая керосином пакля; крест стоял посреди газона и был воткнут в рыхлую землю клумбы с тюльпанами. Сайлас почувствовал, как сзади к нему прижалось тело Майры, услышал у себя на затылке её прерывистое дыхание, а потом снова раздался крики, и трое каких-то людей побежали по лужайке.

Сайлас выскочил на верхнюю площадку лестницы и позвал Брэди.

— Всё в порядке, Сайлас! — крикнул в ответ Брэди.— Они убегают. Зажгли крест и убегают...

Вдруг раздался сильный треск, посыпалась штукатурка, потом другой удар, зазвенели разбитые стёкла, истошно закричали дети, и сразу же послышался обезумевший от страха голос Майры:

— Сайлас! Сайлас!

Он кинулся через спальню в детскую. В дверях стояла Сьюзен, её била лихорадка, она рыдала:

— Нет, нет!.. Нет, нет!

— Что с тобой? Скажи! Что они с тобой сделали?

Вопли доносились из комнаты Брайана. Он вбежал туда. Свет был зажжён, и в углу, словно каменная, стояла Джералдайн; лицо её было перекошено. На руках у Майры лежал Брайан; он кричал от боли, кричал сквозь слёзы:

— Я не вижу!.. Я ничего не вижу!

Лицо его было залито кровью, пижама тоже, и рубашка Майры тоже была вся в крови, а Майра старалась его утешить, вытереть у него с лица кровь, но очень осторожно, потому что всё лицо его было изранено и разбито...

— Господи! Господи! Что случилось?

Сквозь слёзы Майра объяснила ему, что Брайан, наверно, прижался лицом к оконному стеклу, а оно разбилось вдребезги, когда в него попал камень. Сайлас бросился в ванную и намочил полотенце горячей водой. Когда он вернулся, Джералдайн рыдала:

— Папочка, он умер, он умер, папочка!

Лицо Майры было белым, как мел, а Брайан безжизненно свесил голову ей на руку. Дрожащими пальцами Сайлас нащупал у ребёнка пульс и крикнул чуть не со злобой:

— Он не умер! Прекратите эту ерунду! Надо отвезти его к доктору! Он потерял сознание от испуга.

В комнату протиснулся Спенсер. Он сказал:

— Сюда, Майра, положите его на кровать. Я вам помогу.

Они положили ребёнка на кровать, и, пока Спенсер укутывал его в одеяло, Сайлас вытирал у мальчика кровь с лица и старался остановить её полотенцами. Лицо было всё изрезано, особенно на лбу и возле глаз.

— Положите на лицо вату,— тихо распорядился Спенсер.— Есть у вас гигроскопическая вата? Надо только оставить отверстие, чтобы он не задохнулся.

Сайлас принёс вату и, разрывая пакеты, передавал их Спенсеру, который осторожно обкладывал лицо Брайана ватой. Им удалось остановить кровь, и тогда Спенсер неплотно забинтовал голову мальчика.

— Вы в состоянии вести машину? — спросил он Сайласа. И когда Сайлас утвердительно кивнул, он сказал: — Отлично. Мы сейчас же отвезём его в больницу. Майра, позвоните доктору Бэрнсайду и скажите ему, чтобы он нас там встретил. Я понесу ребёнка.

Они безмолвно повиновались его приказаниям. В коридоре Сайлас увидел неподвижные фигуры Брэди и Лесли. Брэди прижимал к себе обеих девочек.

— Вы побудете с ними? — шёпотом спросил его Сайлас.

Брэди кивнул. Спенсер бережно нёс завернутого в одеяло ребёнка. Он был в одной рубашке; Сайлас набросил ему на плечи пальто, довёл до машины и помог положить Брайана на сиденье.

— Наденьте и вы пальто,— сказал ему Спенсер.

Сайлас накинул какое-то пальто, даже не поглядев, своё или чужое; когда он сел в машину, Майра была уже там.

— Дозвонилась до Бэрнсайда?

— Дозвонилась.

Он ехал по Клемингтону к больнице, стараясь ни о чём не думать и вести машину быстро, осторожно, избегая толчков.

\* \* \*

Ночь шла на убыль, и тёмные углы тускло освещённой приёмной маленькой Клемингтонской больницы медленно заливало серовато-молочным рассветом; доктор Бэрнсайд кончил свою работу и вышел к ожидавшим его Майре, Сайласу и Хартману Спенсеру. Майра сидела на скамейке рядом с Сайласом, положив ему голову на плечо; за весь час, который они провели здесь, она ни звуком не выдала того, что у неё творилось на душе. Спенсер в четвёртый раз рассеянно перелистывал медицинский справочник, разглядывая невидящими глазами объявления о новых типах носилок, подкладных суден и искусственных лёгких. Все трое подняли глаза, когда в приёмную вышел Бэрнсайд; они молча ждали, что он скажет, а он смотрел на эту привычную картину мучительного ожидания с усталым сочувствием старого врача. Он нервно подбрасывал своё пенсне на чёрной ленточке, и белые пятнышки по бокам переносицы придавали его лицу какое-то неуловимое и трогательное изящество.

— Насчёт мальчика не беспокойтесь! — заявил он сразу же, с порога.— Да, да, он будет в полном порядке — ведь это то, что вас больше всего интересует. Он потерял много крови и пережил глубокое потрясение, но он будет здоров. Думаю, что в черепе нет трещины, и нам, безусловно, нечего бояться мозговых явлений; вас ведь это волнует, не так ли?

Майра заплакала, а Сайлас заговорил медленно и хрипло, изо всех сил стараясь не заплакать тоже, чтобы Майре и всем остальным не стало ещё тяжелее.

— Можно нам его повидать?

— Да, да, конечно. Почему же нет? Но, право, увидите вы немного, ведь лицо у него всё забинтовано...— Бэрнсайд неуверенно улынулся, не зная, дойдёт ли его острота. — Имейте в виду, что повязки производят устрашающее впечатление, но они не обязательно предвещают шрамы. Шрамы у него, конечно, останутся — боюсь, что они неизбежны при таком количестве порезов, — но они, надеюсь, будут небольшие, а со временем и совсем исчезнут. Молодые ткани заживают удивительно бурно, я бы даже сказал — вдохновенно, у вас и у меня дело пошло бы куда хуже. Обезображен он не будет. Мне удалось удалить все осколки, да, да, мне кажется, что я извлёк абсолютно все осколки, — противная вещь это стекло, ужасная вещь...

Он бормотал какие-то слова, мучительно стараясь сказать им то, о чём они, также мучась, не решались его спросить. Они не в силах были спросить, и только Спенсер наконец произнёс:

— А глаза?.. Как насчёт его глаз, доктор?

— Глаза у него повреждены, — жалким голосом признался Бэрнсайд.

— Сильно?

— Беда в том, что я и сам не знаю. Я сделал всё, что мог, и осмотрел всё, что мог осмотреть. Я не хочу ничего от вас скрывать, но в то же время мне не хочется зря вас пугать. Я вам заявляю, что глаза повреждены, в этом нет сомнений. Поранена роговица, но я не знаю, серьёзно ли она поранена. Помочь может опытный офтальмолог путём хирургического вмешательства, а я не могу сделать такую операцию, да и не возьмусь за неё. Я хотел было пригласить Коэна, но он ведь только окулист и не сможет сказать больше моего. А Коэн — единственный глазник в Клемингтоне. Мне кажется, что нам следует как можно быстрее вызвать специалиста из другого города. Может быть, Саппермена из Индианополиса?..

— Скажите, — прервал его Сайлас, с трудом выговаривая слова, — он будет слепым?

— В том-то и беда, что я не знаю. Хотел бы вам пообещать, что зрение у него будет в порядке, но не имею права... Всё, что я могу сказать, — это то, что он поправится от порезов, от контузии и потрясения.

— Но как вы предполагаете? — с мольбой настаивал Сайлас.

— Чего стоят наши домыслы, если они не опираются на точное знание? Через несколько часов здесь будет специалист, который сможет ответить вам более определённо. Прошу вас, не насилуйте меня, Сайлас.

— Понимаем, доктор, — прошептала Майра.

— Ну-с, почему бы вам теперь не повидать ребёнка? А потом ехали бы вы домой — вам надо отдохнуть.

— Мне можно будет с ним побыть?

— Вам надо отдохнуть, миссис Тимбермен, не то у нас будет двое больных вместо одного. И вам не мешало бы переодеться...

Майра взглянула на себя и увидела, что её фланелевый халат весь испачкан уже запёкшейся кровью.

— Ну да, ступайте, поглядите на него, а через несколько часов возвращайтесь, и тогда я разрешу вам с ним побыть. Я оставил возле него сиделку. С ним ничего не случится. Пойдёмте.

Он повёл их по коридору, и Майра шепнула Сайласу:

— Мне не хочется спать, Сайлас. Я надену платье и вернусь обратно. Хорошо?

— Хорошо. Конечно, хорошо, — сказал Сайлас.

Он не отпускал её от себя, когда они подошли к кровати и увидели, какое маленькое на ней лежит тельце, как туго обмотана бинтами вся головка. И тут впервые в жизни Сайлас понял, что такое ужас. В его

мозгу возникла чудовищная картина: камень ударяется в оконное стекло, к которому прижалось маленькое личико ребёнка, — ему ведь так хотелось посмотреть, как горит крест! А потом Сайлас вдруг увидел то безликое, лишённое разума нечто, которое швырнуло этот камень, и к его сердцу прилила ненависть, она прилила к нему огненным потоком, который ничто уже больше не погасит.

Почему-то ужас, любовь и ненависть, отняв у него последние силы, успокоили его и словно что-то в нём перевернули. Голос теперь у него был ровный, такой, как всегда. Он сказал Майре:

— Ты ведь не можешь уйти отсюда, правда, дорогая?

— Не могу, Сай, пойми...

— Вот и хорошо. Оставайся. Я привезу тебе платье. Только побреюсь, оденусь и сразу же вернусь обратно.

— А девочки?

— Не беспокойся за девочек. С ними Алек. Алек их не бросит.

— Да, да, Сай...

Она села возле кровати, и он её так и оставил, а когда он вышел к Спенсеру, тот сразу же заметил, что в Сайласе произошла какая-то разительная перемена.

### Глава восьмая

#### АРЕСТ

Вторник, 18 декабря 1950 года.

Повязку у Брайана сняли как раз за день до того, как арестовали Сайласа, и он всегда потом связывал эти два события, так же как не мог забыть и о том, что арестовали его ровно за неделю до рождества. Теперь Сайлас вёл счёт дням по особому календарю, не так, как большинство окружающих; однако счёт его был стар, как мир; помнится, по такому же календарю жили и его родители, им были невдомёк сухие числа — приметой времени служил им день, когда родился ребёнок или умерла одна из сестёр; когда выдался урожай, а когда недород; когда у отца была работа и когда её не было; когда зима выпала лютая или, наоборот, долго держалось тепло; когда братишка умер от дифтерита; когда ударила молния, бушевала непогода или солнце невпопад согрело землю. Вот теперь и жизнь Сайласа стала измеряться такой же мерой.

Особый счёт дням ведут люди, хлебнувшие горя, люди, шагающие с горем бок о бок. Он заметил такую привычку и у Майка Лесли, когда тот заехал к ним несколько дней назад из Индианополиса проведать Брайана; разговор зашёл о чём-то, что случилось лет пятнадцать назад, и Майк сказал:

— Это было в год большой стачки, не помню, в тридцать пятом или в тридцать шестом.

Как бы там ни было, а Майк хорошо поступил, что приехал. Он привёз Брайану игрушечную ферму, на которой было не меньше пятидесяти разных фигурок людей и животных, — Сайлас знал, что заплачено за неё недёшево, — расставил игрушки на одеяле и принялся водить по ним детскими пальчиками с удивительной нежностью и терпением.

— А я тебя знаю? — всё время спрашивал его Брайан.

— Теперь, конечно, знаешь. Я Майк Лесли.

— Но я ведь тебя никогда не видел, правда?

— Увидишь. Я очень смешной, нос у меня длинный-предлинный...

— Ну?

— Мы с тобой ведь друзья. Когда ты встанешь, вот тогда уж мы поиграем! У меня у самого есть мальчик. Ему семь лет. Зовут его тоже Майком.

— Большой Майк и маленький Майк, — совсем развеселился Брайан. — А вас никто не путает?

— Конечно, путают, да ещё как!

Потом Лесли спросил Сайласа:

— У него это пройдёт?

— Надеемся. Через несколько дней станет ясно — когда снимут повязку...

— И я надеюсь... От всей души, — сказал Лесли.

Но по мере того, как приближался решающий день, и Сайласу и Майре становилось всё труднее, всё тягостнее, но особенно тяжело было Майре. Она совсем не спала. Лёжа в постели с открытыми глазами, она молча глядела в пустоту. Иногда Сайлас просыпался среди ночи и, видя её лицо, умолял её не мучить себя, постараться заснуть.

— Ничего, Сай, не беспокойся. Спи.

— Ты себя истязаяешь. Родная, ты истерзала себе всю душу...

— Странно, что ты сказал... про душу... Знаешь, я сразу вспомнила старую поговорку: «Глаза — зеркало души...»

И когда день наконец настал, ему стало легче, особенно из-за Майры. Так или иначе, сегодня всё решится, и, каков бы ни был исход, им придётся его принять, не дрогнув; не только им, но и Брайану тоже; Сайлас верил, что они найдут в себе силы, как бы им ни было тяжело. Все они очень изменились — и он, и Майра, и девочки, и даже Брайан. Они возмужали и теперь уже многое могли перенести, очень многое. Сидя у постели Брайана, читая ему, разговаривая с ним или играя с ним в одну из бесчисленных игр, придуманных им для мальчика, который не видит, Сайлас часто поражался удивительной, не по годам, чуткости ребёнка. Брайан никогда не жаловался, и его кротость разрывала сердце Сайласу; он даже радовался тому, что они так и не узнали, кто бросил камень, — ведь если бы он мог связать этот поступок с каким-нибудь определённым человеком, он убил бы его без всяких угрызений совести, не успокоился бы, пока не убил.

Всё равно так нельзя было больше жить, им нужно было знать: да или нет, и Сайлас обрадовался, когда долгожданный день наконец настал. Они попросили доктора Саппермена приехать пораньше, пока девочки не пришли из школы: если новости будут хорошие, они их успеют узнать, когда вернутся; если же новости будут дурные, Сайласу и Майре захочется сперва побыть одним.

— Держите себя в руках, — сказал им Саппермен, поздоровавшись; ему, видно, не впервые приходилось попадать в такое тяжёлое положение. Это был невысокий, толстый человек с нежными, как у женщины, руками и раздражительным, неврастеническим характером; однако он непрестанно повторял им:

— Не нервничайте. Только не нервничайте! В этом нет никакой нужды. И нехорошо перед мальчиком, он ведь и так настрадался. Вы себе и представить не можете, как больно, когда у вас повреждены глаза. Мы ведь ещё понятия не имеем, какой сложный аппарат — наш глазной нерв. Но у мальчика болей уже нет. Надо и за это сказать спасибо. А чуда вы не ждите. Люди постоянно требуют, чтобы я творил чудеса. Меня хоть и зовут Мойсей Саппермен, но я не могу, ударив по скале, вызвать из камня воду. Я не кудесник. И делаю, что могу.

«Неужели он не замолчит? — думала Майра. — Неужели он так и будет болтать и никогда не приступит к делу?»



Саппермен пошёл на кухню и, попросив у Майры кастрюли, суетливо принялся кипятить инструменты, ни на секунду не переставая тараторить, пока не закипела вода. Потом он велел Сайласу подняться наверх и сделать так, чтобы в комнате Брайана было как можно меньше света.

— Закройте ставни, опустите занавески. Мы не любим слишком яркого света; нам нужен полумрак. Свет сам по себе — сила, и, если нерв не повреждён, он причинит дьявольскую боль. В сущности говоря, мы даже хотим, чтобы пациенту было больно. Боль — благодетельная штука, ведь и жизнь тоже главным образом боль...

«Замолчи! — мысленно умоляла его Майра. — Замолчи ты, бога ради!»

Сайлас вошёл в комнату Брайана и сказал ему:

— Слышь, мартышка! Приехал доктор. Смотри, не обижай его.

— Опять?

— Угу.

Брайан прислушивался, стараясь угадать, что делает отец; наконец он спросил:

— Что ты там делаешь?

— Закрываю ставни. Сейчас мы будем снимать с тебя повязку.

Сайлас стоял к Брайану спиной — внезапная тишина сжала его сердце. Он обернулся, но продолжал молчать, не зная, что сказать сыну.

— Я не буду больше слепой? — спросил его Брайан.

— Ты можешь потерпеть ещё капельку, сынок?

— Могу.

Перенести его недетское терпение было куда труднее, чем мольбы или слёзы. Сайлас снова подумал о том, что творится у него на душе. Что стряслось с каждым из них и с ними со всеми? Потом пришёл доктор, за ним Майра, и они стали снимать повязку. Сайлас закрыл глаза и замер, как неживой, пока Брайан не закричал от боли. Тогда он повернулся и посмотрел на искажённое страданием, белое, как бумага, личико ребёнка, на ручки, которые держала Майра, чтобы они не дотронулись до глаз, на багровые шрамы со следами швов.

— Что ты видишь? — спросил доктор. — Скажи, Брайан, ты что-нибудь видишь?

— Больно, больно от света!

Лицо доктора расплылось в улыбке; вся его раздражительность куда-то пропала; женственные ручки любовно поглаживали друг друга.

— Видите, ему больно от света — значит, нерв жив!.. Слава богу, первый шаг сделан!

Маленький доктор Саппермен стоял неподвижно, но Сайласу показалось, что он пляшет, радостно пляшет, празднуя своё торжество. Сайлас отвернулся, чтобы скрыть слёзы.

\* \* \*

Радость их несколько не уменьшилась даже тогда, когда Саппермен их предупредил, что зрение у Брайана никогда больше не будет нормальным и что рано ещё предсказать, хорошо ли он будет видеть. Сайлас и Майра боялись слепоты, теперь же они знали, что Брайан не будет слепым. Сайлас признался, что ему кажется, будто он сам открыл глаза впервые за много недель, а что касается Майры, то она словно родилась вновь, и на какое-то время для них обоих больше ничего не существовало, да и не могло существовать. Даже арест Сайласа на следующий день произвёл на них куда меньшее впечатление, чем мог бы произвести в другое время; они, правда, предвидели возможность ареста с самого возвращения Сайласа из Вашингтона, но не верили, что это случится, хотя и не

очень надеялись, что этого не будет, а потому спрятали свои опасения по-дальше, туда, где хранились все их тревоги о будущем. Однако с тех пор, как был брошен камень, будущего не существовало; вместо него было только незрячее настоящее.

Сьюзен и Джералдайн заразились хорошим настроением родителей. Для них слепота была так же непостижима, как смерть, и они выдумали новую игру, проверяя, видит ли Брайан, когда с его лица снимают предохранительную повязку. Сайлас находил их игру бессердечной, но Майра его утешала:

— Чего ты от них хочешь? Им ведь тоже надо как-то прикрыть свои раны.

Будущее вернулось. Сайлас приучал себя к непонятной ему раньше формуле: «Человек без определённых средств к существованию...» Эдна Кроуфорд уехала на родину, в Массачусетс, а Леон Федермен взялся писать объёмистый труд, вкладывая в это занятие такую же бешеную энергию, с какой он брался за любое дело. Книга должна была свести воедино все научные представления современного человека и сделать их общедоступными — замысел, который, по мнению Сайласа, мог принадлежать только Федермену. Остальные коротали время как придётся и собирались опротестовать своё увольнение через суд — пустая затея! Айк Амстердам постепенно смирился с мыслью, что он кое-как доживёт свой век на те гроши, которые ему удалось скопить. С тех пор, как Брайана ранили, он приходил к Тимберменам каждый день, усаживался у кровати ребёнка, читал ему книжки или рассказывал самые необыкновенные истории о ракетных кораблях, о бесконечных просторах вселенной — сказочной стране детей нынешнего поколения; помимо Айка Амстердама и других уволенных профессоров, в дом потихоньку заглядывал и кое-кто из их более осторожных коллег; они приходили, чтобы выразить сочувствие и посетовать на выходку громил. Однако Сайласу казалось, что негодование их не очень-то чистосердечно, так же, положим, как и сочувствие: их возмущал камень, брошенный в ребёнка, но они оправдывали те камни, которыми побивали его, Сайласа.

«Фулкрум» следующим образом выразила вобщее возмущение: «Подобные акты насилия нас не только огорчают, будучи маниакальными выходками психически неуравновешенных людей, но и заслуживают осуждения, ибо они на руку как раз тем самым коммунистам, с которыми мы так ожесточённо боремся». Сайлас долго перечитывал эту сентенцию, которую Марк Твен наверняка назвал бы «конфеткой», и решил сохранить её, как реликвию, рядом с запиской секретаря Антони Ч. Кэбота, в которой говорилось, что президент глубоко сожалеет о «диком и бессердечном нападении» на маленького ребёнка... Свиток презрения в душе Сайласа становился всё длиннее и длиннее. Ему больше не нужно было знать, кто именно бросил камень; он понимал, что то была только рука, его же теперь занимала уже не рука, а всё тело и, главное, мозг, управляющий действиями руки... Понимал Сайлас и то, что презрение, которое он испытывал, рано или поздно превратится в другое чувство. Что же, он подождёт, ведь не зря он прошёл такую науку, заплатив за неё, правда, дорогой ценой. Ничего, он подождёт, всему своё время, говорил он себе...

Как-то раз Брэди его спросил:

— Вы знаете, Сайлас, что моя жена методистского вероисповедания?

Сайлас удивился, не понимая, какое это имеет значение; правда, он знал, что родители Брэди были католиками.

— Она ходит в церковь к Мастерсону. В прошлое воскресенье пастор посвятил свою проповедь тому, что случилось с Брайаном. Старик метал громы и молнии. Без всяких оценок он обвинил во всей этой истории тех, кого надо, а именно: мистера Кэбота и банду Брэннигена. Кроме

того, он вывел на чистую воду всю их затею насчёт цензуры над книгами. Вот это человек!

— А как отнеслись к его проповеди прихожане? — спросил Сайлас.

— Кто как. Моей Сарре, например, она понравилась, кое-кому — нет. У жены было такое впечатление, что большинство ему просто не поверило, чего, впрочем, и надо было ожидать. Против Мастерсона поднята целая кампания: его хотят заставить покинуть приход. Состоялось собрание приходского совета; думаю, что о его поступке будет доложено столпам методистской церкви. Да и Кэбот не станет молчать. Наше «высокопоставленное лицо» — существо весьма злобное.

Брэди тоже переменялся; он как-то незаметно перестал быть просто педагогом, стал кем-то другим. Когда Сайлас спрашивал его, когда и чем всё это кончится, он только пожимал плечами.

— В какой-то мере конец зависит от нас, Сайлас. Нам решать, когда и чем это кончится.

— Вам и мне?

— Вам, и мне, и ещё миллиону таких, как мы. Поймите, сейчас — только начало. А ничто не начинается и не кончается одновременно. Поняв, что собой представляет начало, мы можем сделать свои предположения о будущем. Однако предвидеть конец ещё невозможно. Кое-кому он покажется неожиданным...

Но люди вроде Лоуренса Кэплина не верили, что конец будет не таким, как начало; оно казалось им зверски устойчивым. Когда Кэплин приходил к Тимберменам, Сайлас видел, как он болезненно переживает то, что случилось с Брайаном, а его жена. Сельма просто не знала, чем бы помочь Майре. Она переносила своё несчастье куда легче Лоуренса, и Сайлас снова и снова задумывался над тем, каким удивительным источником силы обладают женщины и как его не хватает им, мужчинам!.. Кэплин за несколько недель стал совсем стариком; они заговорили о том, как жить дальше, и Кэплин рассказал Сайласу, что они с Сельмой теперь берут на дом работу — читают корректуру. Работа не из прибыльных, да и глаза у него очень устают, но, если они сумеют и впредь получать её, они будут выработать по сорок—пятьдесят долларов в неделю. Сайлас испытывал чуть не физическую боль, слушая, как этот человек, один из крупнейших лингвистов той части мира, которая говорит по-английски, мечтал заработать вместе с женой столько, сколько получает чернорабочий.

— Вы разве не собираетесь искать работу в каком-нибудь другом университете? — спросил его Сайлас.

— А вы?

— Не знаю. Когда у тебя трое ребят, это меняет дело. Ваши уже взрослые. Наверно, в конце концов и я сделаю попытку. Нам ведь придётся продать дом.

— Вы ещё молоды, можете начать жизнь сначала, — сказал Кэплин. — А я — нет. У меня не хватит сил выслушивать объяснения то одного, то другого университета, почему у них нет для меня места в штате, или ставки в бюджете, или того и другого вместе. И для чего? Для того, чтобы в конце концов мне отказали, спросив, где мои рекомендации, и где я преподавал до сих пор, и почему я оттуда ушёл? Я не могу пройти через всё это, да и незачем. Конец всё равно один.

— Пожалуй, — согласился Сайлас.

— Я вам говорил, что у меня был Лундфест?

— Нет, не говорили.

— Он предложил мне вернуться на работу, — сказал Кэплин с оттенком невесёлой гордости. — Заявил, что Клемингтону обидно терять такого

известного учёного. Сказал, что договорился с Кэботом и от меня требуется только подписать показания, подтверждающие то, что говорил Боб Аллен...

Голос его замер, но нота невесёлой гордости всё ещё, казалось, дрожала в воздухе, и, глядя на Кэплина, Сайлас почувствовал, что горло его сжалось и глаза наполнились слезами. Говорят, будто с ужасами, которые происходили в других странах, покончено навсегда, но почему же тогда людей подвергают таким унижениям здесь, в тех самых Соединённых Штатах, где ещё так недавно с возмущением печатали фотографии таких же людей, как Кэплин, подметающих навоз на улицах Берлина? А ведь Кэплин — гордый человек! И как себя чувствовал Лундфест, когда его предложение было отклонено? Что он — сердился, негодовал, угрожал? Но ведь Кэплину больше нечем было грозить, и Сайлас вдруг почувствовал жалость к Лундфесту... Прежние представления о злодействе устарели; злодеев больше не существовало, были лишь люди, переставшие быть людьми, утратившие последние остатки того драгоценного наследия культуры и прошлого, которым так дорожил Кэплин. А Лундфест, наверно, и не почувствовал ничего, кроме презрения к ничтожному еврею...

Вот почему арест, который произошёл на следующий день после того, как у Брайана сняли повязку, подействовал на Сайласа меньше, взволновал его меньше и повлиял на него меньше, чем вызов в сенатскую комиссию.

\* \* \*

Говоря по правде, произошло это довольно обыденно и без всякого драматизма, в четыре часа пополудни, когда девочки сидели наверху в затемнённой комнате у Брайана, переживая вместе с ним его восторг по поводу вернувшегося к нему зрения.

— Видишь мою руку? А ну-ка, Брайан, сосчитай пальцы!

Майра готовила на кухне обед, а Сарра Брэди — душевная, но не очень деликатная женщина — изливала ей свси восторги по поводу выздоровления мальчика.

Сам Сайлас был в кабинете; мысли его перескакивали с неоконченной рукописи о Марке Твене к необходимости продать дом. Снова и снова со времени возвращения из Вашингтона принуждал он себя сесть за работу над книгой, но продолжать её стало для него мукой. У него пропала охота писать. И не только потому, что он боялся не найти издателя, но и потому, что самая книга потеряла для него всякий смысл. У него исчезло желание жить жизнью другого человека и думать чужими мыслями; мешало ему и то, что какая бы то ни была потребность в новой книге, написанной профессором американской литературы, перестала существовать; к тому же ведь он больше и не профессор американской литературы. К чему писать эту книгу? Ради того авторитета, который он потерял навсегда? Зачем писать книгу, которую он не хочет больше писать? Да и о чём он хочет писать и хочет ли писать вообще? Что он хочет делать, что он может делать? Ну хорошо, он продаст дом, но ведь это тоже не выход; даже то, что случилось с Брайаном, не заставило его возненавидеть свой дом. Здесь был его домашний очаг, его убежище. Куда они пойдут?

Мысли его надоедливо возвращались к одному и тому же, но вдруг послышался перезвон колокольчиков, и он крикнул Майре, что сам открывает дверь — хотя бы для того, чтобы как-нибудь прервать свои беспечельные размышления. Сайлас отворил входную дверь и увидел на пороге плотного, седого, краснолицего человека со шляпой в руке; он осведомился, здесь ли живёт мистер Сайлас Тимбермен. Сайлас сразу догадался. Как-то Майк Лесли сказал ему, что он нюхом чует шпика, какого

угодно шпика — частного сыщика или какого ни на есть другого, — чует его в любом месте и при любых обстоятельствах; тогда Сайлас ему не поверил, а теперь он и сам понял, что это возможно. Сайлас попросил незнакомца войти и сказал ему, что он и есть Сайлас Тимбермен.

Краснолицый господин неловко, бочком, прошёл в дверь, но, как только Сайлас затворил её за ним, перешёл прямо к делу.

— Видите ли, мистер Тимбермен, у меня ордер на ваш арест. Зовут меня Суини, вот мой значок и удостоверение. Я судебный исполнитель окружного федерального суда. Если хотите, можете ознакомиться с ордером и обвинительным заключением. Вот они.

Он протянул Сайласу какие-то бумаги, и тот, проглядывая их, удивлялся своему спокойствию. Так вот как оно бывает! Вот он, конец: человека объявили преступником, и какой-то явно смущённый, добродушный шпик, по имени Суини, сажает его в тюрьму. Сайлас прочёл в ордере, что обвинительное заключение ему выписано, на основании параграфа 1621 раздела 18 Уголовного кодекса США, за двукратное клятвопреступление, но, как ни странно, не пал духом. Ведь он не совершал клятвопреступления. Всё разъяснится. Брайан снова видит. А жизнь учит вас довольствоваться тем, что она даёт.

— Я хочу поговорить с женой, — сказал он, — вы не возражаете?

— Видите ли...

— Она здесь, на кухне. Если хотите, пройдёте вместе.

— Ладно, — согласился судебный исполнитель. — Но я должен вас забрать. Я ведь человек маленький, мистер Тимбермен. Я должен вас забрать. Ведь не я же выписываю ордера...

— Понимаю, — сказал Сайлас. — Но у меня был болен сын, и все в доме очень расстроены. Я не могу уйти, ничего не сказав.

— Чего говорить, конечно...

— Куда вы должны меня отвезти?

— В федеральный суд, в Индианополис, к полицейскому уполномоченному. Ваш адвокат знает, где он помещается, пусть ваша жена с ним снесётся.

Они прошли на кухню, и Сайлас почувствовал себя глупо, как школьник, объясняя Майре, что с ним случилось. Сарра Брэди воскликнула: «Ах ты, господи!», и лицо её побелело. Майра, повидимому, отнеслась к его аресту так же, как он, и не стала устраивать сцен, а просто спросила, не надо ли позвать девочек.

— Нет, лучше не надо. Ведь таких, как я, выпускают под залог, не правда ли, мистер Суини?

— Да, в большинстве случаев выпускают, но вопрос этот решит полицейский уполномоченный, если мы его ещё застанем. Обычно он уезжает из суда часов около пяти, но, может быть, ваш адвокат уговорит его задержаться.

— В таком случае я надеюсь вернуться сегодня же вечером или, на худой конец, завтра. Тебе, Майра, надо позвонить Мак-Алистеру и попросить его приехать в федеральный суд в Индианополисе. Полицейский уполномоченный ведь там находится, не так ли? — спросил он, слегка смущённый тем, что так мало знает об их порядках.

— Так точно. Позвоните адвокату, миссис Тимбермен. И молитесь, чтобы всё обошлось. Такая уж ваша судьба. Пошли, мистер Тимбермен, нам пора.

Сайлас поцеловал жену и Сарру Брэди, надел пальто и шляпу и вышел вслед за судебным исполнителем на улицу, где стояла машина, делая вид, будто он отправляется куда-то по совершенно обычному делу. Не зная толком, прав он или не прав, Сайлас всё-таки обрадовался, что всё

произошло так быстро и у Майры не было времени ни продумать, ни почувствовать то, что с ними случилось, — она ещё успеет.

Судебный исполнитель подвёл Сайласа к большому шестиместному бьюику; у руля сидел ещё один чин. Суини поместился рядом с Сайласом на заднем сиденье и, когда машина тронулась, смущённо ухмыльнувшись, вынул из кармана пару наручников.

— Придётся мне их на вас надеть, мистер Тимбермен. Понимаю, такое украшение не очень-то к лицу профессору, но правила есть правила. Нам ведь всякий попадается народ. Я-то знаю, что вы себе ничего не позволите, но должен поступать по правилам.

Сайлас, кивнув, протянул ему руки.

\* \* \*

Первое, что Сайлас заметил, когда они в сумерки подъехали к зданию федерального суда в Индианополисе, была знакомая приземистая фигура шагавшего по тротуару Мак-Алистера. Сайлас вздохнул с облегчением, признавшись себе, что он очень рассчитывал на Мак-Алистера и что он почувствовал бы себя совсем заброшенным, не оказавшись маленький адвокат на условленном месте.

Заметив машину, Мак-Алистер подошёл к ней и отворил дверцу, давая Сайласу и Суини выйти; увидев на руках Сайласа наручники, он сказал:

— Это ещё что за штуки, Суини? Разве вы не знаете, кто такой профессор Тимбермен! Что за дурацкая игра в разбойники?

— Да ведь против правил не пойдёшь, мистер Мак-Алистер. Если я приведу его без железок, они перегрызут мне глотку. Разве я выдумываю правила, мистер Мак-Алистер?..

— Чёрт бы их побрал! Не горюйте, Сайлас, мы с вами живо отсюда выкарабкаемся. Наручники — вещь безвредная, от них может пострадать разве что человеческая воля; думаю, однако, что ваша воля не пострадает. Как вы себя чувствуете?

— Великолепно, — улыбнулся Сайлас.

— Вот и ладно. Я слышал, что к мальчику вернулось зрение? У меня сразу отлегло от сердца. Хотел заехать на днях в Клемингтон и непременно это сделаю. Теперь послушайте, Сайлас: они сейчас вас зарегистрируют — обычные формальности, — возьмут отпечатки пальцев, заполнят карточку, а потом отведут к полицейскому полномоченному. Сей пост здесь занимает некий Фредди Джонсон; конечно, бывают типы и похуже, но он дрейфит и нервничает, как и все прочие; я уговорил его нас дожидаться. Он не любит опаздывать к ужину, поэтому, если он будет злиться, не обращайтесь к нему. Отвечайте ему на все вопросы, но, Христа ради, не распространяйтесь сами. Если всё пойдёт хорошо, вас сегодня же выпустят под залог. Будьте спокойны. Я приду к вам через несколько минут.

Мак-Алистер поднялся по ступенькам в здание суда, а судебные приставы провели Сайласа через заднюю дверь в нижний этаж, потом по грязному, тускло освещённому коридору в узкую комнату, где друг против друга стояли две скамьи. Сайласа посадили на одну из них, против двух неряшливых пожилых женщин с пустыми глазами и молодого негра, с лица которого не сходила гримаса недоумения и безнадёжности. Никто не заговорил с Сайласом и даже не взглянул на него. Он закурил сигарету, курил её минут пять, неловко ворочая закованными руками, чувствуя себя с каждым взглядом на свои наручники всё глупее и всё неудобнее, стараясь привыкнуть к мысли, что его арестовали как уголовного преступника, раздумывая о том, чем заняты сейчас Майра и дети,

отталкивая от себя назойливую и пугающую мысль, что его разлучили навеки и с ними и с Клемингтоном, и утешая себя ходячими фразами, вроде «помилуй, дружище, да ведь всё это просто-напросто довесок к нулю, и как всё, что граничит с анекдотом, не может не развеяться, словно дым... Потерпи маленько».

Терпеть ему и в самом деле пришлось недолго. Минут через пять вернулся Суини, снял с него наручники и молча предложил пройти вперёд, в дверь, противоположную той, через которую они вошли. Там сидевший за пишущей машинкой человек заполнил на карточке сведения о некоем Тимбермене Сайласе, а другой человек ловко прижал его пальцы к намазанной чернилами стеклянной пластинке и отпечатал каждый палец в отдельности на той же карточке. Позднее Сайлас будет воспринимать спокойную деловитость таких людей, как нечто само собой разумеющееся, пока же его удивляло, что они не проявляют ни любопытства, ни недоброяжелательства.

Сделав всё, что им полагалось, они дали ему полотенце и мыло, чтобы он мог вымыть руки над раковиной в углу, а потом Суини вывел его, теперь уже через другую дверь, и повёл по другому коридору и затем вверх по лестнице в канцелярию уполномоченного федеральной полиции. Они вошли в комнату, похожую на маленькую часовню, с четырьмя рядами скамей посередине, несколькими столами в одном конце и столом на возвышении, обнесённом барьером, — в другом, где сидел сам уполномоченный. Комната была пуста.

— Садитесь, профессор, — сказал ему Суини, показывая на первый ряд скамей, — а я скажу начальнику, что вы уже здесь.

После чего Сайлас, как ни странно, остался совсем один, без стражи и без наручников. Видно, и в здешних правилах были пробелы.

Тем временем Мак-Алистер направился прямо в комнату прессы, где обычно коротали своё время поручители. Единственный поручитель, который ещё не успел уйти, был худосочный, узколицый субъект, по имени Джимми Снелл; он играл в очко с корреспондентом «Дейли игл». Мак-Алистер дождался, пока они кончат партию, а потом спросил:

— Есть у вас свободная минутка, Джимми?

Снелл отошёл с ним в другой конец комнаты и вопросительно посмотрел на него:

— Что у вас?

— Один малый, по фамилии Тимбермен. Я хочу, чтобы его выпустили ещё сегодня.

— Сколько? Дело уже слушалось?

— Джонсон назначит сумму залога в течение часа; надеюсь, не больше пяти косых.

Снелл свистнул.

— Пять? Ого! Не уверен, что смогу достать. На чём он влип?

— Лжесвидетельство.

— Какого дьявола вы мне морочите голову, Мак? Наверно, по моему делу? Пять косых не берут за лжесвидетельство. Он что, был свидетелем на большом процессе?

— Нет, там какая-то история со свидетельскими показаниями в сенатской комиссии. Послушайте, Джимми, ведь я только предполагаю, что может быть такая сумма; я взял крайнюю цифру. Мне не хочется, чтобы мой клиент сидел здесь всю ночь.

— Погодите, погодите минуточку... — Снелл поспешно отодвинулся от Мак-Алистера. — Уж не один ли это из тех самых профессоров?

— Ну да, он.

— Ничего не выйдет.

— То есть как это ничего не выйдет? Разве учитель не более верное дело, чем какой-нибудь ворюга?

— Может, и так, но он политический. Нам намекнули, чтобы мы держались от них подальше, не то нам придётся распрощиться со своим патентом. А мне надо заработать на хлеб с маслом.

— Вы совсем спятили! — прикрикнул на него Мак-Алистер. — И что это за свистопляска поднялась вокруг политических? Какие у нас в Америке могут быть политические преступники! Ерунду вы плетёте! Сенатские комиссии сажают за решётку уже не первый год, а лет сто, сами знаете.

— Ещё бы не знать. Я ведь не вчера на свет божий родился. Не вайте дурака вы сами, Мак. Вас мама тоже не вчера родила. Он политический преступник, коммунист, и я не желаю подходить к нему на пушечный выстрел. Мне ещё жизнь дорога. И мой патент тоже.

— Тимбермен такой же коммунист, как вы, Джимми, — терпеливо убеждал его Мак-Алистер.

— Очень может быть, что и я коммунист, кто знает? По мне, что коммунист, что верблюд — всё едино; не признаю в лицо ни того, ни другого. Но мне приказано держаться от них подальше, и я буду держаться подальше.

— Кто вам приказал?

— Бросьте, Мак, мы же не в куклы играем, вы ведь не маленький. Хотел бы вам помочь, но не могу. Не могу — вот и весь сказ!

И он вернулся к своей игре в очко, а Мак-Алистер нашёл автомат в коридоре и позвонил Майре. Услышав её голос, он сказал:

— Вы слышите меня, миссис Тимбермен? У нас всё в порядке; дело скоро будет слушаться. Вам только надо достать денег для залога. Я рассчитывал добыть поручительство, но не смог, и вам надо самой раздобыть деньги, не то Сайласу придётся сидеть, покуда вы их не достанете.

— Сколько? — спросила Майра.

— Сумма ещё не установлена, но я полагаю, что не больше пяти тысяч долларов. Может, и меньше, если вам повезёт. Деньги должны быть либо наличными, либо заверенным чеком, либо в государственных облигациях, с купонами. Сколько вы можете достать немедленно?

— У нас в сберегательной кассе около двух тысяч, но я их смогу получить только завтра утром. Ещё столько же у нас в облигациях, но без купонов. Я могу их, конечно, продать, но и это можно будет сделать только завтра. Как быть?

— Послушайте меня и не трогайте своих денег. Если иск не будет отклонён, нам придётся судиться, и ваши две тысячи растают как снег. Подождём до завтра, но постарайтесь достать нужную сумму где-нибудь в другом месте. Возьмите в долг. Залог возвращают. Вам не надо просить деньги насовсем, вы берёте их в долг, и, когда мы выиграем, деньги нам вернут.

— Хорошо. Я достану.

— Я вам позвоню, как только назначат сумму залога. Пока до свидания.

Чувствуя, что опаздывает, Мак-Алистер торопливо засеменял по коридору и вошёл в кабинет полицейского уполномоченного совсем запыхавшись. Там уже собрались все: и сам Фредди Джонсон, и секретарь суда, и прокурор, и Сайлас, и Суини.

— Прошу меня извинить, — с трудом переводя дух, произнёс Мак-Алистер, на что Фредди Джонсон ответил раздражённо:

— Начинайте! Я не намерен сидеть здесь всю ночь. Мне пора домой, ужинать.



Секретарь зачитал обвинительное заключение и обернулся к Сайласу.

— Что вы можете сказать в своё оправдание?

— Я не виновен, — заявил Сайлас.

Фредди Джонсон — пожилой холёный господин с очень розовым лицом и коротко подстриженными седыми волосами, ещё сохранивший следы былой силы и свежести, — с любопытством разглядывал Сайласа.

\* \* \*

Государственный прокурор — напористый молодой человек лет тридцати с небольшим — говорил пылко, многозначительно подчёркивая каждое слово, что явно действовало Фредди Джонсону на нервы.

— Поближе к делу, мистер Гаррис, — прервал он его. — Здесь у нас не судебное заседание.

— Я этого не забываю, сэр. Я не забываю также и о нашем неукоснительном правиле отдавать преступника на поруки и о самой природе англо-саксонского права касательно этого предмета. Однако я имел честь подробно изъяснить вам, что мы переживаем исключительный момент в нашей истории. И мне кажется, сэр, что я не нарушаю незыблемости наших традиций, предлагая отказать в выдаче под залог преступника, обвиняемого в нелояльности, человека, сделавшего всё возможное, чтобы помешать своей родине выполнить священный долг в войне с беспощадным и безбожным агрессором, злоумышленника, который стремится ниспровергнуть наше правительство насильственным путём...

— Возражаю! — рявкнул Мак-Алистер. — Побойтесь бога! Что здесь происходит?! О чём он ораторствует? Моего клиента никто и не думал обвинять в насильственном свержении законной власти! И тем более — в саботаже военных действий нации!

— Принимаю ваши возражения, Мак-Алистер. Послушайте, мистер Гаррис, куда вы клоните? Вы что, хотите, чтобы я отказался выдать обвиняемого на поруки?

— Да, хочу.

— На каком основании?

— Я сообщил вам точку зрения правительства.

— В обвинительном заключении ничего подобного не сказано, — возразил ему Джонсон. — В обвинительном заключении говорится о двукратном нарушении клятвы, в соответствии с параграфом тысяча шестьсот двадцать один раздела восемнадцать, вот и всё. А что этот человек думает и каких политических убеждений он придерживается, меня в данном случае не интересует.

— Не могу поверить, сэр, что вас не интересует безопасность нашей страны.

— Если вы желаете предъявить ему обвинение в нарушении безопасности нации, предъявите его, мистер Гаррис. Я обязан исходить из того, что написано. Мне придётся просить вас назначить сумму залога. Я не вижу оснований отказывать в выдаче обвиняемого на поруки.

— Отлично, — согласился Гаррис, спокойно проглотив полученный нагоняй. — Правительство Соединённых Штатов требует установить сумму залога в пятнадцать тысяч долларов.

— Пятнадцать тысяч? А вы не считаете сумму чрезмерной?

— Правительство этого не считает.

— Как ваше мнение, Мак-Алистер?

На этот раз Мак-Алистер поднялся очень медленно; Сайласу почудилось, что во всей его манере что-то изменилось и он теперь держит

себя чуть-чуть по-другому. Фредди Джонсон, может быть, и не был самым последним человеком на свете, но он называл прокурора «мистер» Гаррис и не давал себе труда прибавлять «мистер» к имени Мак-Алистера, а его объективность в вопросе о точной формулировке обвинения отнюдь не была рассчитана на то, чтобы всерьёз обидеть напористого и уверенного в себе мистера Гарриса. Какова будет судьба такого мистера Джонсона, полицейского уполномоченного, получившего свой пост из рук определённой политической группы и такого же рядового служаки в своей области, каким Сайлас был в области преподавания, если он всерьёз обидит мистера Гарриса? Слушая Мак-Алистера, Сайлас раздумывал об этом и о многих других вещах.

— Не знаю, сэр, — сказал Мак-Алистер. — Я совсем растерян. Мой клиент — человек учёный, семейный, отец троих детей и домовладелец. К тому же он ветеран армии Соединённых Штатов. Если не считать тех лет, которые он провёл на войне, у него более чем десятилетний стаж преподавательской работы в университете. Его послужной список в армии безупречен, он был демобилизован с почётом. Такие люди, как он, не бегут от суда, не укрываются от ареста и не уклоняются от последствий того, что они совершили. Он утверждает, что не виновен в предъявленном ему обвинении, и если виновность человека в чём-нибудь и должна быть безусловно доказана, — это в первую очередь виновность в лжесвидетельстве. Должен признаться, что я не только поражён, но и озадачен требованием мистера Гарриса. Я не вижу никаких оснований для такой непомерно высокой суммы залога. У меня тоже есть кое-какой опыт судебной практики и некоторый авторитет. Поэтому я буду просить вас, сэр, передать обвиняемого мне под надзор.

Джонсон покачал головой с нескрываемым раздражением.

— Не пройдёт, Мак-Алистер! Вы ведёте себя не лучше, чем мистер Гаррис. Назовите цифру, прошу вас.

— Хорошо. Тогда прошу назначить сумму залога в одну тысячу долларов. Это обычная цифра залога, какой назначается, когда речь идёт о лжесвидетельстве.

— Но вы же не станете утверждать, что мы имеем дело с обычным случаем лжесвидетельства?

— Дело далеко не обычное, — вставил мистер Гаррис.

— Не понимаю, почему. Человека обвиняют в том, что он дал неверные показания, а он это отрицает. Что тут необычного?

Спор продолжался в том же духе, покуда внимание Сайласа, который вначале был всецело поглощён тем, что происходит, постепенно не стало рассеиваться. Глаза его слипались, но он снова заставил себя слушать. Когда Фредди Джонсон в конце концов согласился на сумму в пять тысяч долларов, Сайлас был скорее озадачен, чем обрадован. Откуда они с Майрой возьмут пять тысяч долларов?

\* \* \*

Майра не знала, где она их возьмёт, но у неё не было сомнения в том, что достать их она должна, — попросить, занять, украсть, вымолить — словом, получить их в любом месте любым способом. Ей надо было достать эти деньги во что бы то ни стало. Вот живёшь с мужем много, много лет и даже не подозреваешь, что на него может быть назначена цена: он здесь, гляди, хочешь получить его обратно? А сколько ты за него дашь? Прежде «залог» был для неё просто словом, сочетанием звуков; как и Сайлас, она прожила жизнь в окружении слов, не имевших для неё лично никакого смысла; когда они попадались ей в книге, они только забавляли её — такие слова, как: залог, арест, тюрь-

ма, нищета, приговор, вина, невиновность, лжесвидетельство; первое нарушение, второе, третье... смотришь фильм или телевизор и видишь: бунт в тюрьме и восставшие заключённые оказывают сопротивление тюремщикам; та-та-та — кричит Брайан, изображая пулемёт, трах-тах-тах — трещат револьверные выстрелы...

— Залог нужен для того, — объясняла она Джералдайн — ей ведь надо было как-то объяснить это непонятное слово, — чтобы власти были уверены в том, что человек не убежит от суда, не скроется.

— Это наш-то папа может скрыться от суда?

— Ну да, хотя бы и папа... Понимаешь, его арестовали. Его обвиняют в том, чего он не делал. Вот нам и нужен залог, чтобы он вернулся домой.

— Значит, если мы заплатим пять тысяч долларов, его отпустят?

— Нет, миленькая, к сожалению, всё обстоит не так просто... Залог — это деньги, которые мы платим в обеспечение того, что папу найдут здесь, как только он понадобится.

— А почему они думают, что не найдут Сайласа дома? Ведь мы здесь живём?

— Они в этом не уверены, они ведь не такие люди, как мы...

— Они нехорошие люди?

— Если люди нехорошо поступают, мне кажется, что со временем они и сами становятся плохими людьми.

— А что, если нам пойти к ним, если ты, я и Сьюзен пойдём и расскажем им про Сайласа, тогда ведь они узнают, что он никогда не лжёт?

Ну, что на это ответишь? У Джералдайн, у Сьюзен и у Брайана детство будет совсем не такое, какое оно было у неё; слова для них уже не просто забавное сочетание звуков.

Первые минуты после ареста Сайласа Майра вела себя глупо, не думала о будущем, о том, что делать дальше. Она вдруг вспомнила, что, когда они были помолвлены, Сайлас подарил ей кольцо с небольшим бриллиантом, а она слышала, что бриллианты теперь сильно поднялись в цене. Мак-Алистер не советовал ей трогать их сбережения, но ведь он ничего не говорил о таких вещах, как вот это кольцо; Майра села в машину и, как безумная, помчалась в Клемингтон, чтобы попасть к единственному в городе ростовщику, пока тот ещё не закрыл своей лавочки. Ей дали за кольцо сто семьдесят долларов и в какой-то мере вернули к действительности. Дома она позвонила Алеку Брэди и попросила его сейчас же приехать, а потом заказала междугородный разговор.

Майра не допускала окончательного разрыва со своими родителями; как бы они ни поступали, она говорила себе, что они не умеют поступать иначе и не знают, можно ли вести себя иначе, тем более, что она и в самом деле была для них сплошным огорчением. Разве их не должен был огорчить её брак с нищим преподавателем университета? А теперь, когда она уже стала матерью троих детей и всё ещё была вынуждена не только преподавать, но и сама вести хозяйство, разве им было приятно? Им казалось, что Сайлас обманул её в том, в чём, по их мнению, только и можно обмануть человека, — в долларах и центах; и как бы ни были узки их представления, они чувствовали, что Сайлас отнял её у них и восстановил её против всего, во что они верили. Может быть, разрыв не стал окончательным только потому, что она никогда у них ничего не просила. На рождество и на пасху они приглашали Майру и Сайласа с детьми погостить на недельку; заполучив их к себе, они засыпали детей подарками и превращали эту неделю в сплошное мучение для Майры; она попадала в паутину противоречий и беспомощно в них барахталась; ожесточаясь против родителей, она испытывала к ним в то же время глубокую жалость.

В этом году Майра решила остаться на рождество в Клемингтоне и написала матери, что Брайан болен и поэтому они не придут. Ей ответили, что из местных газет они уже знают о болезни Брайана, упрекнули в том, что она рисковала жизнью сына ради коммунистических убеждений мужа, которые она, повидимому, разделяет, и выразили надежду, что её детям не придётся всю жизнь расплачиваться за грехи родителей.

Майра не ответила на это письмо. Даже и тогда она не захотела окончательно порвать с отцом и матерью, но если бы и захотела, Сайлас объяснил бы ей, как он это делал не раз, что взгляды её родителей — результат определённого порядка вещей, а не его первопричина; однако она и в самом деле не знала, что ответить на их письмо. Где-то она прочла об одной женщине из Калифорнии, у которой отняли ребёнка за то, что она якобы сочувствовала коммунистам, и один только намёк матери на то, что она, Майра, недостойна воспитывать своих детей, наполнил её сердце немым ужасом.

Но всё это теперь отошло в прошлое; в конце концов её отец и мать всё-таки были её отцом и матерью и обратиться к ним с просьбой ей мешала только дурацкая гордыня. И когда она услышала в трубке голос матери, на сердце у неё сразу стало покойнее. Мать была явно обрадована её звонком; она извинилась, что не позвонила сама и не справилась о здоровье Брайана.

— Ну, он сейчас себя хорошо чувствует, — сказала ей Майра. — Мы, правда, здорово за него переволновались, но теперь всё обошлось.

— Я так давно не видела внуков, — посетовала мать.

— Обидно, ты права. Мы действительно видимся, только когда у нас неприятности...

— Что ж, для того, видно, мы, матери, и существуем...

— Боюсь, что да. Послушай, мама, не пугайся, к сожалению, я должна тебя огорчить... Ничего не поделаешь... Дело в том, что Сайлас арестован, это — последнее его допроса в сенате. Сайлас арестован, сейчас он в тюрьме; нам нужно внести залог, чтобы его выпустили. Понимаешь, необходимо! Вот почему я к тебе и обращаюсь. Нам нужно для залога пять тысяч долларов. Пожалуйста, дай нам их взаймы.

Молчание было куда более долгим, чем Майра ожидала. В душе у неё самой теперь, когда она всё высказала, был холод и отчуждение. Мать казалась ей человеком с другой планеты. Майра медленно и до тошно сосчитала до десяти, а потом заподозрила, что их разъединили, но голос матери послышался снова:

— Какая глупая шутка, Майра.

— Я совсем не собираюсь шутить. Сайлас в тюрьме, и нам сегодня же вечером нужны пять тысяч долларов.

— Но почему? Зачем?

— Чтобы внести залог! Неужели ты не понимаешь?

— Почему ты на меня кричишь? Я и так расстроена. Мне нездоровится, а теперь... только этого не доставало... За что его посадили?

— За то, что, по их словам, он солгал сенаторам, — это называется лжесвидетельством.

— Он на самом деле солгал?

— Нет, не солгал. Мама, не могу же я тебе объяснять по телефону! Мне нужны деньги. Ты мне их дашь?

— А я думаю, что тебе полагается мне объяснить, хотя бы и по телефону! Я думаю, что ты обязана объяснить. Я никогда ни во что не вмешивалась, но ты не имеешь права быть замужем за коммунистом...

— Мама, Сайлас — не коммунист. Пойми, ведь мне тоже не сладко. Неужели ты не можешь отложить этот разговор до нашей встречи? Мне нужны деньги.

— Я не могу тебе сразу сказать, дам я их или нет. Пять тысяч долларов — большие деньги.

— Ведь я прошу их взаймы, мама. С тех пор, как я вышла замуж за Сайласа, я никогда ни о чём не просила ни тебя, ни папу...

— Вот и напрасно!.. Ты ведь знаешь, что мы тебе ни в чём не отказываем.

— Знаю. Значит, ты дашь мне деньги?

— Дорогая, у меня нет денег! Деньги у твоего отца, а ты знаешь, как он относится к Сайласу.

— Но ведь деньги нужны мне и детям...

— Поверь мне, Майра: нет дыма без огня. Ты ведь не станешь меня убеждать, что людей сажают в тюрьму просто так, за здорово живёшь, только потому, что этого кому-то хочется! Тут дело серьёзное. А в газетах напишут, что его посадили, как ты думаешь?

— Какая разница?

— Не понимаю, откуда в тебе такая чёрствость! «Какая разница!» Ты себе не представляешь, сколько мы пережили с тех пор, как началась эта история с Марком Твенем, а потом с вызовом в Вашингтон... У отца теперь спрашивают, платит ли он членские взносы в коммунистическую партию! Конечно, его только дразнят, но дела-то ведь страдают! Кое-кто из знакомых к нам больше и носа не кажет. Прямо не знаю, чем всё это кончится! А теперь вот твой муж угодил в тюрьму... Только этого не хватало! И как тебе не стыдно просить отца выбрасывать на ветер пять тысяч долларов из-за человека, которого посадили в тюрьму?

— Сайлас — не преступник, и отец получит свои деньги обратно. Побойся бога, мама, неужели ты мне их не дашь?

— Зря ты разговариваешь со мной в таком тоне, Майра. Я этого не заслужила.

— Извини меня. Но почему ты не отвечаешь толком? Ведь нам так нужны деньги.

— Я же тебе объясняю, что я просто не решаюсь обратиться за ними к отцу. Если бы у меня были свои деньги, я бы охотно тебе их дала, но я заранее знаю, что скажет отец. Особенно когда он прочтёт газеты. Может быть, через недельку-другую, когда шум немножко уляжется и у него отойдёт от сердца... Но сейчас, Майра...

— Другими словами, вы мне не дадите денег?

— Какая ты эгоистка, Майра! Я ведь всё время тебе объясняю, что не могу их дать. Потерпи немножко...

Положив трубку, Майра увидела, что рядом стоит Джералдайн. Девочка спросила:

— Ты говорила с бабушкой, мама?

— Да.

— А-а... — протянула Джералдайн и не произнесла больше ни слова.

Майра попросила её посидеть с Брайаном. Она знала, что сейчас заплачет, и ей захотелось поплакать в одиночестве, чтобы никто не видел. Но, когда она вошла в кабинет Сайласа, всякая охота плакать у неё пропала, и она сидела, погружённая в свои мысли, уставившись на его книги. Гнев её прошёл. От злости, как выяснилось, человек только слабеет. Злость бесплодна.

Майра поднялась наверх; Брайан уже улёгся в постель, ему сегодня в первый раз разрешили походить по комнате; Майра прервала рассказ, который ему читала на ночь Джералдайн, поцеловала сына и пожелала ему спокойной ночи; она подумала о том, как удивительно вели себя все

это время девочки — и Джерри и Сьюзи; господи, что бы с ней стало, если бы их не было! Она прошла в спальню, присела к туалетному столику и посмотрела на себя в зеркало. Женщины по-разному разглядывают своё лицо: Майра глядела на него требовательно, словно оно принадлежало не ей, а кому-то другому, так как она не смотрела на себя уже несколько недель, — с любопытством и с некоторым раздражением. Она принадлежала к числу тех счастливиц, которые очень рано понимают, что они красивы, и никогда не мучатся сомнением насчёт того, как их воспринимают окружающие; поэтому морщинки вокруг рта, запавшие щёки, синяки под глазами и обилие седых волос потрясли её больше, чем она могла себе представить. Майра попыталась уговорить себя, что ей всё равно, но у неё ничего не вышло; потом ей захотелось припомнить, когда же она в последний раз была в парикмахерской. Причесав волосы, она напудрилась, подкрасила губы и сошла вниз — послышался столь ненавистный Сайласу перезвон колокольчиков.

На пороге, улыбаясь, стояли Айк Амстердам и Алек Брэди; не успев войти, оба принялись оживлённо болтать; Амстердам рассказал старый анекдот насчёт арестанта, который никак не хотел поверить, что его посадили, а Брэди, не теряя времени, выложил Майре две тысячи двести долларов наличными и облигациями — всё, что они пока успели собрать. Он разложил деньги на обеденном столе и принялся объяснять ей:

— По пятисотдолларовой облигации от меня и Айка. Простите, что так мало, но ведь другие обиделись бы, если бы мы их обошли. В случае необходимости я могу достать ещё пятьсот долларов наличными. Третья облигация — Генри Миллера, с физического факультета, не помню, знаете ли вы его. Он был полгода в Лос-Аламосе и хочет хоть как-то загладить своё отсутствие. Двести долларов от Мо Гендерсона и сто от Джоэла Сивера — тоже для очистки совести. Триста от Федермена и сто от сотрудников «Фулкрум», — как вам это понравится? Ларри Кэплин с женой придут попозже и притащат всё, что им удастся собрать или перехватить займы. Спенсер утром съездит в банк. Ленокс и Ал Морзе проводят по диску среди студентов и надеются собрать тысячу долларов ещё сегодня к полуночи. Даже если Сайласу и придётся переночевать в тюрьме, мы его вызволим завтра утром. Ну, как, отлегло от сердца?

— Отлегло от сердца... — повторила Майра. — Отлегло ли у меня от сердца? Господи... о господи...

Вот теперь она заплакала; села у стола, опустила лицо на руки и заплакала так горестно, так безутешно, словно у неё разрывалось сердце, уже ни о чём не думая, ни о чём не заботясь, просто так, чтобы выплакать всё, что у неё наболело...

\* \* \*

К обеду пришёл Мак-Алистер и совсем завоевал сердце Брайана, изображая диковинную птицу, которая смешно высовывает голову и хлопает крыльями; он привёл в восхищение девочек, рассказав им о своей первой любви, когда ему было двенадцать лет и он жил в городе Эмпория, штат Канзас; он покорила всю семью воспоминаниями своей долгой, богатой и красочной жизни.

— Тюрьма, — сказал он Майре, — страшна, куда вы в ней ни разу не сидели. Правда, Сайлас?

Ночь, проведённая на жёсткой койке в окружной тюрьме, не произвела на Сайласа большого впечатления. К тому же ему не очень хотелось распространяться на эту тему в присутствии детей. Но Мак-Алистер поспешил его успокоить.

— Не бойтесь. От них всё равно ничего не скрощь. Говорите прямо, и они будут воспринимать такие вещи куда проще.

Может, он и прав. Мак-Алистер рассказал им, как в бытность свою судьёй он всегда старался не доводить обвиняемого до тюрьмы. Он заставлял пьяных шофёров писать на грифельной доске по десять тысяч раз: «Я больше не буду ездить в пьяном виде». Он целыми ночами придумывал способы, как наказать человека и в то же время научить его уму-разуму.

— И к чему это привело? Убейте меня, сам не пойму, — признался он. — Когда что-нибудь гниёт, порча проникает до самого низа, а потом и до самого верха. Где она начинается? Возьмите, к примеру, полицейского уполномоченного Фредди Джонсона. По природе своей он вполне порядочный человек. У него есть сердце, и он ещё не забыл, что такое жалость к людям. Но Фредди боится, что его выгонят, и поэтому позволяет какому-то сопляку учить его, как надо судить людей...

Когда дети ушли спать, он остался посидеть с Майрой и Сайласом, потягивая виски и разговаривая о будущем процессе.

— Раньше всего нам нужно решить, — сказал он, — хотите ли вы, чтобы я был вашим адвокатом?

— Разве вопрос ещё не решён? — удивилась Майра. — После всего, что вы сделали...

— Я ровно ничего не сделал, — прервал он её. — Порохом ещё даже не пахло. А впереди много тяжёлого: процесс в окружном федеральном суде, кассация и, если мы проиграем, попытка пробиться в Верховный суд... Может статься, конечно, что мы выиграем в первой инстанции, но я лично в этом сомневаюсь. Сайлас рискует немалым — целымидесятью годами жизни, если они дадут ему максимальный срок. Такими вещами не шутят.

— Я всё ещё не понимаю, почему они избрали своей жертвой именно Сайласа?

— А почему бы и нет? Разве то, что с ним произошло, не типично для сотен других? Думать стало опасно, и один из самых опасных источников мысли — школа. Поэтому надо установить контроль за школой, а следовательно, за преподавателями и за тем, что они преподают. Правда, если пригрозить как следует, большинство учителей будет строго держаться в рамках дозволенного. Но всегда найдутся такие, как вы, Сайлас, чтобы подsunуть им палку в колёса и вынудить их на чрезвычайные меры. Им покуда что невыгодны всякие там излишества — вроде концентрационных лагерей и погромов, — уж больно дурные это вызывает ассоциации. Они желают проводить свою линию вежливо, аккуратно, со всей видимостью порядка и законности, чтобы иметь возможность сказать: «Глядите, как мы оберегаем вас от опасных элементов, желающих подорвать наш строй!» И почему бы им не остановить свой выбор на Сайласе Тимбермене? Разве он не посмеялся над детищем Кэбота — гражданской обороной — и не оставил всех нас беззащитными перед лицом русской опасности? Разве он не проповедовал коммунистической доктрины? Разве он не солгал?

— Нет, не солгал, — возмутилась Майра.

— Докажите.

— Мы докажем присяжным, а присяжные — это двенадцать самых обыкновенных мужчин и женщин. Как же они могут не поверить Сайласу?

— Во-первых, они отнюдь не самые обыкновенные мужчины и женщины, и, во-вторых, это не первый политический процесс в Америке. У нас их было уже немало, и единственный суд присяжных, который однажды решился запротестовать и вынести оправдательный приговор, подвергся таким оскорблениям и травле, что несчастные присяжные пожалели о том, что они родились на свет божий. Не думайте, что я не

собираюсь драться до победного конца, если вы возьмёте меня защитником, но не надо питать зряшных иллюзий. В наши дни честный присяжный должен быть героем, чтобы не бояться травли ФБР, запугивания и угроз, а наш средний присяжный совсем не герой.

— Что касается того, кто меня будет защищать, — сказал Сайлас, — вопрос этот решён, если, конечно, вы не возражаете. Я не знаю лучшего адвоката.

— Я знаю адвокатов и получше, но они стоят дорого. Не торопитесь решать, Сайлас. Кто я такой? Человек битый, в прошлом занимался политикой, но вынужден был покаяться... когда-то, в молодости, потянулся к свету, но только погубил свою карьеру, а теперь выпиваю больше, чем положено, и чудом держусь в «Ассоциации адвокатов». Конечно, вы можете найти лучшего защитника!

— А разве что-нибудь от этого изменится? — полюбопытствовала Майра.

— Изменится? Не стану отрицать, может, изменится, а может, и нет. Вы истратите кучу денег, но в конце концов результат будет один и тот же, а может, и хуже. Я часто злюсь на себя, но я совсем не такой уж бездарный юрист. Бывают и бездарнее. Мне просто хочется быть объективным. В Нью-Йорке я знавал одного адвоката — совершенно замечательный парень; он вёл столько дел, вроде вашего, что их и не счесть, и любил рассказывать про трёх профсоюзных лидеров, которых обвинили в подрекательстве к мятежу. Первый из них нанял знаменитого адвоката, но его всё равно признали виновным и осудили на пять лет. Второй пригласил моего приятеля, профсоюзного адвоката, и его тоже признали виновным и тоже осудили на пять лет. Третий послал всех к чёрту и защищал себя сам; однако и его признали виновным и осудили на пять лет. Видите, как оно получается.

— Лучше уж я буду с вами.

— Ладно. Признаться, вы могли выбрать кого-нибудь и похуже. Ну, а теперь для того, чтобы прояснить обстановку, я задам вам несколько вопросов. Вы коммунист?

— Нет.

— Были когда-нибудь коммунистом?

— Нет.

— Подумывали об этом, были с ними связаны? Состояли в Коммунистическом союзе молодёжи? Вступали в какую-нибудь близкую им организацию?

— Конечно, подумывал, — кто же об этом не думал в тридцатые годы? Во время испанской войны я делал пожертвования — какую-то ерунду, потому что в те годы был беден, как церковная мышь. Два доллара туда, пять долларов сюда... Если тогда я и знал коммунистов, то потом потерял их из виду. Время от времени я подписывал разные петиции — сейчас уже не помню, какие и когда именно. Знавал одного коммуниста в армии. Очень приличный парень, мы с ним часто спорили. Отец знал коммунистов у себя в Миннесоте, рабочих на лесопилке. Главным образом финнов. Отцу они нравились. Помню, он говорил, что все финны в Миннесоте — коммунисты; поэтому, наверно, без них так плохо живётся в Финляндии. Но сам он почему-то не стал коммунистом. На его месте я бы скорее всего стал, но он не любил политики. Здесь в последнее время... нет, пожалуй, здесь я не знаю никаких коммунистов. Сейчас человеку не пристало гадать, кто коммунист, а кто — нет. Может, я и знаю кое-кого из них, но, по-моему, это не имеет значения, да к тому же у меня нет полной уверенности.

— Отлично. Теперь другой вопрос...



Они проговорили до полуночи, а потом Мак-Алистер встал, вооружённый целой кипой заметок. К этому времени Сайлас окончательно утвердился в правильности своего решения и был рад, что его принял, — Мак-Алистер ему нравился даже больше, чем он предполагал.

### Глава девятая

#### СУД

Понедельник, 27 января 1951 года.

Сидя на одной из кроватей, Мак-Алистер следил за Сайласом, кружившим по узенькой комнате. «Вот и настали для него трудные времена, — думал Мак-Алистер. — Никогда уже ему не будет тяжелее, чем нынче». А Сайлас мысленно спрашивал его: «Почему ты не говоришь мне, чтобы я лёг спать? Почему ты не советуешь мне сходить в кино? Какого дьявола ты сидишь тут и смотришь на меня?»

Комната навсегда запомнится ему: целую вечность дожидалась она таких постояльцев, как они двое! У грязножёлтых стен прилепились парные кровати, два комода, кресло, два жёстких стула и две подставки для чемоданов. Умывальник сверкал чистотой, а возле него предупредительно висела картонная коробочка для бритвенных лезвий. Была тут и мягкая бумага для чистки обуви. Администрация предусмотрела все нужды своих жильцов.

— Давайте повторим снова, — предложил Сайлас.

— Не надо. Разве можно зубрить за час до экзамена! Мы сделали всё, что могли, а то и больше. Вы играете в карты?

Сайлас не играл в карты с самой войны и даже улыбнулся предложению Мак-Алистера. Тот подумал: «Так-то лучше», и сказал вслух:

— Давайте сыграем? Два цента партия и пять центов за десятку бубен. Идёт?

— Идёт, — согласился Сайлас.

Они поиграли с полчаса, а потом Сайласу надоело; он уже не мог больше следить за несложной механикой этой самой несложной из карточных игр.

— Не по себе? — поймал его Мак-Алистер.

Сайлас бросил карты и спросил, сколько же будет длиться процесс; Мак-Алистер почему-то постеснялся напомнить ему, что он спрашивает об этом уже в двадцатый раз.

— Трудно сказать. Может быть, с недельку, а может, на несколько дней больше или меньше. Завтра заслушают ходатайства сторон и начнут отбирать присяжных. В тот понедельник или во вторник мы, надо полагать, разделаемся со всей этой историей... Однако кто его знает? Насколько нам известно, у них есть только один настоящий свидетель: Боб Аллен. А если они даже вызовут Дэви Кэнна, чтобы тот подкрепил показания Аллена, всё равно времени много на это не потребуется. Ну их всех к чёрту, Сайлас! Давайте больше не думать об этом. Как насчёт того, чтобы прогуляться и выпить где-нибудь чашку кофе?

Это, конечно, было лучше, чем сидеть в гостинице. Надев пальто и шляпы, они вышли в студёную, ветреную январскую ночь. Подняв воротники повыше, они долго мерили шагами тёмные, тускло освещённые улицы. До полуночи ещё оставалось часа полтора, однако широкие проспекты были пустынно, а по сторонам призрачно, как склепы, белели длинные правительственные здания.

— Немой и тоскливый город ночью, — заметил Мак-Алистер. — Когда закрываются учреждения, кажется, и жизнь отсюда тоже уходит.

Люди здесь не живут. И всё же в Вашингтоне совершается больше преступлений, чем в любом другом американском городе. Неуютный город. Мне здесь не по себе.

— А ведь он красив.

— Не уверен. От страха красота вянет, а тут полно страха. Мне казалось, что нет ничего величественнее памятника Линкольну, а теперь я не убеждён даже и в этом. Помнится, Ганди когда-то сказал, что Тадж-Махал построен из слёз индийского народа; с тех пор я не могу смотреть на его изображение, не вспоминая об этих словах, и храм мне больше не кажется красивым. Почти в каждом городе вы чувствуете что-то ему одному свойственное, неповторимое, его особое качество; атмосферу, настроение, — называйте, как хотите. А что вы чувствуете здесь?

— Не пойму, — сказал Сайлас.

— Вот и я тоже. Может быть, через недельку мы и сможем ответить на этот вопрос. Странная вещь, Сайлас, но мне с вами хорошо. Я рад, что я с вами, рад, что вас знаю. Мне это много дало. Не говоря уж о другом, я покуда что бросил пить, — во всяком случае, на время процесса. А потом... дьявол его знает, что будет потом... пока что мне есть из-за чего держаться. Знаете, когда вы мне стали нравиться, Сайлас?

Сайласу было неловко, что Мак-Алистер говорит ему прямо в глаза, что он, Сайлас, ему нравится. Он слишком долго жил в такой среде, где у мужчин не принято выражать свои чувства друг к другу. Не зная, что сказать, он просто помотал головой.

— Когда вас прорвало, — продолжал Мак-Алистер. — Помните, вы не хотели на меня смотреть, а я будто слышал, как вы думаете: «Я вам покажу, сукины дети, даже если сломаю себе шею, всё равно я вам покажу!» ...Мои глаза открылись, а может, не только глаза, но и сердце. Сколько я перевидал людей, которые ползали перед этими проклятыми комиссиями на коленях, ползали и скулили, что они ненавидят красных, что они никогда не были красными и даже не помышляли ими быть, или, наоборот, — как они скорбят, что когда-то ими были, давно, в молодости, когда у них ещё молоко на губах не обсохло, и, пожалуйста, простите нас за то, что мы осмеливались думать, мечтать или хотя бы дышать, простите нас за то, что нам когда-то хотелось совершить приличный поступок, быть порядочными людьми, думать, как порядочные люди; вы же видите, как мы ненавидим красных, больше всех на свете... И тому подобное, до тошноты. И вот мне попадается тихий университетский профессор, тощий, длиннолицый и длинноносый тип в очках; у него такой вид, словно он тотчас пустится наутёк, стоит где-нибудь вдалеке залаять собаке, а он, видите ли, даёт этим сенаторам сдачи открыто, прямо в физиономию и без всяких обиняков. Ох, господи иусе, до чего же это было здорово! И может, нам простятся наши грехи, если на каждую тысячу подлецов и трусов мы выставим хотя бы одного смелого и честного человека. Так мне по крайней мере тогда казалось.

— Спасибо, — с трудом выговорил Сайлас.

Сердце его было переполнено горячей признательностью, но он не знал таких слов, которые выразили бы то, что у него было на сердце.

— А вот и он, — сказал Мак-Алистер, показывая на низкое здание по другую сторону улицы, неясное и бесформенное в ночной тьме; из окружавшей его мглы выступали лишь громадные каменные ступени — отличительный признак всякого правительственного здания в Вашингтоне.

— Суд?

— Окружной федеральный суд, Сайлас. Вы видите его впервые?

— Да, кажется, впервые.

Они стояли в ночной мгле и смотрели на тёмное, мрачное здание.

\* \* \*

Сайлас понял, что ничто не может дать точного представления о действительности, кроме неё самой. Как и все мыслящие люди, он умел предвидеть события и заранее переживать их в своём воображении; однако все его домыслы ничуть не были похожи на то, как на самом деле происходит судебный процесс. С давних пор он рисовал себе зал суда, как некую обитель, исполненную сурового величия, где царит гробовая тишина, где весы правосудия держит мудрая и нелицеприятная Немезида; однако жизнь резко и грубо разрушила его иллюзии. Окружной федеральный суд показался ему одним из самых людных мест в Вашингтоне, помещением, слишком тесным для того, что ему полагалось вместить; оно кишело людьми; в его коридорах толпились зеваки, туристы, газетчики, присяжные, агенты ФБР, полицейские в форме и полицейские в штатском, адвокаты, их клиенты, поручители — словом, пёстрый рой деловито снующих людей, чью повседневную суету едва ли могло нарушить появление какого-то учителя из Клемингтона.

Сайлас занял одно из мест, отведённых для публики в зале, где заседал судья Алвин Калент, и стал присматриваться к тому, как отбирают присяжных. Даже и теперь ничего не происходило так, как он ожидал; его представления — плод полузабытых голливудских фильмов и романов, прочитанных за последние двадцать лет, — никак не совпадали с действительностью. Зал суда совсем недавно выкрасили в светлозелёную краску; сквозь щели жалюзи процеживались струйки солнечного света; судья покачивался на большом вертящемся стуле и непрерывно зевал. Это был дородный южанин с несоразмерно маленьким носом на круглом, мясистом лице, с голосом, сладким как мёд и с отрешённым спокойствием жреца. В зал заглядывали репортёры, но первоначальная стадия процесса их мало занимала, и они тотчас же исчезали вновь. У обеих дверей зала, развалившись, сидели два коренастых скучающих пристава. Секретарь суда исподтишка ковырял в носу, разглядывая потолок, а тощий, похожий на заморённую гончую стенограф сидел с карандашом наготове. Мак-Алистер уже давно перешёпывался с государственным прокурором — высоким мужчиной лет под тридцать, по имени Гораций Уорд, чьё лицо было лишено всякого выражения; коротко остриженные волосы придавали ему сходство с футболистом, только что кончившим тренировку. Пошептавшись друг с другом, они с Мак-Алистером стали шёпотом беседовать с судьёй.

Вся надежда была на присяжных — простые, обыкновенные люди, они рассмотрят обстоятельства дела и признают Сайласа либо виновным, либо невиновным; однако Сайлас ничего не мог прочесть и на их лицах; они сидели, словно сговорившись ни единым жестом, ни единым взглядом не выдавать своих мыслей, не открывать того, что творилось в их бессмертной душе. Все они были прилично одетые люди и подчёркнуто держались особняком; как мужчины, так и женщины не были ни очень молоды, ни слишком стары — все они были в возрасте от тридцати до пятидесяти лет, — и примерно каждый пятый из них был негр. Можно было подумать, что их специально обучили, как избегать взгляда Сайласа, как скрыть от него даже тень надежды, отнять у него даже мечту о справедливости. Но, верно, всё это ему только почудилось, потому что когда он спросил у Мак-Алистера, что тот думает о составе присяжных, адвокат лишь пожал плечами.

— Трудно сказать заранее. Единственное, что бросается в глаза, — это, что все они, за исключением четырёх человек, государственные служащие, а остальные четверо — повидимому, родственники государственных служащих.

— А государство выступает в роли обвинителя...

— Дорогой мой, государство — это и судья и приставы у дверей. Не забудьте, что весь город — одна фирма, а у неё один хозяин — государство. Старая истина! Весь вопрос в том, что именно представляет собой государство, с которым вам придётся иметь дело, и какое вы сами в нём занимаете место. Кстати, не занять ли вам место рядом со мной, чтобы мы могли предаться изучению человеческой природы?

В голове у Сайласа назойливо вертелись слова детской песенки: «Ах, я и повар, и капитан, и помощник на бриге «Нэнси», и пьяный боцман, и гардемарин, и вся команда гички вместе...»

— Ваш род занятий? — спросил Мак-Алистер.

— Наборщик.

— Где вы работаете?

— В государственной типографии.

— Сколько времени вы там работаете?

— Восемнадцать лет.

— Вы женаты?

— Да.

— А ваша жена работает?

— Да.

— Не будете ли вы любезны сказать мне, где работает ваша жена и в качестве кого?

— Она работает в министерстве торговли, делопроизводителем.

— Есть ли у вас ещё родственники на государственной службе?

— Да, сэр. Две дочери — одна из них работает в министерстве торговли, а другая — в государственном департаменте. Сестра работает на переплётной фабрике при государственной типографии. Вас не интересуют, надеюсь, мои дальние родственники?

— Нет, благодарю вас, — вздохнул Мак-Алистер и снова сел рядом с Сайласом. Нагнувшись, он шепнул ему: — Вот так-то, друг мой. У нас осталось в запасе всего четыре отвода, но вся наша возня не стоит и выеденного яйца.

— Этот присяжный, — невесело улыбнулся Сайлас, — не только обслуживает государство, он и есть само государство.

— Хотите, чтобы я вывел его из игры?

— Мне почему-то хочется добраться вон до того негра — видите, большого, толстого негра?

— Давайте я снова поговорю с судьёй. Всё-таки какое-то развлечение!

Мак-Алистер подошёл к судейскому столу, и прокурор немедленно последовал за ним.

— Вы что-нибудь хотели мне сказать, мистер Мак-Алистер? — спросил судья очень терпеливо.

Он был необычайно вежлив. Мак-Алистеру никогда не встречался такой вежливый судья.

— Мне хотелось бы уточнить вопрос о государственных служащих, ваша честь. Весь список присяжных сплошь состоит из государственных служащих.

— Не совсем так, мистер Мак-Алистер.

— Пока что мы не знаем ни одного исключения. А нам вряд ли можно рассчитывать на непредвзятость людей, которые находятся на службе у обвинения.

— Помилуйте, Мак-Алистер, вы несправедливы: эти люди не работают у мистера Уорда. Они находятся на службе у правительства Соединённых Штатов и, я уверен, не меньше пекутся о правосудии, чем если

бы они служили в соседней бакалейной лавке. Уж не намекаете ли вы на то, что мы будем судить несправедливо?

— Ни в коей мере, ваша честь.

— А каково ваше мнение, мистер Уорд?

— Я категорически возражаю, ваша честь, против самого предположения, что люди не могут вынести справедливого приговора только потому, что они состоят на государственной службе. Надеюсь, мистер Мак-Алистер понимает, что людям, допущенным к государственной службе, оказано величайшее доверие. От них требуется безупречная честность!

— От них требуется прежде всего, чтобы они проживали в округе Колумбия, — сказал Мак-Алистер.

— Что вы хотите этим сказать, мистер Мак-Алистер?

— Я хочу сказать, ваша честь, что меня смущает совсем не вопрос об их честности, а их положение государственных служащих, которые получают средства к существованию от государства.

— Другими словами, вы намекаете на то, что в случае вынесения оправдательного приговора против присяжных будут применены санкции? Я нахожу такое предположение бестактным, в высшей степени бестактным, и я поражён, что вы решились его высказать. Ваш клиент обвиняется в том, что он совершил преступление в данном округе; его будут судить в данном округе, и приговор ему вынесут такие же люди, как и он сам, проживающие в данном округе.

— Да, ваша честь.

Опрос присяжных продолжался. Вызвали негра, о котором говорил Сайлас. Прокурор спросил его:

— Где вы работаете?

— У меня собственное предприятие.

— И что же это за предприятие?

Негр холодно оглядел мистера Уорда с головы до ног и произнёс:

— Бюро похоронных процессий.

— Заявляю отвод, — сухо сказал мистер Уорд.

\* \* \*

— В чём обвиняется подсудимый Сайлас Тимбермен? — обратился к присяжным прокурор, решительно заняв своё место прямо против их скамьи; лицо его было торжественно, а чело пересекали морщины, свидетельствовавшие о важности стоявшей перед ним задачи. — Он обвиняется в лжесвидетельстве, в намеренном извращении показаний, данных под присягой. Разрешите мне восстановить обстоятельства преступления и перечислить факты, изложенные в обвинительном заключении. Четырнадцатого ноября прошлого года в здании сената, в городе Вашингтоне, округ Колумбия, происходило заседание сенатской комиссии по внутренним расходам. Не сомневаюсь, что вы знаете, какой давнишней и, я бы сказал, исконной привилегией наших законодательных органов является право вести расследования. Каждая из палат конгресса подразделена на ряд комиссий. Все эти комиссии наблюдают за различными областями жизни нашего государства, с тем чтобы собранная ими информация могла служить основой для нового законодательства. Следственные функции наших комиссий играют такую важную роль в жизни законодательных органов, что без них не могло бы существовать и само наше государство.

Заседание, о котором идёт речь, было созвано для того, чтобы выяснить, каким образом некоторые наши университеты, находящиеся на дотации частных лиц, расходуют государственные субсидии. Расследование имело своей целью выяснить факты и в дальнейшем либо утвердить существующие законы и ассигнования, либо пересмотреть как законо-

положения, так и ассигнования. В процессе следствия в комиссию в качестве свидетеля, был вызван и обвиняемый Сайлас Тимбермен; ему было предложено дать показания по ряду интересующих комиссию вопросов.

В обвинительном заключении сказано, что ответы свидетеля Тимбермена дважды вступили в прямое противоречие с показаниями последующего свидетеля. Когда этот факт был доведён до сведения присяжных, они постановили возбудить против обвиняемого Тимбермена дело о лжесвидетельстве.

Разрешите мне изложить, в чём выразилось двукратное лжесвидетельство обвиняемого, для того чтобы в дальнейшем вы могли уяснить себе свидетельские показания на данном процессе. В первом случае сенатор Брэнниген задал вопрос, который я цитирую по протоколу: «Являетесь ли вы, профессор Тимбермен, членом коммунистической партии», на что обвиняемый ответил: «Я не являюсь членом коммунистической партии, сенатор. Я им не являюсь и никогда им не был».

На этом лжесвидетельстве основывается первый пункт обвинительного заключения. Несколько позже, по ходу заседания, обвиняемому был снова задан вопрос сенатором Брэннигеном, и я снова цитирую протокол: «Посещаете ли вы в Клемингтоне коммунистические собрания, профессор Тимбермен?» И в ответ на этот вопрос мистер Тимбермен снова ответил под присягой, как и в первый раз: «Я не посещаю коммунистических собраний где бы то ни было».

Вот те два факта лжесвидетельства, на которые ссылается обвинительное заключение. Конечно, само обвинительное заключение ещё не является доказательством вины. Обязанность доказать вину подсудимого возложена на государственное обвинение, и я как представитель государственного обвинения постараюсь обосновать тот факт, что оба пункта обвинительного заключения доказуемы. Вот в чём состоит наша задача, и мы намерены её решить. Но, прежде чем кончить мою вступительную речь, я хотел бы вкратце остановиться на вопросе о лжесвидетельстве как таковом.

Дело о лжесвидетельстве, — продолжал мистер Уорд, — отнюдь не ограничивается вопросом о том, кто солгал; тяжкое наказание, которое предусмотрено за лжесвидетельство нашим законом, казалось бы не только несправедливым, но и жестоким, если бы решение этого вопроса было единственной целью судебного разбирательства. Однако именно потому, что государство наше руководствуется не мстью, а скорее признанием тех, кем оно управляет, и поэтому обладает законодательством, основанным на тщательном расследовании фактов и обстоятельств, а также юриспруденцией со строго разработанным судопроизводством, вопрос о лжесвидетельстве приобретает столь важное значение.

Никакая государственная комиссия не может устанавливать факты, если ей нагло противодействует лжец, сознательно вводящий её в заблуждение. И никакой суд не может действовать без того, чтобы в руках его не было надёжного оружия установления истины. Истина — основа государства, объединяющего свободных людей свободного мира, и наше государство может процветать, только блюдя истину.

Мы попытаемся доказать, что обвиняемый по данному делу сознательно и преднамеренно совершил лжесвидетельство. Мы докажем, что последствия его преступления были ему заранее известны и что он, тем не менее, совершил своё преступление. Мы докажем, что это было рассчитано, с одной стороны, на то, чтобы опорочить основную и самую драгоценную функцию нашего государства, а с другой — помочь организации, обвиняемой нашим законом в том, что она злоумышляет насильственное свержение государственной власти. Мы докажем, что лжесвидетельство

было совершенно, чтобы подорвать работу следственной комиссии Сената Соединённых Штатов...

«Может ли он всё это доказать? — думал Сайлас. — Может ли он изобразить дело таким образом? И что общего между всеми его разглашательствами и тем, что в действительности произошло на заседании комиссии?»

— Во вступительной речи он волен говорить всё, что ему заблагорассудится, — шепнул ему Мак-Алистер. — Я мог бы возражать, но это не поможет. Если мы его побьём, то только на допросе свидетелей. А пока пусть себе ораторствует...

Беда была не в том, что Уорд был хорошим оратором, а в том, что он излагал факты вполне подготовленной аудитории, ибо всё, что он говорил, газеты вбивали в головы своим читателям уже много лет подряд. Сайлас чуть было сам не внял его доводам, и, говоря чистосердечно, он совсем не был убеждён в том, что ещё шесть месяцев назад, прочтя обо всём этом в газетах, он бы и сам не поверил если и не во всё, то хотя бы в большую часть того, что там было написано. Если принять предпосылку, всё остальное приложится само собой; если поверить в определённую предпосылку, всё остальное покажется разумным, логичным, обоснованным...

Он стал писать Майре письмо, писать урывками отчёт о том, что происходило. «Труднее всего, — писал он, — примириться с мыслью, что это происходит на самом деле, что тебя судят в уголовном суде Соединённых Штатов. А когда ты примирился с самым фактом — а со мной, кажется, это уже произошло, — тебя совершенно захватывает сложная, чёткая процедура, нечто вроде религиозного ритуала, установленного давным-давно; адвокаты её изучают так же тщательно, как когда-то другой ритуал изучали жрецы. Но для того, чтобы следить за процедурой, мне всё время надо подавлять в себе желание крикнуть, что присутствие моё здесь смехотворно, — ведь я не сделал ничего дурного, и мы только зря тратим время и деньги нашего народа. И тут во мне просыпается ребёнок: мне кажется, что, если я закричу очень громко, очень настойчиво, мне поверят. Вот так я и живу. Почему мы с таким трудом взрослеем? Потому ли, что нас нежили, оберегали от жизни, прятали от неё? Боже, чему только я теперь не научился!»

Немного погодя он ей написал: «Продолжаю учиться. Возьми, например, Мак-Алистера. Он просто поражает меня, этот толстый маленький человек, который переваливается, словно утка, и выглядит таким невинным младенцем, — конечно же, я его недооценивал! Недооценка, как выяснилось, — один из моих тяжких грехов. Стоит Мак-Алистеру войти в здание суда, и с ним происходит удивительная перемена. Здесь его арена, его поле боя. Глядя на него, мне почему-то вспоминается танцор, хотя в движение тут приходит не тело. А может быть, скорее боксёр? Он уклоняется, парирует, отступает, делает выпад — и вот удар, когда ты меньше всего его ожидаешь! Я начинаю понимать этого человека, а я так плохо знал людей...»

Мак-Алистер был краток в своей вступительной речи.

— Лжесвидетельство, — сказал он, — труднее установить на суде, чем любое другое преступление. Приходится противопоставлять утверждения одного человека словам другого. Мой клиент не виновен в лжесвидетельстве. У него не было ни причин, ни повода лгать, давая свидетельские показания сенатской комиссии Соединённых Штатов. Он сказал правду — прямо и открыто, — и перед нами встаёт вопрос: дозволено ли сегодня у нас, в Соединённых Штатах, говорить правду, будучи уверенным в том, что ты живёшь в обществе, где почитают правду и уважают

правдивого человека, или же ты подлежишь наказанию — вне зависимости от того, правдив ты или нет, — за то, что ты проявил мужество и честность?

Мы собрались сюда не только для того, чтобы рассмотреть дело Сайласа Тимбермена; мы пришли сюда и для того, чтобы исследовать глубочайшие основы американской демократии, чтобы проверить, насколько они надёжны и устойчивы. Потому что, будучи очень несложным, с одной стороны, дело Сайласа Тимбермена представляется мне весьма сложным — с другой. Дело чрезвычайно просто, если подходить к нему с точки зрения действий данного человека, которого здесь судят, — Сайласа Тимбермена; ему задали ряд вопросов, и он ответил на эти вопросы прямо и откровенно. Но дело необычайно сложно, если подумать обо всём, что с ним связано и что под ним подразумевается. И поэтому, господа присяжные заседатели, мне придётся показать вам, что вопрос состоит отнюдь не в том, сказал обвиняемый ложь или правду, а будут ли нам и впредь принадлежать древние и столь дорогие нам свободы — свобода мысли, знания, слова, свобода собраний и союзов. Я собираюсь показать вам это, устранив всякие сомнения в том, что мой клиент не виновен в лжесвидетельстве, ибо он человек честный и самое слово «ложь» с ним несовместимо...

\* \* \*

На второй день процесса прокурор повёл дело так, как предсказывал Мак-Алистер. После того как ходатайство о прекращении дела было отклонено, в качестве свидетеля был вызван судебный исполнитель, вручавший повестки сенатской комиссии; он должен был подтвердить подлинность повестки и то, что она была вручена подсудимому. Затем был вызван Дэви Кэнн, который рассказал о заседании комиссии и заверил подлинность печатного протокола заседания. Мистер Уорд предложил зачитать протокол вслух присяжным. Судья спросил Мак-Алистера, нет ли у него возражений. Мак-Алистер ответил, что у него нет никаких возражений по ведению процесса. Протокол был зачитан с того места, где Сайласа вызывают для дачи показаний, до того места, где его выводят из зала судебные приставы.

После этого Уорд передал свидетеля Мак-Алистеру, который, встав у края скамьи для присяжных, стал свободно и непринуждённо вести допрос Дэви Кэнна.

— Одной из ваших обязанностей в комиссии по внутренним расходам является составление повесток, не так ли, мистер Кэнн?

— Да, в некоторых случаях.

— А в случае с профессором Тимберменом?

— В этом случае да.

— Вы составили ряд повесток на вызов в сенат целой группы профессоров Клемингтонского университета?

— Да.

— И сколько же всего повесток было вручено профессорам Клемингтонского университета?

Мистер Уорд заявил протест, и судья спросил, чем он мотивирует свои возражения.

— Опрос свидетеля ведётся неправильно. Вопрос о других повестках не имеет отношения к свидетельским показаниям мистера Кэнна.

— Цель моего вопроса, — сказал Мак-Алистер, — показать, что все повестки были вручены одновременно, по одному и тому же делу. На заседание комиссии была вызвана в качестве свидетелей целая группа лиц. Поскольку свидетель Кэнн давал показания о заседании комиссии, я могу спрашивать его и о других участниках этого заседания.



— Считаю, что вопрос может быть задан.

— Возражаю, ваша честь. Думаю, что вам не следует давать разрешения. Другие ответчики не имеют касательства к свидетельским показаниям мистера Кэнна по данному делу.

— Принимаю протест обвинения. Мистер Мак-Алистер, — сказал судья очень мягко, — неужели вы не знаете процедуры перекрёстного допроса?

Мак-Алистер в изумлении воззрился на судью. За какие-нибудь полминуты судья сначала отклонил, а затем поддержал один и тот же протест обвинения, откровенно подчинившись настойчивости государственного прокурора. Мак-Алистер перевёл дыхание, провёл языком по пересохшим губам и тихо сказал:

— Вопросов больше нет.

Он вернулся на место, открыл папку и медленно, очень медленно стал листать бумаги. Сайлас его спросил:

— Так всегда бывает?

— Как?

— Что судья подчиняется воле государственного обвинителя?

— Повидимому, всегда, во всяком случае — здесь.

— И вы считаете, что спрашивать Кэнна бесполезно?

— Боюсь, что да, — развёл руками Мак-Алистер. — Мне хотелось привлечь внимание присяжных к Бобу Аллену, но у меня ничего не вышло. Они всё равно выбьют оружие из рук, прежде чем я сумею пустить его в ход. Будем вести игру потихоньку, Сайлас, и напрямик. Они пока ещё не показывают своих козырей, да, пожалуй, им нечего и показывать.

Однако следующий свидетель удивил и Сайласа и Мак-Алистера. На трибуну поднялся Эд Лундфест. Он вступил в зал величаво, размеренной походкой человека, знающего, какая на нём лежит ответственность. Коричневый спортивный костюм, белая рубашка, простой синий галстук и пенсне на чёрном шнурке вокруг шеи, которого Сайлас никогда раньше не видел, придавали ему внушительную осанку. Он занял своё место, будто нехотя дал присягу и начал отвечать на предварительные вопросы Уорда. Потом дело коснулось гражданской обороны в Клемингтоне, и тут-то прокурор с помощью Лундфеста, который отвечал на наводящие вопросы по виду неохотно, а по существу с полной готовностью, стал стряпать обвинение в измене родине если не действиями, то уж во всяком случае помыслами. Мак-Алистер запротестовал, мотивируя свои возражения тем, что вопросы прокурора не имеют отношения к делу.

-- Я покажу, что они имеют непосредственное отношение к делу, — сказал Уорд.

И судья отвёл протест защитника. Уорд продолжал задавать вопросы, Мак-Алистер заявлял протест за протестом, а судья отклонял их снова и снова. Сайлас вдруг заметил, что он судорожно вцепился в руку Мак-Алистера; маленький адвокат прошептал ему:

— Спокойно, друг, спокойно. Мы им ещё всыплем.

Но когда Уорд спросил Лундфеста: «Как вы думаете, профессор Тимбермен — коммунист?» — Мак-Алистер вскочил и закричал со злобой, уже не сдерживаясь, что он протестует против такой постановки вопроса, потому что «то, что свидетель думает, не может являться не только судебным доказательством, но и косвенным свидетельством».

Судья, кивнув головой, сказал мистеру Уорду, что он вынужден принять протест защиты. Но, может быть, мистер Уорд иначе сформулирует свой вопрос?

— Я намерен доказать, что предположения свидетеля основательны. И доказать это фактами.

— Боюсь, что вам сначала надо установить факты,— сказал судья.

— Хорошо. Профессор Лундфест, скажите суду: вы знаете, что профессор Тимбермен — коммунист?

— Да... знаю,— с сожалением признался Лундфест.

— На чём вы основываете ваше утверждение?

— На сведениях, которые я получил, и на прямых доказательствах этого факта, которым я был свидетелем.

Мак-Алистер запротестовал:

— Мы снова имеем дело со слухами, самыми неопределёнными слухами!

Судья, укоризненно покачав головой, призвал обоих юристов к порядку, и Мак-Алистер окончательно перестал понимать, где он находится — в суде или в цирке. Неужели Уорд когда-нибудь выступал на судебных процессах, изучал право, судопроизводство? Судья был мягок и полон сострадания. «Уж вы меня простите, мистер Уорд», — шептал он. Они все почему-то разговаривали шёпотом.

— Я стараюсь подвести базис,— сказал Уорд,— а протесты защитника, ваша честь, превращают серьёзное дело в фарс!

— Не будьте слишком суровы, мистер Уорд. Нельзя же основываться на мнении того или иного лица, ей-богу, не стоит. Вам лучше продолжать опрос свидетеля, опираясь на факты. Но прокурор прав, мистер Мак-Алистер, вы зря думаете, что бесконечные протесты способствуют выигрышу дела. Пускай мистер Уорд разъяснит свою точку зрения, и тогда вы в свою очередь перейдёте к опросу свидетеля.

«Если я скажу то, что я о тебе думаю,— мысленно сказал себе Мак-Алистер,— меня вытолкают отсюда к чёртовой матери. Будь ты трижды проклят, ты учишь этого болвана, как ему вести дело!»

— Вы понимаете мою точку зрения, мистер Мак-Алистер? — спросил судья.

И он ответил:

— Я пытаюсь защитить моего клиента, ваша честь. И вынужден возражать против недопустимых вопросов, которые обвинение задаёт свидетелю!

— Об этом уж разрешите судить мне, мистер Мак-Алистер. Заверяю вас, что никаких несправедливостей не будет допущено.

Они вернулись на свои места. Суровый, но по-мальчишески задорный мистер Уорд продолжал допрашивать свидетеля:

— Разрешите мне несколько видоизменить мой последний вопрос, профессор Лундфест. Вы заявили, что профессор Тимбермен — коммунист. Какими доказательствами вы располагаете?

— Я основываюсь на его поступках, на ряде его высказываний, при которых я присутствовал. Он не одобряет войны в Корее, он открыто выражал свои взгляды. А это — коммунистическая точка зрения...

Мак-Алистер возразил было, но его протест был отклонён судьёй.

— Он не одобряет гражданской обороны, что также соответствует позиции, которую занимают коммунисты. В разное время он пытался убедить меня встать на коммунистическую точку зрения по тому или иному вопросу.

— И это всё? — спросил его Уорд.

— Нет, сэр. В Клемингтонском университете состоялся коммунистический митинг, митинг в поддержку профессора, уволенного за подрывную деятельность и безнравственность. Главным оратором на митинге был профессор Тимбермен.

— Когда состоялся этот митинг?

- Второго ноября тысяча девятьсот пятидесятого ода.
- Митинг был тайный?
- Нет, открытый, на площади университетского городка, но он был организован коммунистами.
- Откуда вы знаете, что он был организован коммунистами?
- Мне сообщили об этом преподаватели, присутствовавшие на организационном заседании.

Мак-Алистер снова заявил протест, и снова его протест не был принят во внимание.

— Разве такие заявления могут считаться доказательствами? — спросил Сайлас. — Мак-Алистер, неужели это доказательства?

Мак-Алистер ничего не ответил. Он сидел напряжённо, не двигаясь, ещё больше сгорбив свои и так сутулые плечи, и даже когда Уорд кончил задавать вопросы и вежливо кивнул ему головой, показывая, что теперь его очередь допрашивать свидетеля, он оживился не сразу.

— Ну, теперь мы поговорим, — прошептал он, вставая.

Мак-Алистер, раскачиваясь, подошёл к краю скамьи присяжных; на лице его играла едва приметная усмешка. Присяжные не улыбались. Они сидели с ничего не выражающим видом и слушали. Сайлас тоже слушал, наблюдая за Лундфестом, который упорно избегал его взгляда. Странно, подумал Сайлас, как мало сказал Лундфест и как мало у него спрашивал Уорд. Теперь Мак-Алистер задал вопрос Лундфесту, давно ли он знает ответчика, профессора Тимбермена? Лундфест подумал минуту, а потом ответил:

- Кажется, с тысяча девятьсот тридцать третьего года.
- Другими словами, восемнадцать лет?
- Совершенно верно, около восемнадцати лет.
- Как близко вы знали ответчика все эти годы? Я спрашиваю: знали вы его только по службе или же встречались с ним в домашней обстановке?
- Да, я встречался с ним и в домашней обстановке.
- Вы и ваша жена часто бывали у него в гостях? Не так ли?
- Смотря что подразумевать под словом «часто»...
- Но вы бывали у него в гостях?
- Да, бывали.
- Как часто?
- Право, трудно сказать. Я не веду учёта своим визитам.
- Я прошу вас ответить хотя бы приблизительно — раз в неделю, раз в месяц?
- Думаю, что примерно раз в месяц.
- Следовательно, можно сказать, что вы были друзьями, а не только сослуживцами?
- Более или менее. Когда я понял, каких профессор Тимбермен придерживается взглядов, я порвал с ним дружеские отношения.
- Когда это случилось?
- Около трёх месяцев назад.
- Что, однако, не помешало вам принять приглашение профессора Тимбермена и пить у него дома коктейли двадцать пятого октября тысяча девятьсот пятидесятого года?
- Я не помню точной даты. Я ведь так и сказал — около трёх месяцев назад.
- А раньше, на протяжении восемнадцати лет вашей дружбы, вы никогда не замечали у профессора Тимбермена того, что вы называете коммунистическими взглядами?
- Пожалуй, замечал и раньше. Но он их искусно скрывал.
- Так искусно, что они не обращали на себя вашего внимания?

— Ну, это как сказать... И да и нет.

— Я не прошу вас говорить и да и нет. Я вас спрашиваю: да или нет?

— Коммунисту нетрудно маскироваться под либерала.

— Я вас спрашиваю: замечали вы у профессора Тимбермена на протяжении истекших восемнадцати лет какие-нибудь признаки коммунистических взглядов, в которых вы его обвиняете?

— Я вам ответил: да.

— И вы ничего не предприняли по этому поводу?

— Я сообщил мистеру Кэботу — президенту нашего университета.

— Когда вы ему сообщили?

Вопрос был опротестован мистером Уордом, и судья снова призвал обоих юристов к порядку. Сайлас наблюдал за тем, как они шепчутся, и удивлялся, почему он не может уловить в ходе процесса ни логики, ни смысла. Мак-Алистер вернулся на своё место и снова попытался доказать, что Лундфест знал Сайласа восемнадцать лет и никогда не подозревал, что он придерживается коммунистических взглядов, однако все его попытки сразу же пресекались прокурором. Мак-Алистер снова и снова старался нащупать твёрдую почву.

— Профессору Тимбермену официально присуждено научное звание?

— Да.

— Разве это не редкость для человека его лет?

— В некоторых университетах, пожалуй. Клемингтонский университет сильно разросся за послевоенные годы.

— Тем не менее такое звание свидетельствует о том, что профессор Тимбермен неуклонно продвигался по научной лестнице?

— Да, повидимому.

— Имели вы лично касательство к продвижению профессора Тимбермена?

— До некоторой степени.

— До некоторой? Разве его продвижение не зависело от вас, как руководителя кафедры?

— Нет, я только делал представления. Решали другие лица.

— Однако разве не странно, что вы снова и снова выдвигали человека, которого вы же теперь обвиняете в тайной принадлежности к коммунистам?

Протест прокурора помешал свидетелю ответить на этот вопрос, и протест был принят судьёй. Попытка Мак-Алистера поднять вопрос о разногласиях по поводу Марка Твена тоже не имела успеха. Когда он перешёл к вопросу о митинге, ему и тут заткнули рот. Он попытался поподробнее осветить эпизод с гражданской обороной и выяснить ту роль, которую сыграл в ней Лундфест, но судья снова подозвал к своему столу обоих юристов и, сделав им отеческое внушение, сразу же объявил перерыв на обед.

\* \* \*

За обедом Мак-Алистер рассеянно ковырял еду, мрачно поглядывая на Сайласа; наконец он признался, что ему до смерти хочется выпить. Тут уж Сайласу пришлось напомнить ему, что процесс только ещё начался.

— Да разве это судебный процесс? Чёрт возьми, вам лучше сразу понять, с чем мы имеем дело.

— А я уже всё понял. И тем не менее, какой ни на есть, а это всё-таки процесс.

— Нет! Не знаю, откуда они выкопали своего Горация Уорда, но он меня пугает. Он меня пугает не тем, что он невежда, отвратительный человек и никуда не годный юрист, но тем, что он и не старается казаться хорошим юристом. Беда в том, что ему и не пужно стараться. За всю мою

адвокатскую практику и работу в суде я никогда не видел человека, менее пригодного для участия в судебном процессе, чем Уорд, и свидетеля, хуже подготовленного и опрошенного, чем Лундфест. Прокурор пренебрёг рядом вопросов, которые могли произвести куда больше впечатлений, чем те, которые он задавал. Вопросы его были совершенно не по существу. Они были беспомощны и неуклюжи. На основе таких вопросов нельзя построить судебное обвинение, но, повидимому, ему на это наплевать. А пока что судья пытается сделать из него юриста и встаёт мне поперёк дороги на каждом шагу. Мне не хочется заработать обвинение в оскорблении суда не потому, что боюсь, а потому, что вам это ни капельки не поможет...

— Вам не кажется, что они притянули Лундфеста в самую последнюю минуту?

— Всё может быть. У них нет ничего больше, кроме Боба Аллена, и его выпустят на вечернем заседании. Во всей красе.

Когда они возвратились в суд, Сайласа ещё в коридоре окружила целая толпа репортёров; они засыпали его вопросами о процессе и о том, что он по этому поводу думает.

— Что же я могу думать? — спросил он. — Я ведь сказал правду. Всё это судилище — чистая фантастика.

— Мы слышали, что утром давал показания Лундфест. Не тот ли, что был замешан в истории с Марком Твенем?

— Да, — подтвердил Сайлас, — тот самый.

— Как вам кажется, вы будете оправданы?

А что, если он не будет оправдан? Может быть, Мак-Алистер пытался подготовить его именно к такому финалу? Мысль о том, что его могут признать виновным, никогда всерьёз не приходила ему в голову. Виновным в чём? Что же он сделал и что теперь пытались сделать с ним?

— Не знаю, — медленно проговорил он, с любопытством разглядывая репортёров.

Они казались Сайласу живыми, добродушными и непредвзятыми людьми. У них здесь не было врагов. Им просто было интересно всё, что происходит в окружном суде. А что, если им рассказать, что у него есть жена, которую он любит, и трое детей... рассказать о том, как он жил тихонько и очень пристойно, мечтая прожить свой век без бурь и тревожений, глядя на то, как подрастают дети, — вот и всё, чего он хотел, ни больше и ни меньше. Они вежливо улыбнутся. Но напишут ли они о том, что Сайлас Тимбермен стал чьей-то жертвой? Вот шла в Корее война, по, видимо, их она не касалась; им трудно будет понять, какое дело до неё ему, Сайласу. Разве ему было больно, когда осколок снаряда вспарывал какого-то корейца? Разве его дети просыпались, когда плакали корейские дети? Он подписал воззвание о запрещении атомной бомбы, но кто же не знает, что уж если вы хотите убивать — более совершенные методы убийства куда лучше менее совершенных? Мак-Алистер никак не мог понять, почему Лундфест ничего не сказал о воззвании. Его это занимало с чисто профессиональной точки зрения. И у репортёров интерес был тоже чисто профессиональный.

Сайласа перестало волновать, что они о нём напишут, и, повернувшись к ним спиной, он вошёл в зал суда.

\* \* \*

На вечернем заседании давал показания Боб Аллен; допрашивая его, Уорд имел возможность копировать Брэннигена, и поэтому Аллен оказался куда лучшим свидетелем, чем Эд Лундфест. Несмотря на возражения Мак-Алистера, они и тут воспользовались перечнем вредных книг,

и впервые Сайлас почувствовал, что названия книг, перечисленные в определённой связи, могут звучать зловеще. «Бэббит» и «Элмер Гантри» ощерились, как страшные чудовища, на американский образ жизни, на тот «новый» порядок, от которого незаметно ускользнул бедный больной автор этих книг, для того чтобы потом, здесь, связать свою судьбу с неким Сайласом Тимберменом...

Книги, которые проповедовали неповиновение властям; книги, которые призывали к насильственному свержению правительства; книги, которые насмехались над самыми драгоценными качествами человека, — кто же сомневался в том, что они самые драгоценные, покуда их не поставили под сомнение в этих книгах?..

— Драйзер, — сказал свидетель, и все сразу почувствовали, что это имя звучит как-то не по-американски...

— Да, сэр. Драйзер вступил в коммунистическую партию и хвастал этим. Факт широко известный...

«Американская трагедия» — достаточно было одной или двух фраз, чтобы присяжные сразу поняли, что при помощи таких вот книг коммунисты захватывают власть. Мак-Алистер не мог заставить себя сесть. Судья был с ним положительно нежен.

— Вы опять что-то хотите сказать, мистер Мак-Алистер?

Защитник явно боялся книг! Ну что же, назовите их, тащите их на свет божий! Мистер Уорд не боялся книг. Мистер Уорд был необыкновенно похож на Тайрена Пауэра<sup>1</sup>, лицо его казалось таким знакомым! За обедом все присяжные, как один, отметили поразительное сходство Горация Уорда с Тайреном Пауэром; бедного Мак-Алистера с его красным носом и одутловатым лицом так невыгодно оттеняли точёный профиль мистера Уорда и его открытый взгляд, одухотворённый пламенем его убеждений! Для чего пускаться в юридические хитрости, когда надо просто выяснить правду, — для чего же тогда суды, если не для того, чтобы вскрывать правду и обнажать её перед всем миром? И чего добивается этот мистер Мак-Алистер, вскакивая с таким упорством и назойливо заявляя протест за протестом? Мистер Уорд спросил свидетеля относительно «Сестры Кэрри», и снова присяжные поняли, какой вред может принести книга о распутной и расчётливой женщине, и снова Мак-Алистер заявил протест против вопроса прокурора...

Свидетель повторил свой рассказ о собрании в доме профессора Тимбермена в 1947 году. Как и мистер Уорд, свидетель был молод, красив и открыт душой; всем было ясно, что если уж вам нужны преподаватели, то лучше, чтобы они выглядели так, как мистер Аллен. Мистер Аллен тоже был им знаком, хотя он и не был похож на Тайрена Пауэра. Зато он был похож на всех молодых американцев, которых изображали всюду именно потому, что они были похожи на молодых американцев. Он был знаком присяжным и потому, что принадлежал к тем рыцарям новой эры, которые обнажили свои мечи против коммунизма. Сначала вокруг таких людей, как он, ходили тёмные слухи, поговаривали, что они доносчики, торгующие своей совестью; однако понемножку и не без помощи широкой кампании в прессе всем стало ясно, что в нынешние времена в Америке доносчики — это герои. Правда, они скромные герои, и мистер Аллен тоже был скромен. Когда он назвал фамилии Кэплина и Федермена в качестве участников достопамятного собрания, где Сайлас Тимбермен замыслил насильно захватить Клемингтонский университет, он ровно ничего не подчеркнул, и присяжные сразу поняли, что он не антисемит, а просто отдаёт себе отчёт в том, что в подобных заговорах всегда замешаны евреи.

<sup>1</sup> Тайрен Пауэр — популярный американский киноактёр. (Примеч. перев.)

Аллен беззастенчиво называл имена. Он назвал профессора Тимбермена. Он назвал его коммунистом с таким видом, что в его словах трудно было усомниться. Он назвал коммунистом Алека Брэди. Он назвал Федермена, Кэплина и Эдну Кроуфорд. Он называл имена студентов. Он говорил со спокойной уверенностью и даже с лёгким сожалением, вполне понятным у человека, выполняющего не совсем приятный долг. Картина, которая вырисовывалась из его свидетельских показаний, была поистине ужасна, — ведь хотел он этого или не хотел, но университет теперь выглядел, как тёмный лабиринт, где кишели коммунисты, которые в своей дьявольской и ехидной злобе находили самые изощрённые пути к невинным душам студентов. Да, истина может звучать ужасно! Разве не ужасно, как этот самый Сайлас Тимбермен использовал присвидетельствования любимейшего нашего писателя, Марка Твена?

Удар был мастерский — жестокий удар; нанеся его, обвинение позволило себе отдохнуть. Мистер Уорд торжественно кивнул головой, давая знать судьбе, что обвинение свою задачу выполнило. Он ведь не сторонник затяжек и крючкотворства; у него простое, ясное дело, и он ведёт его просто и ясно.

Погружённый в трясину лжи — откровенной, чудовищной, невероятной лжи, не имеющей ни грама правды; полулжи — полуправды; извращения фактов; искажения фактов; правды, опутанной со всех сторон ложью; вымысла; неточностей, — погружённый во всё это, Сайлас вдруг почувствовал, как негодование в нём уступает место смирению перед неизбежностью. Да, он будет осуждён; теперь ему это было ясно. Что бы ни сделал Мак-Алистер, что бы ни сделал Тимбермен, — всё равно ничто уже не изменит свершившегося. Ему показалось, что присяжные вот-вот разразятся аплодисментами. Он попытался представить себе Боба Аллена таким, каким он его знал когда-то, припомнить хоть какую-нибудь черту, которая предвешала бы его нынешнее поведение, но ему ничего не приходило на ум, ему не на что было опереться. Правда, Боб Аллен теперь стал доцентом; он уже напечатал статьи в ряде журналов и читал лекции членам Американского легиона в Индианополисе и в Чикаго — всякий раз за весьма солидную мзду; но ведь и этим ничего нельзя было объяснить. Люди не предают и не губят друг друга так бессердечно, — ведь тогда бы рухнуло всё здание человеческого общества. И вдруг он подумал: а что, если оно уже рухнуло? Или ещё только рушится? А может, гибнет только он один, потерявшись в этой мгле, а всё остальное стоит нерушимо?

Сайлас заставил себя слушать Мак-Алистера. Маленький адвокат с удивительным упорством и стойкостью оборонялся от неминуемого поражения, но и он словно переродился за сегодняшний день. В его голосе звучала непривычная резкость; он словно хлестнул Боба Аллена по лицу, крикнув ему в глаза: «Доносчик!»... Его оборвал судья. Боб Аллен сам определил высокое предназначение Боба Аллена:

— Я американец и защищаю свою любимую родину.

И снова прозвучало:

— Доносчик!

Судья снова подозвал к себе обоих юристов. Он был ласков, но твёрд:

— Если так будет продолжаться, я буду вынужден привлечь вас к ответственности за оскорбление суда.

— Каким образом вы получили назначение на кафедру английского языка и литературы, мистер Аллен? — спросил свидетеля Мак-Алистер.

— Я написал заявление и прошёл устное испытание перед учёным советом.

— Разве о вашем назначении не ходатайствовал профессор Тимбермен?

— С чего вы взяли? — слегка улыбнулся Аллен, словно его позабавил этот вопрос.

Он в первый раз взглянул прямо на Сайласа. Теперь людей забавляли очень странные вещи.

— Вот вы рассказывали здесь о собрании у профессора Тимбермена в сорок седьмом году. Когда именно оно было?

— Боюсь, что точная дата выскользнула у меня из памяти.

— Несмотря на то, что вы так подробно помните всё, о чём говорилось на этом собрании?

— То, что там говорилось, произвело на меня большое впечатление; я и тогда понимал всю важность и опасность того, что там происходило, не изменю своего мнения и теперь.

— Может быть, вы помните дату, хотя бы в пределах недели?

— Нет, не помню.

— А месяца? Не может быть, чтобы вы забыли и месяц?

— Мне кажется, что дело происходило в начале марта, ну да, точно, в первую неделю марта.

Мак-Алистер подошёл к своему столу, сверился с заметками и шепнул несколько слов Сайласу.

— Вам ничего не бросилось в глаза в доме Тимберменов?

— Только то, о чём я давал показания.

— А если я вам скажу, что в первую половину марта в доме Тимберменов были тяжело больные? Может быть, я освежу вашу память?

— Вероятно, собрание состоялось не в начале марта, а несколько позже. Я ведь говорил, что не уверен в точной дате.

— Но вы очень аккуратно перечислили всех, кто там присутствовал. Мне помнится, вы назвали профессоров Амстердама, Кэплина, Федермена, себя и чету Тимберменов?

— Совершенно верно.

— Однако вот больничная справка, которая удостоверяет, что профессор Федермен находился на излечении в больнице с двенадцатого февраля сорок седьмого года по шестое апреля сорок седьмого года. Не хотите ли вы ознакомиться с этой справкой, мистер Аллен?

Аллен прочёл справку, которая тут же была приобщена к делу. Потом он пожал плечами.

— Ведь всё это происходило чуть не четыре года назад. Я привык видеть профессора Федермена всегда вместе с профессором Тимберменом. В данном случае я мог и ошибиться.

— Вам, однако, не кажется, что вы ошибаетесь относительно того, что говорилось на так называемом собрании?

— Нет, не кажется.

— Вы утверждаете, что собрание было создано под прикрытием игры в бридж?

— Совершенно верно.

— Мистер Аллен, скажите: играют профессор Тимбермен и его жена в бридж?

— Конечно.

Мак-Алистер опять подошёл к своему столу и вернулся с новым документом, который он передал судье.

— Прочтите, ваша честь, и разрешите приобщить к делу.

Мистер Уорд тотчас же подошёл к ним; он решил, что и ему стоит прочесть бумагу. Это была статья из газеты «Фулкрум», где рассказывалось, как проводит свой досуг профессура, и выражалось удивление, что профессор Тимбермен так и не научился играть в бридж, «что разительно



выделяет профессора Тимбермена из его среды». Судья прочёл вырезку, а за ним прочёл её и мистер Уорд.

— Не понимаю, какое значение вы придаёте этой безобидной болтовне? — поинтересовался прокурор. — Самая обыкновенная болтовня.

— Не согласен. Статья доказывает, что профессор Тимбермен не играет в бридж. И тем самым, безусловно, ставит под сомнение достоверность показаний вашего свидетеля.

— Видите ли, какое дело, мистер Мак-Алистер, — добродушно прервал его судья, — достоверность показаний — вещь серьёзная, к ней нельзя подходить безответственно. Мистер Тимбермен, может быть, играет в бридж, а может быть, и не играет. Такой факт нельзя установить из заметки в студенческой газете. Мистер Тимбермен мог поместить эту заметку сам, с заранее обдуманной целью.

— Но ведь заметка была напечатана два года назад, — возразил Мак-Алистер, на что судья ему ответил всё так же мягко:

— Погодите, мистер Мак-Алистер, можно подумать, что вы не знаете основных правил судопроизводства по части письменных доказательств! В лучшем случае мы можем рассматривать статью как косвенное свидетельство, да к тому же и не очень надёжное!

— Статья в газете является далеко не косвенным свидетельством, ваша честь. Я вынужден на этом настаивать.

Шёпот его казался таким вымученным и хриплым рядом с мягким воркованием судьи.

— Но ведь факт установить так легко, мистер Мак-Алистер! Вызовите свидетеля — близкого друга или члена семьи, и он удостоверит, что мистер Тимбермен не играет в бридж.

— Но разве вы не знаете, ваша честь, как дорого стоит привезти свидетеля в Вашингтон?

— Кто же не знает таких простых вещей, — холодно возразил судья.

Спор продолжался, и всё так же шёпотом, но Сайласу было ясно, что и этот спор они проиграли. И проигранное дело велось теперь уже как-то неуважительно. Мак-Алистер продолжал перекрёстный допрос, но, почувствовав, что он преодолел самое большое препятствие, Боб Аллен был уже совершенно спокоен; порой он даже слегка издевался над этим краснощёким толстяком, который так мучительно старался поймать его на слове. Однажды, когда у Мак-Алистера снова сорвалось слово «доносчик», Аллен серьёзно сказал:

— Вы уже не раз обзывали меня доносчиком, мистер Мак-Алистер. Мне это тяжело, но если долг перед родиной вынуждает меня сносить оскорбления, что ж, я их с радостью снесу!

Сайласу снова показалось, что присяжные сейчас устроят овацию, а из толпы присутствующих за его спиной, из этой непонятной толпы зевак, которые кочуют по залам Вашингтонского суда, раздаётся одобрительный шёпот. Судья строго пресек этот шёпот и с лёгкой укоризной сказал Бобу Аллену:

— Вам следует отвечать только на заданные вопросы.

Допрос свидетеля кончился незадолго до перерыва, и доказательства обвинения были полностью собраны.

\* \* \*

Сайлас и Мак-Алистер взяли такси и поехали в аэропорт, где они должны были встретить преподобного Элберта Мастерсона и Алека Брэди, прилетающих с шестичасовым самолётом. По дороге Сайлас спросил адвоката, не стоит ли им вызвать в Вашингтон и Майру, чтобы та засвидетельствовала его неумение играть в бридж. Мак-Алистер считал, что вызывать Майру нет смысла.

— Неужели вы думаете, что они ей поверят? Жена — не самый достоверный свидетель, Сайлас, и мне кажется, что два свидетеля из Клемингтона — это максимум того, что мы можем себе позволить. А Брэди не может засвидетельствовать насчёт бриджа?

Сайлас не знал. Он не помнил, чтобы ему когда-нибудь приходилось обсуждать с Брэди проблему игры в бридж.

Во всяком случае, он очень обрадовался, когда их увидел, а Мастерсон горячо пожал ему руку. Сайлас попытался было его поблагодарить, но он ему не дал, заявив, что давно страдает от оседлого образа жизни и что, наоборот, он благодарен Сайласу за приятную возможность попутешествовать. Человеку полагается бывать в Вашингтоне не реже, чем раз в пять лет, хотя бы только для того, чтобы поглядеть на памятник Линкольну и прогуляться по берегу Потомака; в свою очередь и Брэди сказал, что рано его благодарить, посмотрим, каковы будут его успехи в качестве свидетеля.

— Я был просто счастлив, что вы обратились ко мне, Сайлас,— сказал Брэди.— Поверьте, я не вру.

Мастерсон первый раз в жизни летел на самолёте и получил от этого огромное удовольствие; всю дорогу они с Брэди проспорили о теологии, о происхождении церкви и о влиянии ессеев<sup>1</sup> на первые христианские братства; Брэди особенно хорошо разбирался в последнем вопросе.

— Какая ерунда, что у нас не устраивают религиозных диспутов,— возмущался Мастерсон.— Религия, как и всё, что обслуживает человека, расцветает в спорах, а я лично уже много лет не участвовал в такой здоровой теологической потасовке.

Во время обеда Сайлас и Мак-Алистер описали вновь прибывшим, как шёл процесс; потом Мак-Алистер сказал:

— Такие-то дела, дорогие мои. Похвастать, как видите, нечем. Против нас присяжные, подобранные из одних только государственных служащих, запуганные, захлебнувшиеся в клоаке проверки лояльности. Против нас судья, который вежливо сводит нас с ума, противодействуя любой попытке вести следствие; этот сукин сын,— прошу прощения, преподобный! — если я правильно его понимаю, скоро покажет нам своё истинное лицо и железную руку, пока ещё прикрытую бархатной перчаткой! Думаю, что вам лучше всё знать заранее, Алек, и Сайлас со мной согласен. Мы оба вовсе не надеемся, что вы выиграете для нас дело, но дай бог, чтобы мы получили хотя бы какой-нибудь шанс на выигрыш. Вы намерены идти с нами до конца?

— До конца,— улыбнулся Брэди.

— А вы всё как следует обдумали?

— Настолько, насколько это возможно.

— А как отнеслась к вашей поездке жена?

— Почти так же, как и я, хотя она и не во всём разделяет мои взгляды. Она понимает, что я не мог поступить иначе.

Сайлас извинился перед преподобным Мастерсоном:

— Вы, наверно, не понимаете, о чём мы тут толкуем?

— Профессор Брэди мне уже разъяснил. Я выразил ему моё восхищение.

У Мак-Алистера отлегло от сердца.

— Мне, конечно, стало бы ещё легче, если бы я выпил,— сказал он Сайласу.— С тех пор, как началось это проклятое дело, у меня в первый раз повеселело на душе. А у вас, Сайлас?

<sup>1</sup> Ессéи — члены религиозной секты, возникшей в Иудее во II веке до н. э. Они отрицали частную собственность, рабовладение и войну, но призывали к созерцательной жизни. (Примеч. перев.)

— Мне очень хорошо,— сказал Сайлас, глядя на Брэди. И он говорил правду. Душа его была переполнена каким-то особенным чувством, которое, казалось, его уже больше никогда не покинет.

\* \* \*

На следующее утро после того, как Мак-Алистер заявил, что у прокурора нет достаточных данных для обвинения и что дело поэтому должно быть прекращено, на трибуну поднялся Сайлас; его показания были лаконичны и ограничивались существом дела. Все вопросы, которые ему задавал Мак-Алистер, были направлены на то, чтобы опровергнуть показания обоих свидетелей из Клемингтона; защитнику казалось, что таким путём он самым выгодным образом докажет очевидную искренность своего подзащитного.

— Вы член коммунистической партии, профессор Тимбермен?

— Нет.

— Вы когда-нибудь им были?

— Я никогда не был членом коммунистической партии.

Ответы были совсем простые, но Сайлас не был уверен, что они доходят до сознания двенадцати странных, немых истуканов, занимавших скамью присяжных. В прежнее время Сайлас не поверил бы, да и не мог поверить, что он будет давать показания в присутствии двенадцати американских граждан и не заслужит у них ни малейшего доверия.

— Профессор Тимбермен, вы слышали показания мистера Аллена относительно некоего собрания, которое якобы состоялось в вашем доме в сорок седьмом году; на этом собрании, по его словам, обсуждался план захвата Клемингтонского университета. Было когда-нибудь такое собрание?

— Нет, не было.

— Вы слышали также, как мистер Аллен утверждал, будто это собрание происходило под видом игры в бридж. Приглашали вы когда-нибудь мистера Аллена к себе для игры в бридж?

— Нет, никогда.

— Приглашали вы когда-нибудь кого-либо другого для игры в бридж?

— Нет, никогда.

— Играете вы в бридж?

— Нет, не играю.

— Умеете вы играть в бридж?

— Нет, не умею.

— Играет ваша жена в бридж?

— Она ни разу не играла с самой войны.

Но стоило Мак-Алистеру хоть немного отклониться от прямых вопросов, как он сразу наталкивался на стену протестов мистера Уорда. Когда он попытался спросить Сайласа, широко ли известно его отношение к картам среди университетской профессуры, прокурор запротестовал, говоря, что защитник оперирует слухами. Когда он попытался поглубже осветить пребывание Сайласа на войне и спросить о его отношении как ко второй мировой войне, так и к войне в Корее, прокурор ему заявил, что вопросы его не относятся к делу. Глядя на то, как Мак-Алистер пробивается сквозь преграды, которые ему чинит мистер Уорд при деликатной поддержке судьи, напоминая ему человека, увязшего в зыбучих песках, Сайлас испытывал к нему мучительную жалость: ему хотелось крикнуть: «Не надо больше, будь они прокляты!» Но Мак-Алистер был терпелив, нечеловечески терпелив.

— В качестве вашего адвоката, профессор Тимбермен, адвоката, который консультировал вас перед заседанием сенатской комиссии, я по-

советовал вам воздержаться от ответа на два вопроса, послуживших основой для обвинительного заключения, не так ли?

Уорд снова заявил протест.

— Боюсь, что мне всё-таки придётся разрешить защитнику задать этот вопрос,— возразил судья.— Он имеет прямое отношение к делу. Чем бы мотивируете ваш протест?

— Голословные утверждения и подсказ ответа свидетелю.

— Голословные утверждения?..— неуверенно повторил судья.— Боюсь, что в данном случае мы имеем дело с непосредственным поступком свидетеля. Однако я всё же попрошу вас, Мак-Алистер, сформулировать ваш вопрос иначе.

И тогда Мак-Алистер, приободрённый своей первой победой за долгое время, попросил Сайласа повторить, что он ему тогда посоветовал, и Сайлас сказал, что ему посоветовали не отвечать на подобные вопросы.

— Так почему же вы на них ответили, профессор Тимбермен?

— Потому что я должен был ответить... Мне казалось, что если я на них не отвечу, то я больше не смогу жить с чистой совестью. И, кроме того, вопросы, заданные мне сенатором Брэннигеном, были вызовом всему, чем я жил!

Уорд вскочил, и снова между юристами загорелся спор. Теперь уже и судья был раздосадован; он глядел на Сайласа с любопытством и крайне неприязненно. Снова посыпались вопросы, а за ними — протесты обвинения. Судья поддерживал мистера Уорда, в голосе его, когда он попросил Мак-Алистера продолжать допрос свидетеля, слышалось явное неудовольствие.

— Профессор Лундфест показал, что вы выступили на митинге в университетском городке. Принимали вы какое-нибудь участие в подготовке этого митинга?

— Нет, не принимал.

— Какова была цель митинга?

Даже такой вопрос не обошёлся без протеста прокурора. Сайлас поглядел на присяжных. Ему показалось, что процедура допроса им очень прискучила, внимание их рассеялось. Один из присяжных мечтательно рассматривал потолок, какая-то дама украдкой полировала ногти. Другой присяжный то и дело заглядывал в журнал, лежавший у него на коленях. Какой-то старик клевал носом. Остальные были явно раздосадованы тем, что им приходится следить за этой сложной и утомительной игрой.

И сколько Сайлас ни старался вселить в себя надежду и боевой дух, ему это не удавалось. Вопросы следовали один за другим; он на них отвечал, но в ответах его недоставало уверенности. И он чуть не вздохнул с облегчением, когда Мак-Алистер наконец заявил:

— Свидетель к вашим услугам, мистер Уорд.

Мистер Уорд даже не поднялся с места. По его лицу пробежала улыбка; он махнул рукой и небрежно заметил:

— У меня нет к нему вопросов, мистер Мак-Алистер.

В его словах было целое море презрения — мистер Уорд наконец-то нанёс свой первый мастерский удар в этом процессе. Одним мановением руки он расправился и с Сайласом Тимберменом и с его показаниями.

Судья Калент даже улыбнулся от восхищения и объявил перерыв на пятнадцать минут.

\* \* \*

Мак-Алистер попросил профессора Алека Брэди занять свидетельское место; когда Брэди вышел вперёд, присяжные оживились и не могли скрыть своего интереса. Брэди был импозантной фигурой: в его продолго-

ватой лысеющей голове было что-то загадочное, а скептическое и даже несколько циничное выражение лица сулило незаурядное развлечение. В его внешности была та властность, которая не могла не произвести впечатления, и скучающие присяжные приготовились к тому, что их позабавят. Брэди дал присягу и ответил на стандартные вопросы с любезной небрежностью.

— Давно вы знаете подсудимого, профессора Тимбермена? — спросил его Мак-Алистер.

— Как сослуживца — с тридцать восьмого года, то есть с тех пор, как я поступил в Клемингтонский университет. Моё тесное знакомство с ним — сначала дружба, а затем и очень близкая дружба как с самим профессором Тимберменом, так и с его семьёй — началось после войны, ранней весной сорок шестого года.

— Вы преподаёте в Клемингтонском университете с тридцать восьмого года?

— Нет, не всё время. Я вступил добровольцем в армию в июне сорок первого года и вернулся в Клемингтон только в сорок пятом году.

— В каком чине вы служили в армии?

Уорд встал было, чтобы заявить протест, но потом передумал и решил выждать. Сайлас понял, что он не уверен в себе и предпочитает поглядеть, как допрос пойдёт дальше.

— Придя в армию, я поступил в офицерскую пехотную школу. При демобилизации у меня был чин ротного командира.

— Вы были демобилизованы с почётом?

— Да, сэр, конечно. Я состою в запасе.

— Какими наградами вы были удостоены на военной службе, профессор Брэди?

— Я получил пять боевых звёзд, «Пурпурное сердце» и крест «За выдающиеся боевые заслуги».

Присяжные слушали теперь очень напряжённо. Судья даже перегнулся вперёд, внимательно следя за допросом свидетеля, а мистер Уорд сидел неподвижно, как каменный.

— Профессор Брэди, вы член коммунистической партии?

В толпе зрителей послышался ропот. Глаза судьи сузились. Уорд пристал, но потом сел снова. Присяжные глазели на происходящее с нескрываемым восторгом.

— Да.

— Активный член партии? Вы платите партийные взносы?

— Так точно.

— Когда вы вступили в коммунистическую партию, профессор Брэди?

— В тысяча девятьсот тридцать третьем году.

— Значит, вы являлись членом партии все те годы, которые вы проработали в Клемингтонском университете?

— Совершенно верно.

— Есть в университете, кроме вас, другие коммунисты?

— Есть.

— Вы знаете их всех?

— Знаю.

— Находится ли сейчас в зале суда ответчик по данному процессу, профессор Тимбермен?

— Да, находится.

— Можете вы мне его указать?

— Вот он.

— Профессор Тимбермен, я попрошу вас встать. Благодарю вас. Теперь скажите мне, профессор Брэди, является ли профессор Тимбермен членом коммунистической партии?

— Нет, не является.

— Помимо того, что вы знаете всех коммунистов среди преподавателей и студентов университета, что даёт вам право утверждать, будто профессор Тимбермен не является коммунистом? Мог он скрыть от вас свою принадлежность к коммунистической партии?

— Не думаю. Коммунист ведь не только член определённой организации, но и человек, обладающий мировоззрением, которое зовётся марксистско-ленинским. Под этим подразумевают не только политические взгляды, но и метод жизненного поведения и борьбы, именуемый классовой точкой зрения, а также научный подход ко всем явлениям жизни. Последнее было бы особенно заметно у учёного. Профессор Тимбермен — не марксист, и у него нет даже и поползновений стать марксистом. Его политические взгляды, скорее всего, могут быть определены, как либеральные; он честный и порядочный человек, который находится под сильным влиянием идей народной партии<sup>1</sup> и демократизма в понимании Джефферсона<sup>2</sup>.

— Значит, вы считаете возможным категорически утверждать, что профессор Тимбермен — не коммунист?

— Да, считаю.

— Посещал ли он когда-нибудь коммунистические собрания?

— Нет, не посещал.

— Принимали вы участие в организации митинга в Клемингтонском университете, на котором выступал профессор Тимбермен?

— Да, принимал; я помогал его организаторам советом. Митинг созвали главным образом студенты.

— А профессор Тимбермен принимал участие в организации митинга?

— Нет, не принимал.

— Благодарю вас. Вы желаете допросить свидетеля, мистер Уорд? — обратился Мак-Алистер к прокурору.

Мистер Уорд медленно поднялся, не вынимая рук из карманов, обернулся к скамье присяжных, быстро, испытующе оглядел сидящих там людей; в его взгляде был отечески-добродушный укор, — он словно освобождал их от наваждения. Потом прокурор подошёл к Брэди и сказал, словно мимоходом:

— Вы утверждаете, мистер Брэди, что знаете всех коммунистов в университете, не так ли?

— Да, знаю.

— Отлично. Я попрошу вас назвать их. Перечислите их имена, мистер Брэди.

Мак-Алистер вскочил, протестуя, но судья — теперь уже попрежнему спокойный и хладнокровный судья — заявил:

— Простите, мистер Мак-Алистер, я не могу поддержать ваш протест. Вопрос, мне кажется, имеет непосредственное отношение к делу: он призван выяснить достоверность показаний свидетеля. Мне придётся отвергнуть ваш протест.

— Но вопрос не имеет никакого отношения к достоверности показаний свидетеля! Вопрос прокурора — ничем не прикрытая попытка поставить свидетеля в положение доносчика! Я протестую самым категорическим образом!

— А я говорю вам, что ваш протест отклонён,—ответил судья Калент, и в его голосе впервые появились металлические нотки.—Садитесь, мистер

<sup>1</sup> Народная партия в США, организованная в 1801 году, боролась за прогрессивный налог, государственное владение железными дорогами, средствами связи и т. д.

<sup>2</sup> Джефферсон Томас (1743—1826) — автор Декларации независимости. Третий президент США (с 1801 по 1809 год).

Мак-Алистер. Все эти дни я был крайне снисходителен и беспристрастен. Я прощал вам многое, очень многое; однако сейчас ваше поведение граничит с намеренным оскорблением суда. Вы пытаетесь ответить на каждую попытку государственного обвинителя установить истину кличкой «доносчик». Мне это надоело.

Мак-Алистер вернулся на место, едва передвигая ноги; всё его тело ломило; в глазах было написано страдание. Судья обратился к Брэди:

— Вы ведь не получали судебной повестки на этот процесс, мистер Брэди?

— Нет, не получал.

— Вы явились сюда по доброй воле?

— Да, по доброй воле.

— Отлично. Продолжайте допрос свидетеля, мистер Уорд.

И Уорд спросил:

— Вы назовёте других коммунистов, мистер Брэди?

Голос Брэди был ровен; в нём слышались дидактические нотки и лёгкий сарказм.

— Когда я сюда ехал, я предвидел, что такой вопрос мне будет непременно задан. Ведь он так характерен для всего, что сегодня происходит в Америке. Вопрос этот унизителен для тех, кто его задаёт, и не менее унизителен для тех, кто его должен выслушивать...

— Отвечайте на вопрос, мистер Брэди,— резко прервал его судья.— Я не позволю вам произносить здесь политические речи. Отвечайте на вопрос прямо.

— Да нет же, я не стану на него отвечать,— сказал Брэди.— На подобный вопрос не может ответить ни один порядочный человек. Я вынужден отказать на этот вопрос, и я вынужден отказать на все подобные вопросы...

— Я прикажу вам отвечать, мистер Брэди.

— А я всё равно не отвечу,— пожал плечами Брэди.

— Отлично,— тихо произнёс судья, овладев собой и говоря, как всегда, очень вежливо.— В таком случае, я буду вынужден обвинить вас в оскорблении суда и присудить к заключению в окружную тюрьму сроком на три месяца, если вы до истечения этого срока не искупите своей вины перед судом и не ответите на заданный вам вопрос. Есть у вас ещё какие-нибудь вопросы, мистер Уорд?

— Нет, ваша честь, у меня больше нет вопросов,— пожал плечами Уорд, окинув торжествующим взглядом присяжных.

Два пристава подошли к свидетельскому месту и увели Брэди, после чего судья объявил перерыв до двух часов пополудни.

\* \* \*

Весь последующий ход процесса отнял у защиты всякую надежду; говорились какие-то слова только потому, что они должны были быть произнесены; заявлялись ходатайства потому, что они должны были быть заявлены; но Мак-Алистер был побеждён, сломлен, разбит. Он попытался скрыть своё поражение от Сайласа, но у него ничего не вышло. Маленький адвокат бился, как лев, когда Мастерсон давал характеристику Тимбермену, да и сам Мастерсон сделал всё, что было в его силах, но Уорд свёл на нет все его старания, спросив:

— Посещает обвиняемый вашу церковь, преподобный Мастерсон?

— Нет, не посещает.

— А какую же церковь он посещает?

— Не знаю. Я никогда не обсуждал с ним его религиозных убеждений.

— Ходит ли профессор Тимбермен вообще в церковь?

— Не знаю.

И мистер Уорд одержал маленькую победу, так и оставив вопрос открытым. Ему не надо было на нём настаивать. Он прочно сидел в седле, и если он устаивал присяжных взглядом, те сразу понимали, что он — на коне; поэтому, когда на следующий день Мак-Алистер произносил заключительную речь защиты, у него было ощущение, что он тщетно взывает к каменной стене. И тем не менее он взывал. Он сделал обзор свидетельских показаний. Подчеркнул разительные противоречия в показаниях Боба Аллена, бичуя его, как морально несостоятельного человека, доносчика, Иуду, продавшего своего друга за несколько серебряников. Вначале он был увлечён своими собственными доводами, но постепенно почва у него под ногами становилась всё более зыбкой и неверной. Присяжным было всё равно; они даже не чувствовали к нему вражды, они были просто равнодушны. Он говорил о Сайласе как о человеческом типе и как о личности: скромный учёный, хороший семьянин, порядочный человек... но присяжным было всё равно.

Они отнеслись равнодушно и к тому, что говорил мистер Уорд. Они знали свою роль назубок, и им казалось, что мистер Уорд попусту расточает своё красноречие. Когда мистер Уорд впадал в пафос, сравнивая два типа коммуниста, — пока один из них действовал в глубоком подполье, другой появлялся на свет божий, чтобы вызволить первого из беды, — присяжные отдавали дань его ораторскому таланту, но они вяло внимали перечислению всех добытых им доказательств...

Судья чувствовал их настроение и сократил речь, которую он подготовил. Он объяснил им очень мягко, что по американским законам человек считается невиновным, пока вина его не доказана; но вот тут-то и наступает их черёд выполнить свой гражданский долг, сказал он им строго, в том случае, конечно, если, взвесив судебные доказательства, они признают подсудимого виновным. Он указал им, какая великая на них возложена ответственность и что они и в самом деле — столпы правосудия свободного мира в наиболее глубоком смысле этого слова. В обвинительном заключении, напомнил он им, имеется два пункта. Обвиняемого можно признать невиновным по обоим пунктам, виновным в одном из них или же виновным в обоих; после этого он объяснил им, какое тяжкое преступление — лжесвидетельство, как опасна угроза коммунизма, как злы тайные деяния тех, кто замыслил разрушить...

И, сказав всё это, он послал их совещаться в комнату присяжных.

Сайлас стоял в коридоре и курил, ни с кем не разговаривая, не желая ни с кем разговаривать. Судебные служители и репортёры бились об заклад о том, сколько времени будут совещаться присяжные, и Сайлас вывел из раздумья какой-то молодой газетчик, сказавший, что присяжные вернутся меньше чем через сорок пять минут. Предположение его казалось невероятным, но присяжные вернулись ровно через тридцать пять минут и объявили, что подсудимый виновен по обоим пунктам.

Судья заявил, что он вынесет приговор в пятницу, то есть через два дня, и приказал подсудимому не покидать до той поры Вашингтона. Однако он милостиво разрешил, при столь же милостивом согласии сияющего мистера Уорда, чтобы нынешний залог остался в силе.

\* \* \*

Первым его чувством было то, что он ровно ничего не чувствует. Когда Брэди бросили в тюрьму, Сайласу показалось, что ему всадили нож в сердце; всем своим существом он стремился к Брэди, стремился снять с его плеч ту тяжкую ношу, которую он, Сайлас, на них навалил. Теперь



же, когда дело коснулось его самого, он не чувствовал ни ужаса, ни боли; его даже удивляло, куда девались его страхи, его чувствительность, его обычная ранимость.

Он подумал: надо позвонить Майре; такое известие она должна услышать только от него и ни от кого другого, и ему хотелось побыть одному. Он сказал Мак-Алистеру, что хочет остаться один; они встретятся с ним и с Мастерсоном потом, в гостинице. Сайлас нашёл в суде телефонную будку, вызвал Майру и всё ей сказал.

— Родной мой...

Вот и всё, что она произнесла.

— У меня есть ещё два дня до пятницы. Но я не могу уехать из Вашингтона.

— Тогда приеду я.

Он попытался объяснить ей, что она не должна приезжать. Билет стоит так дорого, а они уже истратили большую часть своих маленьких сбережений. Да и с кем она оставит детей?

— Насчёт детей не беспокойся. Сайлас, Сайлас, разреши мне приехать! Я хочу приехать. Понимаешь? И не волнуйся из-за денег. Я попрошу Сельму или ещё кого-нибудь побыть с детьми, а из Индианополиса самолёт вылетает в одиннадцать. Ну, разреши мне приехать, хорошо?

— Если хочешь, приезжай, — ответил Сайлас и рассказал ей насчёт Брэди, но Майра уже знала, и Сайлас никак не мог понять, почему она не так волнуется за Брэди, как он.

Сайлас шёл назад в гостиницу, словно во сне. Ну, конечно же, всё это сон. Всё это сон, и он — маленький мальчик, который бродит в ночной тьме. С этим он и пришёл в гостиницу.

Когда он перешагнул порог своей комнаты, навстречу ему поднялся Элберт Мастерсон и взял его за руки. Мак-Алистер лежал, вытянувшись, на постели и глядел в потолок.

— Сайлас, — сказал пастор, — как мне объяснить вам, что у меня на душе?

— Я так вас как следует и не поблагодарил, — ответил Сайлас.

— Не благодарите меня. Я старый человек, который вступает в долгую и жестокую битву. Сайлас, сын мой, тебе страшно?

— Не знаю.

— Я говорю себе, что не должен бояться, ибо сегодня мне было страшно. Но я не буду больше бояться, Сайлас, не бойся и ты. «Тот, кто познал страх и убоялся, пусть вернётся вспять». Скажи мне: помогут тебе дружба, любовь и поддержка старика?

Сайлас смотрел на него глазами, полными слёз.

— Не надо стыдиться! Но по ком ты плачешь?

«По себе? Нет, — подумал Сайлас, — и не по Майре и не по детям». И он сказал Мастерсону:

— Я плачу потому, что в моей стране живут такие люди, как вы и Брэди. Я чувствовал себя совсем потерянным, покуда вы мне об этом не напомнили. Мне показалось, что я ребёнок, затерянный во тьме. А теперь мне стало легко. И приезжает Майра.

— Вы хотите, чтобы я остался? Могу я вам чем-нибудь помочь?

— Теперь мне не нужна помощь, — улыбнулся Сайлас. — Ведь приезжает Майра. Всё будет хорошо.

Он подошёл к Мак-Алистеру и предложил ему привести себя в порядок — надо же идти обедать. Мак-Алистер не шевельнулся.

— Вставайте, Мак, — позвал его Сайлас.

Но тот не двинулся, и Сайлас спросил:

— Разве вы не слышали, что сказал пастор? Встаньте, чёрт вас возьми, и радуйтесь, что у вас есть возможность драться!

Мак-Алистер сел и вдруг заплакал.

— Перестаньте, — тихонько попросил его Сайлас. — Перестаньте. Ступайте вымойте лицо. А потом мы пойдём обедать.

За обедом все они почувствовали себя лучше, и к тому же оказалось, что они ужасно голодны. Они ели, слушая рассказ Мастерсона о его спорах с Брэди в самолёте. Старик был отличный рассказчик, а Брэди, видно, его совсем покори́л: он был полон к нему любви и восхищения.

После обеда Сайлас снял отдельную комнату для себя и для Майры, а потом Мастерсон сложил свои вещи и отправился с Сайласом в аэропорт. Сайласу казалось, что он ездил по этой дороге бесщётное множество раз, однако, когда Мастерсон улетел, он почувствовал себя очень одиноким и время ожидания казалось ему тягостным и бесконечным. Пока самолёт Майры не прибыл, он выкурил полпачки сигарет и выпил три чашки кофе... Но вот он прижал Майру к себе, ожидание было забыто, да и всё остальное куда-то ушло, и единственной реальностью была эта женщина, такая же, как он, и часть его собственного существа. И если он многому научился, то, пожалуй, не меньше всего другого он научился любить.

\* \* \*

Когда судья спросил Сайласа, хочет ли он что-нибудь сказать перед тем, как ему вынесут приговор, Сайлас обернулся, чтобы посмотреть на Майру; каким-то образом она догадалась, что он повернётся, и ждала его взгляда с таким выражением, которое бывало только у неё, с удивительным и только ей присущим выражением; оно сказало ему, что он близок и желанен. Что бы ни случилось, у них с Майрой теперь всё будет хорошо — и с ним тоже, с ним тоже.

— Да, — сказал он судье. — Мне кажется, что я должен кое-что сказать. Я не знаю, какой приговор вы решили мне вынести и повлияет ли на него то, что я сейчас скажу. Не важно. У меня есть что сказать, и я скажу. Мне всегда казалось, что я очень незаметный человек, такой же маленький человек, как миллионы других американцев, которые живут неприметно и так же неприметно умирают. И я думал, что больше мне ничего и не надо на свете: жить пристойно и воспитывать своих детей. Я люблю мою жену и очень люблю детей, поэтому я старался создать им такую счастливую и обеспеченную жизнь, какой сам я не знал в детстве. Немало людей к этому стремится, и мне кажется, что у нас была хорошая семья. Ведь я не честолюбив. Я старался быть хорошим учителем, и, может быть, я им был, хотя бы потому, что люблю своё дело и мне нравится, что происходит с людьми, когда они учатся и узнают то, чего раньше не знали. Я рассказываю вам о себе, не боясь наскучить обыденностью моего рассказа, только потому, что теперь я стал совсем другим человеком.

Я всё время думал, что на меня и на мою семью просто что-то свалилось; что-то злое, бессмысленное взяло вдруг да и обрушилось на нашу голову; думал, такая уж, видно, мне выпала судьба. А вот теперь я вижу, что судьба тут ни при чём, ибо во всём, что случилось, есть свой смысл. Я подписал воззвание о мире, осуждающее атомную бомбу. Я рад, что его подписал. Я ненавижу войну и ненавижу тех, кто готовит людям войну и смерть. Я американец. И стал я им не потому, что я так хотел. Я родился американцем и обязан жить в соответствии с тем, что я есть. Были сброшены две атомные бомбы, и тысячи невинных людей, таких же, как я и как моя семья, либо сгорели, либо были разорваны на куски, и я тоже несу за это ответственность. Никогда больше я не приму участия в подобных делах. Мне казалось, что я из чистого каприза отказался потворствовать такой затее, как гражданская оборона, но это не было

прихотью, и против войны у нас только одна защита: покончить с войной и с людьми, разжигающими войну.

Я не лгал. Я не совершал клятвопреступления. Я не совершал никакого преступления, которое карается законом, однако я преступник в глазах тех, кто правит нашей страной. Моё преступление состоит в том, что я не согласен вопить, призывая к безумной, бессмысленной бойне; я не хочу позорить мой собственный разум, моё сознание, мою культуру, наследие прошлых поколений, за которое столько людей отдало свою жизнь. Я не хочу и не буду этого делать.

Мне не хочется идти в тюрьму. Я хочу домой, к моим близким, которые нуждаются во мне не меньше, чем я в них. Но если для того, чтобы бороться с тем чудовищем, которое заполонило мою страну, надо пойти в тюрьму, что же, я пойду. Я не маленький человек. Мне только казалось, что я маленький. Нет на свете маленьких людей, ваша честь. Вы можете надо мной посмеяться, отправить меня в тюрьму, а потом рассказывать своим приятелям, как легко вам было засудить простачка-учителя; но всё это нисколько не изменит того, что произошло здесь, в зале суда, и не снимет с вас и с других людей тяжкой ответственности. Вы выпустили на волю страшное чудовище, которое погубит вас так же неминуемо, как вы пытаетесь погубить меня, с одной только разницей: меня нельзя уничтожить. И дело тут не в самомнении. Я человек скромный, может быть, слишком неприятельный, но я борюсь за жизнь, а вы — воины смерти.

Теперь я хочу поблагодарить вас за то, что вы меня выслушали. В более спокойном состоянии я, наверно, не сумел бы вам сказать всего того, что я сказал, и такими словами. Но я сейчас взволнован, и я должен был вам всё это высказать.

Судья слушал терпеливо. Когда Сайлас кончил, он кивнул головой. В зале суда присутствовали только помощник судьи, секретарь, приставы, Майра и Мак-Алистер. Судья не рассердился на Сайласа. Он был настроен очень благодушно.

— Учитывая, что это ваше первое преступление, и принимая во внимание ваши заслуги во время войны, — сказал судья, — я решил приговорить вас к трём годам заключения в федеральной тюрьме, по полтора года за каждое из совершённых вами нарушений закона, с последовательным отбывтием сроков наказания...

Когда на него надели наручники, Майре было разрешено подойти и поцеловать его. У них не было слов, которые они сейчас могли бы сказать друг другу; о том, что случилось, все слова уже были сказаны. О том же, что их ждёт, слова ещё не родились, но оба понимали, что, где бы они ни были, они ещё теснее и неразрывнее связаны друг с другом. И в этом смысле сегодня было для них не концом, а началом.

Нью-Йорк, апрель 1954 года.

*Перевод с английского*  
Е. Голышевой и Б. Изакова.



---

---

# ПРОБЛЕМЫ НАУКИ

## АТОМ НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕКА

★

Инженер А. БУЯНОВ

### ПОКОРЕННЫЙ ЭЛЕКТРОН

**Е**щё со времён древнегреческого философа Демокрита, одного из основателей атомистической теории, люди представляли себе атомы как мельчайшие частицы материи, абсолютно неделимые (по-гречески слово «атом» означает неделимое), неизменные, вечные, находящиеся в постоянном движении. Эта гипотеза просуществовала около двух с половиной тысяч лет, вплоть до начала нынешнего века, когда учёные проникли в недра атома и открыли, что он имеет сложное строение, является целой системой частиц.

Теперь мы знаем, что каждый атом состоит из центральной, положительно заряженной части — атомного ядра, образованного из двух видов элементарных частиц: протонов, несущих положительный электрический заряд, и нейтронов, не имеющих заряда. А вокруг ядра, образуя внешнюю оболочку атома, движутся отрицательно заряженные частицы — электроны.

Атомы являются мельчайшими носителями химических свойств вещества. Размер атома равен примерно одной стомиллионной доли сантиметра. Соединяясь друг с другом, атомы образуют молекулы, из которых и состоят все окружающие нас предметы и тела.

Познание физиками сложной структуры атома, его делимости, разложимости, способности к превращениям вызвало, по определению В. И. Ленина, новейшую революцию в естествознании. Современная наука нашла пути овладения атомной энергией. Это дало человечеству новые, огромной мощности, энергетические ресурсы.

В этой статье мы ограничимся рассказом главным образом о том, что представляет собой, так сказать, поверхностная энергия атома — энергия электронов, как люди научились использовать её для своих нужд.

#### *В лаборатории Вселенной.*

До недавнего времени человечество использовало лишь ту часть энергии атома, которая заключена в его электронной оболочке, а именно: химическую, световую, электрическую, магнитную. Электроны в своём непрерывном движении и перемещении вокруг атомного ядра создают силы, объединяющие атомы в молекулы, а последние — в различные вещества; энергия электронов рождает свет, магнетизм, электричество. Вселенная представляет собой гигантскую лабораторию, в которой непрерывно идут реакции между атомами и молекулами.

Химическими реакциями объясняется созидание и разрушение веществ в природе. Но испокон веков эти превращения вещества происходили почти независимо от человека. Только когда учёные раскрыли сущность химического взаимодействия между атомами, преобразование вещества стало осуществляться в огромных масштабах на многочисленных фабриках и заводах. С этих пор наступила эра коренной переделки неживой природы.

Самые различные преобразования, при которых одно сочетание атомов даёт ароматическое вещество, другое — взрывает гору, третье — радуёт взор цветами радуги, четвёртое — побеждает лихорадку, зиждутся на электронах, стремительно вращающихся вокруг своего атомного ядра. Они и обеспечивают химическое соединение атомов в молекулы, а молекул — в тела.

В современной технике тепло, получаемое при сжигании топлива, широко используется для выработки электрической энергии. Однако для того, чтобы превратить энергию «прыжков» электронов, совершаемых в топках, в энергию движения электронов в проводах, то есть в электрический ток, мы вынуждены пользоваться такими посредниками, как вода, паровые котлы, турбины и генераторы.

Нужны ли эти посредники? Может быть, есть другой путь, позволяющий непосредственно превратить химическую энергию топлива в электрическую?

В реакции горения участвуют атомы и молекулы, несущие электрические заряды. При химическом соединении этих заряжённых частиц происходит выделение тепла. И если бы удалось из химического соединения кислорода с углеродом или горючим газом извлечь электрическую энергию, то задача была бы решена.

На вопрос: «Возможно ли это?» — советская наука ответила: «Да!» По этому принципу строится новый, так называемый топливный элемент. На аноде такого элемента топливо разделяется на молекулы и атомы, а на катоде они «сжигаются», то есть производится их соединение с кислородом. Образующуюся при этом электрическую энергию можно «снимать» и использовать.

Современная техника широко использует магнетизм. Мощные магнитные краны, словно великаны, удерживают и переносят огромные по своей тяжести металлические предметы. С помощью намагниченных инструментов хирург выполняет тончайшие операции — удаляет металлические осколки из глаза. Незримые магнитные силы действуют и в заливающемся трелью электрическом звонке, и в стрекочущем телеграфном аппарате, и в телефоне, обеспечивающем разговор на расстоянии тысячи километров. Они же заставляют генераторы электростанций создавать электрический ток.

Первопричиной возникновения магнитных сил являются опять-таки вращающиеся электроны.

Когда в вечернем небе появляются звёзды, на земле вспыхивает масса искусственных огней. Это человек заставляет электроны излучать энергию в виде отдельных порций — квантов. В мире атома квант — большая величина. Энергией его можно, например, атом металла натрия забросить на высоту до 900 километров.

Кванты света (их называют также фотонами) образуются в результате «путешествия» электрона с одного энергетического уровня на другой под воздействием энергии, получаемой атомом со стороны.

От одного только смещения электрона в атоме на ничтожно малое расстояние пылают вольтовые дуги и накаляются нити электрических ламп. Все виды многообразных излучений, будь то светящийся циферблат часов или свечение раскалённого металла, мягкий свет люминесцентных светильников или «фонарики» глубоководных рыб, вызываются электронами.

Несмотря на присутствие вращающихся электронов, «жизнь» атома протекает спокойно. Однако первое же столкновение атома с квантом энергии нарушает это спокойствие. Атом различно реагирует на удары квантов разной энергии. Чем мощнее квант, тем больше совершает свой «прыжок» электрон, а отсюда — тем больше увеличивается частота и, соответственно этому, меньше длина волны излучаемого света.

Если квант обладает энергией в несколько электрон-вольт<sup>1</sup>, то при его воздействии на атом один из наружных электронов делает попытку оторваться от атомного ядра. Но атом крепко удерживает электрон, и он, возвращаясь на старое место, выбрасывает не помогшую ему освободиться энергию в виде фотона видимого света. Бывает и так, что электрон не сразу вернётся «домой», а сначала «погостит» миллионную долю секун-

<sup>1</sup> Электрон-вольт — энергия, которую приобретает один электрон, пройдя разность потенциалов в один вольт.

ды где-то на пути. В таком случае вместо одного фотона определённой длины волны он выбросит два фотона разной длины волны.

Свет звёзд и непрерывно льющийся на Землю солнечные лучи — свидетельство того, что рождение фотонов — одна из главных реакций, происходящих в мире атомов, заполняющих Вселенную.

Огромный водопад таких волн низвергается на Землю. Этому заливающему нас потоку солнечного света жизнь обязана и своим появлением и своим существованием. С помощью световых волн природа ежегодно расстиляет свою «скатерть-самобранку», на которой и ароматные фрукты, и питательные овощи, и вкусный хлеб, и полезный напиток — всё создано с помощью солнечного света и тепла.

Световые гонимые, которые идут к нам от звёздных миров, оказались своеобразными небесными иероглифами. С помощью спектроскопа они теперь легко расшифровываются, и учёные, читая их, узнают, из каких химических элементов и частиц атома построены звёздные миры.

### ***Бродячие электроны.***

До сих пор мы описывали «похождения» электронов внутри своего маленького домика — атома.

А что будет, если вдруг этот беспокойный «жилец» покинет атом? И возможно ли это? Ведь его крепко удерживает атомное ядро.

Атомы наделены огромными энергетическими возможностями, но когда они соединяются в молекулы, то у новой частицы, как правило, слабее и магнетизм и способность к дальнейшим химическим превращениям. В молекулах связь электронов с ядрами прочнее, чем в атомах. Когда из таких молекул образуется кристаллическое вещество, то оно приобретает ярко выраженные свойства изолятора — тела, не проводящего электрический ток.

Иное мы наблюдаем в кристаллах, образованных не из молекул, а из атомов. При охлаждении жидкого металла составляющие его атомы сближаются. Между ними широко проявляются силы межатомного притяжения. А поскольку эти силы у одинаковых атомов равны, то при соединении они образуют правильные группы — кристаллы. В кристаллах атомы сближаются настолько, что их внешние электронные слои пересекаются, а электроны, заселявшие эти слои, теряют привязанность к своему ядру и становятся достоянием любого другого ядра. Свободно перемещаясь, они связывают положительные ионы в металле.

Таково строение большинства металлов, независимо от того, сколько электронов из внешнего слоя освободили атомы для свободного путешествия по межатомному пространству.

Свободные электроны определяют многие свойства металлов. Если их достаточно для того, чтобы связать положительные ионы, то металл пластичен, хорошо проводит тепло и электричество. Когда же свободных электронов мало, появляется хрупкость. Из-за плохой связи ионов ухудшается теплопроводность и падает электропроводность.

Положите перед собой металлический и деревянный предметы. Прикоснитесь к ним рукой и определите, какой из них холоднее. На ощупь металлический предмет будет казаться холоднее деревянного, хотя температура того и другого одинакова. Это происходит потому, что тепло руки, прикоснувшейся к металлу, быстро отводится свободными электронами в глубинные части металлического предмета. Кровь не успевает пополнить потерю этого тепла, и мы воспринимаем поверхность металла как более холодную. В дереве свободных электронов нет. И потеря тепла не будет происходить так быстро, как в металле. Так наличием свободных электронов в металле объясняется его повышенная теплопроводность. Они же обуславливают и его электропроводность, поскольку свободно движущиеся электроны моментально переносят электрический заряд.

Движению свободных электронов в кристалле препятствуют атомы кристаллической решётки. Такое явление нам хорошо знакомо. Это — электрическое сопротивление, которое до некоторой степени можно уподобить трению.

Свойство металлов сопротивляться прохождению электрического тока с большой выгодой используется человеком. Тепло электрического утюга, плитки, чайника или другого нагревательного прибора есть результат «трения» движущихся электронов о неподвижный «скелет» кристаллической решётки. Энергия движущихся электронов, переходя в тепловое движение атомов, обеспечивает свечение вольфрамовой нити в электрической лампочке и высокую температуру накала в специальных проводниках всевозможных электрических приборов.

Изучив зависимость электропроводности от правильности кристаллической решётки, учёные стали создавать сплавы с заданным электрическим сопротивлением. Так был создан, например, сплав марганца, у которого сопротивление при нормальной температуре и при температуре, близкой к абсолютному нулю, одинаково.

### *Приручённый электрон.*

Электричество, перед которым некогда трепетали люди, выполняет сейчас массу поручений человека.

Электрический ток — это движение электронов по проводам. Электронные «реки» непрерывно текут по проводам под землёй и поверх неё, доставляя свет, тепло и энергию городам и сёлам, фабрикам и заводам.

Но электроны могут течь и без проводов.

В металлах много электронов, свободно движущихся в кристаллической решётке. Энергия движения электронов у некоторых металлов столь велика, что для «испарения» их достаточно воздействия световых лучей. Русский физик А. Г. Столетов ещё в 1888 году открыл, что свет, падая на металлическую пластинку, включаемую в электрическую цепь, вызывает ток. На способности фотонов отрывать свободные электроны от металла построен прибор — фотоэлемент, который прекрасно «видит» в темноте и в тумане, «присматривая» расстояния, в сотни раз большие, чем это смог бы самый зоркий человеческий глаз.

Во многих случаях фотоэлемент заменяет труд человека. Он бесценно может дежурить швейцаром, услужливо открывая двери, безупречно регулировать температуру, фотографировать, считать, взвешивать и выполнять сотни самых разнообразных работ. Во всех перечисленных случаях деятельность фотоэлемента, как и человеческого глаза, основана на способности превращать энергию световых лучей в другую.

«Электрический глаз», как стали называть фотоэлемент, — удивительное творение инженерного искусства. Это маленькая стеклянная колбочка, на внутренней стороне которой по слою серебра нанесена тончайшая плёнка цезия, циркония, калия, натрия или какого-либо другого, чувствительного к свету металла. К двум концам колбочки прикреплены металлические ножки. Одна из них, соединённая со светочувствительным металлом, является катодом, а другая, с выходящим внутрь металлическим колечком, — анодом.

Фотоны, падая на светочувствительный металл, повышают энергию свободных электронов, и они, порывая связь с йонами кристаллической решётки, вылетают из металла. Если фотоэлемент в этот момент включён в электрическую цепь, то силовое поле, словно ветер, несёт оторванные электроны от катода к аноду — это появляется электрический ток. Но стоит только погасить источник света, мгновенно прерывается и поток электронов. Они остаются в сфере притяжения йонов кристаллической решётки, и ток в цепи прекращается.

При освещении фотоэлемента от катода к аноду каждую секунду проносятся миллиарды электронов, но в общей сложности они дают весьма слабый электрический ток. Обычно его усиливают с помощью одной или нескольких радиоламп, и уже тогда он в состоянии привести в действие электромагнитное реле — прибор, способный замыкать, размыкать электрическую цепь, в которой протекает промышленный ток.

Небольшая коробочка, где смонтированы фотоэлемент, усилитель и электромагнитное реле, называется фотореле. Этот приборчик способен выполнять разнообразные работы. Фотореле может быть постоянно соединено с источником света незаметным световым «шнурком» и срабатывать в момент обрыва светового луча при пересечении

его непрозрачным предметом. Фотореле может и не быть соединено с источником света, а отвечать на первое появление светового сигнала, на изменение силы светового потока и даже «отличать» один цвет от другого. Эти принципы работы фотоэлемента положены в основу всех случаев его применения.

Человек не в состоянии так быстро и точно реагировать на световые сигналы, как это делает фотоэлемент, немедленно «отвечающий» на почти неуловимые для глаза вспышки света. Фотоэлемент отличает самые малые изменения в яркости света. В сотни раз тоньше человеческого глаза различает он и оттенки. Поэтому на производстве, где требуется особенно тщательный контроль продукции, с его помощью сортируются по величине и спелости плоды, разбраковываются по цвету продукты. Фотоэлемент обнаруживает незаметную для глаза разницу в окраске. Прекрасно «видит» фотоэлемент ультрафиолетовые и инфракрасные лучи.

«Электрический глаз» с каждым днём находит всё новое и новое применение. Он выполняет сложные и ответственные работы, контролируя различные производственные процессы, регулируя скорости, предупреждая об опасности; в лаборатории он производит точный анализ, а туристам в горах, находящимся на значительном расстоянии друг от друга, позволяет разговаривать без проводов.

Ещё большие возможности открылись для использования фотоэлементов в связи с изобретением нового электронного усилителя, который позволяет создавать приборы во много раз чувствительнее фотоэлементов.

Металлурги с помощью таких приборов могут управлять ходом плавки. Инженерам они позволяют конструировать автоматические станки, работающие под контролем фотоэлектронного прибора с огромными скоростями и обеспечивающие заданную по чертежам точность обработки. Химики заставляют новые приборы наблюдать за течением химических реакций и таким образом могут управлять невидимыми процессами. А врачи, соединив действие новых приборов с рентгеновскими, получают возможность производить тончайшие исследования тканей и органов человека.

Советские инженеры использовали электронный усилитель в созданной ими автоматической метеостанции. Такая станция — без людей — уже работает в малодоступных горных местностях и в различных районах нашей страны. Приборы фиксируют температуру, влажность и другие метеорологические данные. Со шкал приборов показания автоматически снимаются, перерабатываются в электрические импульсы и автоматически передаются по радио.

Мы рассмотрели приборы, в которых электроны отрываются фотонами видимого света. Но есть металлы, способные «испарять» электроны под воздействием инфракрасных лучей. На этом основано устройство электронного телескопа.

Лампа накаливания даёт много инфракрасных лучей. Их легко «отфильтровать» от остальных на эбонитовом фильтре. Такие лучи невидимы даже ночью. Но с их помощью можно различать скрытые в темноте и туманом предметы. Пучок инфракрасных лучей, направленный в пространство, отражается от встреченного предмета. Часть их возвращается обратно и воспроизводит на фотокатоде прибора электронное изображение облучаемого предмета. Затем оно переносится на флуоресцирующий экран и становится видимым.

Очень много нового может принести ещё «электрический глаз». Советские учёные усиливают ток фотоэлемента в миллиард раз, причём считают, что это далеко не предел возможного усиления. А фотоэлементы с такими усилителями позволяют, например, решить задачу непосредственного перевода солнечной энергии в электрическую.

### *Дальновидение.*

Фотоэлемент позволяет рассматривать и далёкие звёздные миры и видеть на экране транслируемые кинофильмы, спектакли, спортивные выступления.

С помощью телевидения нам открываются тайны и богатства большей части поверхности планеты, до сих пор скрытые под покрывающими её водами. Опуская приёмные аппараты в глубины океана, можно наблюдать жизнь его обитателей, обозревать



сокровища, которые там таятся, проникнуть в потухшие вулканы, заглянуть внутрь твёрдой оболочки Земли.

Основы наиболее совершенного способа приёма изображения на расстоянии заложены профессором Петербургского технологического института Б. Л. Розингом. Он использовал для этого новый прибор — электронно-лучевую трубку. По виду это небольшая стеклянная колба, являющаяся прожектором с мощным лучом из электронов. Луч выполняет в приёмнике роль электронного карандаша, воспроизводящего на экране сцены передаваемых действий.

Электронный передатчик телевидения изобретён С. И. Катаевым. Его прибор — тоже стеклянная колба. В горлышке, наклонённом вбок, помещена особая электронно-лучевая трубка. На дне колбы — необычный фотоэлемент, точнее, миллионы малюсеньких фотоэлементиков. Эти микроскопические зёрнышки светочувствительного металла нанесены изолированно друг от друга на поверхность слюдяной пластинки. Обратная её сторона покрыта сплошным слоем другого металла. Такая слюдяная пластинка одновременно работает и как мозаичный фотоэлемент и как групповой конденсатор, поскольку положительному заряду каждого микроскопического фотоэлемента на обратной стороне слюды соответствует отрицательный заряд в металлическом слое.

Наводим объектив аппарата на изображение, которое требуется передать сидящим за много километров от нас зрителям. Фотоны света от этого изображения падают на мозаичный фотоэлемент (катод прибора). Чем сильнее фотоны, тем больше электронов они выбивают из крупинки светочувствительного металла. Иными словами, на мозаичном фотокатоде возникает электрическая «фотография» того предмета, от которого летят фотоны, так как, выбивая электроны из катода, они фиксируют в светочувствительном металле изображение предмета электрическими зарядами. Тёмные части предмета посылают меньше фотонов, следовательно, на соответствующем месте катода выделится меньше электронов. Световые — наоборот.

Этой негативной картине, нарисованной положительными зарядами, с другой стороны катода соответствует позитивный отпечаток, выведенный отрицательными зарядами электричества. Каждая крупинка светочувствительного металла превращается здесь в элементарный конденсатор, заряд которого зависит от интенсивности света, упавшего на точечный фотоэлемент. Мгновенный «фотоснимок» невидим для глаза, но его уже можно передавать на расстояние.

Электронный луч с помощью силовых полей быстро обегает микроскопические фотоэлементики в такой же последовательности, как мы читаем книгу. Электроны при этом снимают положительные заряды с каждой крупинки мозаичного фотоэлемента. Одновременно в электрическую цепь уходит и отрицательный заряд из металлического слоя катода. Непрерывно электронный луч разряжает фотоэлементики, и непрерывно из металлического слоя текут электроны в цепь. Сила получающегося при этом электрического тока колеблется в зависимости от зарядов, бывших на каждой крупинке — фотоэлементике.

После усиления этот ток поступает на радиопередатчик. Вот он уже в приёмнике телевидения и наконец «добрался» до электронно-лучевой трубки с экраном из вещества, светящегося под воздействием электронов. Невидимая рука силового поля нарисует на экране электронным лучом то изображение, которое передаёт станция.

В недалёком будущем, возможно, появятся большие флуоресцирующие полотна вне приёмника. По таким экранам будет скользить электронный луч, рисуя, как волшебным карандашом, картины где-то далеко происходящих событий. На увеличенных экранах во всей своей прелести зацветут краски природы, а само изображение приобретёт объёмность.

Электронно-лучевая трубка, уничтожающая расстояние между зрителем и наблюдаемым событием, позволяет рассматривать и мир невидимого.

Великий русский учёный А. С. Попов обосновал главнейшие принципы радиопередачи и первым осуществил её. Он же положил начало и радиолокации. Советские учёные довели обе эти области электронной техники до высокого совершенства.

Принципы радиолокации лежат в основе приборов, позволяющих видеть на экране картину местности, над которой ночью или в тумане летит самолёт. Современные радио-

локационные установки не только обнаруживают далёкие предметы, но и устанавливают место, где они находятся.

Но и это далеко не всё, что может выполнить управляемый электрон. Советские учёные Л. И. Мандельштам и Н. Д. Папалекси нашли способ осуществить радиолокацию Луны. Пущенный туда радиолуч вернулся через две с половиной секунды в виде лунного эхо.

Открытие советских учёных ознаменовало возникновение новой науки — радиоастрономии. Едва успев зародиться, она уже бурно развивается, становясь могучим средством познания Вселенной. Радиоастрономия открывает новую эру в исследовании поверхности небесных спутников и в промере мировых глубин.

Будущие космонавты, пролетая мимо Земли, с улыбкой вспомнят, как это раньше люди безвыездно жили на своей планете, довольствуясь поездками к морю, восхождениями на горы. Между населёнными пунктами в солнечной системе будут курсировать межпланетные поезда, топливом на которых явится не уголь, не нефть и даже не газ, то есть не обычное, а ядерное топливо. На межпланетный рейс потребуется очень мало такого топлива. Например, четырнадцать кубических сантиметров ядерного топлива дают то же количество энергии, что и миллион кубометров газа, восемьсот кубометров угля или около пятисот кубометров нефти.

Наши химики работают над созданием новых материалов, в том числе и материалов для космических кораблей, а физики поставили на службу советскому народу атомную энергию. Советскими учёными и инженерами ведутся работы по созданию промышленных электростанций на атомной энергии мощностью 50—100 тысяч киловатт.

Строительство электростанций, потребляющих обычное топливо, почти всегда осуществляется там, где обеспечивается экономически выгодная доставка этого топлива. Иное дело с ядерным топливом, небольшие количества которого можно перевозить не эшелонами, а, образно говоря, в портфеле. Это открывает возможность строить энергетические станции во всех уголках нашей необъятной Родины.

«Сжигание» тонны обогащённого урана даёт столько тепла, что из него можно выработать около шести миллиардов киловатт-часов электроэнергии и около тонны радиоактивных веществ. При этом получается плутоний, которого достаточно для производства ещё такого же количества электроэнергии. Таким образом, производство атомной энергии сопровождается побочным производством радиоактивных элементов в таких количествах, которых за всё прошедшее время человечество не имело ещё в своём распоряжении.

Ядерная энергия, переведённая в электрическую, будет способствовать развитию промышленного производства и особенно таких его отраслей, как получение алюминия, ферросплавов, минеральных удобрений, химических и других продуктов.

Из ядерной энергии можно получить большое количество тепловой энергии. Тепло от атомной энергетической установки позволит теплофицировать города и сёла на огромной территории вокруг энергокомбината. При этом населённые пункты избавятся от загрязнений воздуха, а транспорт освободится от крупных перевозок топлива.

При помощи ядерной энергии можно разрушать горы, создавать искусственные моря, растапливать арктические льды, смягчать климат и менять облик больших районов. В недалёком будущем ядерное горючее будет передвигать и воздушные корабли.

---

**Инженер П. АСТАШЕНКОВ**

★

## **ПЕРВЫЕ ШАГИ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ**

История человечества знает немало замечательных открытий, которые знаменовали собой новую эру в развитии науки и техники. Первые паровые машины Ивана Ползунова, а затем Джемса Уатта означали, что люди вступили в эпоху пара. Создание электрогенераторов и сооружение впервые в мире линии электропередачи показали,

что на смену господству пара пришло электричество. В настоящее время в связи с решением проблемы высвобождения энергии из ядер атомов можно говорить о начале века атомной энергии.

Новый вид энергии открыл исключительно широкие возможности для увеличения общественного богатства, роста производительных сил, технического и культурного прогресса. Однако энергия атомных превращений может быть использована, как мы знаем, не только для мирных целей. Попав в руки агрессоров, она становится оружием массового уничтожения людей и разрушения огромных материальных ценностей. За примерами не надо далеко ходить. Величайшее открытие науки — атомную энергию — американские империалисты первыми применили для варварского истребления нескольких десятков тысяч человек мирного населения японских городов Хиросима и Нагасаки.

Жизненные интересы всего человечества говорят о необходимости применения энергии ядерной реакции только на благо народов. Верный своим принципам мирной политики, Советский Союз неоднократно вносил предложения изъять из вооружений государств атомное, водородное и другие виды оружия массового уничтожения. Наш народ глубоко заинтересован в том, чтобы новый вид энергии, представляющий собой неисчислимы энергетические ресурсы, был использован в мирных целях. Ярким свидетельством этого служит недавнее сообщение ТАСС о готовности Советского правительства передать накопленный в СССР опыт по созданию первой атомной электростанции и её работе. Широкий отклик у народов всех стран получило также решение Советского правительства оказать научно-техническую и производственную помощь другим государствам в использовании атомной энергии для мирных целей, в организации исследований в области ядерной физики, постройке необходимых для этой цели сложных установок.

Эта высокогуманная, миролюбивая политика Советского государства является полной противоположностью человеконенавистнической политике агрессивных кругов капиталистических стран, и прежде всего Соединённых Штатов Америки, которые, преследуя лишь интересы получения монополистами максимальных прибылей, всеми средствами пытаются убедить народы в необходимости гонки вооружений. Однако как ни стараются поджигатели войны доказать, что военное применение атомной энергии неизбежно, а мирное — ещё невозможно, широкая международная общественность ясно видит на примере Советского Союза, что новый вид энергии с успехом может быть использован для повышения благосостояния людей.

### ***Методы получения атомной энергии.***

Атомной, или, точнее, ядерной, энергией называют ту энергию, которая выделяется при превращении ядер одних химических элементов в ядра других элементов.

Энергия малой мощности, выделяющаяся при распаде радиоактивных веществ, широко используется у нас в промышленности и сельском хозяйстве. Метод «меченых атомов» стал важнейшим способом исследования всевозможных химических и биологических процессов, таких, например, как обмен веществ в организме, фотосинтез, диффузия, изучение химических реакций, определение возраста геологических пород. Серьёзное значение для целей дефектоскопии в машиностроении, судостроении, металлургии, строительстве и других отраслях приобретает просвечивание материалов гамма-лучами, испускаемыми радиоактивными веществами, для определения пороков в готовых изделиях. Советская медицина с успехом применяет радиоактивные изотопы для диагностики и лечения болезней щитовидной железы, злокачественных опухолей, кожных заболеваний.

Известны два пути выделения больших количеств ядерной энергии. Это цепные, лавинообразные реакции распада, то есть деления тяжёлых ядер, например, урана, и реакции слияния. синтеза, например, образование из ядра водорода ядра гелия. Реакции синтеза являются, повидимому, основным источником звёздной и солнечной энергии.

При цепной реакции некоторых изотопов высвобождается энергия, в миллионы раз превосходящая энергию, получающуюся при химических превращениях, допустим, при горении такого же количества вещества. Так, при делении всех атомных ядер одного килограмма урана освобождается столько энергии, сколько вырабатывает электростанция

мощностью в 100 тысяч киловатт в течение десяти суток. Такое же количество энергии может быть получено при сжигании трёх тысяч тонн каменного угля.

На основе ядерных реакций были созданы атомная и водородная бомбы. В этих случаях происходят цепные реакции взрывного типа, когда за исключительно короткий промежуток времени порядка миллионных долей секунды выделяется огромное количество энергии. Достаточно сказать, что атомный взрыв вызывает, например, повышенные давления до миллионов атмосфер и температуры до десятков миллионов градусов (температура поверхности Солнца —  $6000^{\circ}\text{C}$ ). В момент взрыва происходит ослепительно яркая вспышка, которая при наблюдении на расстоянии пятнадцати километров от места взрыва превосходит яркость Солнца, наблюдаемого с Земли, приблизительно в сто раз. Взрыв сопровождается одновременным действием мощной ударной волны, сильного светового излучения, проникающей радиации, которая состоит из потока нейтронов и гамма-лучей, а также выпадением на землю радиоактивных веществ, заражающих воздух и местность. Примерно в восемь—десять раз более мощным, чем атомный взрыв, является водородный взрыв.

Наука разработала методы управления ядерными реакциями. Установки, в которых осуществляются цепные реакции деления ядер, называются ядерными реакторами, или атомными котлами. Внешне они отнюдь не напоминают собой котлы в обычном смысле слова. Это, скорее, корпуса больших заводов с трубами и подсобными службами.

Чтобы яснее представить себе процесс производства атомной энергии, совершим мысленно экскурсию внутрь атомного котла — сооружения высотой в несколько десятков метров, с толстыми железобетонными стенами. Заглянем в так называемую активную зону реактора, главную часть которой составляет решётка из стержней светлого металла — урана, помещённая в графитовый блок. В этих стержнях и происходит реакция деления ядер урана. Она начинается так. В одно из ядер урана попадает нейтрон — нейтральная, не имеющая заряда частица, которая всегда может оказаться внутри этого металла. Ядро урана, подобно снаряду, в котором сработал дистанционный механизм, взрывается. При взрыве из ядра вылетают два-три новых нейтрона. Они вызовут взрывы других ядер, из которых появятся новые нейтроны. Процесс деления ядер урана, таким образом, станет непрерывным. В ходе реакции выделяется громадное количество тепла. Оно поглощается специальным охладителем (обычная вода, газы или жидкие металлы) и уносится им за пределы котла.

Урановые стержни окружены графитом. Это замедлитель нейтронов — частиц, вызывающих деление ядер. Кроме графита, в качестве замедлителя может быть использована тяжёлая вода (соединение тяжёлого изотопа водорода — дейтерия — с кислородом), играющая в атомной технике исключительно важную роль.

Понять назначение замедлителей нетрудно, если иметь в виду, что естественный уран, из которого состоят стержни, содержит в своём составе два близнеца-изотопа, то есть такие атомы, которые отличаются атомным весом и имеют различное число нейтронов в атомном ядре: уран-235 и уран-238. Оба изотопа по-разному ведут себя в отношении деления нейтронами.

Ядра урана-235 сравнительно легко распадаются при попадании в них нейтрона, летящего с любой скоростью, и особенно эффективно воздействуют на них нейтроны, имеющие очень малую скорость, порядка 2,5 км в секунду (нужно сказать, что эта «малая» для нейтронов скорость всё же в несколько раз больше скорости современного реактивного самолёта). Ядра урана-238, напротив, делятся лишь при попадании в них очень быстро летящих нейтронов, а таких в стержнях оказывается меньше 10 процентов. Если не регулировать скорость вылетающих из ядер нейтронов, то может оказаться, что она будет или мала для того, чтобы нейтрон мог вызвать распад ядер урана-238, или велика, чтобы обеспечить высокую вероятность деления ядер урана-235. В результате ядерная реакция может прекратиться. Поэтому искусственно снижают скорости нейтронов с помощью замедлителей. Тогда увеличивается доля нейтронов, вызывающих деление ядер урана-235, и реакция в котле носит цепной (лавинообразный) характер.

Теперь зайдём в здание, расположенное рядом с котлом. Здесь мы увидим щит управления реактором с различными приспособлениями и сигнализационными лампоч-

ками. Главными являются приборы, измеряющие поток нейтронов в реакторе. По показаниям этих приборов судят о скорости течения реакции в котле. Если нейтронов слишком много, скорость реакции велика, внутрь котла вводится система стержней, выполненных из кадмия или бористой стали, жадно поглощающих нейтроны. Если, наоборот, число нейтронов падает, стержни выдвигаются из котла, реакция идёт интенсивнее. Одна из рукояток связана с системой стоп-стержней, изготовленных также из кадмия. Вдвигая их в объём котла, можно полностью остановить течение реакции.

До сих пор речь шла о стационарных реакторах, применяемых, например, для производства ядерного горючего или на атомных электростанциях. А как же использовать реакторы, скажем, для нужд транспорта, как уменьшить их вес и размеры? С этой целью искусственно (а это осуществить вовсе не так просто) увеличивают в природном уране долю изотопа  $^{235}$ , то есть, как говорят, обогащают природный уран. В этом случае цепная реакция деления ядер урана происходит на более высоких скоростях нейтронов, чем обычно. Поэтому могут быть взяты меньшие критические объёмы котла.

Конечно, учёным предстоит ещё много потрудиться над созданием новых типов атомных котлов и совершенствованием происходящих в них процессов.

### *Атомная электростанция.*

Скоро исполнится год, как в нашей стране построена и вступила в эксплуатацию уникальная промышленная электростанция. Первые в истории техники турбина работает здесь не за счёт сжигания угля, нефти или торфа, а за счёт атомной энергии, получающейся в результате расщепления ядра атома урана. Это большая победа советской научно-технической мысли, намного опередившей всё, что делается в этом отношении за рубежом. Достаточно сказать, что в США и Англии постройка первых ядерных электростанций планируется на отдалённые сроки.

Основная часть электростанции нового типа — ядерный реактор, где протекает процесс деления ядер урана- $^{235}$  и выделяется тепло. В теплообменнике вырабатывается пар. Пар направляется к турбине, которая, вращаясь, приводит в действие электрогенератор. От него электрическая энергия направляется потребителям — промышленным предприятиям, жилым домам, на транспорт.

Было бы ошибкой полагать, что преобразование атомной энергии в электрическую достигается довольно легко. На этом пути встречаются огромные трудности. Прежде всего необходимо добиться, чтобы все части реактора могли выдерживать сверхвысокие температуры и местные перегревы. Другая важная задача — защитить металлические конструкции от окисления, очень интенсивно развивающегося здесь благодаря определённым условиям. Кроме того, радиоактивное облучение нарушает нормальную структуру ряда материалов. При высокой температуре и значительной отдаче энергии котлом может происходить даже полное разложение сплавов и смазочных веществ.

Сложным делом является организация бесперебойного отвода тепла от реактора. Охладитель должен обладать способностью быстро поглощать и отдавать большое количество тепла, иметь высокую температуру кипения, воспринимать малое количество нейтронов. Обычно для этой цели применяются воздух, вода, ртуть, натрий, калий. Но выбором охладителя дело не заканчивается. Жидкие металлы-охладители, вытекая из котла, обладают высокой радиоактивностью. Значит, трубы, по которым они текут, и теплообменник, где они отдают тепло, нужно окружить надёжной защитой во избежание поражения персонала радиоактивными излучениями. Наконец, серьёзного внимания требует создание автоматической системы управления работой котла. Всё должно быть устроено так, чтобы без вмешательства рабочих удалять урановые стержни, заменять их, перемещать регулирующие и стоп-стержни.

Важное преимущество атомной электростанции по сравнению с обычной, работающей на угле или нефти, заключается в том, что она требует исключительно мало горючего — урана. Такая электростанция большой мощности расходует в сутки около килограмма урана. Это количество «топлива» легко уместить в небольшой коробке. А ведь для тепловой станции той же мощности нужно двенадцать железнодорожных составов

с углем. Вот почему особенно велики перспективы использования ядерных электростанций в районах, удалённых от источников обычного топлива.

Ядерное горючее атомных электростанций не нуждается для своего «горения» в подаче воздуха и не даёт такого большого количества отходов, как обычное топливо. Всё это позволяет сократить обслуживающий персонал.

Необычен и внешний вид сооружения. Мы не увидим здесь ни дымящих труб, ни копоти. Промышленная атомная электростанция Академии наук СССР, например, расположена в обычном трёхэтажном здании, в котором установлен атомный котёл сравнительно небольшого размера. Он расположен за мощной бетонной защитой, предохраняющей работников станции от воздействия радиоактивных излучений. Управление атомным котлом и всеми другими агрегатами станции производится с общего пульта управления.

Мы говорили о преобразовании атомной энергии в электрическую посредством последовательного превращения её сначала в энергию пара, механическую работу и так далее. Чрезвычайно большое народнохозяйственное значение будет иметь решение задачи непосредственного преобразования ядерной энергии в электрическую без каких-либо промежуточных стадий. Сделать это можно, например, путём создания разности потенциалов за счёт улавливания зарядов, образующихся при делении атомных ядер. С этой целью котёл, где происходит цепная реакция, окружают двумя оболочками разной толщины — тонкой внутренней и массивной внешней. Осколки ядер, легко пробивая первую оболочку, будут задерживаться второй, где произойдёт, таким образом, накопление положительного заряда. И, наоборот, частицы, несущие на себе отрицательный электрический заряд, обладающие малой массой, будут задерживаться внутренней оболочкой, и на ней начнёт накапливаться отрицательный заряд. Между оболочками появится разность потенциалов, и при соединении их проводником в цепи потечёт ток.

Для непосредственного преобразования атомной энергии в электрическую могут быть применены термоэлектрические генераторы. Они состоят из большого числа термопар — соединений разнородных проводников. Если одни места этих соединений (спаи) держать горячими, а другие — охлаждать, можно превратить термопары в источники тока. Термоэлектрический генератор обладает очень ценными свойствами. Он не содержит никаких движущихся частей или механизмов, удобен и прост в обслуживании.

Если создание рассмотренных нами атомных электрогенераторов не выходит пока за рамки предположений, то уже найдены совершенно реальные способы создания аккумуляторов путём применения искусственных радиоактивных веществ, получаемых в атомном котле.

Один из типов атомных батарей основан на использовании радиоактивного элемента полония и термопар. Кусок этого металла заключают в капсулю. Тепло, выделяющееся при радиоактивном распаде ядер полония, передаётся термопарам, преобразующим тепловую энергию в электрическую. Величину получаемого напряжения и тока можно менять, подбирая различное количество термопар.

Известно также, что металл стронций, помещённый в атомный котёл, становится радиоактивным, начинает обильно испускать электроны. Пластинку радиоактивного стронция, толщина которой составляет десятые доли миллиметра, наносят на слой кварцевого полупроводника. Этот слой кварца обработан особым образом так, что в нём увеличено число электронов, слабо связанных с атомами. В результате электроны, с большой энергией вылетающие из стронция, размножаются, захватывая электроны из полупроводника. Причём каждый электрон стронция захватывает много тысяч электронов полупроводника. Используя стронций и полупроводник как электроды, можно получить в цепи электрический ток и подвести его к потребителям. Батарея таких элементов может разряжаться определённой силой тока в течение нескольких лет. Аккумуляторы с использованием радиоактивного стронция и кварцевого полупроводника испытаны в лаборатории для питания радио- и телефонных установок.

Несомненно, всё это — лишь первые шаги на пути использования возможностей, появившихся в связи с открытием методов производства атомной энергии. Дальнейшее совершенствование атомных электростанций будет способствовать непрерывному прогрессу нашей энергетики.

### *Двигатели на ядерном горючем.*

...Серебристая «Победа» быстро мчится по широкой автостраде. Пролетают мимо заснеженные поля, посеребрённые инеем зимние леса. Позади 300, 500, 700 километров. Но водитель и не думает останавливаться для заправки машины. У него ещё в запасе несколько граммов горючего, а этого хватит на десятки тысяч километров пути!

Как читатель догадывается, такие условия эксплуатации автотранспорта могут быть достигнуты с применением атомной энергии. Не утопия ли это? Нет, принципиально возможно построить для автомобилей двигатель, работающий на ядерном горючем. Представим себе небольшой реактор, содержащий несколько цилиндров с поршнями. В них под давлением вводится ядерное горючее в газообразном состоянии. Поршень, перемещаясь, сжимает газ и доводит его до нужного объёма, когда начинается цепная реакция деления ядер. Выделяющаяся при этом энергия с силой выталкивает поршень, объём газа становится таким, что реакция в этом цилиндре прекращается. Однако в то же время соответствующий процесс происходит в другом цилиндре. И так поочерёдно в каждом цилиндре. В результате атомная энергия будет преобразовываться в механическую энергию работы поршней, а она и заставит двигаться машину.

Разумеется, по сравнению с обычным автомобилем придётся принять дополнительные меры, особенно по предупреждению воздействия вредных излучений. Да и самые цилиндры пришлось бы сделать из такого металла, который сможет хорошо отражать нейтроны, во избежание их потерь. Но зато какие исключительные данные имел бы автомобиль с атомным двигателем! На 200 тысяч километров пути при мощности, одинаковой с двигателем «Победы», он расходовал бы всего лишь несколько граммов урана, в то время как «Победа» требует свыше 20 тонн бензина.

Перспективы применения атомных двигателей велики не только в автомобильном транспорте, но и в авиации, морском флоте, на железных дорогах.

Однако приходится иметь в виду, что защита от радиации, излучаемой ядерным реактором, существенно утяжелит подобный двигатель. Вес проектируемой «атомной топки» локомотива мощностью около семи тысяч лошадиных сил примерно составит 20 процентов веса самого локомотива и достигнет 100 тонн.

Другой характерной чертой атомного двигателя является то, что при его использовании отпадает необходимость подачи огромного количества воздуха, которое требуется для сжигания обычного топлива. Он нуждается лишь в охладителе, например, в воде. И, наконец, последнее важное свойство атомного двигателя — малый расход горючего. Так, например, атомный локомотив мощностью в семь тысяч лошадиных сил будет потреблять в год всего 4,4 килограмма урана.

Одним из возможных применений атомного двигателя с урановым котлом является установка его на крупных подводных лодках. Как известно, при подводном плавании приходится периодически заходить на базу для пополнения запасов горючего, что, естественно, значительно ограничивает дальность сообщений. Применение ядерного реактора, не требующего для своей работы воздуха, позволит лодке подолгу непрерывно находиться под водой, причём избыток энергии реактора может быть использован для получения кислорода, необходимого людям. Поэтому подобные лодки могли бы действовать на большом удалении от баз.

Представляет большой интерес применение ядерного горючего на надводном флоте. Специалисты подсчитали, что за время трёхсотдневного рейса со скоростью около 40 километров в час судно с атомным двигателем израсходует 13 килограммов урана-235 вместо 31 тысячи тонн угля.

Использование ядерной энергии в авиации позволяет в принципе решить проблему сверхдальних сообщений. Возможно создание различных видов атомных двигателей для самолётов и ракет. Речь может идти, например, об установке на самолёте уранового котла и преобразовании выделяемого им тепла в энергию пара, которая будет приводить в движение турбину и воздушные винты. Вероятны также атомные турбореактивный и ракетный двигатели, в которых место камер сгорания займёт ядерный реактор.

Считается, что первоначальное применение атомные двигатели могут найти в беспилотных средствах и управляемых снарядах. На таких машинах нет экипажей, и по-

этому отпадает необходимость создания защиты от радиации. Подсчёты показывают, что самолёты с атомными двигателями смогут покрывать дальность, в четыре раза большую, чем современные аэропланы, и развивать скорость, в два-три раза превышающую скорость звука.

От создания такого типа воздушных кораблей один шаг к постройке ракет для межпланетных сообщений. Подобную ракету можно представить себе состоящей из нескольких отсеков, в которых находились бы приборы управления (в носовой части), атомный котёл и инертное вещество, выбрасывание которого через сопло сообщает ракете нужную для полёта реактивную отдачу. Инертная масса, например, тяжёлый газ, проходит через атомный котёл, сильно нагревается и выбрасывается из ракеты с огромной скоростью. При этом сама ракета может приобрести скорость, вполне достаточную для преодоления силы земного притяжения и полёта в космическом пространстве.

### ***Запасы ядерной энергии.***

Картина была бы неполной, если бы мы, рассказав о возможностях применения атомной энергии в различных отраслях народного хозяйства, не охарактеризовали реальные ресурсы её, на которые может рассчитывать человечество.

Вообще говоря, запасы ядерной энергии неограниченны, так как каждое вещество, встречающееся в природе, состоит из атомов и имеет внутриатомную энергию, которую можно освободить. Но пока что люди научились выделять атомную энергию лишь за счёт деления тяжёлых ядер урана и синтеза лёгких ядер водорода. Поэтому только те вещества, которые в настоящее время практически используются для высвобождения ядерной энергии, и считаются ядерным горючим. Что же это за вещества?

Для реакции деления тяжёлых ядер обычно берётся уран с атомным весом 235. В составе естественного металла урана его всего 0,7 процента. Правда, и остальная часть естественного урана — 99,3 процента — находит применение. Искусственным путём, в атомных котлах, она превращается в элемент плутоний, так же как и уран-235 являющийся ядерным горючим. Таким образом, уран даёт два вида делящихся веществ — уран-235 и плутоний.

В природе в чистом виде уран не встречается, а содержится в различных рудах, в частности в наиболее богатой ураном руде уранините (урановая смоляная руда). В ней в виде окислов имеется до 80 процентов урана. Подсчитано, что в земной коре находятся тысячи миллиардов тонн урана. Правда, значительная часть его рассеяна и трудно доступна для добычи.

В капиталистическом мире идёт ожесточённая борьба за обладание запасами урана. Империалисты США изо всех сил стараются прибрать к рукам урановые разработки в других странах. Так, например, американцы почти полностью вытеснили англичан и бельгийцев из урановой промышленности Бельгийского Конго (Африка), где имеются очень крупные месторождения смоляной руды. В Соединённые Штаты Америки отправляется и урановая руда, добываемая в Канаде. В своей собственной стране американские бизнесмены ведут лихорадочные поиски урановых руд и интенсивно разрабатывают месторождения руд низкого качества, так называемых карнититов. Показателем этой безудержной погони за ураном могут служить такие данные. Если в 1940 году на закупку урана США затратили шесть тысяч долларов, то к 1954 году эта сумма возросла до десяти миллиардов долларов, то есть увеличилась за четырнадцать лет в миллион с лишним раз.

Значительные месторождения урановых руд имеются в Австралии. Однако и здесь примерно две трети добычи захватывается Соединёнными Штатами Америки, а остальное достаётся Англии. Аналогичное положение создано с разработками в Южно-Африканском Союзе, Бразилии и других странах.

Процесс получения чистого урана весьма трудоёмок. Сначала урановую руду отделивают от пустой породы, затем растворяют её в кислотах. В результате этого удаётся получить раствор урана, где осаждаются примеси, которые затем удаляются. Требуется особо тщательная очистка урана от некоторых веществ, например, бора и кадмия, так



как они способны легко захватывать нейтроны и потому могут мешать нормальному течению ядерной реакции. Делают так, чтобы их приходилось не более одного грамма на тонну урана.

Но вот получен чистый уран. Это отнюдь не значит, что получено ядерное горючее, каким может быть лишь уран-235, содержащийся в естественном уране в малом количестве. Надо отделить его от других составных частей. Это также не простое дело, потому что составные части, входящие в уран, не отличаются друг от друга по своим химическим свойствам. Пользуясь одним из методов — диффузионным, — требуется четыре тысячи раз пропустить газообразное соединение урана через мелкопористые фильтры, чтобы получить значительное количество урана-235.

Существует ещё электромагнитный метод выделения урана-235 из естественного урана. Он также требует большого количества электроэнергии, сложного электрического и механического оборудования. Для характеристики оборудования завода электромагнитного разделения изотопов урана достаточно сказать, что один из его магнитов весит несколько тысяч тонн.

Из естественного урана можно получить и другой вид ядерного горючего — плутоний. Он получается в атомных котлах. Правда, если помещать в котёл стержни из естественного урана, то требуется большое количество замедлителя. Реакция будет идти на медленных нейтронах, и плутония будет получаться значительно меньше количества «сгорающего» урана-235.

Кроме урана, источником ядерного горючего является ещё более распространённый в природе элемент — торий. В атомном котле он превращается в уран с атомным весом 233, являющийся ядерным горючим. Металл торий — более лёгкий, чем уран, его удельный вес 11,6 грамма на кубический сантиметр. Залежи ториевых руд имеются в Индии, Бразилии, на острове Цейлон, в Австралии. Высоким содержанием окиси тория отличаются чёрные монацитовые пески, месторождение которых есть в Индии.

Уран и торий пока единственные источники получения делящихся веществ. Но природные запасы этих элементов так велики, что при использовании их для промышленных целей человечество может обеспечить себя энергией на десятки тысяч лет.

Выше мы говорили о выделении энергии в реакциях деления ядер тяжёлых элементов. Ещё более могучим источником энергии являются термоядерные реакции синтеза лёгких ядер в тяжёлые.

В качестве горючего для термоядерной реакции могут быть применены изотопы водорода — тяжёлый водород (дейтерий), сверхтяжёлый водород (тритий) и такие лёгкие элементы, как, например, литий.

Водородное ядерное горючее также широко распространено на земле. Дейтерий содержится в составе тяжёлой воды, которая в виде очень малых примесей к обычной воде есть во всех водных источниках земного шара. Тяжёлый водород выделяется посредством разложения электрическим током обычной воды. Другая часть водородного ядерного горючего — тритий — получается искусственным путём в атомных котлах при бомбардировке нейтронами атомов лития.

При производстве водородного ядерного горючего встречаются гораздо меньшие трудности, чем при производстве делящихся веществ. Прежде всего водородное сырьё доступнее и дешевле, а обработка его менее сложна.

Советские учёные настойчиво трудятся над осуществлением управляемых термоядерных реакций, для того чтобы скрытые в них гигантские запасы энергии поставить на службу народу, на благо нашей социалистической Родины.



---

---

# ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

*По страницам иностранных литературных журналов*

## ОТЧАЯНИЕ И ВЕРА

*Франция*

Знакомство с французским журналом «Тан модерн» правильнее всего начать с перевода его названия. Могут быть три варианта перевода: «Новейшее время», «Новые времена», «Современные времена». Первые два хорошо звучат по-русски, но не вполне соответствуют значению слов «Тан модерн» и, возможно, придают заглавию смысл, который вовсе не имеет в виду редакция журнала; третий вариант кажется неуклюжим, но зато это более точный перевод, и он подсказывает, что правильнее всего перевести на русский язык название журнала одним словом — «Современность». Это подтверждается не только чисто «лингвистическими» средствами, а вытекает также из самого содержания журнала, который ставит своей целью знакомить читателей с тем, что происходит в мире сегодня, помочь им осмыслить время, в которое они живут.

«Тан модерн», ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. № 108. Декабрь. 1954. Год издания 10-й. Париж. Главный редактор Жан-Поль Сартр.

★

На страницах журнала «Тан модерн» печатаются прозаические и поэтические произведения французских и иностранных авторов, много места уделяется публицистическим статьям, ведётся постоянная хроника событий в жизни театра и кино.

Раскроем последний, 108-й номер журнала за истекший год и познакомимся с теми художественными произведениями, которые в нём напечатаны. Как в них отражена современность, что нового узнали читатели журнала, над чем предлагают им задуматься авторы на пороге 1955 года?

...Дневник немецкого писателя Гюнтера Андерса. Западный Берлин. 1953 год. Короткие записи. Каждое слово в них проникнуто глубокой болью человека, которому тяжело видеть многочисленные руины в родном городе. «Сегодня, ещё сегодня, восемь лет спустя, ходишь только по плану города, но не по самому городу» — так начинается дневник, озаглавленный автором «Сегодняшний день в руинах». Читаешь эти написанные, как стихотворения в прозе, страницы и испытываешь желание дать дневнику Гюнтера Андерса ещё и прозаический подзаголовок: «Вот что принесла Берлину, немецкому народу развязанная гитлеровцами война».

Но зачем автор описывает развалины и мысли человека, живущего среди развалин? Что это — только желание вылить свою боль отточенными словами или во всём этом есть своя цель, свой глубокий замысел?

Обратимся к дневнику. «Представление «Чаши» Шона О'Кейси в Шиллер-театре, восстановленном среди развалин района Кние. Провокаторы воспользовались одной из сцен второго акта — мир в развалинах после первой мировой войны, — чтобы поднять шум в зале. Казалось, что снова вернулся 1932 год. То, что видят эти люди по дороге в театр, то, что они видят, выйдя из него, всё, гораздо более страшное, что они видят сто раз на день, — возмущает их сейчас, когда они видят это на сцене. Можно подумать, что только воспроизведение делает видимое видимым и реальное реальным... «Позор! Довольно!» — кричали они, когда санитары-статисты уносили на сцене раненых в лазарет; простое изображение в театре того, что война уничтожает людей, — вот что они называют скандалом. В действительности они находили скандалным лишь то, что им показывали подлинную правду». И Гюнтер Андерс рассказывает дальше, как писал свои картины, изображающие бедствия войны, Гойя. «Хозяин, зачем вы рисуете это?» — спрашивал слуга, державший факел, когда великий испанский художник делал свои

наброски ночью близ поля боя, среди искалеченных и изувеченных людей. «Чтобы они видели, что они делают, и когда они увидят, они не станут этого никогда больше делать». «Он рисовал, — заключает автор дневника, — чтобы того, что он рисует, не было. Это «чтобы не было» — единственное оправдание изображению отвратительного, и это — наше оправдание».

Эпизод из жизни Гойи, рассказанный Гюнтером Андерсом, по всей вероятности, принадлежит к числу вымышленных. Великий художник не мог разговаривать со своим слугой — он был глухим в те годы, когда создавал свою знаменитую графическую серию «Бедствия войны» (1808—1820). На поле сражения он не слышал даже стрельбы из пушек. Но не это хотелось нам заметить, не это существенно и важно, — нередко легенда раскрывает облик человека ярче, чем подлинные факты его жизни. В этом эпизоде существенно другое, поскольку Гюнтер Андерс делает из него для себя выводы, определяющие его (и не только его) творческую манеру и отношение к жизни.

Только ли бедствия войны запечатлены Гойей в одноимённой серии его рисунков? Нет, чтобы «этого не было», художник не только изобразил бедствия войны, он показал мужество испанского народа, защищавшего свою свободу от наполеоновских полчищ, и его неиссякаемую творческую силу. На одной из гравюр, запрещённой и не вошедшей в серию «Бедствия войны», мы видим крестьянина, измученного, голодного, с мотыгой в руках, стоящего на разорённой войной земле. Рядом с ним женщина, указывающая на пламенеющую в лучах солнца даль. За ней — поля, деревья в плодах, снопы пшеницы. Рукой художника написано: «Вот истина».

Мы напомнили об этом не из желания упрекнуть немецкого писателя в том, что он не изображает и не хочет изображать в своём произведении ничего, кроме развалин. Мы далеки от мысли, что написанное им не побудит людей бороться против угрозы новой военной катастрофы. Мы только хотели сказать, что искусство многообразно и сила его в многообразии. Торжеству дела мира служат и картины бедствий войны и полотна, на которых человек строит мир. Примером Гойи Гюнтер Андерс утверждает своё право и свой долг неустанно напоминать людям, что им несёт война. Примером того же великого художника нам хотелось напомнить и о долге мастеров культуры помогать людям поднимать мир из руин и бороться против тех, кто несёт с собой гибель и опустошение.

Дневник Гюнтера Андерса заставляет задуматься о многом. Тяжело видеть разрушенным то, что в течение веков создавалось упорным трудом человека. Но ещё тяжелее и невыносимей видеть, как разрушают в человеке человеческое. Ведь в создание человеческой морали вложен ещё больший труд, чем в создание любого древнего города. А много ли нужно, чтобы её разрушить там, где она ещё не окрепла, — в душе подростка?

На этот вопрос отвечает повесть французского писателя Леона Венижеля, опубликованная в том же номере журнала. Она напечатана не целиком, но и по отрывкам её можно судить о замысле автора.

На первый взгляд судьба юного героя повести складывается относительно благополучно. Сразу же после окончания войны ему, потерявшему семью, удаётся пробраться из Лотарингии в Париж. Здесь добрые люди помогают ему устроиться посыльным в гостинице, занятой американскими офицерами. У подростка теперь есть крыша над головой, одежда, заработок. За свои услуги он получает от офицеров чаевые. Один из привратников в гостинице специально следит за тем, чтобы у мальчиков-посыльных были чистые руки, ногти, уши, чтобы они были причёсаны и пуговицы на их форменных курточках начищены до блеска.

Леон Венижель ведёт повествование от первого лица, описывая жизнь в отеле такой, какой она представляется его пятнадцатилетнему герою. Манера его письма делает повесть похожей на киносценарий. И режиссёру было бы легко поставить по этой повести фильм, но это возможно было бы сделать только до того её места, пока мальчик описывает «дневную жизнь» гостиницы. Как только его переводят на ночные дежурства и он становится свидетелем того, что происходит здесь ночью, — постановщик стал бы перед весьма сложной задачей: как снимать «глазами подростка» фильм, который не сможет идти без объявления: «Дети до 16 лет не допускаются»?!

Мальников-посыльных вынуждают выполнять роль сводников, они становятся невольными свидетелями и жертвами самого гнусного разврата. Герой повести пытается держаться в стороне от происходящего, но в конце концов из этого ничего не выходит. «Современность», представшая перед ним в виде пьяного американского офицера с бутылкой виски в одной руке и пачкой франковых билетов в другой, увлечает и его в пучину порока.

Повесть кончается тем, что, поссорившись с привратником, мальчик уходит из гостиницы. Он снова на мостовой Парижа, один, с маленьким, перетянутым бечёвкой пакетом подмышкой. Он никогда не забудет того, что он видел в номерах американских офицеров.

Дневник Гюнтера Андерса и повесть Леона Венижеля — это два обвинения тому времени и тому миру, в котором живут их авторы. Названы преступления, названы преступники. Читатель вынесет им свой приговор. И чем суровее будет этот приговор, тем больше будет волновать читателя вопрос, как привести его в исполнение. Ведь преступники — те, которые буйствовали в зале Шиллер-театра, те, которые растлили душу подростка в парижском отеле, — остались на свободе? Есть ли сила, способная их обуздать? Авторы ничего не сказали о ней. Может быть, они не видят этой силы. Может быть, не видят её и некоторые читатели журнала, но многие видят в себе самих и в единстве самих себя с другими. И от имени этих многих пишет французская поэтесса Франсуаза Кореэ.

Её стихи напечатаны сразу же после дневника Гюнтера Андерса, который тоже заканчивается стихами, стихами, полными отчаяния:

Есть земля. Но никто не строит дома.  
Есть дома. Но ни у кого нет очага.  
Горит очаг. Но ни у кого нет муки.  
Есть хлеб на столе. Но никто не садится за стол.

Люди сели за стол. Но нет хлеба на этом столе.  
Есть немного муки. Но нигде не горит очаг.  
Горит очаг. Но нигде нет дома.  
Есть дом. Но в руинах — земля.

Стихи Франсуазы Кореэ напечатаны рядом. Они называются «Вьетнам». Это стихи французской поэтессы, обращённые к вьетнамскому народу, на земле которого ещё не остыл пепел сожжённых деревьев.

Мы возьмём в свои руки весь мрак ночной.  
Мы возьмём его, — и в руках всех людей  
Мрак ночной станет огромным солнцем,  
И оно позолотит все дома.

Ложь и обман покатаются прочь,  
Как бумажные шарики. Ты улыбнёшься,  
Как чистое небо. Ты, мой друг,  
И ты, моя сестра, и ты, человек, которого я не знаю.

У нас будут новые руки  
Для радости и труда.

На шесте из бамбука  
Понесёшь ты чистую воду,  
В ней отразится мир,  
У мира — твои глаза.

Я опущу в эту воду  
Твои загрубелые пальцы,  
Чтоб на них зажили раны.  
И тогда ты откроешь книгу,  
И мы будем читать...

Полны отчаяния стихи Гюнтера Андерса, чаще других повторяется в них слово «никто». Полны надежды стихи Франсуазы Корез, и чаще других повторяется в них слово «мы».

Так на двух соседних страницах «Тан модерн» сошлись отчаяние и вера, бессилие и сила, смело говорящая людям:

Мы принесём великую надежду  
Всем, всем, кто ждёт.

На этом можно и закончить рассказ об одном номере журнала «Тан модерн». Мы не могли написать обо всём, что напечатано на его страницах. Обширен публицистический раздел журнала — он заслуживает отдельного разбора. Мы не коснулись романа «Человек с золотой рукой» американского писателя Нелсона Олгринна — о нём трудно судить, так как в декабрьском номере опубликовано лишь его начало.

Мы видели свою задачу только в том, чтобы на примере отдельных произведений из последнего прибывшего в Москву номера «Тан модерн» познакомить советского читателя с общим направлением этого популярного во Франции журнала.

Н. РАЗГОВОРОВ.

## ЧУВСТВО НОВОГО

Бывает и так на войне: сидят люди, ведут обычную солдатскую беседу, курят, и ни у кого и мысли нет, что кто-то из них докуривает сейчас свою последнюю в жизни самокрутку, что, скажем, через десять, пятнадцать минут кого-то из них уже не будет в живых. Именно так неожиданно обрывается жизнь командира Чжао У-суна на первых же страницах нового романа Чжоу Ли-бо «Сталь хлынула». Эта сцена с её крутым поворотом человеческой судьбы, с острым драматизмом событий характерна для динамической композиции первых глав романа Чжоу Ли-бо. Действие романа начинается в ноябре 1948 года. Народно-освободительная армия ведёт наступательные бои против чанкайшистских войск в районе большого металлургического завода. На помощь рабочим, отстаивающим свой завод, командование армии посылает группу бойцов.

Начало романа развивается стремительно. Перед мысленным взором читателя одна за другой возникают картины жизни и борьбы людей.

Мы познакомились пока только с четырьмя главами романа — они напечатаны в рецензируемом номере журнала «Женьминь вэньсюэ». Разумеется, нам трудно предугадать ход дальнейшего повествования, а тем более судить о романе в целом. Однако само название произведения Чжоу Ли-бо «Сталь хлынула» подсказывает нам многое. Образы людей, защищающих родной завод (а именно с ними, как мы уже знаем, встретился читатель на первых страницах романа), сольются с обликом тех героев, которые, пройдя сквозь суровые испытания, будут любоваться делом рук своих — огненно-белой сталью, хлынувшей из печей, сталью, олицетворяющей твёрдость народного решения идти по пути социалистической индустриализации. Таков, повидимому, пафос нового романа Чжоу Ли-бо, пронизывающий уже его первые главы.

С самого начала повествования внимание читателя привлекает к себе молодой рабочий Ли Да-гуй. В тех главах, которые мы прочли, автор почти ничего не рассказывает о своём герое, а раскрывает его характер в поступках, в действии. Обращает на себя внимание рисуемый автором образ комиссара Лю, человека с огромным жизненным опытом, участника Великого похода, прошедшего двадцать пять тысяч ли, дважды раненного и преждевременно поседевшего. Ему поручают восстановление завода.

Рядом с Ли Да-гуйем и комиссаром Лю действуют другие люди, которые, возможно, в развитии повествования выдвинутся на главный план. Но и в первых главах

### *Китай*

«Женьминь вэньсюэ»  
(«Народная литература»),  
ежемесячный литературно-художественный журнал. Орган Союза китайских писателей. № 12. 1954. Год издания 6-й. Пекин. Главный редактор Шао Цюань-линь.

★

это живые, полнокровные образы. Чжоу Ли-бо хорошо владеет искусством речевых характеристик. Точны, яркие, лаконичны его описания пейзажа. Нам кажется, что начало нового романа свидетельствует о росте художественного мастерства Чжоу Ли-бо. Хочется надеяться, что это впечатление будет подкреплено и следующими главами романа.

Имя Чжоу Ли-бо хорошо известно советскому читателю. Его первый роман, «Ураган», удостоенный Сталинской премии, переведён на многие языки народов СССР. Над своим новым романом Чжоу Ли-бо работал несколько лет, подолгу жил на одном из металлургических заводов Китая. Он горячо взялся за новую для себя тему — до того он писал о китайском крестьянстве, о его борьбе за освобождение и строительство новой жизни. То, что Чжоу Ли-бо обратился к изображению жизни и борьбы рабочего класса Китая, означает новый этап в его творчестве. К слову сказать, интерес к этой теме характерен ныне и для ряда других видных писателей и деятелей искусства Китая, осознавших жизненно важную, ведущую роль рабочего класса в великих преобразованиях, происходящих на китайской земле.

Характерно и то, что журнал «Женьминь вэньсюэ» первым познакомил читателей с новым произведением Чжоу Ли-бо. Этот журнал, созданный сразу же после провозглашения Китайской Народной Республики, приобрёл добрую славу и широкую популярность именно тем, что на его страницах были напечатаны впервые многие интересные произведения о жизни народа, его борьбе и победах. Умение оценить талантливое, правдивое у писателей старшего поколения, взявшихся за новые для них, современные темы, смелость при опубликовании произведений молодых авторов проявились с первых же шагов журнала, организатором и первым редактором которого был известный писатель и государственный деятель Мао Дунь.

Печатать произведения молодых авторов стало традицией журнала. Именно на его страницах китайский читатель впервые познакомился с отличным рассказом «В Хорчинской степи» молодого писателя из Внутренней Монголии Малчинху и с многими другими хорошими рассказами. Рассказы и очерки печатаются в журнале регулярно — ныне это едва ли не самый распространённый жанр в китайской литературе. Жизнь Китайской Народной Республики развивается столь стремительно, каждый день приносит так много нового, что писатели охотно обращаются к рассказу и очерку, как к наиболее «мобильным» формам повествования.

Среди рассказов и очерков, напечатанных в декабрьском номере, особенно запоминается очерк Юй Линь «Люди, победившие наводнение». В нём описывается упорная, поистине героическая борьба жителей города Ухань с разбушевавшейся стихией. Героиня очерка — девушка по имени Лю Юй-ин — проявила в эти трудные дни много мужества и отваги. Её отец и два брата погибли во время наводнения в 1931 году, когда сама она была ещё во чреве матери, тоже едва не утонувшей. Очерк написан живо и интересно. Бледнее, на наш взгляд, рассказы Е Дин «Всходы», Си Жун «Жатва» и Бай Жэнь «Поток». Первые два — о современной китайской деревне, третий — о рабочих лесопильного завода, затопленного во время наводнения.

Следует отметить, что в «Женьминь вэньсюэ» перепечатана опубликованная «Правдой» статья Бориса Полевого «Живые герои советской литературы». Её появление в этом журнале не случайно. Китайские писатели, много работающие в жанре короткого рассказа и очерка о своих современниках, героях труда, строящих новую жизнь, проявляют горячий интерес к опыту советских писателей.

Поэзия занимает в журнале постоянное и немалое место. «Женьминь вэньсюэ» познакомил китайских читателей с новыми талантливыми стихами и поэмами Ай Цина, Ли Цзи и других видных поэтов Китая, имена и творчество которых хорошо знакомы и советскому читателю. Совсем недавно здесь был опубликован новый цикл стихотворений Ай Цина, посвящённый Южной Америке, где поэт побывал в середине 1954 года. Журнал часто печатает произведения поэтов национальных меньшинств.

В двенадцатом номере напечатано несколько стихотворений разных поэтов — главным образом молодых, а также переводы стихотворения советского поэта Антанаса Венцловы «Китайским друзьям», написанного во время его пребывания в Кантоне,

и стихотворения французского поэта Жана Марсенака «Рассвет 1 октября», написанного им в Пекине.

В последнее время писатели, критики и литературоведы Китая уделяют много внимания классическому наследию. На страницах газет и журналов появился ряд статей о многих произведениях классической литературы, об освоении классического наследия. Большая дискуссия развернулась вокруг романа «Хунлоумэн» («Сон в красной башне») писателя XVIII века Цао Сюэ-циня. Этот роман — один из замечательнейших, популярных в народе памятников китайской классической литературы. Дискуссия ведётся в китайской прессе с осени прошлого года. В ней принимают участие такие крупнейшие писатели и знатоки классической литературы, как Го Мо-жо, Мао Дунь, Чжоу Ян и другие.

Предистория дискуссии такова.

В последние два-три года вышли несколькими изданиями книги известных критиков и литературоведов Юй Пин-бо «Изучение «Хунлоумэн»» и Чжоу Жун-чана «Новое о «Хунлоумэн»», а в периодических изданиях об этом романе появились статьи этих же и других авторов. Все эти работы рассматривают роман «Хунлоумэн» либо как автобиографический, либо как любовно-психологический, либо как своего рода семейную хронику автора и начисто отрицают его социальное значение.

Совсем недавно молодые литературоведы Ли Си-фань и Лань Лин выступили с критикой взглядов Юй Пин-бо. Они доказали, что такая оценка «Хунлоумэн» не что иное, как возрождение буржуазно-идеалистической философской концепции Ху Ши — одного из идеологов гоминдановской клики. Реакционные теории Ху Ши долгое время до освобождения страны имели широкое хождение и вредно сказались на изучении классической литературы. Юй Пин-бо, который в течение тридцати лет занимается изучением «Хунлоумэн», до сих пор находится в плену этих теорий.

В своём предисловии к «Изучению «Хунлоумэн», которое является как бы итогом его тридцатилетней работы, Юй Пин-бо пишет:

«Эта книга представляется мне кошмарным сном в китайской литературе,— чем больше вы её изучаете, тем больше запутываетесь».

Ли Си-фань и Лань Лин разбивают доводы запутавшегося исследователя и доказывают, что «Хунлоумэн» — роман, реалистически рисующий на примере жизни одной семьи вполне реальный процесс распада феодального общества.

В декабрьской книжке журнала этой дискуссии посвящены четыре статьи. Известный китайский писатель и знаток классической литературы Лао Шэ в статье «Сон в красной башне» — отнюдь не сон», уже самым названием подчёркивая полемический характер своей статьи, пишет: «Я сам писал романы и знаю, что всякое произведение непременно что-то пропагандирует... В романе «Сон в красной башне» есть добро и зло, любовь и ненависть, которые заставляют проливать слёзы многих и многих мужчин и женщин... Следовательно, он не может стоять вне реальной действительности... Некоторые «исследователи» забыли или не понимают законов творчества и поэтому считают «Сон в красной башне» автобиографическим романом... Их занимают такие вопросы: сколько у автора романа было подруг, кто был его женой. И они забывают при этом о социальном значении романа... Я хочу знать, какая действительность отражена в романе, как Цао Сюэ-цинь создаёт тот или иной образ и т. д., а не то, сколько родинок было у автора. Пришло время, когда наши исследователи должны раз и навсегда отказаться от этой комедии с угадываниями и серьёзно, в духе марксистско-ленинской философии анализировать «Сон в красной башне» и другие произведения классической литературы».

Остальные статьи: Бай Дуя «Значение образа Цзя Бао-юя» — о персонаже, которого отождествляли с автором романа, Ху Нянь-и — «Об ошибочных взглядах в изучении «Хунлоумэн» в последние годы» и Линь Дун-пина — «Реализм «Хунлоумэн»» — также содержат серьёзную критику взглядов Юй Пин-бо и его единомышленников.

Надо сказать, что дискуссия о «Хунлоумэн» привлекает внимание не только литературной общественности, но и самых широких кругов интеллигенции и молодёжи. Правильная оценка идейного существа «Хунлоумэн» имеет принципиальное значение для всей проблемы изучения классического литературного наследия в Китае.

По-китайски «Женьминь вэньсюэ» означает «Народная литература». Впервые за многие века китайский народ получил реальную возможность не только читать книги, созданные его талантливыми художниками, но и стал героем этих книг. Новая китайская литература, с которой широко знакомит читателя журнал,— литература о народе и для народа, литература, обладающая великолепным чувством нового.

А. ТИШКОВ.

## ПРИСЯГА ПЕХЕЛЯ

*Западная  
Германия*

Среди множества реакционных журналов и журнальчиков, издающихся сейчас в Западной Германии, «Дейче рундшау» («Немецкое обозрение») внешне выглядит, пожалуй, наиболее солидно. Скромная, выдержанная в спокойных тонах обложка, отсутствие ярких рекламных иллюстраций и кричащих заголовков могут привлечь читателя, ищущего серьезной литературы, читателя, уставшего от назойливости сенсационных западногерманских изданий. Импонирует такому читателю и надпись на обложке: «Год издания 80-й».

«Дейче рундшау», еженедельный общественно-политический и литературно-художественный журнал. № 12. 1954. Год издания 80-й. Издатель Рудольф Пехель. Баден-Баден. Ответственный редактор Клаус Хохе.

★

Что же это за журнал и как сумел он в сложных и переменчивых исторических условиях Германии достичь столь почтенного возраста?

«Дейче рундшау» был основан в тот период, когда после франко-прусской войны стала особенно бурно развиваться германская тяжёлая промышленность и первые монополистические концерны победной поступью вышли на политическую арену страны. Шли годы. На смену кайзеровской империи пришла Веймарская республика, потом республика была задушена фашистской диктатурой, но журнал «Дейче рундшау» продолжал благополучно выходить в свет. Процветает он и сейчас, в условиях милитаристского боннского государства.

Всё дело, оказывается, в том, что менялись только политические режимы, но хозяин, которому верой и правдой служил и служит журнал, оставался прежним. Этот хозяин — немецкие военно-промышленные монополии. Именно их интересы превыше всего для редакции «Дейче рундшау», а их требования определяют направление и политику журнала.

С 1919 года бессменным издателем «Дейче рундшау» является бывший кайзеровский офицер и нацистский сенатор Рудольф Пехель. В годы Веймарской республики Пехель ловко маскировался под республиканца и «истинного патриота», после прихода к власти гитлеровской клики срочно превратился в сторонника национал-социалистов и в этом качестве преуспел настолько, что фашистские правители назначили его сенатором гитлеровской Немецкой академии.

Неизвестно, до каких бы ещё чинов сумел он дослужиться в фашистской Германии, если бы в 1942 году он, приглядываясь к положению на фронтах, не допустил ряда выпадов против гитлеровского режима. У разгневанных хозяев, с тревогой следивших за событиями на Восточном фронте, где в тот год в боях под Сталинградом решалась судьба немецко-фашистской армии, не было времени церемониться с провинившимся сенатором: журнал был закрыт, а Пехель подвергся аресту. Это обстоятельство дало ему впоследствии повод объявить себя «активным антифашистом» и получить в 1946 году разрешение на дальнейшее издание журнала.

Но вскоре обстановка в Западной Германии настолько изменилась, что репутация «активного антифашиста», пусть даже и незаслуженная, могла принести Пехелю большие неприятности и окончательно испортить его карьеру. Чтобы устранить всякую тень сомнения в своей политической позиции, он начал усердно публиковать в журнале специальные декларации — заверения в верноподданнических чувствах к законам западногерманской военной промышленности.



Иному нашему читателю эта деталь может показаться маловероятной. Действительно странно. Литературный журнал и интересы магнатов угля и стали — что общего, казалось бы? Но нет. Мы несколько не преувеличиваем. В 1950 году в программной статье журнала «Дейче рундшау» Пехель заверял: «Мы будем стараться удовлетворить особые интересы этой области (Рурской промышленной области.—В. С.), которая является ныне крупнейшим политическим центром германского могущества». Недаром Пехель ревностно выступает и за «объединённую Европу», клеветает на Советский Союз и страны демократического лагеря, словом, в меру своих сил занимается всем тем, за что империалистические хозяева платят сейчас особенно большие деньги.

Помимо ответственного редактора Клауса Хохе, личности малопримечательной и в литературных западногерманских кругах почти никому не известной, редакция «Дейче рундшау» располагает постоянными сотрудниками из числа западногерманских писателей, чьи имена пользовались когда-то популярностью в определённых кругах немецкой интеллигенции.

Таков, например, Рудольф Александр Шредер, который в первые годы после разгрома гитлеровского режима рядился в демократические и антифашистские одежды, а ныне приобрёл известность как автор клеветнических измышлений о Германской Демократической Республике и странах социалистического лагеря. «Кто сейчас говорит или пишет так, как я,— цинично заявил Шредер в одной из своих статей ещё три года тому назад,— тот рискует быть заклеянным как поджигатель войны». Следует лишь заметить, что признание это было запоздалым: демократическая немецкая общественность заклеила Шредера как врага мира ещё задолго до того, как была написана им эта статья.

Другой сотрудник «Дейче рундшау», Казимир Эдшмид, бывший идейный вождь и теоретик немецкого экспрессионизма, известен ныне как автор архиреакционных романов и рекламных статей о сигаретах западногерманского табачного монополиста Реемтсма. А вот просто Стефан Андрес, в прошлом корреспондент гитлеровской газеты «Фелькишер беобахтер», ныне один из «столпов» западногерманской реакционной литературы, активный проповедник шовинистических и милитаристских идей.

Познакомимся с последним из полученных нами, двенадцатым номером «Дейче рундшау». Он, как обычно, открывается несколькими обзорными статьями на общеполитические темы. Различны проблемы, затрагиваемые в этих статьях, разными авторами они написаны, но все они в одинаковой мере отражают чувство страха западногерманских милитаристских группировок и их заокеанских покровителей перед растущим сопротивлением народов Европы планам возрождения германского вермахта.

Особенно явственно это беспокойство ощущается в статье некоего Альфреда Фриша «Французская внешняя политика от де Голя до Мендес-Франса». «Французские представления о Германии ужасающе односторонни», — заявляет Фриш, сетуя на то, что французский народ никак не может забыть, какие страшные бедствия трижды приносил ему германский империализм на протяжении жизни одного поколения. Автор призывает французов отказаться от «предубеждений» и, запугивая их мнимой угрозой с Востока, сулит им самые радужные перспективы в связи с проектами создания мощной западногерманской армии.

В этом же номере журнала от имени пресловутой западногерманской Академии языка и литературы выступает прославившийся своим мракобесием писатель Герман Казак. Он требует... отторжения исконно польских земель восточнее Одера и Нейсе.

Картина публицистического отдела «Дейче рундшау» ясна. Материалы этого претендующего на солидность журнала мало чем отличаются от тех, что печатает обер-орган немецкой реваншистской солдатни — «Дейче зольдатенцейтунг».

Посмотрим теперь, как выглядит отдел прозы и поэзии журнала.

Когда-то, в первые годы существования «Дейче рундшау», в нём можно было хотя бы изредка встретить значительные художественные произведения, принадлежащие перу таких крупных писателей, как, например, Готфрид Келлер или Теодор Фонтане. Эти времена давно забыты. У нынешних хозяев Западной Германии художественная литература не в почёте. Недаром же сам боннский президент Теодор Хейсс в ответ на пись-

мо одного почтенного западногерманского писателя о тяжёлых материальных условиях его коллег произнёс однажды ставшие печально знаменитыми слова: «Вопрос теперь в том... не кончилось ли время художественной литературы в старом смысле этого слова».

Гнетущим чувством тоски и безысходности, описаниями патологических извращений и мистической символикой наполнены рассказы и стихи, публикуемые в «Дейче рундшау». Они уведут читателя от реальной жизни с её острыми социальными проблемами и конфликтами, отравляют его душу неверием в свои силы, в необходимость борьбы за человеческое счастье, за мир и свободу.

Вот, например, рассказ западногерманского писателя Хейнриха Ринглеба «Рыба». Героиня этого рассказа, молодая девушка, приезжает во время каникул к морю. Целые дни она проводит на пляже, томась в одиночестве. Однажды она замечает подплывшую к берегу огромную диковинную рыбу. Хотя девушка понимает, что «между нею и рыбой нет ничего общего, совершенно ничего», она чувствует к ней какое-то непонятное влечение. Оказывается, общее между ними всё же есть: «Рыба ужасно запуталась в воде... а мы тоже запутались... запутались в воздухе». Безмолвные встречи девушки с рыбой продолжались каждый день, но однажды рыба исчезла и больше не возвращалась — она «изменила» девушке и уплыла к другой женщине, сидевшей на берегу далёкого острова.

Рассказ кончается тем, что девушка просит рыбака убить и доставить ей эту рыбу. Рыбак исполняет её просьбу. Девушка, зажарив рыбу на костре, съедает её и снова остаётся одна. Странное впечатление какой-то непонятной смеси «ихтиологической» эротики с беспросветным унынием оставляет этот рассказ, хотя его автору нельзя отказать в известном профессиональном умении.

Западногерманский поэт Отто Циммерман в своём стихотворении «Вопрос» философствует на тему о том, не является ли смерть всего лишь «прекрасным сном», избавлением от всех земных тягот. Если это так, пишет поэт, то «не напрасно ли мы к чему-то стремились и о чём-то страдали»...

Существует в журнале специальный отдел, посвящённый театральной и культурной жизни Западной Германии.

В конце прошлого года в Западном Берлине проходил театральный фестиваль, во время которого берлинскому зрителю были показаны новые постановки немецких и иностранных пьес. Подводя итоги фестиваля, театральный обозреватель «Дейче рундшау» Ганс Заль вынужден признать, что большинство спектаклей прошло на весьма невысоком художественном уровне, а игра актёров западноберлинских театров оставляла желать много лучшего. Но все эти мелкие, по мнению обозревателя, недочёты вполне искупаются «космополитическим характером фестиваля» и утверждением нового, «западного стиля театрального искусства». Главной особенностью этого «стиля» является, как утверждает Заль, «дематериализация сцены», то есть изгнание из театра всего того, что может в какой-то мере напомнить зрителю о реальной жизни.

Большое место занимает в журнале отдел «Литературное обозрение». В нём печатаются рецензии на новые, вышедшие в Западной Германии книги. Журнал горячо рекомендует вышедший в Кёльне литературный сборник «Европейская книга для молодёжи». По мнению рецензента, особая важность сборника состоит в том, что в нём «проводится идея объединённой Европы, ориентирующейся на Запад». Нужно ли после этого удивляться тому, что сам Аденауэр не пожалел времени и написал предисловие к этому Атлантическому катехизису молодых «европейцев».

Не менее ценным подарком для немецкой молодёжи журнал считает книгу мемуаров бывшего гитлеровского генерала Рендулица. Особенно умиляет журнал то обстоятельство, что, рассказывая о своих «подвигах» в годы второй мировой войны, Рендулиц «постоянно ссылается на классические произведения литературы и искусства». Однако, как с горечью отмечает рецензент, классически образованному гитлеровскому генералу зачастую не хватает необходимой тонкости в пропаганде фашистских идей, уж слишком по-солдатски прямолинейно восхваляет Рендулиц своего «фюрера».

Рекомендуется читателям и новый роман «Куда ты идёшь» западногерманского писателя Германа Шталя, активно подвизавшегося на литературном поприще ещё в го-

ды гитлеровского режима. Идея этого романа, по словам рецензента, сводится к тому, что «нужда является величайшим благословением, ибо она укрепляет терпение... помогает избавиться от трагического доверия к жизни».

Но вот в «Литературном обозрении» совершенно неожиданно мы встречаем рецензию и на новую книгу известного западногерманского писателя Вольфганга Кеппена, автора романа «Теплица», вызвавшего в своё время яростные нападки реакционной печати. Недавно Кеппен выпустил в свет свой новый роман «Смерть в Риме», в котором с большой силой звучит предостережение по адресу любителей военных авантюр. Книга вызвала большой интерес читателей. Журнал, сохраняя мину «объективности», не может пройти мимо неё. Что же он делает? Он рассуждает о высоких художественных достоинствах нового произведения Кеппена, но умалчивает о самом главном — об идейной направленности этого романа.

Ну что ж! Нужно сказать прямо: Рудольф Пехель — издатель журнала — честно и во всём, в каждой мелочи, соблюдает свою присягу магнатам Рура.

В. СТЕЖЕНСКИЙ.

## ПОВЕРХ ГРАНИЦ

Г Д Р

Перед нами две книги литературных журналов, выходящих в Германской Демократической Республике.

Журнал «Нейе дейче литератур» («Новая немецкая литература»), как показывает само название, призван отражать картину современной немецкой литературы. Выполняя эту задачу, журнал регулярно публикует новые произведения немецких писателей, статьи на литературные темы, рецензии и аннотации на новые книги, хронику культурной жизни. Хотя в подзаголовке «Нейе дейче литератур» нет принятого у нас обозначения — «литературно-художественный и общественно-политический», журнал этот является именно таким не только потому, что печатает публицистические статьи, посвящённые актуальным политическим вопросам, но и потому, что публицистичность — сильная сторона большинства его выступлений на литературные темы.

В подзаголовке журнала «Зинн унд форм» («Содержание и форма»), органа Германской академии искусств, стоят слова «Beiträge zur Literatur», которые приблизительно можно перевести, как «Труды по литературе». Однако это не означает, что журнал является лишь теоретическим органом. В нём печатаются статьи литературоведов, критиков, искусствоведов, но также стихи, прозаические произведения, отрывки из пьес, художественные переводы.

Журналы, судя даже по этой краткой характеристике, весьма отличны друг от друга — у каждого из них своё отчётливо определившееся лицо: «Нейе дейче литератур», рассчитанный на широкого читателя, более популярен по форме и более оперативен; «Зинн унд форм», обращённый главным образом к профессионалам, сравнительно академичен и нетороплив.

Но при всём различии их объединяет основное и главное, то, что присуще всем органам печати ГДР, — активная борьба за единство немецкой культуры, за сохранение и приумножение национального культурного наследия, за единую, миролюбивую и демократическую Германию.

Не имея возможности в рамках короткого обзора охарактеризовать всё содержание двух толстых журналов, мы остановимся главным образом именно на этой, центральной для них теме.

Призыв к сплочению прогрессивных деятелей культуры всей Германии находит здесь вполне практическое выражение в широком круге авторов, выступающих на страницах журналов.

«Нейе дейче литератур», ежемесячный литературно-художественный журнал. № 12. Декабрь. 1954. Год издания 2-й. Издательство «Фольк унд вельт». Берлин. Главные редакторы Вилли Бредель и Ф. К. Вайскопф.

«Зинн унд форм», двухмесячный литературно-теоретический журнал. №№ 5—6. Декабрь. 1954. Год издания 6-й. Издательство Рюттен и Ленинг. Берлин. Главный редактор Петер Хухель.

★

В рецензируемых номерах «*Нейе дейче литератур*» и «*Зинн унд форм*» наряду с писателями, живущими в ГДР, широко представлены западногерманские авторы, люди не только различных вкусов, но во многом и весьма различных убеждений. Иначе и быть не может, ибо призыв к объединению немецкой интеллигенции в борьбе за единство немецкой культуры — это призыв к объединению на широкой платформе. Так, например, в двенадцатом номере «*Нейе дейче литератур*» напечатано стихотворение «Аденауэр требует создать пятьдесят западногерманских дивизий» молодого западноберлинского поэта Бернгарда Ритгофа. Своим строем оно свидетельствует, что Ритгоф знаком с опытом немецких революционных поэтов двадцатых и тридцатых годов, что он знает агитационные стихи Вайнера. Стихотворение Ритгофа прямо предназначено для чтения с трибуны митинга. А рядом отрывок из книги «Человек из Карюта» западногерманского христианского прозаика и эссеиста Людвиг Бете, использующего евангельские легенды как материал для беллетристического воплощения. И в том же номере глава из новой книги Ганса Гельмута Кирста — книги, продолжающей его роман «08/15». Но об этом отрывке мы далее расскажем более подробно.

В журнале «*Зинн унд форм*» немецкие литераторы, живущие в Западной Германии, представлены большой статьёй профессора Гейдельбергского университета Рейнгарда Бухвальда и некоторыми другими материалами.

В обоих журналах есть и произведения немецких писателей, живущих за пределами страны. В «*Нейе дейче литератур*» — это сцена из пьесы в стихах Лиона Фейхтвангера «Мир», написанной по мотивам двух комедий Аристофана; в «*Зинн унд форм*» — статья Томаса Манна о Чехове с указанием, что она написана автором для журнала «Новый мир», а также отрывок из романа Альфреда Деблина «Король Лир».

До недавнего времени Деблин, вернувшись после разгрома фашизма из эмиграции на родину, жил в Западной Германии. Но несколько месяцев назад он переселился во Францию, к друзьям, обещавшим писателю материальную поддержку. Этой новой эмиграции престарелого писателя предшествовали обстоятельства столь драматические, что стоит отвлечься от рецензируемых журналов, чтобы рассказать о них.

Известный буржуазный писатель, человек весьма умеренных взглядов, Альфред Деблин поначалу пользовался доверием и поддержкой властей французской оккупационной зоны и даже занимал важный пост при французском верховном комиссаре, ведая вопросами культуры. Западногерманские издатели заискивали перед Деблином, охотно издавали его книги. Но чем решительнее приближался Деблин в своих новых произведениях к позициям критического реализма чем правдивее изображал он действительность, чем больше освобождался от своих иллюзий в отношении пути, по которому идёт Западная Германия, тем быстрее таял его официальный престиж. Очень скоро он оказался не у дел, книги его перестали находить издателей. Старые предрассудки помешали Деблину понять, где ему следует искать поддержки, и он отказывался печататься в ГДР. Осенью прошлого года корреспонденты прогрессивной западногерманской газеты «Фрейес фольк» разыскали Деблина в больнице, куда он был доставлен в состоянии сильнейшего истощения, вызванного крайней нуждой. Сознательно обречённый западногерманской реакцией на молчание и забвение, больной и отчаявшийся, он уехал доживать свой век во Францию.

Сейчас, как об этом свидетельствует журнал «*Зинн унд форм*», который лежит перед нами, произведения Деблина будут печататься в Германской Демократической Республике.

Заслуживает внимания и отрывок из романа Кирста. Как сообщалось уже в нашей печати, роман «08/15», правдиво рисующий мрачные картины жизни германской казармы, вызвал ярость милитаристских кругов в Западной Германии, и прежде всего «ведомства Бланка». Гитлеровские генералы, днём и ночью работающие над восстановлением вермахта, подняли отчаянную кампанию против Кирста и его книги.

Но негодующие воли милитаристского листка «*Дейче зольдатенцейтунг*» и тому подобных реваншистских центров только усилили интерес западногерманских читателей к книге Кирста. Обсуждение её вызвало поток писем рядовых читателей, которые воспользовались книгой как поводом, чтобы выразить своё отрицательное отношение к политике ремилитаризации Западной Германии.

Тогда влияние книги попытались ослабить выпуском фильма, где всё острое и ценное, что содержалось в книге Кирста, было выхолощено или сведено к плоскому и безобидному фарсу. Понятны поэтому интерес и нетерпение, с какими немецкие читатели ожидали продолжения романа, тем более, что его действие должно было происходить в годы второй мировой войны.

Немецкая прогрессивная критика указывала, что этот новый роман покажет, в какую сторону развиваются взгляды Кирста, ибо книга «08/15», критикуя казарменную муштру как основу воспитания немецкого солдата, отнюдь не содержала последовательных антимилитаристических выводов.

Мы не берёмся судить о новой книге Кирста, так как пока могли прочесть только небольшой отрывок, напечатанный в «*Нейе дейче литератур*». Но в этом отрывке нельзя не увидеть весьма решительного осуждения Гитлера и гитлеровской войны. «...Бесчестная война. Расчётливо и внезапно развязанная. Война, которую ведут методами сутенёра. Война, исполненная пренебрежения к жизням — к жизням чужим и к жизням своих собственных людей. Война, подогреваемая одурманивающей патетикой. Разжигаемая дешёвыми фразами о славе. Героизм одержимых амоком, отечество одержимых манией величия... В одном месте грабят, в другом насилуют. Вначале сжигают дома, потом бомбят целые жилые кварталы, потом испепеляют города. Вначале — группы мужчин. Потом женщин, потом детей. Это не война для солдата... Нужно быть зверем, чтобы находить её прекрасной».

Правда, слова этого осуждения вложены в уста полковника Люшке, который видит в этой войне лишь нарушение этических норм и солдатских традиций. Но и для такого осуждения в условиях Западной Германии нужна немалая смелость.

Рецензент «*Нейе дейче литератур*» Гюнтер Дейке, ознакомившийся с романом полностью, говорит, что эта книга должна вызвать ещё больший гнев западногерманских милитаристских кругов, чем первый роман Кирста, «ибо теперь она направлена уже не против отдельных форм милитаризма, но и против самой цели ремилитаризации Западной Германии, направлена против грязной войны. Нам кажется, что Кирст перешёл через Рубикон, независимо от того, понимает он это или не понимает». Рецензия Дейке вскрывает внутреннюю противоречивость произведения: «Роман Кирста, — пишет критик, — заканчивается так: «— За такую Германию я не хочу умирать, — сказал вахмистр Аш. — А кто тебя спрашивает об этом? — поинтересовался Ковальский. — Должна же быть другая Германия, за которую стоило бы умереть. — Приятель! — сказал Ковальский. — Быть может, когда-нибудь появится такая Германия, в которой будет стоить жить». Нет сомнения, что Кирст написал свои романы ради такой Германии. Но он ещё не знает, как она должна выглядеть. Не знает об этом и ни один из героев его романа, и нигде в его книге не виден представитель этой другой Германии».

Рецензия Дейке интересна не только тем, что она даёт возможность составить представление о новой книге западногерманского писателя, последние работы которого находятся в центре внимания немецкой читательской общественности, но и тем, что показывает, как внимательно анализируют критики Германской Демократической Республики работу западногерманских писателей, как бережно подчёркивают всё положительное в их произведениях, как терпеливо разъясняют их заблуждения. Нет сомнения в том, что всё это в немалой степени содействует сближению литераторов Германской Демократической Республики и Западной Германии.

Среди других выступлений западногерманских литераторов, представленных на страницах рецензируемых журналов, следует выделить работу Рейнгарда Бухвальда «Мировая литература и немецкая традиция», напечатанную в «*Зинн унд форм*». Это доклад, произнесённый на конференции университетов Северного Бадена и Союза народной высшей школы Гейдельберга, то есть перед западногерманской университетской интеллигенцией. Несмотря на сбивчивость многих теоретических положений, содержащихся в этом докладе, сбивчивость, порождённую во многом идеалистическим подходом автора к истории, важна основная направленность мысли Бухвальда — стремление показать, что забота о сохранении и развитии национальной литературной традиции должна и может сочетаться с уважением и творческим усвоением опыта всей мировой литературы. В Западной Германии, где представители реакционных взглядов в науке,

с одной стороны, занимаются оживлением националистической проповеди, организуют шовинистические радения вокруг идей «германской исключительности» и «германского духа», а с другой — продают традиции национальной культуры в лавках под космополитической вывеской «западная культура», появление работы Бухвальда знаменательно. Она при всех своих недостатках и слабостях свидетельствует о том, какие важные процессы происходят сейчас в сознании лучшей части интеллигенции Западной Германии.

Делу единства германской культуры служит не только публикация произведений западногерманских литераторов, но и широкая информация о культурных связях, об общественных начинаниях, направленных к объединению деятелей культуры, и борьба со всем тем, что этому объединению мешает. Так, в двенадцатом номере «Нейе дейче литератур» напечатан большой отчёт о встрече учёных, деятелей искусства и представителей других областей культуры Западной Германии и ГДР, которая состоялась в конце прошлого года в Берлине.

Повестку конференции определили следующие вопросы, сформулированные её инициаторами: «Можем ли мы надеяться, что проблемы, которые действительно ставят перед нами наше время, будут решены на путях разума и достижения взаимопонимания? Могут ли люди, придерживающиеся различного мировоззрения, прийти к одинаковым ответам и решениям? Лежит ли на нас, деятелях культуры и искусства Германии, особая ответственность за мирное разрешение германской проблемы? Какой опыт из прошлого и современности можем мы извлечь, чтобы сочетать национальное чувство с чувством принадлежности ко всему миру?»

В отчёте о встрече говорится: «Основу для дискуссии дали доклады: профессора, доктора Эрнста Блоха (Лейпциг) на тему «Надежда и разум», профессора, доктора Карла Заллера (Мюнхен) «Наука и ответственность» и профессора, доктора Лео Вейсмантеля (Оберзинн) «Искусство и жизнь». Несмотря на различие в мировоззрениях, и философ-марксист, и учёный буржуазно-гуманистического толка, и учёный христианско-гуманистического толка на поставленные вопросы ответили утвердительно.

Такими же были итоги дискуссии при всём различии мировоззрения её участников. Это означает, что цель конференции достигнута».

В отчёте приводятся многочисленные факты, свидетельствующие о том, как реакционные круги Западной Германии пытались помешать конференции. В то время как такие газеты, как «Дер таг», «Телеграф» и «Дейче нейе цейтунг», бессовестно клеветали на участников встречи, господин Тибуртиус, западноберлинский «сенатор по делам культуры», запретил проведение в Западном Берлине встречи с профессором Вейсмантелем, помешал западноберлинским музыкантам выступить с концертом, которым предполагалось завершить конференцию.

В «Нейе дейче литератур» напечатана также информация о встрече восьми западногерманских писателей с работниками издательства «Миттельдейчер ферлаг» в Галле. Конкретный итог встречи: решение издать антологии современной прозы и поэзии, составителями и участниками которых будут писатели ГДР и Западной Германии.

Борьба за единство немецкой культуры требует не только поддержки всего прогрессивного в деятельности интеллигенции Западной Германии, но и смелого разоблачения реакционных взглядов, способствующих возрождению милитаризма. С этой точки зрения заслуживает внимания статья Гюнтера Цвойдрака «Случай с Фехтером».

Это глава из одноимённой книги, в которой разоблачается реакционная сущность литературоведческих концепций западногерманского литературоведа Пауля Фехтера. Цвойдрак рассматривает три курса истории немецкой литературы, изданных Паулем Фехтером в 1932, 1941 и 1952 годах. Он показывает, как в первом из них отразилось стремление реакционных литературоведов под покровом нарочито расплывчатой и неясной терминологии способствовать утверждению фашистской философии, как во втором издании Фехтер стал откровенным бардом Гитлера и гитлеризма и как, наконец, в третьем издании он снова с остороженькой оглядкой пропагандирует взгляды фашистских «теоретиков литературы», фальсифицируя историю Германии и немецкой литературы.

Цвойдрак показывает, как ненависть Фехтера и ему подобных «учёных» к ходу исторического процесса, приведшего к разгрому гитлеровского фашизма, выступает в

сто нозой книге в форме отрицания объективного характера исторического процесса и возможности его изучения. Зная, какую роль в прошлом сыграли в подготовке идеологии германского фашизма всевозможные реакционные исторические концепции, мы понимаем всю актуальность разоблачения тех, кто является сегодня в Западной Германии духовными восприимчивыми исторических взглядов Альфреда Розенберга. Статья Цвюдрака отлично написана — остро, живо, в яркой и убедительной полемической манере.

Непосредственно не связанные, казалось бы, с темой борьбы за единство немецкой культуры, другие работы, опубликованные в журналах «Зинн унд форм» и «Нейе дейче литератур», имеют внутреннее отношение к этой теме.

Советскому читателю по отрывкам, напечатанным в журнале «Новый мир», известна книга Йоганнеса Бехера «Поэтическая исповедь». Оба рецензируемых журнала печатают фрагменты из второго тома этого своеобразного произведения. Здесь и короткая оценка только что прочитанного стихотворения, и раздумье об изречениях классиков немецкой литературы, и выписка из статьи Ленина «Партийная организация и партийная литература», и размышления о том, какие выводы следует сделать из этой статьи современной немецкой критике. Вот развёрнутая запись — то ли страничка из дневника, то ли набросок эссе — и рядом с ней строки, отчеканенные как афоризм, беспощадно быющие по эстетам: «Можно так долго защищать поэзию или защищать её таким образом, пока не останется и следа от той самой поэзии, которую нужно защищать».

Многие из этих записей большого немецкого поэта, неустанно размышляющего над проблемами поэтического искусства, над отношениями искусства и современной действительности, представляют значительный интерес и для нас. Вот, например, два отрывка из тех, которые напечатаны в «Нейе дейче литератур»: «...писать о мире не значит сочинять лишь стихи о мире, в которых звучит требование и прославление мира или разоблачение поджигателей войны. Можно очень хорошо писать о мире также и тогда, когда пишешь обо всём том и обо всех, кто и что делает жизнь достойной жизни. Поэт, который учит нас любить жизнь, учит нас вместе с тем защищать жизнь, а значит бороться за мир... И другая запись: «Тельман не погиб» — говорится в одной песне, и мне кажется, что в этой строке звучит стремление поэта трактовать убийство Тельмана бесконфликтно. Конечно же, Тельман погиб, он погиб за нас, так что утверждение «Тельман погиб за нас» и поэтическое воплощение этой мысли соответствуют действительности, отвечают нашим взглядам, потому что мы не боимся взглянуть в лицо действительности, даже если она горька для нас, ибо и горечь порождает у нас, у тех, кто движется вперёд, не только чувство утешения, но и чувство силы, той силы, которая связана с обоснованной уверенностью в будущем».

Если добавить, что в журнале «Зинн унд форм» читатель сможет познакомиться с яркой статьёй Бертольда Брехта «О театральной практике», где рассматривается вопрос о том, как следует ставить классиков на современной сцене, с серьёзным исследованием Эрнста Блоха о молодом Гёте и Ганса Майера о «Госпоже Бовари», а в журнале «Нейе дейче литератур» — со статьёй выдающегося, ныне покойного, литературоведа Пауля Рилла о Лессинге, что, помимо того, о чём мы уже рассказали, современная немецкая литература представлена в журнале отрывками из воспоминаний Людвиг Ренна, рассказом Луи Фюрнбергера, многими стихами и рядом статей, станет ясно, как много сделано в двух обычных номерах этих журналов не только для защиты идеи единства немецкой культуры, но и для её обогащения.

На страницах этих журналов плодотворно сочетается живое чувство преемственности культуры, без которого невысказано ведение настоящего значительного литературного органа, с острым ощущением современности.

Сергей ЛЬВОВ.

## ...ВПЕРЕДИ — ОГНИ!

США

«..Опасность велика, будем расти вместе с нею», — так говорил в своё время Виктор Гюго, обращаясь к депутатам французского Национального собрания и вместе с тем бросая вызов всем угрозам «Наполеона маленького», который заменил кодекс законов саблей, а правосудие — должностным преступлением.

При чтении прогрессивной американской литературы, представители которой мужественно и стойко сражаются против тирании Уолл-стрита, могут не раз вспомниться эти полные отваги и достоинства слова Гюго. Вспоминаются они и тогда, когда листаешь страницы журнала «Мэссес энд Мэйнстрим».

Перед нами двенадцатая книжка журнала за минувший год. На первый взгляд она несколько неожиданно открывается передовой статьёй, посвящённой Торо — Генри Дэвиду Торо, — американскому писателю-классику, умершему более 90 лет назад (1862). Чем привлекло внимание журнала, обычно затрагивающего в своих передовых статьях самые острые и злободневные вопросы современной действительности, имя и творчество Торо? На это исчерпывающе отвечает сама статья, написанная редактором журнала, известным публицистом Сэмюэлем Силленом.

«Торо любил причислять себя к тем, кто на древе зла обрубаёт не только ветви, но и добирается до корней», — пишет Силлен. — Все те, кто сейчас устанавливает «контроль над мыслями», тот сорт людшек, коих Торо называл негодьями, а мы называем фашистами, хотят уничтожить каждое звено в этой великой народной традиции. Для достижения своих целей они охотно пользуются некоторыми мифами, созданными во круг наших писателей-классиков».

Шаг за шагом, убедительно и беспощадно Силлен развенчивает мифы о Торо как об уединённом любителе природы, как о пассивной натуре, то отрицавшей якобы необходимость социальной ответственности для писателя, то по-анархистски призывавшей будто бы к ниспровержению любого правительства. Словно губкой, смоченной едкой кислотой, Силлен стирает с облика Торо и ржавчину прямой клеветы, и отравленную позолоту фальшивых словословий, и «хрестоматийный глянec», наносимый с бесчестными намерениями. И вот уже перед нами во всём блеске своей всенародной славы встает благородный облик писателя, который, неслышав на все свои идейные слабости, достоин занять почётное место в ряду передовых борцов за народное счастье. Не против всякого правительства был. разумеется. Торо, а лишь против того американского правительства, которое вело захватническую, агрессивную войну с Мексикой; не «пассивной натурой», а страстным и активным аболиционистом, другом и соратником легендарного героя борьбы за освобождение негров Джона Брауна был писатель Генри Дэвид Торо (о чём, кстати говоря, совершенно непонятно почему не сказано ни единого слова даже в таких советских изданиях, как Б.С.Э. и Литературная энциклопедия).

«Я не хочу ни убивать, ни быть убитым. Но я могу предвидеть обстоятельства, при которых и то и другое для меня может оказаться неизбежным», — вот какие мысли высказывал, оказывается, Торо, этот «уединённый любитель природы». «Страницы его книг трещат от независимых высказываний», — пишет Силлен. — Пороховой дым битвы висит над его обманчиво-тихим Конкордом (провинциальный городок, где жил Торо. — *B. P.*), откуда раздавались залпы его выстрелов, слышимые во всём мире».

В заключение Силлен подчёркивает, что «несмотря на всю историческую ограниченность его взглядов, Торо и сейчас способен призывать нас к борьбе против того наступления на разум и совесть, какое демагогически выдаётся ныне за американизм».

Так статья Силлена вновь подтверждает, что борьба за правильное истолкование и оценку классического наследия литературы является неотъемлемой частью общенародной борьбы против натиска реакции.

Если бы понадобились какие-либо дополнительные доказательства этого бесспорного положения, их можно было бы обнаружить, скажем, в «тюремном рассказе» Ред-

«Мэссес энд Мэйнстрим»,  
ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. № 12. 1954.  
Нью-Йорк. Главный редактор Сэмюэль Силлен.

★



жины Френкфилд, помещённом в том же номере журнала. «В тюрьме мне удалось прочесть кое-какие книги Торо, Марка Твена, Линкольна,— пишет автор.— Во мне росло и крепло убеждение в том, что мы, все те, кто сейчас ведёт борьбу, являемся истинными преемниками американских титанов, сражавшихся за демократию». Итак, в числе этих титанов здесь по праву назван и Генри Дэвид Торо.

Мы употребили выше несколько необычный термин «тюремный рассказ», звучащий почти как определение некоего нового литературного жанра. Термин этот принадлежит не нам. Помещая в номере два небольших рассказа, написанных Реджиной Френкфилд и Стивом Нельсоном, редакция предваряет их следующим кратким, но красноречивым предисловием: «Мы горды тем, что имеем возможность опубликовать произведения, написанные двумя жертвами «контроля над мыслями». Написанное ими — это часть того нового, что появляется ныне в литературе: политические заключённые предлагают вниманию своих сограждан-американцев «тюремные рассказы», создаваемые за железной решёткой».

Реджина Френкфилд выразительно описала иссушающую душу монотонность и жестокость тюремного быта, где всё делается даже не по звонку, а по жандармскому свистку, где человека рассматривают лишь как «номер такой-то» и где малейшая «привинность», состоящая в мельчайшем нарушении распорядка, карается мгновенно, автоматически и крайне сурово. «Целью тюремного распорядка,— пишет Реджина Френкфилд,— является увековечение тюрьмы. Как часто я слыхала слова: «Всё здесь должно делаться на пользу нашего заведения».

Вместе с тем «тюремный рассказ» Реджины Френкфилд, являющийся по существу страничкой из дневника и потому отмеченный печатью явной автобиографичности, пробуждает в американском читателе оптимистические чувства, укрепляет в нём надежду и веру в будущее. «Для политического заключённого... недостаточно как-то скоротать время... Даже в тюрьме время должно служить нам... И в тюремной действительности может быть своя красота. Она рождается из тепла и любви, какими нас окружают находящиеся на воле»,— пишет Реджина Френкфилд. Её рассказ «Дни, проведённые мною в тюрьме» прост, бесхитростен, лишён малейших признаков литературного украшения и самолюбования. В то же время он от первой и до последней строки проникнут оптимизмом, уверенностью в конечном торжестве правого дела. Всё это сообщает ему особую доходчивость, а во многих местах трогательность, но не сентиментальную, а мужественную.

Рассказ Стива Нельсона, озаглавленный «В тюремной яме Блоунокса», представляет собой отрывок из подготавливаемой им книги. В нём мы явственно ощущаем ту же широчайшую, всеобъемлющую тему сегодняшнего дня Америки, тему мужественного, стойкого сопротивления лучших сынов народа наступлению фашиствующей реакции. Рассказ Стива Нельсона также носит автобиографический характер. Герой его, очутившись в тюремной яме, как называют отвратительные и страшные одиночные камеры, выступает в качестве организатора всех заключённых; он старается личным своим примером, идейной убежденностью воздействовать на тех, кого тюремщики преднамеренно, настойчиво, а иногда и безуспешно лишают не только человеческого достоинства, но и человеческого облика.

Стив Нельсон — мужественный и закалённый боец-антифашист, приговорённый американским судом к многолетнему тюремному заключению. Он автор книги «Добровольцы», посвящённой героическим боям испанского народа и интернациональных бригад против франкистов (сам Нельсон был участником этих боёв). Это человек большой отваги и немалого опыта борьбы, что не могло не найти отражения и в его литературной манере. Мучительный, трудный, но в конечном счёте торжествующий процесс «создания коллектива», единого, спаянного даже в тюремных условиях и готового к сопротивлению,— таково содержание этого отрывка. Не сразу удалось этого добиться Нельсону. В первые часы пребывания в «яме» он сам был потрясён видом и поведением людей, казалось бы потерявших всякий человеческий облик. Но постепенно, шаг за шагом, ценой больших усилий Нельсону удалось добиться перелома. Прежде и раньше всего он решил пробудить в них простой человеческий интерес друг к другу и перезнакомить их. Впрочем, предоставим слово самому Нельсону.

«Переключка началась. Заключённые один за другим называли свою фамилию и объясняли, почему они попали в яму... Когда переключка кончилась, Джемисон из первой камеры затянул песню... Вскоре кто-то другой запел песню, которую все знали, и товарищи стали подтягивать... В перерывах мы беседовали друг с другом: каждый говорил по очереди. Затем мы снова пели, и я восхищался тем, какое множество разнообразнейших песен знали эти люди... К Джемисону стали относиться с уважением, как к знаменитости. Он заслужил это отношение не только своим хорошим голосом, но и тем, что за четыре дня моего пребывания в яме исполнил свыше ста песен — пел без устали».

Описанием рождения песни в чудовищных по жестокости и унижительности тюремных условиях Стив Нельсон пользуется, чтобы изобразить возникновение сплочённого коллектива товарищей по борьбе. Простая, бесхитростная, сердечная песня облагородила людей, заставила их взглянуть друг на друга иными глазами, помогла уничтожить ту «порочную атмосферу», при которой, как подчёркивает Нельсон, все эти жертвы издевательского обращения ненавидели друг друга, вместо того чтобы ненавидеть своих тюремщиков. Уничтожение этой атмосферы явилось, таким образом, не только полной неожиданностью, но и чувствительным ударом для тех, кто сделал из резиновой дубинки нечто вроде «скипетра власти». Вместе с тем исчезновение этой атмосферы знаменовало торжество человеческой сплочённости, и это было самым страшным для тех, кто так самоуверенно расхаживал по ту сторону тюремных решёток, полагая, что за этими решётками не может произойти ничего угрожающего.

Мы коснулись здесь сравнительно подробно тех произведений, которые, на наш взгляд, являются основными в номере двенадцатом журнала «Мэссес энд Мэйнстрим». Наряду с ними хочется упомянуть статью известного прогрессивного художника Рок-уэлла Кента, убедительно и метко критикующего так называемое «абстрактное», формалистическое искусство, до сих пор являющееся модным в среде крупной буржуазии и «украшающее» не только стены особняков на нью-йоркской Пятой авеню, но и некоторые музеи.

Даже из этого краткого обзора видно, что каждая страница журнала «Мэссес энд Мэйнстрим» пронизана боевым духом современности. Никто из выступающих здесь авторов не преуменьшает трудностей, стоящих перед американским народом на его пути к лучшему будущему. Но никто не впадает также в уныние, не теряет перспективы.

Более полувека назад в замечательном по силе и зоркости стихотворении в прозе «Огоньки» Короленко нарисовал картину страшной российской жизни, протекающей в «угрюмых берегах», «затенённой скалистыми горами». Изобразив, казалось бы, столь мрачными красками тогдашнюю действительность, писатель-демократ и гуманист закончил описание пророческой фразой: «Но всё-таки... всё-таки впереди — огни!..»

Именно это ощущение «огней впереди» и рождает журнал «Мэссес энд Мэйнстрим» своим правдивым изображением сегодняшнего дня Америки и умением бесстрашно заглянуть в её завтрашний день.

Б. РОЗАНОВ.

## МРАЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

С Ш А

«Трудно быть американцем», — сказал как-то известный американский поэт Арчибалд Маклиш. Это выражение вскоре стало необычайно ходовым. Американцы повторяют его и у себя на родине и особенно за её рубежами, в Западной Европе, там, где их на каждом шагу встречает красноречивый возглас: «Ами, го хоум!»

Антиамериканские настроения в Европе настолько сильны, что многие граждане США чувствуют себя на нашем континенте более чем неудобно. Эти настроения, скажем, в Англии проявляются, как свидетельствует журнал «Мансли ревью», «во многих сферах и по многим вопро-

«Перспективы США», трёхмесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. № 9. 1954. Год издания 3-й. Издатель Джемс Лафлин. Нью-Йорк.

★

сам, большим и малым, и находят своё отражение в радиопередачах, в ежедневной печати и в случайных разговорах людей на улице, не говоря уже об интеллигенции».

Многозначительная концовка — «не говоря уже об интеллигенции».

Не удивительно поэтому, что с некоторых пор именно западноевропейская интеллигенция и стала одной из главных мишеней американской пропаганды.

Маклиша следует понимать ещё и в том смысле, что рядовому американцу становится всё труднее не только разделять, но и понимать политику правящих кругов его страны. Как же в этих условиях привлекать симпатии интеллигенции других стран к «американскому образу жизни»? На помощь приходит один из наиболее изощрённых видов пропаганды — «пропаганда на экспорт».

Прежде всего «Перспективы США» должны были явить миру «чудо» примирения американской интеллигенции с отечественной действительностью и тем самым показать «европейскому интеллектуалу» образчик общественной гармонии. Но главная миссия «Перспектив США» — это всё та же вызывающая зевоту реклама американского образа жизни. На этот раз, учитывая читательский адрес, реклама должна была быть облечена в форму «высоколобых» рассуждений о том, о сём. Одним словом, журнал был задуман как «тонкая штука», нечто вроде идеологического найлона, прозрачного, словно дюпоновские чулки.

Что же получилось из этого предприятия? Увы! Первые же номера нового журнала показали, что «тонкость» вообще не в характере американских издателей и редакторов.

Европейские консультанты «Перспектив США» морщились.

Иные из них, подобно некоему Георгу Герстеру, даже попробовали громогласно подсказать «Перспективам США», что их «благородная и плодотворная разъяснительная работа» ведётся грубо. На страницах швейцарского еженедельника «Ди вельтвохе» Герстер в статье «Миллионы на культуру» советовал новому журналу отбросить плохо мотивированное высокомерие, не высказывать банальности таким сверхавторитетным тоном, «который скорее производит впечатление оскорбления, чем дружелюбия по отношению к цивилизованному читателю».

Прислушался ли журнал к советам своих европейских консультантов? Посмотрим, как выглядит последний полученный нами, девятый номер «Перспектив США».

Умление и восторги по поводу «американского образа жизни» пронизывают журнал от первой до последней страницы. Каждая, даже самая пустяковая заметка служит главной цели — прославлению «века США». Чрезвычайно характерны в этом плане традиционные в журнале «Письма из Нью-Йорка» Ф. Дьюпи. По духу своему и содержанию они весьма напоминают материалы отдельчика, уже несколько лет существующего в реакционном еженедельнике США «Сатердей ревью» под извиняющейся рубрикой — «Добрые новости — тоже новости!» В этом отдельчике печатаются цифры и факты неизвестного происхождения, так или иначе говорящие в пользу «американского образа жизни». Чаще всего это смехотворно ничтожные фактики вроде того, что на одном участке одной железной дороги местного значения отменено запрещение неграм ездить в общих вагонах. Публикуется это, вероятно, в расчёте на то, что какая-нибудь сердобольная дама прослезится, узнав, что в Америке существуют такие великодушные белые, которые согласны проехать две остановки в одном вагоне с негром.

Есть основания утверждать, что отдел «Добрые новости — тоже новости!» не принадлежит к числу наиболее читаемых в еженедельнике. Дело в том, что американцы предпочли бы узнавать хорошие новости, так сказать, эмпирически, в ходе собственной жизни. Но такой путь возникновения оптимума становится в США всё более затруднительным. Хорошие журнальные новости в глазах жителя Штатов бесплотны. Но не пропадать же материалу! То, что не имеет успеха на внутреннем рынке, может пойти на экспорт. Характер «Писем из Нью-Йорка» не оставляет сомнений в том, что их автор пользуется при составлении своих корреспонденций материалами «Сатердей ревью» из отдела «Добрые новости...» И если редакторам этого отдела приходится немало потрудиться, чтобы придать каждой «новости» видимость факта, то Дьюпи может обращаться с их «фактами» куда как вольнее — ведь он излагает их в свободной эпистолярной форме.

Вот, например, письмо Дьюпи в девятом номере журнала. Оно начинается так: «Сообщение об единодушно принятом Верховным судом решении об отмене сегрегации в школах было тепло принято в Нью-Йорке, где столь многочисленны негры и их друзья...» И всё. Ни слова о том, сколько лет ожесточённой борьбы предшествовало этому решению Верховного суда. Ни слова о том, что суд оставил в полной неприкосновенности все остальные формы дискриминации негров. Ни слова о том, что и это решение, явившееся победой прогрессивных сил США, носит пока чисто декларативный характер, ибо проведение его в жизнь не обусловлено никакими сроками. И, наконец, ни слова о том, какую вспышку расовой ненависти вызвало даже это куцее решение в реакционных кругах южных штатов.

Впрочем, для «Писем» Дьюпи характерно не только такое «гибкое» обращение с фактами. Стараясь снискать расположение либерально настроенной европейской интеллигенции, он обильно уснащает свои корреспонденции ссылками и на глубокую «индивидуалистичность» американской культуры, и на исключительную терпимость к тем деятелям культуры, которые поднимают голос протеста против маккартизма, и на гуманную щедрость Американского института искусства и литературы, оказывающего якобы широкую материальную помощь «нуждающимся интеллигентам»... Словом, Дьюпи «честно» служит целям «Перспектив США». И так, похоже на то, что журнал как будто не воспользовался советами своих европейских поклонников — тонкости в пропаганде пока что не видно.

Но не будем спешить с выводами. Перейдём к книжному обозрению журнала.

Книга «Вызов человеческому будущему», по всей видимости, — последнее слово неомальтузианства. Автор её — Гаррисон Браун — пророчит человечеству мрачную судьбу, если оно не примет решительных мер для сокращения народонаселения мира. Такие книги выходят в США десятками. Работа Брауна явно привлекла журнал тем, что, в отличие от дипломированных людоедов, считающих атомную войну благом, автор подходит к решению выдуманной им проблемы перенаселённости несколько «гуманнее»: он грозит человеку не гибелью, а лишь потерей «свободы, независимости и... превращением в бессловесного робота», целиком поглощённого добычей пропитания для 50-миллиардного населения земли. При этом он не скупится на... клеветнические заявления в адрес Советского Союза.

В журнале рецензируется публицистическая работа Жака Барзена — «Страна божья и моя». Она представляет собой не что иное, как откровенно низкопоклонный гимн США. Выходец из Франции, Барзен в 1919 году в «коротеньких штанишках» приехал в Штаты и ныне занимает кафедру истории в Колумбийском университете. По словам рецензента, книга Барзена продиктована «убеждением, что давно пора твёрдо высказаться против единодушного принижения Соединённых Штатов европейскими критиками и высоколсбыми в самой Америке». Барзен, утверждает рецензент, своей книгой раскрывает смысл афористического выражения Скотта Фитцджеральда (американский литератор. — *Е. Р.*): «Америка — это веление сердца». Но даже из этой рецензии следует, что Барзен перестарался в своём рвении и, яростно обрушившись на проявления антиамериканизма, шельмует всякого, кто рискует найти в американской действительности хоть малейший изъян.

Этот вывод рецензента, в сравнении с писаниями Дьюпи, кажется более изысканной пропагандой. Придя к такому заключению, мы начинаем замечать, что лошадиные порции восхваления «американского образа жизни» «разбавлены» в девятом номере журнала материалами более нейтральными и даже такими, в которых пробиваются намёки на критику, хотя чувство пропорции соблюдается в журнале весьма строго.

К «нейтральным» можно отнести отрывок из последнего романа Уильяма Фолкнера «Притча». Роман этот рисует картины жизни Франции в годы первой мировой войны; это уже само по себе интересно и заслуживает внимания, потому что Фолкнер обычно обращался лишь к сюжетам из жизни южных штатов. Трудно, судя по опубликованному отрывку, сказать что-либо о вещи в целом, потому что он производит впечатление вставной новеллы. Любопытен в произведении Фолкнера образ старого проповедника-негра. Черты благородства, которыми наделён этот старик, привнесёт элемент человечности в несколько анекдотическую ситуацию, описанную в отрывке.

Что побудило «Перспективы США» опубликовать этот отрывок? Конечно же, имя автора романа. Фолкнер — лауреат Нобелевской премии и писатель, широко читаемый не только в США, но и в странах Западной Европы.

К разряду таких же «нейтральных» материалов относится несомненно интересный обзор американской реалистической живописи XIX века. Привлекательны своей простотой и реалистичностью репродукции картин. Особенно запоминаются картины Мартина Хида «Перед штормом» (1860) и «Папа едет» Уинслоу Гомера (1873).

Материалы подборки «Художник и его аудитория» вполне шаблонны и привычны для глаза западноевропейского читателя. Мы имеем в виду статьи Сола Беллоу и Робинсона Джефферса. Романист Беллоу, автор бестселлера «Приключения Оги Марча», полагает, что писатель хотя и заинтересован в миллионной читательской аудитории, но он отнюдь не должен подчинять своё творчество её запросам. В статье звучит также жалоба на то, что в наши дни стало труднее рассчитывать на непосредственность читательской реакции, ибо мешает всеобщая склонность к «анализу и рассуждениям»...

Робинсон Джефферс — один из старейших буржуазных поэтов США — в статье «Поэзия и её долговечность», ссылаясь на судьбу Китса, оспаривает необходимость для поэта «великой аудитории», о которой писал в своё время Уитмен. Есть в статье Джефферса и здравые мысли, высказанные по разным поводам, но в целом она глубоко пессимистична: дивилизацию автор склонен считать врагом поэзии, которая вообще, по его мнению, «взывает к самым первобытным инстинктам».

Вся эта дискуссия вызывает в памяти недавнюю «полемику» о поэзии на страницах французской буржуазной газеты «Комба», которая, разумеется, пришла к заранее заготовленному выводу: «Поэзия не должна быть оружием». Не новая формула в среде идеологов «чистого искусства»!

Кстати, о поэзии в журнале. В девятом номере напечатан цикл стихов Арчибалда Маклиша, того самого Маклиша, которому принадлежит выражение: «Трудно быть америкянцем». О всех них, кроме одного, можно сказать, что они обычны для Маклиша и вполне нейтрально выглядят в журнале. Но одно из них — «Чёрный день» — то новое, что осторожные редакторы «Перспектив США» допустили на страницы журнала.

«Чёрный день» — необычайно яркое по своей силе стихотворение. Суровое обвинение маккартизму звучит в его строках, обличающих систему, где «люди лгут, чтоб выжить», где «страх губителен», «где клевета царит...»

Нетрудно себе представить, как появилось это стихотворение на страницах «Перспектив США». Известно отношение даже далеко не левых кругов западноевропейской интеллигенции к маккартизму. Карикатуры и фельетоны, осмеивающие Маккарти и публикуемые во всех газетах и журналах мира, уже сейчас составили бы многотомное издание. В этих условиях американский журнал, рассчитанный на самые широкие слои интеллигенции Западной Европы, не мог не отмежеваться, хотя бы в поэтической форме, от маккартизма ставшего символом открытой фашизации США. Тем более, что такие утверждения, как те, что сделал Дьюпи в своих «Письмах из Нью-Йорка» о терпимости к протестам против маккартизма, нужно ведь подкреплять и делом. Да и советы европейских консультантов, вроде упомянутого нами Герстера, рано или поздно следует учитывать — иначе закрывая журнал: пользы не будет.

Однако попытки «Перспектив США» «уточнить» свою пропаганду в расчёте на европейского читателя, или, как говорят, и невинность соблудности и капитал приобрести, дали совершенно неожиданные результаты.

А именно?

«Перспективы США» в компании с другими изданиями, субсидируемыми «Фордовским фондом», обвинены в нелояльности! Как сообщают американские газеты, не так давно Сенатская комиссия по расследованию антиамериканской деятельности в Вашингтоне слушала дело об администрациях фондов Форда, Карнеги и Рокфеллера и признала их виновными в «подрывной деятельности», нашедшей якобы своё выражение в «поддержке выпадов против нашей социальной и правительственной системы и финансирования пропаганды идей социализма и коллективизма». Особенно рьяно нападали на характер использования фондов сенаторы-республиканцы Кэрролл Рис, Джесс Уолкотт и А. Гудвин.

Вряд ли есть необходимость — да ещё нам! — подчёркивать всю нелепость этих обвинений. Недаром даже коллеги этих столь ревностных сенаторов, демократы, тут же в комиссии подиали их на смех, а президент Фордовского фонда возмутился методами расследования, принятыми Сенатской комиссией. Как бы там ни было, а комиссия вынесла своё решение.

Да, прав Арчибальд Маклиш — «трудно быть американцем». Даже в том случае, когда этот американец, как редакторы «Перспектив США», испытывает вполне верно-подданныческие чувства и хотел бы только половчее и потоньше заняться своим нелёгким делом. «Нет, — приструнивают его боссы, — мы ведём политику с позиции силы, так извольте и пропаганду вести так же. Чего там церемониться! У нас в США всё прекрасно. Так и объясните вашим подписчикам в Европе, а не поверят — мы им зададим перцу!»

Чем кончится эта «борьба» так называемых двух направлений в американской пропаганде на экспорт? Подождём следующего номера журнала. Однако уже сейчас можно твёрдо сказать, что европейские перспективы у «Перспектив США» в любом случае мрачноватые.

Ел. РОМАНОВА.

## В ДОБРЫЙ ЧАС!

Недавно Пабло Неруда рассказал советским читателям о старом печатном станке, которым до сих пор пользуется одна из рабочих газет Сант-Яго. Более сорока лет назад этот станок был приобретён учителем чилийского рабочего класса Луисом Рекабарреном. Он хранит на себе следы поломок и вмятин от ударов полицейских. Это живая реликвия тех далёких времён, когда рабочие Чили в условиях жестоких преследований, с огромными лишениями и жертвами начинали выпускать первые листовки и газеты, пробуждавшие народное сознание.

Зарю рабочего движения в Чили невольно вспоминаешь, читая первый, отлично изданный и любовно оформленный номер нового литературного и общественно-политического журнала «Аврора». Каждая страница этого журнала, проникнутого тем же боевым, наступательным духом, что и первые листовки Рекабаррена, свидетельствует о большом пути, который проделала за эти годы передовая чилийская интеллигенция. Об этом говорит и широта охвата явлений культуры, и теоретическая глубина, с которой разбираются в журнале вопросы философии и эстетики, и тот факт, что среди его авторов мы встречаем имена известных всему миру деятелей латиноамериканской культуры.

Краткая программная статья чётко излагает цели журнала: способствовать формированию революционного сознания чилийских трудящихся, беспощадно бороться с тлетворными космополитическими влияниями и всемерно способствовать развитию национальной культуры.

Журнал ставит своей задачей крепить единство чилийской интеллигенции с народом, знакомить читателей с борьбой прогрессивных сил Латинской Америки, с культурными достижениями лагеря демократии и социализма.

Содержание журнала разнообразно — тут и публицистика, и поэзия, и критические статьи, и рецензии, и хроника культурной жизни. Отсутствует в первом номере только художественная проза.

Едва перевернув зелёную обложку журнала, мы погружаемся в атмосферу суровой борьбы, которую ведёт народ Чили, как и всей Латинской Америки, против североамериканских колонизаторов на самых различных фронтах — от фронта культуры, науки, идеологии до военных фронтов, как это недавно было в Гватемале.

«Преступление против Гватемалы — это преступление против всей Латинской Америки, — говорится в передовой статье журнала. — В этот суровый час «Аврора» протягивает руку рабочему классу, крестьянам и верной своей родине интеллигенции Гвате-

### *Чили*

«Аврора», трёхмесячный литературный и общественно-политический журнал. № 1. Июль, 1954. Год издания 1-й. Сант-Яго. Главный редактор В. Тейтельбойм.

★

малы. Но семя брошено глубоко в землю. И кто может усомниться в том, что недалёк день, когда оно прорастёт и даст обильные всходы,— день великой весны освобождения всей Америки?»

Серьёзные, умные слова, верная мысль! Её глубина подтверждается хотя бы опубликованной в журнале «Одой Гватемале» Пабло Неруды. Это вдохновенное произведение — разве оно само не один из чудесных ростков семени, брошенного в почву Гватемалы, разве оно не выражение братской солидарности народов американской земли!

Привлекают внимание читателя статьи Сесара Годой Уррутиа «Прагматизм в чилийской системе образования» и Орландо Мильяса «Борьба за правду в истории Чили».

Прагматизм — реакционная философия «сверхамериканизма». Особенно яростно утверждал её ныне покойный философ Джон Дьюи. Идеологические институты США положили немало трудов, чтобы внедрить эту философию во все страны американского континента. Просто говоря, всё дело в том, что адепты прагматизма как бы автоматически становятся поклонниками американской действительности. Прагматизм и появился на белый свет для её оправдания и утверждения.

Из статьи Сесара Годой Уррутиа — известного чилийского литератора и общественного деятеля — мы узнаём, что на «педагогических» принципах Джона Дьюи ныне построена вся система образования в Чили. Школа отравляет сознание юных чилийцев зловредным ядом «проамериканизма». Автор статьи показывает губительное влияние философии прагматизма на подрастающее поколение страны.

Фальсификация истории, всегда сопутствующая пропаганде космополитизма и приращению традиций борьбы за национальную независимость, издавна служила основным орудием идеологической диверсии империалистов. Прогрессивный общественный деятель и публицист Орландо Мильяс в своей статье в «Авроре» анализирует несколько книг по истории Чили, написанных представителями американизированной «науки». Одни из них, не стесняясь называть чёрное белым, как это делает, например, Марсело Сегалл, начисто отрицают существование в Чили империалистического гнёта и феодальных пережитков. Другие прибегают к более тонким формам лжи. Хулио Сесар Хобет — автор «Критического очерка социально-экономического развития Чили» — не скупится на антиимпериалистические фразы, чтобы завоевать доверие читателя. Но под прикрытием этих фраз он пытается протащить не только идейку о том, что деятельность американских монополий в Чили объективно способствует обогащению страны, но и клеветнические утверждения о духовной неполноценности чилийского народа.

Этим лживым книгам Мильяс противопоставляет подлинно научные исследования — такие, как «Гражданская война 1891 года» Эрнана Рамиреса, как работа Сальвадора Окампо «Чилийская медь», и другие, убедительно опровергающие антинаучные писания Хобета.

Доллар не всесилен. В этой истине приходится всё чаще и чаще убеждаться американским монополиям, тратящим огромные средства на духовное порабощение чилийцев. В небольшой и острой публицистической заметке «Когда доллары терпят крах» журнал «Аврора» рассказывает о том, как в июне 1954 года государственный департамент США, встревоженный ростом движения деятелей культуры Латинской Америки за национальную независимость и мир, решил в противовес ему организовать в столице Чили свой «Конгресс в защиту свободы культуры».

«Аврора» сообщает любопытные подробности об этом конгрессе. Скандальный провал его начался уже с того, что все сколько-нибудь значительные деятели культуры отказались в нём участвовать. Американским агентам с огромным трудом удалось организовать вкворум. Но даже тех, кто сидел в зале, нельзя было заставить слушать раздававшиеся с трибуны клеветнические измышления в адрес Советского Союза. Собравшиеся кричали: «Опасность для Америки представляет не коммунизм, а диктаторские режимы, воцарившиеся с благословения Вашингтона на Кубе, в Венесуэле, Перу, Никарагуа, Сан-Доминго, Гватемале! Долой американизированных сатрапов и их покровителей!»

Когда же впавший в старческое слабоумие участник конгресса доктор Николаи, перестаравшись, во всеуслышание заявил: «Я разделяю культуры на высшие, как куль-

тура Соединённых Штатов, и низшие, как культура стран Латинской Америки», в зале поднялся такой шум, что его было слышно на соседних улицах...

Американские колонизаторы и их приспешники распоясались в Чили. Но растёт и крепнет в стране антиимпериалистическое движение, многочисленнее становятся ряды борцов за национальную независимость и мир. И в первых рядах вместе с рабочими и крестьянами шагают писатели и поэты, художники и артисты, представители чилийской культуры. На страницах журнала «Аврора» горячо пропагандируется их плодотворная деятельность, посвящённая сохранению и развитию лучших традиций национальной культуры чилийского народа.

Чилийцы по праву гордятся своей народной поэзией. Корни её уходят в далёкое прошлое. Но в течение долгого времени эта поэзия находилась в упадке — она утрачивала своё социальное содержание, выразительную национальную форму. В последние годы наметился процесс возрождения лучших традиций народной поэзии. Народные певцы стали вновь обращаться к теме человека и его борьбы, насыщать свои стихи и песни национальными мотивами. Большую роль в этом сыграла коммунистическая газета «Эль Сигло», издававшая специальное приложение «Народная лира», на страницах которого публиковались лучшие образцы современного чилийского фольклора. В статье «Возрождается наша народная поэзия» журнал отмечает важность состоявшегося в прошлом году в Сант-Яго национального съезда народных поэтов и певцов, впервые в истории Чили съехавшихся со всех концов страны.

С этой статьёй перекликается небольшая заметка, привлекающая внимание читателей к начавшемуся среди чилийских художников и архитекторов повороту от космополитических и декадентских влияний в сторону реалистического искусства, национального по форме и народного по характеру. Это стало заметно в творчестве таких отходящих от формализма художников, как Антуњес и Барреда, в очевидном приближении к реализму последних работ Вентурелли и ряда других мастеров. «Это пока ещё начало, но многообещающее начало», — заключает автор заметки.

Чилийская литература, занимающая сейчас одно из первых мест в Латинской Америке, опирается на богатые реалистические традиции. Проблеме развития этих традиций посвящена статья Лунса Энрике Делано «Бальдомеро Лильо и его роман «Под землёй».

Автор этой статьи не случайно обращается к образу одного из замечательных писателей Чили, Бальдомеро Лильо, более пятидесяти лет назад написавшего свой роман о жизни и нечеловеческих страданиях шахтёров угольного района Лота. Правдивость этой книги привлекала в своё время внимание всей страны к жизни чилийских горняков. Роман Бальдомеро Лильо оставил глубокий след в чилийской литературе, указывая путь молодому поколению писателей. Высоко оценивая историческую заслугу автора романа «Под землёй», Делано делает справедливый вывод: «Мы должны, как он, показывать действительную жизнь нашего народа, какой бы жестокой она ни была, а также сделать то, чего он ещё не успел сделать, — изобразить в наших книгах борьбу как единственное средство проложить путь к светлому будущему, ожидающему Чили».

Недавно такая книга появилась в Чили — это роман В. Тейтельбойма «Сын селитры». «Аврора» посвятила ему большую статью крупнейшего кубинского критика и писателя Хуано Маринельо, озаглавленную «Новый герой американского романа: рабочий класс». Маринельо пишет: «...в латиноамериканских странах осмысление трагической действительности дошло до такой степени, что перед писателем неизбежно возникает альтернатива: либо лишиться всякого стимула в творчестве и превратиться в подавленное, искалеченное, опустошённое существо, что означает преддверие смерти, либо стремиться как можно лучше выразить страдания и надежды, которые волнуют всех и движут всеми».

Лучшие латиноамериканские романы последних десятилетий — «Пучина» Э. Ривера. «Донья Барбара» Р. Гальегоса, «Те, кто внизу» Мариано Асуэла и ряд других, — примечательные реалистическим изображением трагедии, переживаемой Латинской Америкой, были пессимистичны. Писатели не находили выхода из окружающей их действительности. Но в жизни такого тупика нет. Маринельо пишет о недостаточной близости



многих художников к народу, об их неумении разглядеть в недрах народа те силы, которым принадлежит будущее.

Автор романа «Сын селитры» В. Тейтельбойм — непосредственный участник борьбы чилийского народа. Именно это, подчёркивает Маринелью, позволило ему создать произведение, в котором правдивое изображение событий, происходивших почти полвека назад, — забастовки на рудниках селитры, расстрела мирной демонстрации чилийских рабочих — сочетается с глубоким историческим оптимизмом, закономерно вытекающим из веры писателя в силы рабочего класса.

Роман В. Тейтельбойма — не случайное и не единственное достижение чилийской прозы. Об этом свидетельствует помещённая в «Авроре» рецензия на роман Мануэля Герреро «Убегающая земля», получивший не так давно первую премию на конкурсе имени Пабло Неруды. По словам рецензента, автор этого романа, рисующего борьбу чилийских крестьян за землю, сумел создать взволнованное реалистическое произведение. Оно не только протестует против социальной несправедливости, но и зовёт к борьбе за новую жизнь.

Выход в свет первого номера журнала «Аврора» совпал с 50-летием Пабло Неруды, превратившимся в праздник национальной чилийской культуры. В связи с этим журнал поместил статью «50 лет Пабло Неруды», а также опубликовал лекции самого Неруды — «Несколько слов о моей поэзии и моей жизни». В этом непосредственном и взволнованном разговоре с аудиторией поэт не раз возвращается к своей главной мысли: только неразрывная связь с родным народом, с его передовыми силами позволила ему ощутить себя как поэта, нужного людям.

Опубликованием перевода статьи И. Эренбурга «О работе писателя» журнал кладёт начало систематическому ознакомлению своих читателей с культурной жизнью советского народа.

Выход в свет первого номера «Авроры» — большое событие в культурной жизни Чили. В добрый час! — от души говорим мы новому прогрессивному журналу на американском континенте.

**В. КУТЕЙЩИКОВА, Л. ОСПАТ.**



РОМЕН РОЛЛАН

★

## ДНЕВНИК ВОЕННЫХ ЛЕТ (1914—1919)

Фрагменты

В 1934 году Ромен Роллан передал Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина свой «Дневник военных лет» с просьбой хранить его в неприкосновенности в течение двадцати лет, до января 1955 года. Первого января нынешнего года в присутствии специальной комиссии десять пакетов с рукописью были вскрыты.

«Дневник» представляет огромное по объёму (2 650 машинописных страниц— более ста печатных листов — с пометками и поправками от руки) и неоценимое по значению литературное наследие. Рукопись состоит из двадцати девяти перенумерованных тетрадей, датированных автором, и содержит размещённые в хронологической последовательности записи и документы, относящиеся к периоду первой мировой войны (1914—1919 годы), когда Ромен Роллан жил в Швейцарии; лишь в последнюю, двадцать девятую тетрадь входят парижские заметки.

«Дневник военных лет» включает обширную переписку Романа Роллана — черновики его писем и письма его корреспондентов, в том числе Максима Горького, А. Луначарского, Эйштейна, Бернарда Шоу, Анри Барбюса, Стефана Цвейга, Эмиля Верхарна и других, комментированные выписки из различных газет и журналов, записи бесед с друзьями и посетителями, отклики на все значительные события международной жизни, высказывания Романа Роллана по политическим, философским, литературным и иным вопросам, его личные наблюдения и т. д. Заметки Романа Роллана носят самый разнообразный характер — от пространных описаний встречи или изложения документов и его собственных взглядов до афористически лаконичного замечания или саркастической шутки.

Со страниц «Дневника» встаёт величественный и благородный образ художника, мыслителя, человека, посвятившего все свои силы борьбе против «великого преступления», каким он считал империалистическую войну, неутомимого правдоискателя, с презрением отринувшего ложь буржуазной печати о Советской России, врага всякого гнёта и насилия, подлинного гуманиста, страстно мечтавшего о достойном будущем человечества и увидевшего его предвестие в Великой Октябрьской социалистической революции. «Победа русской революции,— писал он в своём «Дневнике» 6 декабря 1917 года,—кажется нам необходимым условием всей будущности Европы».

«Дневник» Романа Роллана — прекрасный человеческий и литературно-исторический документ. Многие его страницы кажутся написанными сегодня. Они звучат пламенным призывом к действенной борьбе за мир и демократию, суровым приговором поджигателям и проповедникам новой войны, грозным предостережением тем, кто, забывая уроки истории, попустительствует восстановлению немецкого милитаризма и бешеной гонке вооружений.

Помещаемые ниже фрагменты, разумеется, не могут дать полного представления о «Дневнике» и об идейной эволюции Романа Роллана за годы войны, но они представляют несомненный интерес как первое знакомство советского читателя с ценнейшим литературным наследием выдающегося писателя Франции.

**С**ейппель<sup>1</sup> приехал из Женевы провести здесь вечер 23-го. Я не чувствую у него, как я рассчитывал, энергичного осуждения этой безбожной войны между братскими нациями. Переход в редакцию «Журналь де Женев» заразил и его. Он приемлет войну как роковую неизбежность, с той пассивностью, которая часто возмущает меня в религиозных людях. Легче всего сказать, что все человеческие бедствия предопределены судьбой! Но ведь своя судьба и у души человеческой, в которой несправедливость вызывает негодование и желание ей помешать. Бороться с судьбой — это тоже судьба, но судьба более праведная и достойная человека.

(Тетрадь 1, 31 июля — 5 октября 1914 года, стр. 13)

Чтение французских газет мне доставляет страдание. Моё сердце и мой ум равно оскорблены. В «Эко де Пари» от 18 ноября Ш. Фолей, сентиментальный, слащавый светский писатель, публикует гнусные письма одного солдата (он находит их восхитительными), рассказывающего о забавной работе штыком. Этот вояка называет штык своей «вилкой»; потешается по тому поводу, что задушил трёх бошей, а в другом месте — что сломал свой штык, всадив его в спину ещё одному; говорит, что этот сломанный штык послужит «булавкой для шляпы» его жене, и т. д. Гордый донельзя, Фолей прибавляет: «Не правда ли, с такими людьми Франция не пропадёт?» На той же странице Баррес<sup>2</sup> наигрывает на флейте свои самые мелодичные песни о смерти и об убийствах. Это соловей резни. В мирное время он томился скукой и тоской по кладбищу. В свежих могилах он почерпнул свежие силы. Его искусство в цвету. Но как ни прекрасен цветок, я вижу его стебель — он поднимается из кучи гниющих трупов. В «Тан» от 15 ноября Лависс<sup>3</sup> (речь на торжественном акте по случаю начала учебного года на филологическом факультете Сорбонны в Париже) высмеивает пангерманистскую спесь Оствальда<sup>4</sup>. И в той же речи он выставляет напоказ такую же смешную спесь и самодовольство: «Мы, древний народ, который... мы... мы...» — Франция всё сказала, всё сделала, всему научила мир.

(Тетрадь 2, 1914 год, стр. 92)

В рейхстаге (начало декабря). Мужественный Либкнехт один отказывается голосовать за военные кредиты. Его партия его дезавуирует. Вся Германия оскорбляет и смеивает его. Ему бросают в лицо, как брань, слова «одиночка» и «отщепенец». Да будут они для него впоследствии славным прозвищем!

(Тетрадь 3, зима 1914—1915 годов, стр. 19)

Папа, слова которого с таким нетерпением ждали, наконец возвысил свой голос; и возвысил его, чтобы осудить... социализм! В новой энциклике сказано:

«Когда наименее состоятельные борются против богатых, они не только грешат против справедли-

<sup>1</sup> Сейппель — швейцарский журналист; сотрудничал в швейцарской консервативной буржуазной газете «Журналь де Женев».

<sup>2</sup> Баррес Морис (1862—1923) — французский писатель, крайний реакционер, идеолог французского империализма, пропагандировавший идеи реванша и войны «до победного конца».

<sup>3</sup> Лависс Эрнест (1842—1922) — французский буржуазный историк либерального направления. В годы первой мировой войны высказывался за войну «до победного конца».

<sup>4</sup> Оствальд Вильгельм (1853—1932) — немецкий естествоиспытатель. По определению Ленина, «очень крупный химик и очень путанный философ». Во время войны высказывал крайне реакционные, шовинистические взгляды.

вости и милосердия, но и надругаются над самым разумом, тем более, что они тоже могли бы, если бы хотели, посредством честного соревнования в труде достичь лучшего положения...»

Наместник Христа не может всё же не говорить о любви к ближнему. Но —

«Эта любовь, конечно, не должна иметь своим следствием уничтожение различий состояний и классов, что неосуществимо подобно тому, как невозможно, чтобы в живом теле все члены обладали равным достоинством; однако благодаря этой любви те, кто занимает высшее положение, некоторым образом снизойдут к низшим и будут не только соблюдать справедливость по отношению к ним, но и проявлять доброту, приветливость и терпение в обращении с ними; а эти последние со своей стороны будут радоваться благоденствию тех и уповать на их помощь подобно тому, как в семье младший сын полагается на покровительство старшего».

Какая презрительная благосклонность! Какое аристократическое высокомерие! Сразу видно, что человек, написавший это, никогда не испытывал нищеты. Легко ему напоминать басню Менения Агриппы<sup>1</sup>, — ведь он в живом теле присваивает себе роль головы! Вся эта мысль, в сущности, покоится на обожествлении торжествующей силы, выраженном таким образом:

«Нет власти, кроме как от Бога, и все существующие власти изначально установлены Богом. Всякая власть над людьми, будь то власть князя или низшего начальника, происходит от Бога».

Но в чём же тогда разница между учением церкви и теориями проф. Лассона<sup>2</sup>?

(Там же, стр. 30—31)

Из моего ободряющего письма (от 10 марта) Ги де ла Батю<sup>3</sup>, который написал мне (4 марта из Руана) о своём отчаянии и отвращении ко всему происходящему:

«...Не теряйте веры в доброту и разум человека. Народы заточены в подземелье, куда не проникает свет. Они сражаются, не видя друг друга. Несчастные люди! Неистовая ярость, которой они одержимы, не родилась в их сердцах. Она искусственна, она им внушена. В дальнейшем всем станет ясно, что эта война, эта «священная» война, — дело рук каст (военных, интеллигентов) и финансовых магнатов. Народы здесь ни при чём. Но с помощью тех огромных средств, которыми располагают современные государства для уничтожения не только какой бы то ни было свободы мысли, но даже и ощущения, что мы этой свободы лишены (мобилизация всей нации, режим диктатуры, длящийся месяцами, цензура, оскопляющая мысль, китайская стена, изолирующая страну от всего мира), они сформировали на свой лад воззрения наших народов, взрасти-

<sup>1</sup> Менений Агриппа (ум. в 493 году до н. э.) — римский патриций; ему принадлежит «пошлая басня... которая изображает человека в виде части его собственного тела» (К. Маркс).

<sup>2</sup> Адольф Лассон — профессор Берлинского университета, автор книги «Культурный идеал и война» (1868), ярый апологет абсолютистского государства, войны и насилия, которое он ставит выше всякого права и морали.

<sup>3</sup> Ги де ла Батю — французский писатель и журналист.

ли ненависть и отвагу, в которых нуждались. И теперь свершились непоправимые события, которые долго будут препятствовать выяснению трагического недоразумения. Но оно разъяснится — ценою бедствий. Настанет день, когда народы откроют, что все они были жертвами. А пока пусть те, кто не ослеплён, не поддаются ненависти. Никогда ещё люди — все люди — не были более достойны жалости!»

(Тетрадь 6, 1915 год, стр. 54)

Письмо Виктору Баш<sup>1</sup> (7 июня)

Дорогой мосьё Баш, благодарю Вас за Ваше письмо и за Вашу брошюру. Она строго аргументирована, и я нахожу её убедительной в том, что касается непосредственных виновников войны. Что до другого рода ответственности за войну, ответственности, вытекающей из фактов и событий более отдалённых, то я считаю, что её в полной мере делают все государства. Но сейчас не время высказывать по этому поводу всё, что думаешь. Потом... Во всяком случае я, как и Вы, убеждён, что теперь действительно необходимо уничтожить немецкий милитаристский империализм. Но я не менее убеждён, что его невозможно уничтожить силами одних только союзнических армий, без содействия «лучшей Германии». Никогда ещё оружие вражеских армий не закладывало основы свободы в стране, народ которой не хочет свободы. Скорее оно может разрушить её навсегда. Но эта «лучшая Германия» существует. И я осуждаю политику и общественную мысль (воинственную и одетую в броню) союзных наций за то, что эти нации не сумели увидеть её, помочь ей, использовать её. Нужно было (как пытались это сделать, хотя и слишком грубо, деятели нашей первой революции) опереться на эту «лучшую Германию», вместо того чтобы распространять и на неё осуждение, которого заслуживают господствующие над ней милитаристские силы, и принуждать её сплотиться вокруг этих сил. В первые месяцы войны я верил на слово нашим и швейцарским газетам, публиковавшим соответствующие материалы, что немецкое общественное мнение всецело выражают некоторые знаменитости из числа литераторов, университетских профессоров, парламентских деятелей и т. д., которые, казалось, были поголовно одержимы *delirium tremens*<sup>2</sup>. Потом я с изумлением обнаружил, что их голоса вызвали в Германии почти столь же энергичный протест, как и в других странах; что эти верховные жрецы культуры и политики были отвергнуты молодёжью; что в записных книжках немецких солдат, в которых мы не желали замечать ничего, кроме записей, свидетельствующих о грабежах, звучали также вопли, исполненные моральной муки, и проклятия войне; что создавались мощные союзы, в которые вступали люди с большими именами, для борьбы в разгар войны против империализма и против присущих ему идей аннексии или насилия; что народные массы постоянно проявляли свою враждебность политике правительства... Короче, мало-помалу я пришёл к убеждению, что если империалистические и милитаристские силы несравненно более мощны, лучше организованы и более опасны в Германии, нежели в любой другой стране, то освободительные силы там, безусловно, не менее значительны, чем где бы то ни было.

(Тетрадь 8, 1915 год, стр. 25)

Верхарн прислал мне свою книгу «Окровавленная Бельгия» с посвящением, в котором я вижу преувеличение (он всегда преувеличивает в том или ином смысле): «Ромену Роллану, великому сердцу».

<sup>1</sup> Баш Виктор — профессор Сорбонны и видный общественно-политический деятель Франции; возглавлял Лигу прав человека и гражданина.

<sup>2</sup> *Delirium tremens* (лат.) — белая горячка.

Я ему отвечаю (14 июня):

«Дорогой Э. В.! Благодарю за книгу. Я не заслуживаю Вашего посвящения. Увы, я лишь страдающее сердце, которое терзают страдания людей и их ослепление: они не видят иного лекарства от зла, как причинять зло другим. Я уже читал Вашу книгу — её одалживал мне Гильбо — и плакал над ней. Как Вы должны были страдать, мой дорогой, великий и добрый Верхарн, чтобы испытать ненависть! Но я знаю, мой друг, что Вы не сможете, нет, Вы не сможете долго ненавидеть. Такая душа, как Ваша, погибла бы в этой атмосфере. Справедливость должна совершиться; но было бы несправедливо возлагать на весь народ ответственность за преступления нескольких сотен индивидов. Если бы во всём Израиле был лишь один праведник, я и тогда сказал бы, что Вы не вправе осудить весь Израиль. А Вы даже не подозреваете, сколько угнетённых, принуждённых к молчанию людей в Германии и в Австрии выбиваются из сил и страдают, противясь течению. Жестокая политика в их странах, как и в наших, направлена к тому, чтобы заглушить их голоса и сохранить за борьбой её неумолимую беспощадность. Но я их услышал, я их слышу уже десять месяцев, и впоследствии, мой друг, когда Вы их узнаете, волей-неволей Вы их полюбите. Если многие из тех, кого мы уважали, стали отступниками, то другие остались достойными всего нашего уважения. Назову лишь одного из них, Вашего восторженного почитателя Стефана Цвейга, который не только ничем себя не запятнал, но вырос в моих глазах за время этой борьбы. Я как-нибудь дам Вам прочесть его письма. Нет ничего более волнующего. Вы понимаете, ни одна греческая трагедия не являет такого зрелища слепого ужаса, как трагедия, которая разыгрывается в наши дни в Европе. Тысячи невинных людей повсюду приносятся в жертву преступной политике. Наполеон был прав, когда говорил: «Политика — вот нынешний рок». Не станем соучастниками рока, Верхарн! Будем на стороне угнетённых, в с е х у г н е т ё н н ы х! А угнетённые есть всюду. Я знаю только два народа на свете: это те, кто страдает, и те, кто заставляет страдать. Братски обнимаю Вас».

(Там же, стр. 35)

Я прошу у Ваньера оставить мне несколько колонок в «Журнал де Женев» для статьи о Жоресе по случаю годовщины его смерти. Я наталкиваюсь на нежелание опубликовать такую статью, но вначале мне его не решаются высказать. В субботу 31-го, в день годовщины, напечатать невозможно — нет места!

«Но не могу ли я по крайней мере поместить статью в двух номерах или хотя бы начать её в субботу четырьмя-пятью строчками, чтобы напомнить о годовщине?»

Ваньер мне пишет (21 июля):

«Публика не поняла бы, почему мы уделяем так много места этому событию, — в особенности наша французская публика, приходящая в ярость при одном имени этого великого социалиста, которого обвиняют — может быть, и напрасно — в том, что он хотел дезорганизовать армию и ослабить национальное сопротивление».

Я отвечаю Ваньеру:

«Жорес, даже если оставить в стороне его социалистическую деятельность, был великим оратором, великим писателем, великим мыслителем, великим историком, — его хватило бы на четверых или пятерых великих людей. Это стоит газетной статьи».

И не может же Женева быть более робкой, чем Париж, где только что вышла в свет книга о Жоресе с предисловием Анатоля Франса.

Сейпелю я пишу:

«Я нахожу скандальным, что «Журнал де Женев» разделяет злобу

оголтелых французских националистов, что она идёт у них на поводу, что она больше роялист, чем сам король... Чудесная эпоха для подавления истины! Но как бы ни старались её душители, она обнаружится и отмстит за себя!»

(Там же, стр. 20)

Я получил (29 августа) от французских профессиональных союзов приветственный адрес с приложением письма Мергейма<sup>1</sup> и резолюцией, принятой меньшинством ВКТ (Всеобщая конфедерация труда) 15 августа на Национальной конференции французских профсоюзных организаций в Париже.

...Эта резолюция местами плохо написана, и в ней иногда встречаются избитые фразы; но она отличается определённой, прямой, ясностью. Это самый здравый и беспристрастный голос, какой только раздавался во Франции с начала войны. Замечательно, что рабочие союзы пришли к более правильному пониманию политического положения в Европе, чем правящие классы.

(Тетрадь 10, 1915 год, стр. 2)

Порою можно подумать, что всё это — кощунственная насмешка. Эти священники, эти пастыри стали слугами Антихриста. Они бесчестят своего учителя. Если за время этой войны никто не возвысит голос, чтобы его защитить от этих поношений, он навсегда останется опороченным. Что до меня, который пытался до прошлого года примирить уважение к христианской религии со свободомыслием, то опыт этой войны доказал мне, что христианство лишь усугубило своим дурманом неистовство уже опьянённых народов и стремится освятить их опьянение. Оно надругалось над Христом. Оно сделало из него товарища по резне для скотов в человеческом образе. Значит, оно опасно; и когда война кончится, с ним нужно будет без колебаний бороться.

(Там же, стр. 8)

Еженедельный журнал «Fair play», издающийся в Миннеаполисе (Соединённые Штаты), обратился ко мне 5 августа 1915 года с просьбой ответить на анкету по следующему вопросу: «Какое из Ваших главных верований разрушила мировая война?»

Я отвечаю (29 августа):

«Война не разрушила ни одного из моих убеждений. Она их лишь упрочила. Она утвердила:

1) моё презрение к господствующим классам, правительствам, финансовым олигархиям, церквям и так называемому цвету интеллигенции, которые привели народы к этой бессмысленной бойне;

2) моё чувство братства со всеми, кто страдает, к каким бы нациям они ни принадлежали;

3) мою веру в их будущий союз и в торжество нового общественного строя, более справедливого и более достойного человека».

(Там же, стр. 11)

Письмо Мергейму (1 сентября), в котором, признавая, что «классовая борьба» является основой основ профсоюзного движения и что синдикализм не может от неё отказаться, поскольку от неё зависит не только улучшение положения рабочего класса, но и прогресс всего человечества, я призываю его говорить в настоящий момент прежде всего не о борьбе, а о сближении.

<sup>1</sup> Мергейм Артур (1881—1925) — деятель французского профсоюзного движения, участник Циммервальдской конференции. Уже во время войны перешёл на сторону правых и затем поддерживал их политику в Амстердамском Интернационале профессиональных союзов.

«Речь идёт о том, чтобы возстановить преступно расторгнутое великое человеческое сообщество и для этого воззвать к людям доброй воли всех классов и всех партий. Поглядите, что происходит в Германии и в Англии, где в «Union of Democratic Control»<sup>1</sup> и в «Bund Neues Vaterland»<sup>2</sup> входят представители всех партий, сплочённые общим стремлением к миру и любовью к свободе. Вы справедливо разоблачаете «Священное Единение»<sup>3</sup>, этот святотатственный союз, созданный для угнетения. Но самый действительный способ борьбы с ним — противопоставить ему другое, подлинно священное единение свободных душ. Поймите меня правильно: я верю в Ваш социальный идеал и надеюсь, что он осуществится, осуществится Вашими усилиями, усилиями рабочего класса, который проявил себя в испытаниях этих лет наиболее достойным руководителем будущими судьбами человечества. Но я убеждён, что в настоящий момент самое верное средство служить делу рабочего класса состоит в том, чтобы поставить самый рабочий класс на службу делу более общему — делу всего человечества, чтобы он на известное время забыл о себе или, вернее, отдал предпочтение интересам целого, великой человеческой семьи, перед своими классовыми интересами. Благодаря этому бескорыстию рабочего класса и его ясному пониманию общих интересов и общего идеала вокруг него сплотится всё, что есть живого и способного к плодотворной деятельности во всех нациях. Самая надёжная политика, всего вернее обеспечивающая торжество партии, заключается в том, чтобы эта партия, как никакая другая, служила интересам всего общества».

(Там же, стр. 12)

От всего отрекаемся. Все свободы Европы рушатся одна за другой, как карточные домики. Англия и Швейцария готовы отказаться от своих славных традиций, делавших их прибежищами свободы. Швейцарский депутат Марсель Гино берёт на себя инициативу при поддержке «Журналь де Женев» настроить общественное мнение в пользу «создания в Швейцарии концентрационных лагерей, где будут интернированы шпионы, иностранные дезертиры и нежелательные элементы». Если подумать об ужасающей неопределённости этого последнего термина, которым каждый может обозначать того, кто думает иначе, чем он, если вспомнить, что и я сам недавно был причислен газетой «Женеуа» к нежелательным элементам, нельзя не почувствовать всю постыдность такого предложения: мало того, что хотят покарать тех, кто виновен в сохранении свободы духа; их стараются спозорить, приравнивая к наёмным шпионам!

(Тетрадь 13, ноябрь 1915 года — январь 1916 года, стр. 39)

Читал книгу Феликса Сартю «Троя, Троянская война и доисторические истоки Восточного вопроса», Ашетт, 1915. Я был поражён, читая это превосходное археологическое исследование, точностью описаний Илиады. Но самое изумительное, что руины Илиона представляют собой двенадцать последовательных наслоений — останки девяти городов, построенных один на другом. Первый слой восходит приблизительно

<sup>1</sup> «Union of Democratic Control» («Союз демократического контроля») — либерально-буржуазная пацифистская организация в Англии в период империалистической войны 1914—1918 годов, выступавшая с требованиями мира, разоружения, демократического контроля над внешней политикой.

<sup>2</sup> «Bund Neues Vaterland» («Союз Нового Отечества») — либерально-буржуазная пацифистская организация в Германии в годы первой мировой войны.

<sup>3</sup> Имеется в виду провозглашённая буржуазией с первых же дней войны политика «священного единения нации», то есть классового сотрудничества во имя победы в империалистической войне. Этот демагогический лозунг подхватили социал-шовинисты всех стран.



к началу третьего тысячелетия до н. э. Во втором и шестом слоях обнаружены следы двух городов, полностью уничтоженных пожарами, один примерно в 2500—2000 году, другой — около 1000 года. К этому шестому слою и принадлежит гомеровская Троя (Гисарлык). Упорство, с которым муравей-человек восстанавливает своё жилище, может сравниться лишь с упорством, которое он проявляет, вновь и вновь разрушая его.

(Тетрадь 14, январь — март 1916 года, стр. 12)

29 января 1916 года. Моё пятидесятилетие. Я этим не горжусь. Как я хотел бы вернуться на двадцать лет назад, сохранив мой нынешний душевный мир. И, странная вещь, моё сердце моложе сегодня, чем двадцать лет назад. Жизнь до смешного коротка. Я чувствую себя так, как будто я только вступаю в неё, а между тем у меня за спиной полвека.

Телеграммы от Стефана Цвейга, Райнер-Мариа Рильке, доктора Альфреда Г. Фрида, «Nederlandsch Anti Oorlog Raad»<sup>1</sup> и т. д. Письма от Сейппеля, А. Фореля, доктора Феррьера, молодого студента-правоведа из Лозанны, отец которого — швейцарец, уроженец Франции, а мать — немка; он пишет мне, что мои сочинения имели своим счастливым следствием примирение насильственно разобщённой семьи, многие члены которой сражаются в разных лагерях. Фиалки из Цюриха, розы из Берна, ландыши и подснежники из Женевы... Увы! Почему возле меня нет никого, чтобы порадоваться им?

А потом, в завершение дня (который я провёл совсем один, одетый в мой самый старый костюм, потому что я отказался от всех приглашений, и мои бедные молодые друзья Гильбо и Тьессон притихли после моих грубостей, которыми я ответил на их предупредительность), как праздничный подарок, — зловещее известие, которое держит меня в тревоге тридцатого и всю ночь не даёт мне сомкнуть глаз: налёт цеппелинов на Париж вечером двадцать девятого — тринадцать бомб, девять разрушенных домов, около пятидесяти жертв. Газеты сообщают об этом в туманных и пугающих выражениях, не указывая, какие кварталы пострадали. Я телеграфирую своим и получаю от них ответ только тридцать первого во второй половине дня. Но налёты продолжаются, и тревога не оставляет меня, особенно в туманные тихие ночи — такие, как эта. Если опасность не будет устранена, я думаю вернуться в Париж, чтобы быть со своими.

(Там же, стр. 23)

Я заставляю себя, насколько возможно, не вкладывать в эти заметки ничего личного, оставаясь только писцом, который набрасывает их под диктовку времени. Я даже не пытаюсь дать верное представление об этом времени, сложном и путаном. Я только заносу сюда слова и дела, которые в дни этой схватки слышу и вижу в крохотном, ограниченном уголке огромного поля битвы. Но бывают моменты, когда моё сердце, сдавленное тоской, готово разорваться, когда мне хочется кричать от боли и усталости. Сможет ли тот, кто будет, быть может, когда-нибудь читать эти нескончаемые записки, представить себе нескончаемые дни, месяцы, годы, которые мы прожили в нравственной пустыне, среди человечества, охваченного бредом фанатизма и ненависти, оторванные от друзей, выданные «добропорядочными людьми» на поругание шпионам и клеветникам, видящие истину, но не могущие её высказать, — бессильные свидетели напрасного, нелепого истребления наших братьев, одни в этом бедламе защищающие свой здравый смысл от воящих безумцев?

(Тетрадь 15, март — май 1916 года, стр. 34)

<sup>1</sup> «Nederlandsch Anti Oorlog Raad» — «Нидерландская антивоенная лига» — пацифистская буржуазная организация в Голландии.

16 апреля 1916 года. Прилёт ласточек. Они парят высоко над обрывистыми берегами Роны.

(Там же, стр. 54)

#### Мелочная торговля

Директора парижской «Опера-Комик», миланской «Ла Скаля», римской «Констанции» и театра «Колон» в Буэнос-Айресе пришли к «соглашению о музыкальной торговле», в силу которого немецкие и австрийские товары будут заменены французскими и итальянскими. Таким образом, «французским композиторам и либреттистам будет обеспечена значительная часть лирического рынка, который до сих пор запружала немецкая продукция». То же самое в отношении итальянцев. Какое приятное сочетание слов: «лирический рынок»!

(Тетрадь 16, май—конец июля 1916 года, стр. 6)

Конец июня 1916 года. Тун. Мои две соседки за табльдотом, англичанки, великосветские дамы, элегантные и улыбающиеся, спрашивают моё мнение: «Как лучше поступить с этим ужасным человеком, сэром Роджером Кезментом<sup>1</sup>: расстрелять его или повесить?» Я отвечаю: «Выпустить на свободу». Они ошеломлены. Скандал, который мой немного резкие объяснения не помогают умерить. При этом вопросе, брошенном мне в упор, у меня вся кровь прихлынула к сердцу, и, когда я говорил, мои руки дрожали. Мне понадобилось несколько минут, чтобы овладеть собой. Я ненавижу этих светских гиен, которые упиваются сражениями, флиртуют со смертью и смакуют кровь».

(Там же, стр. 74—75)

Экспорт оружия и боеприпасов из Соединённых Штатов в Европу достиг суммы в 2 500 миллиардов франков. Американцы продали на 230 миллионов патронов, на 670 миллионов пороха, на 1 016 миллионов взрывчатых веществ, на 119 миллионов огнестрельного оружия, на 525 миллионов шрапнели и снарядов.

	1915 год	1916 год
Аэропланы	4.590.000	33.000.000
Автомобили	225.800.000	535.500.000
Химические продукты	178.500.000	493.500.000
Огнестрельное оружие	36.500.000	60.750.000
Колючая проволока	58.300.000	190.420.000
Взрывчатые вещества	106.450.000	1.764.500.000

Вполне понятно, что американские капиталисты не жаждут скорейшего окончания войны<sup>2</sup>.

(Тетрадь 17, 1916 год, стр. 73)

«Радикал» от 19 октября и «Попюлер» от 23—29 октября бьют тревогу по поводу ужасающего распространения сифилиса в армии, а через неё среди гражданского населения и даже в семьях самих солдат. Доступ в зону военных действий, строжайшим образом закрытый для законных жён, широко открыт проституткам, которые там кишмя-кишат, словно мухи на трупе. Ибо нет такого средства, которым не пользовались бы преступные сутенёры войны, чтобы удержать народ на фронте. Они отравляют его, пуская для этого в ход и прессу, и алкоголь, и ложь, и девок.

(Тетрадь 18, 4 ноября—3 декабря 1916 года, стр. 6)

<sup>1</sup> Кезмент Роджер — один из деятелей национально-освободительного движения в Ирландии. Был казнён в 1916 году по обвинению в шпионаже в пользу Германии.

<sup>2</sup> Цифры приведены Ролланом из газеты «Аванти» — центрального органа итальянской социалистической партии.

Сотрудник «Бонне Руж» Виктор Боннан (142, улица Монмартр) просит меня ответить на анкету о «литературе и будущем».

Так как эта газета меня иногда защищала, я отвечаю (8 ноября):

«Вы спрашиваете, какой должна быть позиция писателей после войны. У них есть только один долг, всё тот же после войны, что и до неё: писать правду. Но я надеюсь, что после войны будет больше людей, которые знают правду и знают ей цену, ибо столкнулись с ней лицом к лицу в скорбное и ужасное время. Так пусть же они говорят, пусть все они говорят! Пусть каждый скажет, что он видел, чувствовал, думал, — скажет всё до конца! Пусть каждый решится заглянуть в глубину своего сознания, вытащить на поверхность и рассмотреть в трезвом и беспощадном свете реальной действительности всё, что он тщательно прячет в потаённых уголках сердца: верования, истинные или ложные, условности, предубеждения, неизбежные маленькие мирские кредо, за которые приходится, однако, расплачиваться. Пусть каждый всё поставит под вопрос — свои чувства и мысли, которые были когда-то великими и животворными, но из которых многие теперь превратились в мёртвые принципы, великолепные, но обветшалые, как забытые идолы. Надо очистить общественное сознание от лжи, которой проникнуты просвещение, насаждаемое государством, своекорыстные традиции, привычки, порождённые ленью и спесью, боязнь утратить душевное спокойствие или боязнь трудностей. Ложь душит современную жизнь. Задача: вымести мусор и хлам из нашего дома и распахнуть настежь окна, чтобы в него ворвались свежий воздух, свет и дыхание будущего. Лозунг: «Бей ложь!»

Я знаю много французов, которые сумеют посвятить себя этому».

(Там же, стр. 10)

17 ноября. Визит господина д-ра Б. де Йонг ван Бек эн Донк (ну и фамилия! Точно из оперетки Оффенбаха), секретаря большой голландской пацифистской организации («Nederlandsch Anti Oorlog Raad»). Он приехал из Берна провести три часа со мной; я ему представляю моих здешних друзей. Это маленький, полный человек, рыжий и плохо выбритый; он ходит вразвалку, как утка, и делает ужасные гримасы: у него тик, нервные подёргивания лица. Когда ему удаётся с ними совладать (что происходит обычно, когда он вступает в беседу), он говорит очень размеренно на довольно плохом французском языке. Он расспрашивает меня о возможности вмешательства пацифистов нейтральных стран. Он довольно плохо информирован о французском общественном мнении и совершенно не понимает состояния умов во Франции. После того как он долго совещался с голландцами, англичанами, немцами, ему стало казаться, что всё пойдёт хорошо, если только Германия заявит о своём намерении сохранить статус кво, без аннексий. Ему ни на минуту не пришло в голову, что Франция, которую вот уже два года топчут сапоги немецких солдат, обескровленная и разорённая, хочет компенсаций и что возвращение Эльзас-Лотарингии является такой из них, от которой общественное мнение уже не может отказаться, не признав Францию побеждённой. Но особенно меня восхитил образ мыслей пацифистов, образцовым представителем которых является де Йонг ван... и т. д. и т. д. Каков идеал этих добрых людей? Прежде всего для них речь не идёт (разве что в самой малой степени!) о заключении мира в ближайшее время: это частный вопрос. Речь идёт о длительном мире, который будет установлен позже, грядущими поколениями людей (если ещё останутся люди). И какое же средство для этого они проповедуют? В о о р у ж ё н н о у лигу нейтральных государств, угрожающую войной всякому государству, которое нападёт на другое. Не верится, что всё это слышишь наяву... Жув<sup>1</sup> со смехом

<sup>1</sup> Жув Пьер Жан — французский писатель, поэт и литературный критик.

хлопает себя по ляжке. Чтобы убить милитаризм, его собираются распространить и на нейтральные государства. Декретировать перманентную, вечную мобилизацию...

Мы замечаем господину... и т. д. Бек эн Донк, что это напоминает поведение человека, который, чтобы уберечься от дождя, ныряет в реку. Когда Соединённые Штаты будут вооружены до зубов, о ни, охраняя право и справедливость в Европе, запрет их под замок в Южной Америке или в Японии. Впрочем, де Йонг соглашается, что нельзя заставить Соединённые Штаты действовать заодно с нейтральными государствами Европы. Нужно, чтобы существовали две параллельные системы. Следует заметить, что он проявляет священный ужас перед социалистами. Что касается Германии, то он и слышать не хочет ни о ком, кроме либералов вроде Ферстера. Это и есть официальный пацифизм, направление, по существу своему буржуазное; оно ни за что на свете не хочет затрагивать существующие учреждения и является охранителем собственности, отечества и... войны, которую оно собирается лишь образумить, цивилизовать, «нормализовать»; для него это достойный уважения повод для абстрактных дискуссий, которые никого ни к чему не обязывают.

Мы не преминули сказать господину д-ру Б. и т. д., что все его лекарства помогут, как мёртвому припарки, и что войны будут следовать за войнами вплоть до полного истощения Европы и всего мира, пока будут существовать современные государства, естественным порождением которых эти войны являются. Лишь социальное преобразование способно спасти Европу. А как оно может сейчас произойти?

Во время беседы де Йонг ван... и т. д. рассказал нам, что, когда в прошлом году Голландская антивоенная лига захотела организовать конгресс нейтральных государств, на котором должен был обсуждаться не вопрос о нынешней войне, а вопрос о длительном или абстрактном мире, французский и английский послы незамедлительно явились в министерство иностранных дел в Гааге, чтобы потребовать запрещения этого конгресса. Голландцев не разделяют, как швейцарцев, взгляды на войну. Подавляющее большинство — на стороне союзников (исключение составляют военные). Но по мере того, как война продолжается и становится очевидным, что союзники противятся заключению мира, симпатии к ним ослабевают.

Я снова поднимаю вопрос о беспристрастной швейцарской газете на французском языке. И возможно, что по этому вопросу де Йонг., Лохнер (миссия Форда), который должен вскоре приехать в Швейцарию, и Прива<sup>1</sup> придут к соглашению.

Но чем больше я вижу пацифистов, тем больше я убеждаюсь в мудрости моего инстинкта, заставлявшего меня всегда избегать их лиг и обществ.

(Там же, стр. 25—27)

Сейппелю, который прислал мне две дрянные статейки Судэ<sup>2</sup>, опубликованные в «Пари-Миди», я отвечаю (3 декабря):

«Я всегда считал Судэ одним из моих худших врагов (мне стало это ясно ещё задолго до войны), потому что он один из самых неискренних. Он умнее Лойсона<sup>3</sup>, но он так же недобросовестен, и потому-то я всегда отказывался с ним спорить: можно надеяться убедить глупца, который искренне заблуждается, но нет никакой надежды, что это удастся с умным и вероломным противником, который и не ищет истины. Возмути-

<sup>1</sup> Прива — французский журналист, сотрудничавший в газете «Ган».

<sup>2</sup> Судэ Поль — французский журналист и критик, сотрудничавший в реакционной буржуазной печати.

<sup>3</sup> Лойсон Поль — швейцарский писатель и драматург.

тельно, что Лойсон и Судэ противопоставляют моим высказываниям тирады Аэрта, героя моей первой драмы<sup>1</sup>, написанной двадцать лет назад, тогда как: 1) тирады эти выражают мысль действующего лица, а не мою собственную; 2) в предисловии к последнему изданию «трагедий веры» я говорю: «Вот какими мы были двадцать лет назад и каковы мы теперь. Но что до нас, то мы с тех пор ушли далеко вперёд...» (Я цитирую по памяти.) Нет ничего более оскорбительного для того, кто, подобно мне, искущён в литературной критике, чем видеть, как при оценке писателя смешивают в одну кучу (притом умышленно) цитаты, искусственно вырванные из произведений, относящихся к его юности, к зрелому возрасту и т. д., не указывая никаких дат, в то время как главное правило критики, которая заботится об истине, состоит в том, чтобы выявить линию духовной эволюции художника. Важно не что думал писатель (человек, проживший более или менее полную жизнь, всякое думал), а от куда исходит его мысль и куда она движется...»

(Там же, стр. 66)

Кровавый Тартюф, Ллойд Джордж назначен премьер-министром (8 декабря).

(Там же, стр. 82)

Отвечаю на письмо Горького (27 января). Благодарю его. Принимаю его предложение написать новый вариант жизнеописания Бетховена для задуманной им серии<sup>2</sup> и прошу его указать мне примерный объём книги и форму, которую он предпочёл бы (беседа с детьми или объективный рассказ). Что касается жизни Жанны д'Арк, то я подумал о Шатобриане<sup>3</sup>, — если Горький может подождать до заключения мира. «Почти все мыслящие и благородные люди во Франции сейчас на фронте, в окопах». Не думает ли он включить в свою серию жизнеописание Сократа? А Франциска Ассизского? Пусть не забудет и несколько великих имён древней Азии!

«Теперь позвольте мне сделать одно дружеское замечание. Выбор великих людей, которых Вы называете в своём письме, внушает мне некоторое беспокойство за детей. Вы предлагаете их вниманию такие устрашающие примеры, как жизнь Моисея. Я понимаю, что Вы хотите воспитать в них душевную энергию, которая является источником всякого стремления к свету. Однако не безразлично, будет ли направлено это стремление к прошлому или к будущему. В самом деле, ведь и в наши дни нет недостатка в душевной энергии; напротив, она в избытке; но она поставлена на службу отжившему идеалу, угнетательскому и смертоносному. Признаюсь, что я в какой-то мере отвернулся от великих людей прошлого, как примеров для жизни: в большинстве своём они разочаровали меня; я восхищаюсь ими эстетически, но для меня неприемлемы отличавшие их слишком часто нетерпимость и фанатизм; многие из богов, которым они служили, стали ныне опасными идолами. Если человечество не способно превзойти их идеал и открыть грядущим поколениям более широкие горизонты, боюсь, что оно не достигнет высот прогресса. Одним словом, я люблю прошлое и восхищаюсь прошлым, но хочу, чтобы будущее его превзошло. Оно может, оно должно его превзойти».

<sup>1</sup> «Аэрт», 1898 год.

<sup>2</sup> Речь идёт о задуманном Горьким издании серии книг для детей и юношества о великих людях всех времён и народов. Замысел Горького осуществился после Октябрьской революции созданием библиотеки «Жизнь замечательных людей».

<sup>3</sup> Шатобриан А. — литератор, друг Р. Роллана, в 1916 году находился в действующей армии.

Я сожалею, что не могу переслать ему мои новые статьи. «Мои взгляды эволюционировали за эти три года. Такие испытания приносят зрелость и оплодотворяют душу. Мне хочется верить, что мы с Вами вскоре сможем увидеться, говорить, соединить наши усилия».

(Тетрадь 19, 1917 год, стр. 34)

27 февраля — 1 марта. Читал «Огонь» А. Барбюса. Глубоко удивлён, что такое смелое произведение могло выйти в свет в Париже без единой купюры и получить премию Гонкуров. Это важнейший документ времени, рисующий французского солдата в окопной войне; и ясно чувствуется, что в этом армейском пролетариате зреет нечто предвещающее социальную революцию и союз убиваемых народов. В порыве энтузиазма я за несколько часов написал статью, которую послал Сейппелю для «Журналь де Женев». Но я сомневаюсь, что этот листок крупных буржуа-консерваторов согласится поместить её из-за угрожающих цитат, которые я в ней привёл.

(Там же, стр. 82)

31 марта, 1917. Отель Босежур, Шанпель, Женева.  
(970-й день войны. Русская революция)

Анатолий Луначарский мне пишет (из Сан-Лежье сюр Вев, 28 марта), что он и его друзья, русские революционеры-эмигранты, находящиеся в Швейцарии, «сгорают желанием вернуться в Россию»... Он просит меня написать для петроградской социалистической газеты «Правда» статью «о позиции либеральной буржуазии по отношению к нашей подлинно народной революции» и об «империализме с его политикой войны до победного конца», который ещё цепляется за власть.

Я посылаю ему рекомендательное письмо к доктору Феррьеру<sup>1</sup> и несколько строк для этой газеты. Вот они:

«Русские братья, разбившие свои цепи и одним прыжком догнавшие Францию Великой революции! Превзойдите её, завершите ваше и наше дело, подайте пример Западу, покажите ему, как великий свободный и сплочённый народ отражает натиск империалистических сил, атакующих его изнутри и извне. Будьте бдительны! Избегайте эксцессов, которыми могла бы воспользоваться реакция. Подчинитесь, чтобы победить, порядку и дисциплине. Будьте справедливы, спокойны, тверды, терпеливы. Не спешите строить, не заложив прочного фундамента. Воздвигайте, укладывая камень за камнем, непоколебимые устои нового общества. Шаг за шагом продвигайтесь вперёд и ни на пядь не отступайте. Вы трудитесь для свободы мира. И пусть мир, пробуждённый вашим голосом, последует за вами!»<sup>2</sup>

(Тетрадь 20, весна 1917 года, стр. 3)

Получил письмо от Жана Гольдского, директора газеты «Ла Гранше» (Париж, Гранж Бательер, 5), в котором он выражает мне свои симпатии и спрашивает моё мнение о газете. Отвечаю ему (29 мая):

«...Вы хорошо сделали, что опубликовали мою статью «Извилистый путь». Было бы ещё лучше, если бы Вы смогли напечатать другую статью — «Убиваемым народам», потому что она полнее выражает мой теперешний образ мыслей. Меня очень заинтересовали первые номера Вашей газеты, которые Вы имели любезность прислать мне. Она славно борется. Но я хотел бы от неё ещё большей ясности в некоторых вопросах и бесповоротного разрыва с прошлым. Главная проблема нашего времени уже

<sup>1</sup> Доктор Феррьер — вице-председатель Международного Красного Креста в годы первой мировой войны.

<sup>2</sup> Ромен Роллан приводит здесь первый вариант своей широко известной статьи «Привет свободной и несущей свободу России», опубликованной 1 мая 1917 года.

не укладывается в программу той или иной политической партии, не решается деятельностью в более или менее республиканском духе: всё это довоенные споры, которые русская революция отбросила в прошлое. Есть республики, столь же реакционные, незаконные, угнетательские, как и монархии. Одна из них — республика наших довоенных политиков, наших крупных дельцов, нашей финансовой олигархии с её «индустриализированной дипломатией», по выражению Франсиса Делези<sup>1</sup>. Дело не в том, чтобы её подправить, а в том, чтобы очистить место для подлинной демократии, подлинно народной демократии, а не демократии эксплуататоров народа, какой бы политической этикеткой они ни прикрывались.

Нам безразлично, сбросят ли кого-нибудь из этих господ, чтобы поставить на его место другого *eiusdem farinae*<sup>2</sup>. Французская демократия — демократия только по названию — запаздывает: куранты мира уже пробили. Пусть она отправляется в Петроград, как Кашен<sup>3</sup>, чтобы поставить свои часы! Для меня действия, к которым должен призывать наш лозунг, определяются прежде всего не словом «политические» или даже «социальные», а словом «интернациональные». На них нужно настаивать с полной определённостию. Только на этой почве может быть намечен путь великого социального прогресса, Священный Путь будущего. Пусть Европа работает над созданием новых организаций, таких, как «Советы» в России — ядро Интернационала народов, — а не над восстановлением наших старых политических форм, которые проявили до конца свою несостоятельность и пагубность».

(Тетрадь 21, лето 1917 года, стр. 20—21)

О решающей роли социалистов-патриотов всех стран в затягивании этой войны и в непримиримой политике воюющих государств. Вслед за Эрве, Тома, шайками Ренделя и Шейдемана, Плехановым и Биссолати отличился швед Брантинг<sup>4</sup>, перехвативший зашифрованную телеграмму швейцарского федерального советника Гофмана социалисту Гримму<sup>5</sup> в Петроград, опубликовавший эту телеграмму, передав её в «Таймс», и тем самым вызвавший кризис (отставка Гофмана), потрясший Швейцарию, которая лишилась своего лучшего, самого разумного политического руководителя. Вместе с тем поступок Брантинга поставил в необходимость русских революционеров<sup>6</sup> выдать своих верных союзников, швейцарских гостей, разъярённым скотам из зверинца Нортклифа<sup>7</sup> и может (на что и рассчитывает Брантинг) бросить Германию на Россию и принудить

<sup>1</sup> Делези Франсис — французский публицист-экономист. Мелкобуржуазный критик империализма.

<sup>2</sup> *Eiusdem farinae* (лат.) — того же пошиба.

<sup>3</sup> Имеется в виду поездка Марсея Кашена в составе делегации, направленной в Россию от Комиссии французского парламента по иностранным делам. Кашен вернулся из России убеждённым сторонником русской революции.

<sup>4</sup> Эрве, Тома, Рендель, Шейдеман, Плеханов, Биссолати, Брантинг — лидеры социалистических партий и II Интернационала, скатившиеся на позиции шовинизма, которых Ленин характеризовал как «изменников социализма, т. е. людей, перешедших на сторону своих правительств».

<sup>5</sup> Гримм Роберт — секретарь швейцарской социал-демократической партии. Приезжал в Россию и был выслан правительством Керенского вследствие перехваченной телеграфной переписки с швейцарским министром Гофманом, через которого он зондировал германские условия мира.

<sup>6</sup> Ромен Роллан имеет в виду эсеро-меньшевистских лидеров.

<sup>7</sup> Нортклиф Альфред Чарльз (1865—1922) — английский лорд, владелец английского газетного концерна. Пресса Нортклифа всегда была рупором наиболее реакционной и агрессивной части английской империалистической буржуазии.

Россию продолжать войну, из которой она хотела выйти. Я не знаю, оказал ли Брантинг услугу той или другой воюющей стороне (это может решить лишь исход войны). Но его поступок, без сомнения, должен быть поставлен на первое место среди измен общему делу народов, измен, примеры которых в таком изобилии дали социалисты всех стран за эти три года.

(Там же, стр. 65)

Стефан Цвейг в своём письме из Вены (13 июня) только и говорит о своей трагедии «Иеремия», которую он окончил и выпустит в свет нынешней осенью. Ему, видимо, кажется, что, поскольку он сумел вложить в невинную трагедию свои сокровенные мысли, это освобождает его от всякой иной деятельности. В этом он настоящий немец. Проявление некоего неопределённого свободомыслия в сфере эстетики, свободомыслия, которое никого не тревожит, он считает актом мужества, достаточным, чтобы оправдать его полную пассивность в области реальной действительности. Я не люблю в нём этого, и я очень отдалился от него за последние два года. В первый год войны меня волновали его письма, звучащая в них боль. Я ждал, всё ждал, что со страниц газеты, журнала раздастся его крик страдания и возмущения. Ничуть не бывало. Он ограничился безопасными аллегориями вроде «Вавилонской башни», опубликованной в «Кармель». Мне этого недостаточно. Кто не подвергает себя в той или иной мере опасности в этом испытании душ, недостойн принадлежать к нашему маленькому рыцарству. «Иеремия», быть может, шедевр, но Стефан Цвейг не «человек с характером». Впрочем, он совершенно очарован своим произведением, которому посвящено всё его письмо от первой до последней строки, и не побоялся написать, что в конечном счёте «это испытание оказалось для нас благим» (потому что оно внушило ему замысел «Иеремии!»). Правда, ему, видимо, стало совестно, и он добавил, что это благодеяние судьбы немножко дорого куплено.

(Там же, стр. 66)

Революционная Россия даёт себя поглотить войне. Керенский, который играет там ту же роль, что и буржуазные социалисты Франции, Англии и Италии, ведёт страну к диктатуре. Ленин доказывает в «Правде», что русское наступление — плод усилий английского посла и американца Рута<sup>1</sup>, а в особенности угроз Вильсона, установившего для наступления крайний срок, после которого переговоры между Россией и Америкой по финансовым вопросам будут прерваны. Теперь у меня такое впечатление, что всем заправляет Америка. В её руках — золото и хлеб. Европа должна воевать или подыхать с голоду. Скоро нейтральные страны будут поставлены перед выбором: или вступить в войну на стороне союзников, или потуже затянуть пояс. Иначе, как скрытым давлением и угрозами Америки, я не могу себе объяснить позицию французского парламента, который после своих попыток взбунтоваться почти единодушно проголосовал в пользу правительства и войны до победного конца. Очевидно, что Франция, разорённая войной, погрязшая в долгах, погибнет в крайней нищете, если Англия и Америка лишат её своей финансовой помощи. Так вот эту помощь они согласны оказывать ей лишь ценой всей её крови. Если война будет продолжаться, она примет характер боя между двумя галерами, к скамьям которых прикованы каторжане-народы, обречённые на взаимную

<sup>1</sup> Рут — американский сенатор, бывший государственный секретарь США, возглавлявший в ранге чрезвычайного посла специальную дипломатическую миссию, направленную правительством США в Россию в мае 1917 года. Миссия Рута имела своей целью, оказав давление на Временное правительство, добиться продолжения Россией войны «до победного конца». Миссия Рута вела также в связи с этим переговоры с Керенским о мерах финансовой помощи Временному правительству.



резню: одни — своей военно-аристократической кастой, другие (что ещё хуже) — кастой финансистов и иностранными государствами.

(Там же, стр. 86).

Брюгге бомбардирован английскими лётчиками. Реймс — немцами. Венеция — австрийцами. Сен-Кантен — французами... В каком удивительном согласии цивилизованные народы уничтожают цвет цивилизации и её плоды!

(Там же, стр. 104)

Ленин подвергается диффамации в прессе союзников...<sup>1</sup> Та же рептильная пресса Парижа (вся большая пресса) клеветает теперь на Горького, потому что это один из немногих могучих моральных авторитетов в Европе, оставшихся свободными, а значит опасных рабовладельцам, которые её тиранят. Им нужно очернить Горького. Вот они и твердят, что он подкуплен немцами. «Подкуплен!..» — кричат газеты, о которых только что стало известно, что каждая из них в течение трёх лет получала в виде 10 000 фиктивных подписок соответствующие суммы от царя и Штюрмера<sup>2</sup>.

(Там же, стр. 112)

15 августа 1917 года (отель Байрон, Вильнев). 4-й год — 1115-й день войны.

Подавление русской революции союзниками<sup>3</sup>. Травля максималистов. Восстановление смертной казни в армии. Злополучный Керенский играет роль марионеточного Дантона в руках Англии и президента Вильсона. Западноевропейские и заокеанская демократии отказывают своим социалистам в визах на выезд в Стокгольм<sup>4</sup> и во имя свободы душат свободу.

(Тетрадь 22, лето 1917 года, стр. 3)

Правительство Соединённых Штатов — столь же скромное, сколь и правдивое, — согласно телеграфному сообщению из Вашингтона, опубликованному в газете «Нью-Йорк геральд де Пари», заявляет, что «русские революционеры испытывают полное доверие к Соединённым Штатам, которые они считают единственной державой, вступившей в войну по совершенно бескорыстным мотивам». Я думаю, что трудно проявить более бесстыдное лицемерие. Мало того, что Соединённые Штаты подавляют русскую революцию и вынуждают Россию под угрозой удушения голодом обрезать себя на истребление в войне, которой она не желает: тартюфам из Белого дома и с Уолл-стрита нужно ещё, чтобы их жертвы выдали им аттестат добродетели и бескорыстия!

(Там же, стр. 5)

<sup>1</sup> Ромен Роллан имеет в виду сфабрикованное контрреволюционным Временным правительством на основании показаний шпионов и провокаторов и подхваченное зарубежной буржуазной печатью провокационное обвинение В. И. Ленина в «государственной измене».

<sup>2</sup> Штюрмер Б. В. (1848—1917) — премьер-министр и министр внутренних дел царской России в 1916 году.

<sup>3</sup> Имеется в виду разгром июльской рабочей демонстрации контрреволюционными войсками Временного правительства, конец двусвельствия, заговор генерала Корнилова против революции. Это наступление реакции проходило при всё усиливающемся нажиме на Временное правительство со стороны Антанты, требовавшей от Керенского энергичной расправы с революцией и оказавшей поддержку Корнилову. Как известно, борьба рабочего класса под руководством большевиков против корниловщины знаменовала начало нового революционного подъёма, который завершился победой Великой Октябрьской социалистической революции.

<sup>4</sup> Имеется в виду намечавшаяся летом 1917 года конференция социалистических партий в Стокгольме по вопросу о заключении мира.

Сейчас, когда австро-германские войска ведут яростное наступление в области Венеции, а англо-французские—во Фландрии, когда, по немецким сообщениям, захвачено в плен 250 000 итальянцев, у американского верховного командования во Франции хватает хладнокровия передать по телеграфу своему правительству, а у правительства хватает недомыслия в свою очередь сообщить европейским газетам следующее известие:

**Участие американцев в военных действиях**

Вашингтон, 5 ноября.

Генерал Першинг заявляет, что на французском фронте убиты три американских солдата, ранено — пять, попали в плен — двенадцать («Журнал де Женев», 7 ноября).

(Там же, стр. 100)

Волшебные сочетания красок осенних лесов над Вильнев и Шильоном. Золотисто-жёлтый, красный, коричневый, светлозелёный и тёмнозелёный тона. От дуновения влажного ветра кружатся, падают и свежими мазками ложатся на землю яркие листья (7 ноября).

(Там же, стр. 105)

Есть книга, озаглавленная: «Человек, который стал жертвой детей». Я мог бы себя озаглавить: «Человек, который стал жертвой друзей». Сколько их, упавших духом, мятущихся, сбитых с толку! Каждый хочет почерпнуть у меня силу и спокойствие. А у кого же мне почерпнуть их? Я обескровлен. Я не жалею. Такова моя роль; и я ею горжусь. Но с тех пор, как... с тех пор, как я себя помню, я ищу друга, который и меня поддержал бы в минуты бессилия.

(Тетрадь 23, зима 1917—1918 годов, стр. 93)

Я пишу Стефану Цвейгу (2 ноября):

«...Я огорчён, что Ваш друг О. Бауэр<sup>1</sup> в своих примечательных статьях в «Националь цейтунг» занял такую враждебную позицию по отношению к большевизму и призывает к совместным действиям Антанты и центральных держав против русской пропаганды. Более чем очевидно, что скоро мы станем свидетелями гнусного крестового похода всей «либеральной», «демократической», «республиканской» буржуазии Европы против русской революции. И когда это постыдное дело совершится, опозоренная Европа снова погрязнет в своих нечистотах; лицемерие буржуазной «демократии» — демократии великих принципов и крупных капиталов — поработит не только массы, но и цвет наций, — и физически и духовно».

(Тетрадь 26, осень 1918 года, стр. 52)

11 ноября. Перемирие на суровых условиях, к которому маршал Фош принудил Германию. Колесо истории повернулось. Теперь Бисмарк или Мольтке — нашего поля ягода.

Посол Швейцарии в Лондоне Карлен, который сейчас находится здесь, говорит мне: «Как печально видеть, что те, кто четыре года ссылался на принципы справедливости и свободы, поступают так же, как поступил бы их противник! Есть от чего отчаяться в людях».

Нет, нет, они именно таковы, какими всегда мне казались. А эти жалобы — скользкое место! Год назад был Брест-Литовск...

По крайней мере перемирие (какой бы ценой за него ни пришлось заплатить) это — прекращение убийства наций. Прежде всего мир. А потом, народы, вы сможете заговорить друг с другом. И в день, когда вы это сделаете, я недорого дам за шкуру ваших правительств.

(Там же, стр. 62—63)

<sup>1</sup> Бауэр Отто (1882—1938) — один из лидеров австрийской социал-демократии и II Интернационала, ярый враг Советской России.

Сейчас, когда я заканчиваю эту тетрадь записей, открылась Мирная конференция в Париже. Франция (мнения которой никто не спрашивал, так что вернее было бы сказать не Франция, а Клемансо) делегировала на неё Клемансо, его лакеев Пишона и Клотца и виднейших представителей старой тайной дипломатии и финансового империализма Тардые и Камбона. Филипп Бертелло, самый зловредный из политических вдохновителей Ке д'Орсэ, бывший сторонник царизма, который он поддерживал в борьбе против угнетённых народов, опять вытаскивает Клемансо на свет божий и назначен секретарём французской делегации. Царствует сила.  
(Там же, стр. 112—113)

Марсель Мартинэ<sup>1</sup> просит меня написать несколько строк о Либкнехте для «Л'Авенир Энтернациональ». Я посылаю ему следующий текст (31 января):

«Что я думаю о Карле Либкнехте? Я думаю, что это был человек большого, пламенного сердца, пылающего любовью к народу, сжигаемого болью за человеческие бедствия, горящего ненавистью к угнетателям, жаждой беззаветного, самоотверженного служения высокой идее... Кровь, пролитая Либкнехтом и Розой Люксембург, — это поток, через который невозможно перепахнуть. Он навсегда отделил ренегатов-социалистов от пролетариата. Достигнута ясность. И в моральном смысле это к лучшему. Но опасность, вытекающая из политической обстановки в Германии, огромна. Шейдеманы и Эберты теперь связаны по рукам и ногам реакцией, консервативными силами, к помощи которых они прибегли против своих братьев-врагов. В настоящее время создаётся блок из маленьких Макиавелли парламентского социализма и обломков имперского милитаризма, ещё далеко не превращённого в прах. Пусть Антанта бережётся этого блока. Она загнивает социальная опасность, которую в её глазах представляют спартаковцы. Но она не видит, что спартаковцы воплощают дух примирения между нациями и что новый блок, блок Шейдемана — Эрцбергера — Носке — Людендорфа (стратег ждёт своего часа и готов опять выйти на авансцену), вдохновляется идеями национального реванша и неутолимой злобой. Идеи эти уже повсюду находят своё выражение. Я к этому вернусь».

(Тетрадь 27, зима 1919 года, стр. 21—22)

Человеческая глупость не решается сложить оружие. Медицинская Академия в Париже, пребывавшая, вероятно, в бездействии в течение пяти лет, спешит показать себя, пока не кончилась война, и единогласно принимает постановление об исключении из числа её членом иностранцев немецкой и австрийской национальности. Она заявляет с тем же величественным единодушием, что не примет участия ни в каком конгрессе, на который будут допущены учёные этих двух наций, отлучённых от церкви. О жрецы клистиров! Вам остаётся только объявить, что их достойны лишь священные французские зады!

(Там же, стр. 100)

Парижский суд присяжных оправдал убийцу Жореса, тогда как человек, покушавшийся на жизнь Клемансо и нанесший ему всего лишь царапину, был приговорён к смерти! Напрасно выступали в суде политические деятели всех партий, говоря о величии Жореса и о бессмысленной гнусности преступления. Лавочники-присяжные, во власти злобного страха перед социализмом, их не слышали, не хотели слушать. Французская буржуазия и её классовая юстиция во второй раз убивают

<sup>1</sup> Мартинэ Марсель — французский поэт, автор сборника поэм «Проклятые времена».

Жореса. Это акт, низость которого может сравниться лишь с его безрассудством, ибо он направлен против миллионов бедняков и трудящихся, для которых Жорес был апостолом новой веры. Это кровавое оскорбление, этот отказ в правосудии будят классовую ненависть.

(Там же, стр. 101)

В понедельник, 28 апреля — хорошая статья Сейппеля о «Кола Брюньоне» в «Журналь де Женев». Зато во Франции «Кола» совершенно замалчивают. З а м а л ч и в а ю т п о п р и к а з у. Теперь я это знаю. Морис Поттеше сообщает мне (20 апреля), что Люсьен Декав, влюблённый в моё творчество, написал статью о «Кола Бр.». «Журналь», в которой он сотрудничает в качестве литературного критика, отказалась её поместить. Предлог: она слишком опасается сейчас нападков «Аксион Франсэз»!

(Тетрадь 28, апрель—май 1919 года, стр. 14)

Бойкот продолжается. Гумбольт мне пишет (24 апреля), что директор книгоиздательства «Ашетт» Г. Бретон не скрыл от него, что был бы рад избавиться от всех моих книг, которые он выпустил в свет. Речь идёт о двух томах театра, трёх томах критических работ и трёх жизнеописаниях — Бетховена, Микельанджело и Толстого! Книги пользуются полным успехом; но издательство, как чумы, боится моего имени... До чего приятно быть французом!

(Там же, стр. 15)

Понедельник, 19 мая 1919 г.

8½ часов утра.

Умерла моя дорогая мама.

(Тетрадь 29, май—июнь 1919 года, стр. 9)

Понедельник, 23 июня.

В шесть часов вечера, когда я беседовал с Сюаресом, которого я зашёл повидать впервые за пять или шесть лет на улицу Касетт, 20, где он живёт на первом этаже, небо загрохотало. Я подумал сначала, что гремит гром. Но раскаты не стихали. Оказалось, что это салют в честь подписания мира. Пушки палили залпами с небольшими паузами, делая каждый раз по двадцати выстрелов. Жалкий мир! Смехотворный антракт между двумя бойнями! Но кто думает о завтрашнем дне!

(Там же, стр. 33)

*Ещё четверть века после того, как была дописана последняя страница «Дневника военных лет», звучал благородный голос Романа Роллана — верного друга Советского Союза, неустанного и непоколебимого рыцаря справедливости, как называл его Горький,— могучий голос, звавший бороться за достойный человечества «завтрашний день», за мир и подлинную демократию. Незадолго до своей смерти, в самом конце второй мировой войны, после освобождения Франции от фашистских захватчиков, Ромен Роллан писал: «Теперь пришёл конец страшному кошмару пяти истекших лет. Сделаем же всё, чтобы он не мог повториться, и будем работать для возрождения Франции на её развалинах. Надо воссоздать национальное умиротворение и мир во всём мире посредством союза всех свободных народов». Эти искренние слова — завет великого художника народу Франции и всему прогрессивному человечеству.*

*Перевод с французского и примечания*

**Л. Лунгиной и К. Наумова.**



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ю. КАРАСЕВ

★

## ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА

*Заметки о прозе в национальных литературах*

**Е**дина, многонациональная... Это — принципиально новое, возникшее на базе новых общественных отношений, качество советской литературы.

Сейчас уже трудно представить себе советскую прозу без монументальных полотен А. Упита и романов В. Лациса, без целой плеяды украинских романов и повестей О. Гончара, А. Головка, Н. Рыбака, Ю. Яновского, И. Ле; без «Воспоминаний» С. Айни, рисующих мрачное прошлое таджикского народа; без книг казахских писателей — М. Ауэзова «Абай» и «Путь Абая», С. Муқанова «Ботагоз», Г. Мусрепова «Пробуждённый край»; азербайджанских — М. Ибрагимова, М. Гусейна; литовских — А. Гудайтиса-Гузьявичюса, А. Венуолиса; татарского — К. Наджми; тувинского — С. Тока; удэгейского — Д. Кимонко и многих, многих других.

Создавая яркие произведения о прошлом своих народов, помогающие более глубоко осмыслению настоящего, писатели братских республик упорно разрабатывают и современную тематику. На книжных полках рядом с книгами русских литераторов (так и хочется сказать: плечом к плечу) стоят произведения национальных писателей. Это романы и повести о становлении и укреплении колхозного строя, о борьбе советских людей с кулачеством: «Гвади Бигва» Л. Киачели и «Заря Колхиды» К. Лордкипанидзе (Грузия); «Ацаван» Н. Зарьяна (Армения); «В Заболотье светает» Я. Брыля (Белоруссия); «Над Черемошем» М. Стельмаха и «Буковинская повесть» И. Муратова (Украина); «В гору» А. Саксе (Латвия); «Свет в Коорди» Г. Ле-

берехта (Эстония) и другие. Это книги о ратном подвиге советского народа в годы Отечественной войны: романы «Незабываемые дни» М. Лынькова, «Глубокое течение» И. Шамякина, «Минское направление» И. Мележа (Белоруссия); «Бастион дружбы» А. Абульгасана (Азербайджан); «Дети большого дома» Р. Кочара (Армения); «Орлята» А. Абсалямова (Татария) и т. д. И, наконец, это произведения о самоотверженном труде советских людей: «Миллионер» и «Караганда» Г. Мустафина (Казахстан); «В добрый час» И. Шамякина и «Свет над Липском» М. Последовича (Белоруссия); «Лело» А. Чейшвили (Грузия); «Люди наших дней» Т. Сыдыкбекова (Киргизия); «Ветер золотой долины» Айбека (Узбекистан); «У нас в Астаре» Г. Сеидбеяли (Азербайджан); «Честь» Г. Баширова (Татария) и другие.

Я не случайно начал статью со своеобразной переключки, с несколько сухого и пространного списка. Уже по этому, далеко не полному и всё же «весомому» перечню (здесь перечислены произведения, наиболее знакомые широкому читателю) можно судить о значительности вклада, внесённого национальными писателями в дело развития всей советской литературы.

Перечитывая прозаические произведения национальных писателей, не перестаёшь удивляться возмужалости национальных литератур. Ведь в иных республиках проза как жанр возникла совсем недавно. Первенцу туркменской реалистической прозы, роману Б. Кербабаева «Решающий шаг», всего четырнадцать лет. Но это первое крупное прозаическое произведение туркменской литературы явилось памятным со-

бытием в нашей общей литературной жизни.

Наши национальные литературы развивались и развиваются под могучим, благотворным влиянием великой русской литературы. Есть у них и традиции, на которые они могут опереться, — традиции национального народного творчества и уже накопившиеся единые традиции всей советской многонациональной литературы, традиции, которые не разложишь по полочкам: это — для русской, это — для украинской, это — для узбекской литературы; они общие для всех литератур. Имеются в республиках и талантливые писательские кадры, которым предоставлены все возможности для свободного и вдохновенного творчества.

Конечно, развитие национальных литератур — это, как образно выразился в одной из своих статей Б. Кербабаев, «не парадный марш по укатанной дороге, а напряжённый поход, требующий подлинных знаний, идейной целеустремлённости и мастерства». Но уже в самом начале этого похода метод социалистического реализма облегчил писателям путь, борьбу с чуждыми литературными влияниями, помог правдиво и ярко отобразить важнейшие процессы в жизни советских народов.

Прозу национальных литератур, посвящённую современности, можно определить как летопись великих перемен, свершившихся в братских республиках после установления советской власти. «Наиль думал и о своём народе, — пишет в романе «Орлята» А. Абсалямов. — Кем он был и кем стал! Маленький татарский народ до Октябрьской революции был сплошь неграмотным, его терзали бесчисленные болезни, он умирал медленной смертью под двойным гнётом: царизма и своих баев. После Октября Татарстан стал одной из цветущих республик в братской семье Советского Союза». А казахский писатель Г. Мустафин в романе «Қарағанда» рассказал о том, как труд советских людей возродил к кипучей, полнокровной жизни мёртвую Қарағанду: в пустынной степи вырос крупный, благоустроенный индустриальный город, механизированное, в досталь напобённое электричеством производство.

Так было в действительности, и об этом торжестве нового в жизни убедительно рассказывают национальные писатели.

Особенный расцвет национальной прозы

приходится на послевоенные годы: число прозаических произведений, созданных национальными писателями за это время, намного превышает всё, что было написано до войны.

Основное своё внимание писатели отдали теме мирного труда, вдохновляемого высокой патриотической целью. Используя новаторские достижения послевоенной русской советской прозы, они изображают труд (понимаемый широко — как всякая созидательная, творческая, общественная деятельность, направленная на благо народа) не как бледный фон, на котором разрешались бы узкоморальные, семейные и иные проблемы, а как главное дело своих героев, неразрывно связанное и с личной их жизнью, пронизывающее все стороны этой жизни.

Следуя традициям литературы социалистического реализма, писатели братских республик применяют в своём творчестве современные изобразительные средства, и вместе с тем в их произведениях ярко выражена национальная специфика. В этом легко убедиться, обратившись к произведениям, где специфика национальной формы наиболее наглядна. Возьмём, для примера, талантливые, хотя и не лишённые недостатков книги киргизского писателя Т. Сыдыкбекова «Люди наших дней» и «Дети гор». Мы встретим в них и сочно написанные бытовые сцены, и специфические сравнения, имеющие своим источником своеобразие жизни киргизов, и вставные истории (общительные киргизы любят при случае рассказать старую легенду или сегодняшнюю быль), и острые поговорки и афоризмы — плод народной мудрости. Поговорки своего народа часто используют и русские писатели, но произведения литераторов Средней Азии отличает, кроме специфичности поговорок, ещё и их обилие, столь примечательное в словарном обиходе местных жителей. Т. Сыдыкбеков и герои своих характеризует порой с помощью народной поговорки («О таких людях в народе говорят, что они клок травы изо рта овцы не осмелятся взять»). Хорошо передана в произведениях Т. Сыдыкбекова и своеобычность самой ритмики, склада речи героев — речи образной (иные герои и мыслят образами) и несколько пышной, с традиционной почитательной или торжественной формой обращения к собеседнику. И всё это придаёт произведениям киргиз-

ского писателя яркую национальную окраску, укрепляет их жизненную основу.

Национальную форму нельзя себе представлять как нечто раз навсегда данное, застывшее, неизменное. Она постоянно развивается, обогащается новыми чертами, утрачивает устаревшие. Мы иногда мыслим национальную форму отдельно от социалистического содержания литературы; а ведь на деле форма и содержание слиты воедино, и новое, социалистическое содержание активно воздействует на национальную форму, рушит старые художественные схемы, предопределяет появление качественно новых изобразительных средств. Освободиться от обветшалых приёмов изображения действительности, оберегать национальную форму произведений от чуждых наслоений помогает национальным писателям и творческое усвоение традиций русской литературы.

Из богатейшей фольклорной сокровищницы писатели отбирают лишь то, что выдержало проверку временем как подлинно народное, жизненное. И закономерна ирония писателя, развенчивающего в «Детях гор» ложную романтику старых, байских сказок. А с каким тонким юмором выписаны в романе татарского писателя Г. Баширова «Честь» сцены, показывающие столкновение старых обычаев, традиций, привычек с сегодняшней реальной действительностью. Старая Хадичэ совершает вечернюю молитву, но от молитвы её то и дело отвлекают земные дела и заботы. И они для неё важнее бессмысленных причитаний.

Высмеивание всего вздорного, вредного в фольклоре, а также вздорных, нелепых старых обычаев наблюдается у многих писателей Средней Азии и Кавказа; и это — новое свойство национальной формы, обусловленное новыми жизненными обстоятельствами.

Я не ставлю своей задачей подробно разобрать особенности национальных литератур и поэтому могу ограничиться лишь общими замечаниями. Братские литературы дают обширный материал для постановки как специфических, так и общелитературных проблем. В этой статье я остановлюсь на вопросах, относящихся к созданию образа положительного героя, и коснусь лишь произведений, посвящённых современности, написанных по горячим следам событий.

## 2

Уже в период становления национальной прозы отчётливо определилась тяга национальных писателей к созданию образа положительного героя — преобразователя жизни, строителя нового общества.

Совсем недавно, ещё перед съездом писателей, вёлся спор, какой герой нам нужен: просто положительный, или положительный с недостатками, слабостями, или положительный с каким-либо пороком, «червоточинкой», или сверхположительный, идеальный герой, такой, какого и в жизни-то нет.

Это спор схоластический, ибо построен он был на абстрактных рассуждениях и поэтому был оторван от живой практики современной советской литературы.

Стоило бы авторам затронуть конкретный материал — и многие из их умозрительных построений благополучно рухнули бы, потому что советской литературой спор о положительном герое давно решён. Писатели наши вот уже несколько десятилетий работают — и успешно работают — над созданием образа положительного героя, достойного быть примером и предметом подражания для людей. И исходят при этом не из догматических предписаний («в этой книге я обязательно должен дать образ идеального героя, героя без недостатков!»), а из всего разнообразия жизни и из конкретной творческой задачи.

Это подтверждается и опытом наших национальных литератур.

Нас восхищают патриотические подвиги героев трилогии О. Гончара. Но взгляните: насколько по-разному замышлен каждый из этих героев. На образах Сагайды, Хома Хаецкого автор показывает, как в огне справедливой, освободительной войны, под непосредственным воспитательным воздействием Коммунистической партии растут, мужают, закаляются советские воины. Неуравновешенный, грубоватый, озлобленный личными потерями, Сагайда начинает в конце концов понимать, что любовь, а не ненависть движет освободительными армиями, познаёт счастье любви к людям. Собранным, требовательным старшиной становится Хома Хаецкий — один из колоритнейших образов трилогии. Позади те дни, когда он прижимался к земле во время воздушных налётов. Война уже не кажется ему «непонятным страшилищем». Беспокойный, во всё вмешивающийся, он и другим

не даёт покоя. Придирчивый, он и к себе предъявляет суровые и порой совершенно излишние требования. Иногда обострённое чувство справедливости, вообще присущее советскому воину, заставляет эмоционального Хому «перегнуть палку». С мягким, сочувственным юмором рассказывает О. Гончар о действиях Хома в чешской деревне: Хома советует чехам самочинно обобществить мельницу, поделить между собой землю сбежавших предателей. Чехи дружно поддерживают Хому. И, понимая, что Хома неправ в этом своём вмешательстве, мы вместе с автором всё-таки сочувствуем ему, ибо и ошибки Хома — от хорошего в нём.

А рядом с образами простых, не застрахованных от промахов солдат живёт в трилогии образ замполита полка майора Воронцова, образ, по-хорошему символический, воплощающий волю партии, мудрость партии. Воронцов — душа полка. Он играет огромную роль в воспитании Хаецкого и других солдат и офицеров. Он хорошо знает своих бойцов, любит их, дорожит ими, и вера в силу их патриотического чувства помогает ему принимать единственно верные боевые решения. Это он подаёт смелую мысль вынести знамёна на передовую и, несмотря на отказ командира полка, в решающую минуту вызывает знаменосцев на поле боя. Это он указывает и объясняет Хоме его ошибки, раскрывает перед ним подоплёку пиратских действий союзников.

Дальновидный, решительный, Воронцов в то же время мягок, прост, гуманен в социалистическом понимании этого слова. Сознание того, что сам он не имеет права ошибаться, что каждый его неверный шаг может обернуться кровью и слезами его соотечественников, — это сознание держит Воронцова в состоянии постоянного напряжения, раздумий.

Воронцов — всегда вместе со всеми и всегда впереди всех.

В данном произведении его и нельзя было показать другим; и по отношению к этому образу бесосновательными выглядели бы догматические, безоговорочные требования иных критиков непременно привязывать героя к земле (на манер лилипутов, привязавших к земле Гулливера) путями ошибок, срывов и недостатков: иначе, мол, литература превратится в иконопись.

Нелепо было бы навязывать недостатки

и таким героям, как Василь Сурмак из повести Я. Брыля «В Заболотье светает» или Микита Братусь из повести О. Гончара под тем же названием, хотя это вовсе не идеальные, а просто положительные герои, рядовые советские труженики.

Василь Сурмак, уроженец Западной Белоруссии, в прошлом батрачил у кулака, а после войны стал председателем только что зародившегося колхоза. Жадный ко всему новому, пылко радующийся открывшимся перед ним широким возможностям, свято оберегающий обретенное крестьянами счастье, он вступает в открытую схватку с кулачём и бандитами, зная, что может и погибнуть в этой борьбе.

Старому Миките Братусю, колхозному садоводу, бороться с врагами не приходится. Его удел — возиться с колхозным садом. И в саду этом Микита буквально творит чудеса, и по всей Украине идёт слава о его саде. Со страниц небольшой повести Микита Братусь предстаёт перед нами энтузиастом своего дела — горячим и увлекающимся в споре, размашистым в мечте, страстно влюблённым в труд. «Если б злейший мой враг, — говорит сам Микита, — стал придумывать мне пожизненную кару, то должен был бы сделать одно: пустить Микиту по свету бездельником, лишить его самой сладкой утехи — мирного, любимого труда...» С дружелюбным интересом следим мы за течением его мысли, улыбаемся лукавым его шуткам, заражаемся его жизнерадостностью.

Характеры Сурмака и Братуся отличны друг от друга. Но, как у литературных образов, есть у этих героев много общего. Оба образа глубоко поэтичны. Рассказ в обеих повестях ведётся от лица героев, и перед нами широко распахивается их внутренний мир. Раздумья героев, их отношение к окружающей действительности — всё это обуславливает лирическую окрашенность повести; Микита и Василь являются как бы лирическими героями произведений.

По замыслу авторов, герои их не представляют собой ничего исключительного, они — одни из многих. Но хоть это натуры не исключительные, они всё же являют собой яркий пример самоотверженности в борьбе и труде, пример нового отношения к труду, глубокой заинтересованности в общем деле (а по мнению иных критиков, не исключительный герой способен вызвать лишь любовь, но не желание подражать герою).



Нелёгкое дело — подогнать под какую-либо схему и образ Меки из романа К. Лордкипанидзе «Заря Колхиды», романа, повествующего о годах Великого перелома. Далеко не безболезненно проходила в Грузии организация колхозов: нужно было перевоспитать середняка, поднять к новой жизни батраков, привыкших трудиться на хозяина; обезвредить кулачество. К. Лордкипанидзе и отобразил в своём романе всю сложность тогдашней действительности, показал, как меняет людей то новое, что властно входит в их жизнь, как в борьбе с врагами, с трудностями, которые встали перед не окрепшими ещё колхозами, и с наследием прошлого, ржавчиной въевшимся в их души, побеждают простые труженики.

Сложен, труден путь Меки от принижённого, забитого батрака до активного строителя советской нови. «Тяжкое бремя батрацкой жизни совсем пригнуло его к земле». Но Меки уже глотнул новой жизни, и постепенно распрямляются его плечи, и вот на крестьянской сходке он разоблачает провокации кулаков, а потом, вступив в колхоз, с упоением, с какой-то даже одержимостью трудится на колхозных полях.

Меки выучили на тракториста. И, сев за руль трактора, Меки от избытка счастья запел...

Песню Меки оборвала кулацкая пуля. Но он нашёл в себе силу подняться с земли, дотащиться до трактора, который катится вниз по склону, к обрыву, и, теряя сознание, вцепиться в тормоз.

Меки приходит в себя дома, у секретаря партячейки Тарасия. И первый его вопрос — о тракторе. Успокоенный ответом Тарасия, Меки счастливо улыбается: нет, не удалось кулакам добиться своего, не удалось помешать расцвету колхоза!

Надолго запоминается эта волнующая сцена — кульминационный пункт в развитии образа Меки. И трудно не порадоваться чудесному преобращению простого крестьянского парня, и нельзя не позавидовать его силе, его целеустремлённости.

А разве нечему поучиться читателю у Демида Сыча, героя романа М. Последовича «Свет над Липском» (Белоруссия)? Да, Сыч — и как человек и как руководитель колхоза — не свободен от недостатков. Другие герои говорят, что «характер у него, конечно, не ангельский». И дело не

только в том, что он крут, резок и может, не стесняясь в выражениях, распечь нердивого работника, не в том, что он хмур, неулыбчив, замкнут. Всё это можно оправдать: несдержанность — закономерной нетерпимостью ко всем тем, кто мешает поднимать колхоз на ноги; замкнутость — личным горем (в войну он потерял семью). Труднее простить Сычу его недоверие к людям. Он по-своему любит их и по-отцовски о них заботится, но чаще опекает, так как не верит в их силы, в их творческие возможности, а, опекая своих колхозников, стремясь всё сделать за них, всюду успеть, Сыч мешает развернуться их инициативе.

Писатель осуждает ошибки Сыча, показывает, как коллектив, борясь за Сыча, обламывает «неуёмного председателя». Да и сам Сыч хоть и упорствует поначалу, но всё чаще начинает раздумывать над своими промахами, чутко ловит каждое слово о себе и недобро косится на тех, кто попрежнему величает его «командиром». Умение преодолевать свои недостатки, умение по-большевистски воспринимать критику — это уже черты, достойные подражания. Но Сыч привлекает ещё и своей жадностью к работе, своей неуёмной, кипучей энергией, готовностью все силы отдать порученному ему делу, страстностью своей мечты о будущем Родины... Это ведущие качества его характера, и именно они, а не грехи, от которых Сыч стремится избавиться, определяют характер Демида Сыча как положительного героя. И если Сыча и нельзя с полным правом отнести к героям, лучшие качества которых читатель мог бы взять за образец, то не потому, что он с грехами, а по более простой причине: хоть это, в целом, и живой образ, но иные из свойств характера Демида Сыча не развиты, а лишь декларированы, и образ в художественном отношении несколько недотянут.

Сколько хороших книг — столько и непохожих друг на друга образов положительных героев, по-разному задуманных, по-разному построенных.

И странное дело: писатель изображает героя без недостатков, а он не перестаёт от этого быть живым человеком. Писатель рисует героя не безукоризненным, а он всё равно зовёт читателя за собой.

Литература, как и жизнь, которую она отображает, сложна и многообразна, и по-

этому лучше говорить о положительных героях, не деля их по рангам.

Положительный герой в литературе — это и герой, как человек подвига. Наше время — время великих событий, героических дел и свершений. Советские труженики, прототипы положительных героев произведений, участвуют в этих событиях активно, прилагая героические усилия; это люди ясных патриотических устремлений, широкого кругозора, мысли, устремлённой в будущее, большой и яркой мечты; люди, творчески беспокойные, готовые к любым трудностям, упорные в достижении цели.

На декларациях, результативных определениях, статичных зарисовках образ такого человека не построишь. Активно действующий, он и может быть показан только в действии.

Идя по этому пути, многие национальные писатели сумели достигнуть определённых творческих успехов.

В перипетиях борьбы, в отношении к труду писатель, если он ясно представляет себе своего героя, может в большой мере выявить и индивидуальность героя, богатство его внутреннего мира, глубинные его побуждения.

В жизни люди по-разному выказывают себя даже в одинаковых ситуациях. И когда писатель правдиво и полно отобразит жизнь, он непременно отобразит и разнообразие человеческих индивидуальностей. Положительные герои «Знаменосцев» выполняют одну и ту же благородную миссию, все охвачены единым патриотическим порывом, все самоотверженно участвуют в борьбе с врагом. И, однако, как самобытен характер каждого из этих героев! Вот эта их живая самобытность и заставляет нас волноваться за них, сопереживать вместе с ними.

Мы говорили пока об успехах братских литератур. Успехи эти очевидны. Но мы не можем и не должны закрывать глаза и на некоторые серьёзные идейно-художественные просчёты писателей братских республик, бравшихся за создание образа положительного героя, тем более, что иные просчёты характерны не для одной какой-нибудь книги, не для одного писателя. Нам приходится наблюдать их и в ряде произведений русской советской литературы.

## 3

Перед нами три повести, вышедшие в последнее время в разных республиках: «На улице Ленина горит свет» А. Григулиса (Латвия), «Свет Москвы» Б. Сейтакова (Туркмения) и «В марийском лесу» Н. Ильякова (Марийская АССР). Различен жизненный материал этих повестей, различны творческие манеры авторов. Разнятся степени их таланта. И, однако же, все эти повести в чём-то похожи одна на другую. В чём же?

Марийские леса.. Сюда, на один из лесоучастков, в самую отсталую бригаду, райком партии посылает Ивана Толоконцева. В бригаде действительно полный развал. Лесорубы лодырничают, пьянствуют. Бригадир Ланцов — человек вялый, безинициативный. «Да-а, картина!» — только и остаётся сказать Толоконцеву.

С первого же дня Толоконцев начинает «поднимать» бригаду. Через месяц она уже выполняет план и чувствует в себе силы вызвать на соревнование лучшую бригаду лесоучастка — егоровскую. Больше того, бригада Толоконцева возглавляет соревнование, вспыхнувшее по всему лесоучастку. Благополучно устраиваются и личные дела Толоконцева: он женится на дочери Егорова, Кате.

Так развёртываются события у Н. Ильякова. Так же развёртываются они и в повести А. Григулиса.

Ильзу Юрик, закончившую техникум культпросветработников, направляют на работу в посёлок Плуццием: она назначена заведующей Домом культуры, который считается наиболее отстающим среди культурных учреждений района. «Работа тут была совершенно запущена... Общественная жизнь была ключом, но почему-то руководители Дома культуры терпели здесь неудачу. Правда, это были случайные, неподготовленные люди, оставившие о себе неважную славу». С приходом Ильзы всё меняется. Дом культуры становится центром культурной жизни района, и плуцциемцы во главе с Ильзой едут в Москву на смотр художественной самодеятельности. Благополучно устраиваются и личные дела Ильзы: она выходит замуж за Индрика, которого давно уже любит.

У Б. Сейтакова главная героиня повести — агроном Тезегюль. Закончив Тимирязевскую академию, она возвращается в

свой колхоз. Колхоз этот, правда, не из отстающих, но многие возможности остаются в колхозе неиспользованными. И только благодаря Тезегюль на полях колхоза вводятся новые культуры, позволяющие широко использовать технику, изыскиваются новые посевные площади. По предложению Тезегюль в колхозе начинают заниматься новой культурой — джумом, по предложению Тезегюль её колхоз объединяется с соседними. Благополучно устраиваются и личные дела Тезегюль: она готовится выйти замуж за тракториста Доврана.

Похожесть сюжетов, по нашему мнению, ещё не порочит произведений. Каждый писатель может на основе сюжета, внешне совпадающего с сюжетами других произведений, построить роман или повесть, неповторимые по своему содержанию, по мыслям, не говоря уже о литературных особенностях.

И в разбираемых повестях наше внимание привлекут те страницы, где писатели, каждый по-своему, воплотили в красочных картинах черты нового в жизни своих республик. Авторы всех трёх повестей стремятся создать образ нашего современника, строителя коммунизма, — и это направление их работы нельзя не одобрить. Своих героев они показывают добивающимися трудовых успехов, и в этом тоже не отступают от правды жизни. Типический результат деяний советских людей — успех, победа. Это подтверждается всем опытом нашей жизни.

Но победа добывается нелёгкой борьбой (особенно это относится к повествованию о том, как неопытный человек приходит на отстающий участок). И писатель должен показывать пытливую мысль героев, напряжение, с каким они ищут нужных решений, усилия, которые они прилагают, преодолевая трудности. Через правдивый показ пути героев к успеху писатель сможет ненавязчиво выказать своё отношение к ним, подвести читателя к нужным выводам.

К сожалению, авторы разбираемых повестей стараются сами сделать выводы за читателя. Им хочется, чтобы читатель любил героя с первых же страниц, и они торопятся предварить события. Не успев ещё как следует познакомиться с Толоконцевым, лесорубы уже выражают твёрдую уверенность, что «он теперь нас всех поднимет». «Человек образованный, боевой, —

спешит определить Толоконцева и Катя, — а умный и в новом деле скоро разберётся». «А теперь нам Толоконцев навезёт хлопот, — вторит ей электропильщик Балашёв. — Я уж его знаю». И читателю, который, в отличие от Балашёва, ещё не знает Толоконцева, всё становится ясным: Толоконцеву уже обеспечен успех.

Герои повести А. Григулиса тоже изо всех сил тшцается откомендовать Ильзу в лучшем свете. Стоит секретарю парторганизации рыбного завода Гарклаву вечером поговорить с Ильзой, а утром председатель райисполкома уже уведомлен, что «Гарклав отзывался об этой Юрик хорошо». Сын Гарклава, Валдис, ещё не знает Ильзы; неудачи прежних заведующих Домом культуры не дают оснований верить в быстрый успех новой, и однако, узнав о приезде Ильзы, Валдис приходит в восторг: «Наконец-то Плудциемский Дом культуры начнёт работать нормально!»

Заранее восторгаются Тезегюль герои повести «Свет Москвы». А когда возникает необходимость обосновать этот восторг, обрисовать действия, поступки героев, авторы обращаются к абстрактным, риторическим определениям.

Что сказал бы читатель, если бы в «Повести о настоящем человеке» писатель, сообщив, что Мересьев лишился обеих ног, поставил отточие, а потом заявил: «Прошло несколько месяцев, и Мересьев, научившись пользоваться протезами, снова встал в строй»? Думается, что в этом случае просто не было бы повести.

А именно так, заполняя пробелы определениями, пишет, как правило, автор повести «В марийском лесу» Н. Ильяков.

Толоконцев, новичок в лесном деле (в лесу он работал лишь мальчишкой), придя в бригаду и не успев ещё осмотреться, сразу же заявляет бригадиру Ланцову: «— Я тут смаху, с налёта, и то вижу причину... да не одну...»

И он стал, закладывая пальцы, перечислять, что он заметил. И не столько перечислять, сколько... объяснять, почему это происходит». Но что же именно он заметил? А главное, когда успел заметить? Толоконцев, правда, заходил в бригаду Егорова узнать что-нибудь о бригаде Ланцова. Однако разведка его окончилась неудачей: «По всему он понял, что расспрашивать старика Егорова о его работе и о бригаде Ланцова не время и не место. Что

же, кто-нибудь другой расскажет, почему у Ланцова дело не ладится». Но «кто-нибудь другой» ничего Толоконцеву не рассказывает, а в бригаде Ланцова он перекидывается несколькими репликами с лесорубами и тут же идёт к Ланцову «объяснять, почему это происходит». Выходит, Толоконцев сделал то, чего он, судя по авторскому же рассказу, никак не мог сделать! А через страницу новая декларация: «Есть увлекательность в усвоении нового. Пришёл в незнакомое место, к незнакомым людям — и вот, смотришь, уже вошёл в новое дело». И опять-таки приходится верить автору на слово. Писатель находит и объяснение лёгким успехам Толоконцева. «Казалось бы, что может заметить человек за один день, да ещё в новом для него деле? Но есть какой-то опыт, разум жизни, который и в незнакомом деле определяет, как надо и как не надо поступать». Видимо, этот неведомый «разум жизни» устраивает автора настолько, что он и в дальнейшем не считает нужным показывать героя «в усвоении нового», в борьбе за успех. «Прошло пять дней», «постепенно познакомился Толоконцев с рабочими», «уже пригляделся к неполадкам, уже решил, как надо устранять их». «Прошло около месяца». Видимо, за этот месяц в бригаде свершилось немало интересного. Однако читателю снова преподносится лишь результат.

В разговоре с Толоконцевым в конце повести секретарь райкома партии бросает замечание, целиком оборачивающееся против повести: «...получается, что будто сам по себе матвеевский лесоучасток подтянулся. В понедельник, скажем, не было ничего заметно, а уже в среду на него и другие участки смотрят. Чудес не бывает! А если и бывают, то значит, что дело во вторник, который между понедельником и средой был... Вот и рассказал бы ты мне об этом вторнике».

И читатель вправе требовать от писателей, чтобы они рассказывали прежде всего об этом вторнике. Иначе может создаться впечатление, что всё героям даётся легко.

«Не скрою, тебе будет очень трудно, — предупреждает Ильзу Юрик («На улице Ленина горит свет» А. Григулиса) подруга, — придётся начинать всё сначала. Даже... не сначала, а откуда-то ещё дальше: ведь в первую очередь нужно исправить старые ошибки». Однако Ильзе, хотя у неё,

по собственному признанию, и нет опыта, никаких трудностей преодолевать не приходится. И получается, что Ильза просто удачлива. Ей можно завидовать, но подражать — трудно.

Ильза без особого труда занимает второе место на мотогонках (хотя участвует в них впервые), легко сдаёт все экзамены на «отлично». Все в Плуцциеме (а прежде всего сам автор) идут ей навстречу. Исполком райсовета готов охотно помочь Ильзе. Ильза сразу же покоряет сердце уборщицы Бушвектерши, старого смотрителя маяка Екаба, молодых Пускалисов и других многочисленных (повесть просто пестрит ими) героев произведения. Трудно уговорить учёных лесоводческой станции выступать с лекциями, а Ильзе для этого и не нужно прилагать особых усилий. Учёные вначале вроде упираются, но одному из них, Петерсону, уже «совершенно ясно, что через несколько минут многие... будут значиться в списке лекторов Плуцциемского Дома культуры». «Так оно и вышло», — двумя строками ниже заявляет автор. Способность Ильзы убеждать людей не раскрыта, а лишь декларирована. Разговор с учёными заменён отточием. К отточию, к пробелу прибегает автор и при описании встречи Ильзы с упрямым Думбрисом, которого она прочит в руководители хора: «Думбрис уступил и пообещал пойти в клуб, чтобы проверить голоса, лишь после длительных уговоров». От такого краткого сообщения впечатление удачливости Ильзы не исчезает. Стоит ли после всего этого удивляться тому, что дела в Доме культуры сразу пошли в гору!

Ильза выступает в повести и вершительницей людских судеб. Если бы не Ильза, Андрей Крауя остался бы работать на маяке, а не поехал учиться в консерваторию; если бы не Ильза, молодые Пускалисы не сделали бы активными участниками самодеятельности и активными работниками в колхозе.

Надо отметить, что в частности повесть А. Григулиса написана свежо, интересно. С хорошим юмором показаны отношения Валдиса и подруги Ильзы, Айны. Ярко нарисован образ самодовольной, пустой и болтливой аптекарши Румпитэ. А. Григулис любовно выписывает детали, умеет делать живыми и естественными диалоги. Приятен и праздничный, светлый, весенний тон, в котором выдержана вся повесть. Но неправота писателя в том, что в

весне он видит только внешнюю поэзию, в нашей творческой, радостной жизни выделяет только лёгкие успехи. «За красоту в жизни надо бороться, в самой этой борьбе и заключается наибольшая красота», — справедливо замечает председатель колхоза Гундега. Видимо, с этим согласен и автор, написавший эти слова. Однако борьбы в своей повести он не показывает.

Не жизненные, реальные качества советского человека, которому захотелось бы подражать, у которого было бы чему поучиться, а необыкновенная способность героев всё уяснять, всё понимать и всё делать легко и быстро помогает им добиваться неубедительной, обусловленной лишь авторским произволом победы.

К Тезегюль, только что покинувшей студенческую скамью, окружающие относятся, как к личности исключительной. Приезд Тезегюль в колхоз обставляется, словно из ряда вон выходящее событие: все и всюду только о ней и говорят. И вскоре же после приезда Тезегюль совершает целый переворот в жизни колхоза.

Бывает, конечно, что молодой агроном едет на место работы уже с определёнными планами. Однако только опыт может помочь ему выверить реальность этих планов, а опыт накапливается не сразу. У Тезегюль же не только готовые планы, но и готовый опыт. «Можно ли знать все участки? Но Тезегюль, казалось, знала («разумом жизни?» — Ю. К.) каждую травинку и каждый пенёк».

Во всех крупных, значительных начинаниях инициатива принадлежит одной Тезегюль, и лишь изредка иные из героев повести поправляют молодого агронома.

А ведь среди них есть умные, знающие, опытные люди: секретарь парторганизации Дурды Артыков, Сахатли, директор МТС Власов и другие. Почему же никто из них не мог додуматься до того, до чего додумывается вчерашняя студентка Тезегюль? Каждое её предложение, высказывание воспринимается ими как откровение. Было бы, пожалуй, естественнее, если бы идея объединения колхозов возникла в сознании председателя соседнего колхоза Аллаберды: именно он жалуется на то, как трудно руководить небольшим колхозом, именно он яснее всех видит непригодность маленького колхозного хозяйства к большим задачам, выдвигаемым жизнью. Однако и идею объединения автор приписывает

Тезегюль. Правда, позднее выясняется, что идея эта в других колхозах страны уже начинает воплощаться в жизнь, и в масштабе всей страны Тезегюль только невольная последовательница других. Но в своём районе Тезегюль — счастливое исключение (за счёт недогадливости и пассивности окружающих). И как ни старается автор расхвалить и поклонников Тезегюль, их мысли и их дела выглядят всё-таки как бы придатками её дел и мыслей; то, что они могли бы сделать сами, передоверяется Тезегюль.

Как и Ильза у А. Григулиса, Тезегюль умеет смирять самых непокорных.

Кузнец Ораз-уста, «приверженец старины», не отпускает свою дочь на состязания по бегу. Кузнеца уговаривает секретарь комсомольской организации Гельды (а он «умеет спорить и убеждать»), но всё напрасно. Тогда Гельды прибегает к последнему средству: обращается за помощью к Тезегюль. «Неизвестно, какой совет дала ему Тезегюль, но Гельды снова стоял в кузнице». «Тезегюль прислала тебя?» — с благоговением спрашивает кузнец (ещё и не успевший с нею повидаться и, видимо, только наслышанный о ней). Да, Гельды прислала Тезегюль, и это решает дело. Кузнец сдаётся на уговоры.

Старый Пальван-ага против того, чтобы его сын стал строителем: это чёрная работа. Секретарь партийной организации Артыков спорит с ним, но всё напрасно! И опять на помощь зовут Тезегюль, словно знает она какое-то волшебное слово. Правда, Пальван-ага — вероятно, в силу своей непроходимой косности — сомневается в способности девушки «заколдовывать людей своим красноречием». Но после нескольких произнесённых Тезегюль фраз старик уже «поколебался в своих взглядах... Тезегюль своего достигла».

А вот что говорит один из стариков, ездивший когда-то к Мичурину: «Не приехала бы к нам Тезегюль, могла бы пройти без пользы и моя давняя поездка к Мичурину».

Нет, ни в чём нельзя обойтись без Тезегюль!

Впрочем, порой автор словно спохватывается: не перехвалил ли он свою героиню? «Пифию нашли! По всем вопросам к ней, — возмущается тракторист Довран. — А недостатков в Тезегюль пропасть, и всё ей сходит!» Когда читатель дойдёт до это-

го монолога, ему останется лишь удивиться: ведь о недостатках Тезегюль не было и речи! Сам автор до этого представлял Тезегюль «избавительницей от всех бед, самой умной».

Довран говорит и о том, что Тезегюль «отнюдь не незаменима». Ему не нравится, что все «носятся с Тезегюль». А автору нравится. И всё в повести противоречит рассуждениям о «заменяемости» Тезегюль, словам автора о том, что «не ей одной, а в равной мере всему колхозному активу» обязан колхоз своими успехами. Тезегюль легко управляется со всем и без актива; актив существует при ней лишь на подсобных ролях.

Авторы всех трёх произведений ставят акцент на успехах, достижениях своих героев. Но что сделал человек — это всем видно. Задача писателя — раскрыть, как он это сделал, какие качества характера помогли ему в этом. Показать в её полномодном, бурливом течении жизнь советских людей, их напряжённый творческий труд — вот задача писателя.

Если бы авторы упомянутых повестей позволили героям действовать, бороться, изобразили реальные, подлинные трудности, препятствия, конфликты, — образы героев обрели бы плоть и кровь и герои перестали бы выглядеть удачливыми или исключительными натурами: реальную трудность в одиночку не осилишь; и писателю поневоле пришлось бы вывести своего героя в окружении дружного, сильного коллектива.

В одной из своих статей Н. Тихонов справедливо заметил, что «в условиях наших южных и восточных республик, где достижения последних лет особенно подчёркивают разницу между прошлым и настоящим... ещё более соблазнительно показывать — на фоне прекрасной природы — такую, лишённую всех тревог жизнь». Но беда не только в этом.

Мы иногда пишем и говорим о лакировке писателем действительности, об идеализации героев так, как будто всё это идёт от злонамеренного писательского умысла: он-де сознательно закрывает глаза на противоречия жизни, не желает замечать трудности. А дело обстоит иначе. Писатель, вместо того чтобы глубже изучить жизнь, основательнее продумать все

детали книги, избирает путь наименьшего сопротивления и заполняет книгу результативными зарисовками — результатом описать легче, чем процесс. А этим предопределяется и облегчённое звучание произведения; хочет этого автор или не хочет, но, говоря лишь о результатах и умалчивая о сложных жизненных процессах, он обеднит действительность, обескровит образ положительного героя.

Да, важен показ именно пути, процесса. Ведь, как мы уже видели, иные писатели упоминают о трудностях, стоящих на пути героев. Однако мало упомянуть о трудностях или даже статично описать их, — нужно пронизать произведение пафосом преодоления препятствий, пафосом активных действий героя, глубоких его чувствований, больших мыслей. Не случайно же М. Горький говорил, что социалистический реализм утверждает бытие как деяние, как творчество, освящённое великой целью.

В романе азербайджанского писателя М. Сулейманова «Тайна недр» читатель найдёт и конфликт и изображение трудностей. Но конфликт сводится в конце концов к спору по поводу чисто технических проблем (спору, решаемому приказом сверху). Трудности в романе не мнимые, и справиться с ними, наверно, нелегко; однако писатель ограничивается лишь тем, что сталкивает своих героев с неожиданными препятствиями и дальше этого не идёт.

Буровая скважина — накануне аварии. Руководители конторы бурения опоздали с доставкой нужного материала, и на буровой, говоря техническим языком (а таким языком написана вся производственная часть романа), началось поглощение. Автору хорошо удалось передать напряжённость обстановки, встревоженность, беспокойство нефтяников. Гюльшен, главный инженер конторы бурения, стремится найти выход из создавшейся ситуации. И вот здесь, когда автору представляется благодарная возможность глубже раскрыть характер героини, проследить за работой её мысли, показать, какие свойства характера выказывает Гюльшен, попав в трудное положение, — писатель начинает сбиваться на наивные определения: «Она ушла к себе и стала ходить по комнате»; «некоторое время Гюльшен ходила из угла в угол».

Из раздумий (а под конец раздумывает она уже не над положением на буровой, а над словами отца, призвавшего её быть настойчивой и непреклонной) выводит героиню телефонный звонок. «Беспокоиться особенно нечего. Есть хорошие новости», — «бодрым голосом» сообщает геолог Зеки.

Трудность «рассосалась» сама собой, а непреклонность и настойчивость Гюльшен так и остались невыявленными.

На буровую из-за бурана прекратилась подача энергии. Писатель в суровых красках описывает, чем это грозит буровой. «Кафар-даи волновался необычайно. Прихват инструмента мог произойти очень легко, а это неизбежно привело бы к аварии и даже, быть может, к гибели скважины». Борьба за жизнь буровой — вот как должны были бы выглядеть в романе сцены, рисующие устранение нефтяниками непредвиденного затруднения. А выглядят они сухими, итоговыми производственными зарисовками. Кафар-даи случайно обнаруживает обрыв в проводе и начинает следить за работой монтеров. «Они находили концы оборванных проводов и соединяли их, собираясь по двое, по трое, чтобы противостоять ураганным порывам ветра». «Подошёл старший монтер и чётко доложил:

— Все провода приведены в порядок, кабель проверен. Можно включать линию, ток есть...»

По воле автора, подменяющего показ процесса преодоления трудностей определениями, трудности, изображённые в романе, оборачиваются «маленькими заминками», и писатель снова и снова упускает возможность полнее охарактеризовать своих героев.

Роман «Тайна недр» (роман, в котором немало и удач) — одно из первых произведений азербайджанской литературы о рабочем классе, и это в какой-то мере объясняет его недостатки. Объясняет, но не даёт права замалчивать их. Они характерны и показательны, и именно из-за них роман М. Сулейманова нельзя было бы, например, назвать «Искатели», хотя, по замыслу, речь в нём должна была бы идти как раз об искателях.

Только из показа пути к победе может родиться и подлинный оптимизм произведения. Изобразить преодоление героем препятствий, поиски им нужных решений — значит изобразить с и л у героя, остроту и масштаб-

ность его мысли, вселить в читателя веру в героя, веру в то, что герой этот добьётся успеха в любом деле.

В романе Н. Зарьяна «Ацаван» рисуется жестокая классовая борьба в армянской деревне, борьба, которая для некоторых положительных героев чуть не заканчивается трагически, и однако, это произведение — оптимистическое по своему духу; и закономерным кажется восклицание одного из героев романа, писателя Вемяна, знающего о том, что происходит в Ацаване: «Как хорош мир, как хороши наши люди!» Да, хороши, потому что в романе они с честью выходят из испытаний, выпавших на их долю.

Изображая жизнь не как движущийся поток, а как застывшую гладь (на поверхности которой бывают «отражены» и жизненные трудности), описывая лишь результаты борьбы, труда, а не самую борьбу, писатель сумеет определить, а не изобразить характер. А только «определяя» характеры, писатель оставляет их неопределёнными. И вот эта-то неопределённость, расплывчатость характеров и делает героев разных произведений удивительно похожими друг на друга.

Такие характеры, как правило, и статичны; они выглядят словно бы застывшими в своём развитии. Герои повестей «Свет Москвы» и «На улице Ленина горит свет» Тезегюль и Ильза изображены на решающих этапах своего жизненного пути. И писатели сами понимают, что не могут их герои не вырасти, не измениться. «А сильно она изменилась за это время, — говорится об Ильзе в конце повести. — Нет, не изменилась, просто выросла». Но для читателя её рост незаметен, как будто и не было нескольких месяцев напряжённой работы, учёбы — у людей, у жизни... Впрочем, так оно и есть: не было. И в этом-то всё и дело. Поэтому-то характер и остаётся всё время равным себе.

## 4

Писатель знакомит нас со своим героем. Рекомендует его в самом лучшем свете. А мы, дочитав книгу, порой недоумеем: да полно, положительный ли это герой?

Разве поставив в пример читателю Тезегюль («Свет Москвы»), вознесённую над коллективом? И пленит ли воображение

читателя тракторист Довран (из той же повести), который много рассуждает и мало делает?

К сожалению, у иных писателей ещё сильна инерция определений, декларативных характеристик, на собственную рекомендацию они полагаются порой больше, чем на художественное изображение. И, определив героя как положительного, прямолинейно выразив своё отношение к нему, не считают необходимым продумать каждую конкретную сцену, каждый конкретный эпизод произведения.

Но ведь сама положительность — это ещё не черта характера. Характер положительного героя представляет собой совокупность основных и индивидуальных качеств, раскрывающихся в художественно-конкретных эпизодах и ситуациях. И отношение автора к своему герою сказывается в самом построении образа.

Писатели не всегда учитывают это, и исполнение приходит у них подчас в противоречие с замыслом, конкретные поступки и действия героя опрокидывают характеристику, выданную ему автором, и писатель не достигает той идейно-воспитательной цели, которую перед собой поставил.

В романе «Под мирным небом» белорусскому писателю А. Стаховичу удалось уловить черты нового в белорусской деревне, и в своё время роман сыграл определённую положительную роль. Но многие образы романа вызывают чувство неудовлетворённости. В частности, и потому, что герои предстают перед нами не такими, какими задумал их автор.

О Малоземове, секретаре парторганизации, говорится в романе, что он человек «стоящий». Все им восхищаются. И, как уверяет писатель, ещё больше подняло его авторитет в колхозе то, что он сумел победить свою любовь к жене, женщине, которая в дни войны сошлась с предателем. Сознание своей правоты придаёт Малоземову решимость навсегда порвать с Ливидорой.

Итак, «правота», «авторитет».

Однако, разобравшись во всей этой истории, мы легко убедимся, что все поступки, действия, помыслы Малоземова не укрепляют, а, по меньшей мере, подрывают его авторитет. Малоземов задуман автором человеком большого сердца, большого чувства, большой чуткости к людям. А предстаёт он перед нами из эпизодов, кон-

кретно рисующих его поведение, сухим, чёрствым, бездушным.

Знает или не знает об этом Малоземов, но объективно Ливидора не так уж виновата. Предатель Клешевич сумел убедить её, что Малоземов погиб, а он, Клешевич, «состоит в партизанском отряде и только по приказу командира вынужден жить в Маковшине, выполнять такие неприятные задания». Только поэтому и поддалась Ливидора на его уговоры. А позднее, зная уже, что он за птица, она бросает ему в лицо слова, полные искренней горечи и гнева: «Жаль мне, что ты ещё землю нашу топчешь. Тебе давно пора бы... Вот уцелел же как-то...» Так что совесть Малоземова может быть спокойной. И Ливидора имеет право на то, чтобы он постарался её понять: она по-настоящему любит Малоземова, и трудно ей помириться с тем, что он ушёл от неё, отмахнулся от её чувства. Перед нами глубокая душевная драма непонятой женщины, и сочувствие читателя на стороне Ливидоры.

Нет, не любил её Малоземов. Иначе не смог бы так легко оттолкнуть Ливидору. Не смог бы, не остыв ещё от любви к жене, думать уже о другой; не смог бы так просто одержать над собой «победу».

За самодовольным сознанием Малоземовым своей правоты скрывается простое равнодушие к человеку. И писатель, желавший с помощью этой коллизии «поднять» героя, на деле принизил его.

В иных книгах встречаются надуманные, искусственно состроенные любовные недоразумения. И критика отмечает это как недостаток, но далеко не всегда объясняет, к чему же он приводит. А приводит он зачастую к обеднению положительных героев.

Искусственное возведение препятствий перед влюблёнными характерно для ряда произведений среднеазиатской литературы; своё начало этот недостаток берёт от старовосточной поэзии. Основу одного из традиционных сюжетов составляли в этой поэзии страдания влюблённых, титетно старающихся преодолеть преграды, воздвигнутые самой жизнью, с её социальной несправедливостью.

В сегодняшней действительности подобных препон не существует, а старая сюжетная схема нет-нет да и даёт о себе знать.

В одной из своих статей Б. Кербабаев упрекал туркменского писателя А. Каушу-



това в том, что тот в повести «Бахар и Хошгельды», подчиняясь традиционной схеме, возвёл на пути своих влюблённых героев искусственные преграды, заставил Хошгельды поверить неубедительным слухам, пущенным соперницей Бахар, и, таким образом, «случайное недоразумение на долгий срок определило судьбу любящих друг друга людей». Сейчас книга А. Каушутова вышла в переработанном виде и под новым названием — «У подножья Копет-Дага». Но и в новом варианте писатель подчёркивает силу сплетни, слуха, нагромождает любовные недоразумения, умысленно, дабы оттянуть развязку, лишает поступки героев убедительных психологических мотивировок.

И поневоле недоумеваешь: почему умные, серьёзные люди (а именно такими выведены они в произведениях) верят пустым слухам? Почему на протяжении многих страниц они никак не могут объясниться? Ведь объясниться легко, и это доказывает, например, финал романа А. Каушутова: всё разрешается к общему благополучию, и разрешается просто.

Отжившая схема, наложенная на материал современности, искажает образы положительных героев; герои, вопреки намерениям писателей, начинают выглядеть легковёрными и, мягко говоря, не очень умными.

Между героями некоторых произведений возникают любовные размолвки и «современного» плана. Кому не знакома такая, например, ситуация: он и она любят друг друга, но он неважно работает, и она без раздумий отказывается от любимого.

Киргизский писатель Н. Байтемиров в повести «В одном совхозе» делает нас свидетелями диалога между любящими друг друга Ормушем и Зулай:

« — Мне рассказывали, что о тебе говорили на комсомольском собрании. Почему ты не подчинился Бекишу?

— Но на собрании меня оправдали. Возможно, я допустил ошибку... Зачем же так обижать меня?..

— Если для тебя это всё равно, то для меня чести равно. Вот так, мой друг. Больше ничего не хочешь сказать?

— Не знаю, право, что я могу сказать...

— Тогда всё! Я совсем иначе о тебе думала. Но я ошиблась, оказывается. Закрытый котёл пусть останется закрытым.

Будем просто товарищами, по возможности уважающими друг друга.

И Зулай пошла горопливым шагом».

А на следующей странице говорится, что «Зулай умная девушка»...

Бывает, что положительный герой страдает от плакатного, упрощённого изображения врагов нашего строя, фальшивых людей, носителей чуждых нам взглядов. Плакатный враг не страшен, его легко изболтать, и если писатель всё-таки оттягивает момент разоблачения, он ставит в нелепое положение своих положительных героев. Если окружающие слишком долго не могут разоблачить таких врагов, автор должен осудить окружающих, слепых растян и ротозеев. Примерно так поступает Н. Зарьян, автор романа «Ацаван». Его герой, председатель колхоза Левон, страдает некоторой близорукостью, он не сумел «раскусить» матёрого кулака Мацака и горько поплатился за свою доверчивость. Таким он и задуман писателем, и к близорукости, мягкотелости Левона автор относится с нескрываемым осуждением.

В связи с изображением отрицательного героя возникает закономерный вопрос: а какой цели должен служить этот образ? Что входит в задачу писателя: только ли сфотографировать неприглядные физиономии чуждых нам людей, подтвердить самый факт их существования или, глубоко раскрыв их сущность, показать вместе с тем и зоркость, мудрость, силу советских тружеников, умеющих распознать и проучить самого хитрого и изворотливого врага?

Да, именно так: писателю следует рассматривать образ отрицательного героя и как средство для более яркой обрисовки героя положительного. И показывать этих героев в непосредственном столкновении.

Белорусский писатель Я. Брыль и грузинский К. Лордкипанидзе отобразили в своих произведениях реальные противоречия действительности и, следуя правде жизни, столкнули между собой две враждебные силы: сторонников колхозного строя и ярых его противников. Враг здесь хитрый и сильный, борьба с ним сложна и трудна. Но зато как обогатило изображение драматических конфликтов образы участвующих в этих конфликтах положительных героев!

Подобные конфликты были возможны лишь в определённый исторический пе-

риод. Но зло не исчезло и из сегодняшней жизни. И писатель должен не только фиксировать и публицистически разоблачать его, но и на показе активной борьбы с ним поднимать образ положительного героя.

Создаётся впечатление, что, например, проходимец Чегиртке из романа Т. Сыдыкбекова «Люди наших дней» (романа, дающего в целом широкую картину жизни киргизского народа в дни войны) введён в произведение лишь для доказательства той мысли, что у нас ещё есть плохие люди. С первого же появления Чегиртке на страницах романа у нас не остаётся сомнений в том, что это пустой, дрянной человечиска. Ясен он и для героев романа. Правда, иным «честным, но слабохарактерным» людям (в произведении о них только упоминается) трудно отвязаться от Чегиртке: «Ведь вижу — плут этот Чегиртке, не люблю его, а всё же не могу от него отделаться. Так и лезет в душу». Но действующие и героини романа избегают «проходимца Чегиртке, пьяницу и хвастуна, бродягу и жулика» (а к тому же ещё дезертира и клеветника). А если и «борются» с ним, то лишь с помощью увесистых пощёчин или зычных покрякиваний: «Замолчи и убирайся на все четыре стороны!». Не попадайся больше на моём пути!»

Чегиртке в конце концов воздают по заслугам. Разоблачает его прокурор, появляющийся на последних страницах романа. Но дело в том, что на каждом шагу разоблачает себя и сам Чегиртке, причём очень часто в эпизодах, не имеющих прямого отношения к основному сюжету и как-то беспорядочно выявляющих пороки Чегиртке. Несмотря на «густоту» этих пороков, характер Чегиртке расплывчат: это плохой человек «вообще». И подлинной борьбы с ним в романе не показано.

При отсутствии борьбы подлинно жизненного конфликта, в котором отчётливо и правдиво раскрылись бы характеры отрицательных героев, им можно навязать любые отрицательные качества, а произведение всё равно не приобретёт активно разоблачительного начала, и характеры положительных героев так и не получат сильных дополнительных качеств.

Чего только не приписывается в повести «Свет Москвы» секретарю райисполкома Курбану! Он «плохой руководитель», «канцелярист», главный порок его — «барство...

себялюбие, которое так и прёт из Курбана». Он «слишком подавлен текущими делами и собственным величием». Он «должность свою любит... себя, свой голос, своё положение, но не людей и не правду». Он «допускает большие ошибки». Но читатель видит Курбана лишь отвергнутым женихом Тезегюль.

В этой же повести интересно намечен образ руководителя отстающего колхоза Мередова. «мнительного, вспльчивого и не очень далёкого». Поначалу писатель и пытается выявить именно эти черты его характера. Но для этого материала в повести явно не хватает, и автор, презрев первоначальный замысел, начинает наделять Мередова всякими отрицательными качествами уже без разбора, по принципу самой их отрицательности. И каждое новое определение Мередова выглядит неожиданным.

По вине Мередова в поле простаивает трактор. Мередов «деньги жалеет. Не хочет за трактор платить, а отказываться от трактора не смеет — вот и не побеспокоился о горючем... Негосударственный он человек — Мурад Мередов».

«Очень быстро ты успокаиваешься, Мурад-ага, на достигнутом», — упрекают Мередова колхозники. (Значит, он чего-то всё же достиг?) «Может ли он быть председателем колхоза, когда во всех помыслах своих всё ещё единоличник?» — недоумевает Тезегюль. А позднее оказывается, что Мередов «колхоз считал своей вотчиной».

Характер Мередова обрастает всё новыми и новыми пороками. Но что меняет в повести постепенное «почернение» Мередова? Да ровно ничего. События продолжают развиваться своим чередом. И если бы мы вырезали из повести всё, что относится к Мередову или Курбану, произведение в целом не претерпело бы существенных изменений. Ведь окружение Мередова и Курбана не борется активно ни против них, ни за высвобождение их от недостатков. Коллектив до поры до времени просто терпит обоих. Взвалив на себя пёструю кладь пороков и недостатков, они незаметно исчезают со страниц повести.

## 5

Как уже говорилось, многие писатели стремятся показать характеры своих героев, так сказать «на подъёме». Это обычно люди

хорошие, но идущие по неверному пути, заблуждающиеся, или люди, пережившие в новых условиях словно бы второе рождение.

Судьба Семидора из повести «Свет в Коорди» сходна с судьбой батрака Меки. В прежние времена Семидор слыл неудачником, «редкие предприятия, за которые он брался, удавались ему». Незадачливый горемыка, Семидор, чтобы хоть как-то утвердиться в жизни, принимается порой хвастать, поддакивает тем, кто посильнее... Новая, свободная жизнь преобразает Семидора; он уже чувствует себя хозяином на земле, и сам спешит прийти на помощь другим. «Чудесное выпрямление» Семидора писатель обосновывает не только новизной обстановки, оказавшей на Семидора решающее влияние, — он и в самом характере героя ищет опору для столь быстрой перемены, тонко раскрывает то положительное, что уже было у Семидора, но до времени оставалось под спудом.

Неудачи Семидора во многом определялись тогдашними социальными условиями. Однажды, роя колодец, он чуть не погиб: нужно было бурить и взрывать камни, а Семидор был беден, и ему приходилось «экономить на фитилях»: короткий фитиль и подвёл его... Поступил Семидор помощником кочегара на судно, а оно наскочило на скалы: оказывается, «это уж решено было хозяевами — судно старое, негодное, а застраховано на высокую сумму...» Так и стал находчивый, смелый и отзывчивый труженик Семидором-неудачником. Но стоило только перемениться условиям, как переменялся и Семидор.

Колоритный, правдивый образ бедняка-крестьянина создал в романе «Гвади Бигва» грузинский писатель Л. Киачели. Гвади предпочитает колхозному труду пусть бедную, но лёгкую жизнь. Это лодырь, плут и весельчак, которого, собственно, и за человека-то никогда не считали... Однако подспудно Гвади тянется к новой жизни: уж очень горька в прошлом была его доля. Через умело написанный внутренний монолог автор передаёт затаённые чувства и думы своего героя; тонко вычленяемыми деталями снимает первое впечатление о Гвади как об отпетом бездельнике.

Окружающим удаётся пробудить в Гвади чувство собственного достоинства, уважение к себе как к человеку-труженику; и Гвади становится в общий строй зачина-

телей новой, колхозной жизни, отважных борцов со старым. «Кто поверит, что вчерашний вор и подлый пройдоха за один день превратился в святого?» — злобно спрашивает бывший хозяйчик Арчил Пория. А мы верим. Верим потому, что видели в Гвади не только «вора» и «пройдоху»; потому, что были свидетелями трогательных отношений между Гвади и его детьми; потому, что «гигантский прыжок из старого мира в новый» подготовлен всем тем, что уже было заложено в характере Гвади. Гвади к тому же довольно трудно причислить к лику святых. Меняясь, он остаётся самим собой: всё тем же весельчаком и балагуром, чуть восторженным, самодовольным и очень простым.

Формирование характера — процесс сложный. Изображение этого процесса помогает читателю глубже осознать значение коллектива, его воспитательной силы, оставливает внимание читателя на недостатках, от которых необходимо и можно избавиться, отвечает не только на вопрос «каким быть», но и «как стать».

Однако, если писатель не покажет, что заставило человека измениться и как он менялся, а просто напишет: был человек таким-то, а стал таким-то; если писатель умолчит о самом важном и интересном, представит трудный процесс лёгким, воспитательная роль произведения будет сомнительной.

В отдельных произведениях писатели иногда подставляют на место одного характера (обозначенного одной-двумя чертами в начале произведения) другой характер (обозначенный одной-двумя чертами к концу произведения) и даже мостика между ними не перекидывают.

У бригадира Ланцова (Н. Ильяков. «В марийском лесу») «даже фигура, движения показывают какое-то бессилие, покорность». Он вял, нерешителен, безволен. Перелистаем несколько страниц: «Ланцов был всё тот же». Листаем дальше: «Давно Егоров не видал Ланцова. Будто всё тот же... а уж и походка другая и в глазах какая-то уверенность, смелость». Автор уводит своего героя за страницы повести и там «переодевает» его в новый характер. И это снижает образ героя. Ведь для того, чтобы преодолеть свои недостатки, человеку нужно обладать недюжинной позитивной силой. И, не показывая самого

процесса преодоления недостатков, писатель пропускает существенный пробел в обрисовке своего героя как героя положительного.

А что происходит с героями повести украинского писателя О. Донченко (ныне покойного) «Золотая медаль»? Их броско очерченные характеры, меняясь, попросту утрачиваются, как будто совершенствование человека предполагает полное исчезновение его прежних качеств.

О. Донченко как писателю свойственно поэтическое восприятие жизни, светлая любовь к героям. Однако в последней его повести поэтичность описаний и любовь к героям переходят порой в умиление.

Наиболее сложным образом повести кажется, на первый взгляд, образ десятиклассницы Нины Коробейник. Однако, присмотревшись к нему, мы увидим, что это характер не сложный, а скорее сложный, механически сложенный из различных, не слитых воедино черт и черточек, которые то вычитаются из характера, то прибавляются к нему, неоправданно противореча друг другу.

На первых страницах повести Нина предстаёт перед нами девушкой пылкой, деятельной, принципиальной, нетерпимой к пошлости. Позднее в её характере проступают другие черты — самоуверенность, завистливость. И вскоре Нину уже не узнать: обострённое чувство справедливости изменяет Нине, злобная, низкая зависть заставляет её поссориться с лучшей подругой, Марийкой Полищук, вступить в конфликт со своими одноклассниками.

Случается и так, что в характере человека неожиданно проявляются скрытые прежде черты. Однако в действительности это бывает исподволь подготовленная неожиданность. Поэтому нужно глубоко мотивировать каждый «неожиданный» крен в характере и при показе новых его качеств исходить из качеств, уже определившихся, и в всей целостности характера.

В «Золотой медали» логика развития характера нарушена, новое в Нине изображается при полном забвении старого.

Написав рассказ (Нина мечтает стать писательницей), девушка испытывает сомнения: «Что, если я обычная неудачница... которая только вообразила, что может писать?» Чувство неудовлетворённости помогает Нине в дальнейшей работе над рассказом. А когда работа закончена и

писатель Залужный спрашивает, не хотела ли она отнестись рассказ в журнал, Нина искренне отказывается: «Что вы! Вы же говорите, там есть недочёты, наивность...»

А на других страницах Нина обрисована зазнавшейся, самоуверенной эгоцентристкой. Неожиданно исчезают и колебания по рассказу: «Часто она сравнивала свой рассказ с произведениями, напечатанными в журналах. Ей казалось, что её рассказ не хуже, а, возможно, даже и лучше. Почему же он должен лежать в ящике? Почему его не могут прочитать десятки тысяч людей?»

Нина просит, чтобы её назначили вожатой в один из пятых классов. Она с увлечением берётся за дело, выказывает себя умелой воспитательницей. Нина умеет заинтересовать ребят, умеет подойти к каждому и прочно завоёвывает любовь пятиклассников. Всякий формализм, рутинная изгоняются Ниной из жизни отряда Кочеткова, заботящегося больше о формах, чем о содержании отрядной работы, она иронически окрещивает «чиновничком».

А к концу повести Нину как вожатую упрекают задним числом именно в формализме, в казённом отношении к делу. Обычно чуткая, Нина начинает держать себя с пионерами просто бестактно. Дело доходит до того, что на одного из них, Коровайного, Нина жалуется его отцу, и тот избивает сына. Нина посрамлена здесь донельзя. И приходится удивляться: неужели же это та Нина, с которой мы познакомились в начале повести?

Не веришь и в то, что Нина может быть злобно-завистливой, что она, всегда справедливая, умная, способна без оснований обвинить свою подругу в подхалимстве, отказать помочь Марийке, когда у той тяжело заболевает мать.

А если мы поверим в эту Нину, то не поверим в ту, которая на комсомольском собрании страстно и искренне (Нину нельзя заподозрить в ханжестве) клеймит недостатки одной из своих одноклассниц или убеждённо заявляет, что «требовательность к себе — это главное в любом деле».

И тем более мы не поверим в Нину, излечившуюся в конце повести сразу и от всех своих недостатков.

Характер — это единый комплекс развивающихся качеств, а не арифметическая их сумма. У Нины же Коробейник, в сущности, два характера. В по-

вести две Нины. И происходит в повести не изменение характера, а смена характеров.

Чем же вызваны перемены в Нине — сначала в худшую, а потом в лучшую сторону?

«Рудимент», «рецидив» — определяет недостатки Нины комсомольский вожак Юля. Определяет, но не раскрывает. И мы так и не понимаем: почему же всё-таки только теперь, в десятом классе, у «хорошей» Нины поднялась вдруг со дна души обывательская муть? \*

К лучшему Нина, как замыслено в повести, меняется под воздействием коллектива. Но если первую Нину не надо и воспитывать, то другую не так просто перевоспитать. Понадобились чрезвычайные обстоятельства (история с Коровайным, смерть марийкиной матери), чтобы Нина излечилась от своего недуга. Однако и эти обстоятельства не служат достаточной мотивировкой для скачка из одной крайности в другую.

## 6

Национальная проза, посвящённая современности, многое сделала для того, чтобы обогатить читателя знанием действительности, приобщить его к новому в жизни, указать верный путь в завтрашний день. Литература братских республик всегда стремилась ступать след в след с богатой событиями жизнью.

Естественно, что главным героем произведений литературы братских республик был главный герой самой действительности, строитель нового общества. Из удачных образов — кроме тех, которые были уже разобраны, — можно ещё назвать образы парторга Муули, отзывчивого, чуткого к нуждам простых крестьян, хорошо знакомого с тяготами их жизни («Свет в Коорди» Г. Леберехта); белорусских партизан: старого пчеловода Карпа Маевского, беззаветно любящего свой край, и храброго, находчивого Женю Лубяна («Глубокое течение» И. Шамякина); скромной колхозной труженицы Нафисэ («Честь» Г. Баширова) и её юной подруги из романа латышской писательницы А. Саксе «В гору», горячий, порывистой Мирдзы Озол; образы бесстрашных, ни перед чем не сгибающихся молодых воинов из книги А. Абсалямова «Орлята»; представителя совет-

ской комендатуры в немецком городе, живого, энергичного капитана Чайки («Залог мира» В. Собко); образ Дмитро Горицвета, проделавшего непростой путь от «осторожного единоличника» до последовательного борца за новое, и такой не поддающийся лаконичным определениям образ, как образ Айвара из эпопеи В. Лациса «К новому берегу»: его воинские подвиги, жесткая схватка с бандитами, шпионами и провокаторами, его труд энтузиаста — преобразователя природы, — всё это, логически завершая формирование сложного, в силу сложности обстоятельств, характера, показывает, что в новых, социалистических условиях он развивается целиком как характер героя положительного.

Не все портреты в этой многоцветной галерее равноценны, но авторы их — на верном пути.

Однако, как уже говорилось, достигнутые результаты ещё не могут в полной мере удовлетворить советского читателя — читателя требовательного и взыскательного. Иные писатели при создании образа положительного героя (особенно когда они изображают его в мирном, созидательном труде) допускают существенные просчёты. Теоретически спор о бесконфликтности, лакировке в литературе, казалось бы, уже решён, а на практике он продолжается. Сами произведения спорят друг с другом: правдивые, отображающие жизнь во всей её полноте и сложности, — с теми, где ещё даёт себя знать облегчённый подход к действительности. Можно быть уверенными, что победят в этом споре первые, но для того, чтобы облегчить им победу, мы не должны потакать последним. Поэтому-то я и счёл нужным так подробно остановиться на недостатках отдельных произведений, опубликованных уже после войны и рисующих сегодняшнюю жизнь советского народа.

Национальная проза — проза богатых возможностей, она не нуждается в скидках; преодолев трудности роста, она сумеет достойно ответить на запросы читателя, желающего видеть в произведениях национальных писателей яркие, полноценные портреты лучших людей нашей эпохи во всём великолепии и многообразии их характеров, и таким образом выполнит главную задачу, стоящую сейчас перед всей нашей многонациональной литературой.

Е. ДОБИН

★

## ЗАОСТРЕНИЕ В СЮЖЕТЕ

*«Надо заострить художественное произведение, чтобы оно проникло. Заострить и значит сделать его совершенным художественно».*

Л. Толстой.

1  
**М**олодой князь Голицын рассказал Пушкину, что однажды он проигрался в карты и пришёл просить денег к своей бабке, княгине Наталье Петровне Голицыной. «Денег она ему не дала, а дала три карты, назначенные ей в Париже Сен-Жерменом. «Попробуй», — сказала бабушка. Внучек поставил карты и отыгрался»<sup>1</sup>.

Всё кончилось в высшей степени счастливо: ни смерти старухи, владевшей тайной Сен-Жермена, ни безумия героя, поставившего на злосчастные три карты. «Внучек поставил карты и отыгрался».

Но Пушкин заострил сюжет. И из светского анекдота выросла трагическая повесть глубочайшего социально-философского смысла. Об испепеляющей, тлетворной власти золота. О непостижимых, непреодолимых, как рок, силах, играющих судьбой человека в денежном обществе.

Источник «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» таков: «Известно заподлинно, что в Миргороде действительно существовали — разумеется, под другими именами — Иван Иванович и Иван Никифорович, поссорившиеся из-за гусака. Они, впрочем, ссорились и мирились неоднократно. Они находили удовольствие в том, чтобы их увещевали помириться, и вовсе были чужды чувству злости и вражды»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851—1860 годах». Издательство М. и С. Сабашниковых, М. 1925.

<sup>2</sup> П. А. Кулиш. Записки о жизни Н. В. Гоголя, т. 1. СПб, 1836.

«Вовсе были чужды чувству злости и вражды» (!). У Гоголя эта патриархально-идиллическая нота начисто исчезает. Весь смысл повести в обратном — в безнадежно-непримиримой долголетней вражде из-за «гусака». Гоголь намеренно заостряет этот мотив. «Чувство злости и вражды» рождается всей сутью мелочной, утробной, животное-эгоистической жизни собственников. Таков глубокий смысл повести, естественно заканчивающейся горестным: «Скучно на этом свете, господа!»

Тургеневу стала известной жизненная драма одной девушки, дочери директора казенной зеркальной фабрики. «Молодая мечтательница бросила родительский дом для того, чтобы сопровождать в качестве служанки юрдового. Своим поступком она хотела загладить грехи отца, который грабил казну»<sup>1</sup>.

По признанию Тургенева, этот случай лёг в основу сюжета его рассказа «Странная история». «Впрочем, — добавил Тургенев, — молодая девушка вернулась в родительский дом и даже вышла замуж».

Читатель помнит, что в «Странной истории» этого благополучного матримониального поворота нет и в помине. Поддерживая «божьего человека» под руку, Софья, с котомкой за плечами, — проворно шагала по чёрной уличной грязи и через несколько мгновений, сквозь тусклую мглу туманного утра, сквозь частую сетку падавшего дождя, в последний раз мелькнули передо мною обе фигуры, юрдового и Софьи». Правда, впоследствии «семье удалось, наконец, отыскать заблудшую овцу и вернуть

<sup>1</sup> Л. Фридендер. Воспоминания о Тургеневе. «Вестник Европы», № 10, 1906.

её домой, но дома Софья пожила педолго и умерла «молчальницей», не говорившей ни с кем».

В житейском случае конфликт героини со своей средой в конце концов сглаживается, сходит на нет. В тургеневском рассказе он сохраняет свою остроту: Софья умирает непримирённой.

Герой известного чеховского рассказа «Злоумышленник» был списан с натуры, с Никиты Пантюхина, крестьянина из подмосковной деревни Красково. «За неимением средств на покупку свинца Никита употреблял для груза гайки, которые самым спокойным образом отвинчивал на железнодорожном полотне у рельс на местах стыка». Чехов, встречавшийся с Никитой несколько раз, старался объяснить ему, что отвинчивать гайки нельзя, что от этого может произойти крушение. Никита «только пожимал в ответ плечами и спокойно возражал:

— Нешто я все гайки-то отвинчиваю? В одном месте одну, в другом — другую... Нешто мы не понимаем, что лезя, что нельзя?»<sup>1</sup>

«Никита рассказывал, — читаем мы дальше, — как его за эти гайки водили к уряднику и всё обошлось благополучно». Чехов же строит рассказ как раз на том, что всё обошлось неблагополучно. По строгой внутренней закономерности дело кончается тюремным приговором. Только при таком заострении сюжета раскрываются и характер простодушного крестьянина, совершающего преступление по полному неведению, и обстоятельства, державшие мужика в тисках невежества, и бездушие суда — одним словом, вся трагикомическая жизненная коллизия, смешной и печальный узел недоразумений.

Сюжет другого чеховского рассказа — «Володя» — был сообщён автору его знакомым В. П. Бегичевым. Бегичев забавно описывал наблюдаемую им картину дачного флирта скучающей барыньки с юнцом-гимназистом. Чеховский же рассказ кончается трагически — самоубийством юноши. «Трагический конец приделан самим Антоном Павловичем»<sup>2</sup>.

Примечательна история создания гаршинского рассказа «Четыре дня». Солдаты батальона, в котором служил Гаршин, через

несколько дней после сражения с турками при Езерджи пришли хоронить мёртвых и нашли еле живого раненого, который пять суток лежал в кустах с перебитыми гранатой ногами. «Факт этот так поразил Всеволода Михайловича, что он, придя на bivуак, немедленно же принялся за свои «Четыре дня»<sup>1</sup>.

В «Краткой истории 138-го пехотного Болховского полка», изданной в 1892 году в Рязани, сохранились некоторые подробности этого эпизода, разумеется известные Гаршину непосредственно, по свежим следам. Герой происшествия, рядовой Василий Арсеньев, рассказал: «Голод и боль в ногах ещё ничего бы, а пуще всего меня донимал запах от соседа-турка, который от жары уже разлагался [...] Питался я водой из фляги, снятой с лежащего рядом турка».

Все эти детали, как читатель помнит, тщательно сохранены в «Четырёх днях». Это важнейшие звенья действия в рассказе. Но Гаршин вводит заострение, и оно-то составляет душу и нерв рассказа. Лежащий рядом мёртвый турок убит в бою сам им героем. И этот «турок» не турок вовсе, а египетский феллах.

Гаршин пошёл на войну добровольцем. Он говорил: «Меня гонит совесть и долг перед народом». Его мучили страдания болгар под турецким игом. «Турки жгут болгарские деревни. При этом режут болгар нещадно. Несчастный народ! Дорогой выкуп заплатит он за свою свободу», — с болью писал он матери 29 июля 1877 года. Всем сердцем сочувствовал Гаршин освободительной миссии русских войск: «Болгары в Систове встретили наших пластунов с восторгом, со слезами, Маленькие дети кидались им на шею». И в то же время Гаршин увидел воочию весь «ужас войны, всю её чудовищность, бесконечность страданий, доставляемых ею ни в чём неповинным существам». Война ему представляется, как «самое страшное преступление, лежащее на совести современного человечества»<sup>2</sup>.

Для Гаршина характерен субъективно-моральный поворот этой огромной исторической и социальной проблемы. «Передо

<sup>1</sup> В. Гиляровский. Друзья и встречи. М. 1934.

<sup>2</sup> М. П. Чехов. Об А. П. Чехове. Сборник «О Чехове». М. 1910.

<sup>1</sup> «Воспоминания М. Е. Малышева». Полное собрание сочинений В. М. Гаршина. Издательство А. Ф. Маркса, СПб, 1910.

<sup>2</sup> П. Ф. Якубович. Гамлет наших дней. Полное собрание сочинений В. М. Гаршина. Издательство А. Ф. Маркса, СПб, 1910.

мною лежит убитый мною человек. За что я его ушил?» Чем виноват этот феллах из Египта? «Ему велели — он и пошёл. Если бы он не пошёл, его стали бы бить палками, а то, может быть, какой-нибудь паша всадил бы в него пулю из револьвера [...] Чем же он виноват? И чем виноват я, хотя я и убил его?»

Рассказ Гаршина тем и потряс современников, что в нём с огромной силой были изображены не только физические страдания забытого на поле сражения раненого, но и моральные муки человека, который осознал, по выражению Глеба Успенского, «факт, тяготеющий над всем человечеством», — «убийство друг друга людьми, не имеющими к этому ни тени надобности»<sup>1</sup>.

Без этого заострения сюжетной ситуации, которое внёс Гаршин в жизненный материал, тема рассказа не выразилась бы со столь потрясающей силой. Вернее сказать, она и вовсе не состоялась бы.

Что же это? Случайное совпадение «приёмов»? Или мы имеем дело с одним из важных законов создания сюжета — законом, который отражает противоречивость реальной действительности и тесно связан с обобщающей сущностью искусства, собирающего в «фокус» разрозненные явления жизни.

## 2

Как известно, сюжетом «Муму» послужила история, приключившаяся в усадьбе матери И. С. Тургенева, властной и своенравной помещицы Варвары Петровны.

Герасим в точности списан с её дворового, немого дворника Андрея. «Сила его была необыкновенная, а руки так велики, что, когда ему случалось меня брать на руки, — пишет в своих воспоминаниях В. Н. Житова, воспитанница Варвары Петровны, — я себя чувствовала точно в каком-то экипаже; и вот таким-то образом была я однажды внесена им в его каморку, где я в первый раз увидела Муму. Крошечная собачка, белая с коричневыми пятнами, лежала на кровати Андрея». Варвара Петровна проявляла особенную благосклонность к своему гиганту-дворнику: «...одет он был всегда прекрасно и кроме красных кумачовых рубашек никаких не носил»<sup>2</sup>. «Особен-

ная благосклонность» помещицы не помешала ей в минуту каприза отдать жестокий приказ, вынудивший Андрея собственными руками утопить свою любимицу.

Одним словом, всё происходило так, как описано у Тургенева. Всё — за исключением конца.

В действительности немой Андрей после гибели Муму не ушёл от своей госпожи. По словам В. Н. Житовой, на глазах которой разыгрались печальные события, «привязанность Андрея к своей барыне осталась всё та же. Как ни горько было Андрею, но он остался верен своей госпоже и до самой её смерти служил ей». Варвара Петровна одевала его в красивые полшубки и плюсовые поддёвки. Андрей рабски ценил её благоволение «и, кроме неё, никого своей госпожой признавать не хотел».

В. Н. Житова рассказывает о случае, когда «особа, не пользовавшаяся симпатиями Варвары Петровны», вздумала подарить Немому голубого сатину на рубашку. Андрей «с презрением посмотрел на ситец» и швырнул его на прилавок. Экономка, желая угодить барыне, рассказала ей, как Немой показал на свою красную рубашку и выразил жестом, что его барыня, дескать, много таких ему даёт. Польщённая помещица позвала к себе Андрея и одарила его десятирублёвой ассигнацией. «От удовольствия и радости Андрей оглушительно мычал и смеялся[...] Уходя, он показал пальцем на свою барыню и ударил себя в грудь, что на его языке значило, что он её очень любит. Он ей даже простил смерть своей Муму!»

Эту картину рабского примирения Тургенев отбросил. Ему ясна была неправдивость подобного мирного и благостного конца повести, если смотреть на искусство, как на воплощение не случайного, а закономерного. В уходе Герасима от помещицы — безмолвном, но сильном в своём упорстве и непоколебимом — Тургенев отразил нарастающее возмущение крестьян против барского своеволия.

На примере «Муму» с предельной ясностью обозначается основная функция заострения: типизация. Премышленный Тургеневым конец повести истиннее и глубже раскрывал действительность, чем точно скопированные фактические отношения Немого к своей барыне после гибели Муму. Только с тем завершением сюжета, которое мы

<sup>1</sup> Глеб Успенский. Смерть В. М. Гаршина.

<sup>2</sup> В. Н. Житова. Воспоминания об И. С. Тургеневе и об его семье. «Вестник Европы», №№ 11, 12, 1884.



знаем, сюжет «Муму» приобретает подлинную типичность.

Стоявший на страже крепостнических устоев цензор писал о «Муму»: «...цель автора состояла в том, чтобы показать, до какой степени бывают безвинно утесняемы крестьяне помещиками, терпя единственно от своеволия сих последних[...] Хотя здесь выставляется не физическое, а нравственное утеснение крестьянина, но это нисколько не изменяет неблагоприятной цели рассказа, а, напротив[...] даже усиливает эту неблагоприятность»<sup>1</sup>.

Вызвала ли бы «Муму» гнев царского цензора, если бы рассказ завершался описанием рабского двеклонения перед своей госпожой немого дворника, простившего ей смерть Муму? Очевидно, нет. Рассказ «Муму» не стал бы тем шедевром мировой и русской классики, каким мы его знаем, без того — совсем небольшого по объёму — заострения, какое художник внёс в сюжет.

### 3

Ещё одна чрезвычайно важная сторона заострения уясняется нам из творческой истории тургеневского рассказа. Выше мы назвали конец «Муму» примышленным. Это не совсем точно. Примышленный конец в значительной мере основывался на житейской правде. Тургенев построил конец «Муму» не только из понимания зревшего в порабощённом крестьянстве протеста как важнейшего явления тогдашней русской жизни, но и из глубокого проникновения в характер Андрея — Герасима.

Вырванный помещицей из деревни, «внезапно оторванный от родной почвы и родных полей», Андрей, как свидетельствует В. Н. Житова, «действительно сначала сильно грустил». Это видел один И. С. Тургенев. Другие «даже и внимания не обратили», по словам В. Н. Житовой. «Надо было иметь ту любовь и то участие к крепостному люду, которое имел наш незабвенный Иван Сергеевич, чтобы дорываться так до чувства и до внутреннего мира нашего простолюдина!»

Тургенев заметил, что «Немой скучал и плакал». Это была первая рана, потом затянувшаяся. Гибель Муму нанесла Андрею новый жестокий удар. Боль была заглуше-

на и вытеснена уродливыми формами крепостных отношений, растлевавшими как господ, так и рабов. Но в глубине сердца Немого таился незаживающий рубец. «Замечательно, что после трагического конца своей любимицы он ни одной собаки не приласкал», — читаем мы у Житовой.

Эту потаённую, наглухо скрытую в тайниках души правду Тургенев извлёк наружу и претворил в заострённом сюжете своего рассказа.

Отсюда следует важный вывод: в реалистическом искусстве заострение сюжета развивает и доводит до конца внутренние закономерности социального явления, типической жизненной коллизии.

В реальной действительности любая коллизия проявляется в тысячах индивидуальных вариаций, самых разнообразных. Каждая из этих отдельных вариаций, каждый единичный жизненный случай, в котором выражено то или иное жизненное явление, может сопровождаться случайными и нехарактерными отклонениями. «Всякое отдельное есть (так или иначе) общее»<sup>1</sup>, — пишет Ленин. Эта оговорка, отмеченная скобками — «так или иначе», — очень существенна. Нет прямого, элементарного совпадения отдельного с общим. Отдельное не полностью идентично общему, а лишь так или иначе, с теми или иными отклонениями. «Всякое отдельное неполно входит в общее», — продолжает Ленин. Жизненная закономерность, захватывающая широкий круг явлений, зачастую выражена в единичном проявлении, неполно, усечённо.

Но реалистическое искусство по самой сущности своей в форме единичного (характера, конкретных обстоятельств, события, конфликта, жизненной судьбы) отражает общее — отношения, связи, закономерности, противоречия. И заострение в реалистическом искусстве служит полноте выражения общего в единичном, раскрывая явление в его внутренней логике, последовательности и завершённости.

Откинув фактические подробности отношения Немого к барыне после гибели Муму, как неполно отражающие (и даже искажающие) общую жизненную правду, Тургенев раскрыл и характер Герасима и обстоятельства (конфликт крепостного с по-

<sup>1</sup> Ю. Г. Оксман. И. С. Тургенев. Исследования и материалы. Выпуск 1. Одесса, 1921.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Философские тетради. М. 1947, стр. 329.

мещицей) в их естественном ходе развития, в их внутренней необходимости. Заключительный поступок Герасима, бросающего свою барыню с её шедрыми подарками и бесчеловечными капризами, с полнейшей органичностью вытекает из всех предыдущих событий.

По тургеневскому рассказу «Затишье» мы также видим, как в заострённом сюжете раскрывается внутренняя последовательность характеров и человеческих отношений. «Иван Сергеевич однажды передавал нам, — вспоминает Н. А. Островская, — что в рассказе «Затишье» в лице Маши представлена им девушка-малороссянка, которую он знал в молодости и в которую был немножко даже влюблён». «Сюжет, конечно, сочинён? — спросила Тургенева автор воспоминаний. — Она, надеюсь, не утопилась?» На это последовал ответ: «Конечно, нет, хотя она и была способна на это»<sup>1</sup>.

В жизни реального прототипа Маши трагического финала не было. Но он был продиктован Тургеневу всем строем её чувств и убеждений, всеми особенностями её характера, особенностями типическими. Ибо самый характер «Маши» явился и порождением и выразителем переломной полосы развития русского общества в середине XIX века.

Ригористически суровая, гордая, всей душой ненавидящая праздность, Маша влюбляется в Веретьева, по-своему обаятельного, но пустейшего малого, не способного ни к какому усилию, ни к какому делу. Это человек, насковзь пропитанный паразитическим духом барской усадьбы. Твёрдость машинных убеждений, её требовательность всё более стесняют Веретьева, и он покидает Машу. Тёмной осенней ночью она бросается в пруд.

В этой заострённой форме сюжет выразил глубокий конфликт между новыми веяниями, затронувшими молодое поколение России, и губительной обломовской атмосферой помещичьей жизни, плодившей ни к чему не способных, двоедушных, ничтожных «лишних людей». Ещё резче развёртывается сходный конфликт в тургеневском рассказе «Странная история». И здесь в центре повествования поставлена чистая, прямодушная, фанатически убеждённая в своих взглядах девушка. И здесь она не может

ужиться со своей средой. И здесь, наконец, художник, как мы раньше убедились, заострил ход конкретного события, давшего основу сюжета.

Мы вновь убеждаемся, что заострение сюжета вызвано не произволом художника. Оно обусловлено внутренней правдой как индивидуального характера, так и жизненных обстоятельств, которые формировали характер героини тургеневского рассказа.

Логика её «странного» характера и «странных» поступков можно понять только в свете «всей глубины противоречий между ростом богатства и завоеваниями цивилизации и ростом нищеты, одичалости и мучений рабочих масс»<sup>1</sup>, характерных для пореформенной России. Эти ужасающие противоречия не у одного из представителей молодого поколения, принадлежавших по рождению к господствующим классам, рождали мучительное чувство вины за бедствия народа, за «грехи отцов», толкали «детей» на путь разрыва с «отцами».

Одних это гжучее ощущение вины вело к поискам личного морального самоусовершенствования, к опрошению и физическому труду, к мягкотелой толстовщине либо к тому уродливому, кривому пути бесполезной жертвенности, какой избрала дочь директора зеркальной фабрики в жизни и Софья в рассказе. Других же, наиболее последовательно мыслящих, это умонастроение, ненависть к преступлениям правящих классов выводило на путь общественного действия, на путь революционной борьбы.

Подчеркнув в заголовке «странность» рассказанной им истории, Тургенев в дальнейшем перебрасывает мостик от совершенно необычайного, экстраординарного случая к широкому и в высшей степени важному общественному явлению. В заключительных строчках «Странной истории» он пишет: «Я не понимал поступка Софи; но я не осуждал её, как не осуждал впоследствии других девушек, также пожертвовавших всем тому, что они считали правдой, в чём они и видели своё призвание».

Намёк Тургенева достаточно прозрачен. Он говорит о революционерках, о девушках типа Софьи Перовской, образом которой навеяно знаменитое его стихотворение в прозе «Порог». В заострённом финале «Странной истории» — упрямом уходе Софьи в жизнь,

<sup>1</sup> «Воспоминания о Тургеневе Н. А. Островской». «Тургеневский сборник». М. 1915.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 15, стр. 180.

полную бедствий и лишений, — звучал (отдалённый, правда, и слабый) отголосок трагической судьбы того поколения революционеров семидесятых годов, которые добровольно отреклись от жизненных благ и избрали подвижнический путь единоборства с тираническим режимом, путь, суливший им тюрьму, каторгу, смерть на эшафоте.

Но почему же всё-таки Тургенев, прикоснувшись к такому важному общественному явлению, остановился на том окольном, «боковом» проявлении его, какое изображено в «Странной истории»? Ответ мы найдём в отношении художника к действительности. Сюжет — это концепция действительности. Как и в художественном произведении в целом, в сюжете слиты и объективное отражение закономерности реальной жизни и взгляд художника на действительность. «Внести правду и освещение такое, какое вытекает из взгляда на жизнь автора», — такова задача искусства, говорил Л. Н. Толстой<sup>1</sup>.

Художник обобщает явления действительности сквозь призму своего мировоззрения. В выборе конфликта, в отношениях персонажей, в развитии этих отношений, в судьбах действующих лиц отражаются те или иные существенные черты действительности, как их понимает художник. Тургенев преклонялся перед моральной высотой «святой» жертвы революционеров семидесятых годов. Но он не верил в действительность революционного пути и не сочувствовал революционным методам.

Остановив своё внимание на «молодой мечтательнице», бросившей родительский дом, чтобы прислуживать юридическому, Тургенев с умыслом протянул нити от страстотерпицы Софьи к революционерам. Тургенев как бы говорит читателю: да, паразиты и достойны преклонения люди, «пожертвовавшие всем тому, что они считают правдой». Но... «я не понимал поступка Софьи». Ненужностью, нелепостью софьиной жертвы Тургенев намекал на бесплодность жертвы и «других девушек», ставших на путь революционной борьбы.

«Странная история» написана мастерской рукой. Но в наследии Тургенева она не занимает такого места, как, скажем, «Затишье», мы уже не говорим о «Муму». Причина ясна. В «Муму» и «Затишье» обобщение

(и этому служило заострение сюжета) глубоко проникло в противоречия действительности. В «Странной истории» сюжет где-то на окраине, на периферии важного общественного явления. Неправоммерно к тому же стремление автора (хоть и подспудное и не прямо выраженное) из экстраординарного случая сделать далеко идущие — и неверные — выводы по отношению к большому общественному явлению.

#### 4

С этой же темой жертвы — её смысла, её ценности — мы встречаемся и в написанном значительно позднее рассказе В. Короленко «Мороз». Процесс зарождения и складывания сюжета «Мороза» мы можем проследить по записным книжкам Короленко. И тут мы вновь сталкиваемся с заострением исходного жизненного материала. Больше того, самый сюжет рассказа Короленко родился из заострения некоего жизненного наблюдения.

Если в «Муму», в «Странной истории» персонажи, обстоятельства, конфликт, ход его развёртывания почти целиком почерпнуты из действительной жизни и заострён только финал, то в «Морозе» взято из действительности лишь начальное звено, исходная точка сюжета. Все остальные звенья сюжета возникли из заострения этого первичного, наблюдаемого в жизни факта.

Если быть совсем точным, то это первичное, очень ярко запечатлевшееся в сознании автора наблюдение само по себе и не явилось первым звеном сюжета. В нём, в этом наблюдаемом факте, не было столкновения, коллизии. Он и не имел непосредственного отношения к мысли, ставшей темой, душой рассказа. Но в творческой фантазии художника единичное наблюдение перекликнулось с кругом мыслей художника об определённом общественном явлении. И тогда, на стыке обобщающей мысли и отдельного факта, сформировался сюжет, осью кристаллизации которого стало беглое жизненное наблюдение художника.

Время действия «Мороза» — восьмидесятые годы прошлого столетия. Об этом можно судить по тому, что о герое рассказа, ссыльном Игнатовиче, говорится, как о бывшем некогда участнике восстания ссыльных поляков на кругобайкальской дороге. Последнее происходило в 1866 году.

<sup>1</sup> Ф. Тищенко. Как учит писать Л. Толстой. «Русская мысль», ноябрь, 1903.

Образ Игнатовича в некоторых чертах своих навеян фигурой знакомого Короленко по годам сибирской ссылки, тоже ссыльного, Флориана Богдановича. Материал рассказа частично почерпнут из сибирских записных книжек Короленко, помеченных 1880—1881 годами. И тема рассказа, написанного в 1901 году, целиком ещё в кругу проблематики восьмидесятых годов, эпохи мрачной реакции, свирепо разгромившей героическую кучку революционеров семидесятых годов.

Тему рассказа можно сформулировать словами, сказанными самим Короленко о Гаршине, об «основном нерве» его произведений: «мучительное чувство личной ответственности» за окружающее зло. Прямым выводом из этого чувства вытекала жертвенность. И не как извне навязанная роковая неизбежность жертвы, а как внутренняя потребность совести. Недаром это слово повторяется и у Гаршина и у народовольца Николая Морозова.

В одном из своих писем (А. Герду) Гаршин, перечисляя человеческие потребности: пить, есть, спать, любить, — рядом с ними ставит: «потребность претерпеть»<sup>1</sup>. Шлиссельбуржец Н. Морозов тоже пишет о двигавшей им «потребности сейчас же жертвовать собой» во имя страстной любви ко всему человечеству<sup>2</sup>.

Это умонастроение было естественным порождением эпохи, в которой ещё не возникло массовое революционное движение, не родилась та реальная сила, которая в силах была низвергнуть чудовищное здание деспотизма. Жгучий протест против жестокости и гнёта из плоскости социальной перемещался в плоскость моральную.

Как же строится рассказ Короленко?

В записной книжке, запечатлевшей обратный путь Короленко из якутской ссылки, в записи, помеченной 22 октября 1880 года, мы читаем:

«Впереди, у дороги, курится дымок. Подъезжаем. На куче наломанных сосновых веток лежит человек. В головах небольшая сумка. Глаза закрыты, — поза изнеможённого тяжёлым путём человека.

— Это что за человек? — спрашиваю я.

— Эта? С приисков надо быть. Третьего дня, помню, у нас ночевал. Вот доколе дошёл.

— Что ты! Ведь тут от вас всего 11 вёрст.

— Верно, 11. Да, вишь, тихо идёт. Увечный, ноги эвон как раскорячены.

— А далеко ли итти-то ему?

— Не знаю, — кака-то Манзурская волость.

— Не менее 1000 вёрст. А он идёт вёрст по 6 в сутки!..

— Ещё ладно ему: тепло ноне стоит долго. Хватит мороз — живо замёрзнет, право, — комментирует ящик, растирая на ладони листок махорки»<sup>1</sup>.

Образ увечного приискателя западает в душу художника. «Мы давно уже уехали, но перед моими глазами всё ещё мерещилась между стволами тонкая струйка дыма и эта тёмная фигура обречённого на скорую гибель человека...» И всё же в течение двадцати лет эта запись лежит без движения, не обретая творческой жизни. Почему же?

Вышеприведённый эпизод вошёл в рассказ «Мороз» почти без изменений, в той же форме мимолётного впечатления путника. Но внутренняя пружина сюжета, его движущая идея — мы о ней говорили выше — лежит вне этого эпизода, независима от него. Если отвлечься от готового рассказа и сопоставить изложенную выше тему «Мороза» и запись Короленко в его книжке, ясно видно, насколько они не смежны, не граничат непосредственно друг с другом. В течение длительного времени попытки художника найти впечатляющую сюжетную форму для волновавшей его долгие годы идеи, очевидно, не «зацеплялись» за зафиксированный в записной книжке эпизод. И тема не находила опоры в сюжетном «ядре» достаточной драматичности и выразительности.

И вот в творческой фантазии художника вырисовалась наконец такая возможная жизненная ситуация, в которой путевая картинка, врезавшаяся в память художника и поразившая его, спаялась бы с волновавшей его темой. Для этого нужно было столкнуть человека, преисполненного «мучительным чувством личной ответственности» за царящую в обществе неправду, со зрелищем одинокого путника, затерянного в тайге. И тогда краткая запись в дневнике оживает и развёртывает скрытые в ней фабульные возможности под чудодейственным

<sup>1</sup> Сборник «В память Гаршину».

<sup>2</sup> Николай Морозов. Повести моей жизни, т. 3—4. М. 1933.

<sup>1</sup> В. Короленко. Записные книжки. М. 1935.

влиянием того творческого «если бы», о котором любил говорить К. С. Станиславский.

Если бы встреча с одиноким путником случилась не в сравнительно тёплый октябрьский день, а в самый лютый сибирский мороз... Если бы проехавшие мимо люди безучастно миновали бродягу, обрекая его на верную смерть... Если бы, наконец, муки совести побудили одного из проезжающих ринуться без спутников в царство крошечного холода, чтобы спасти бродягу...

И вот из заострения промелькнувшей перед художником картины, заострения, продиктованного волнующей художника идеей, и рождается сюжет рассказа Короленко.

Так как душой задуманного рассказа является тема «мучительного чувства личной ответственности» и тема жертвенности, то в центре сюжета стоит не образ приискателя, не история его злоключений и мук, а образ человека, мучимого совестью и идущего на жертву. Самому бродяге уделено в рассказе не больше места, чем в записной книжке. Основной интерес сосредоточен не на нём, а на жертвенном порыве.

Дело происходит в страшный мороз, когда ртуть замерзает в термометрах, когда «моргнёшь глазом — и между ресницами протягиваются тонкие льдинки», когда птицы замерзают на лету. Два путника — рассказчик и Игнатович — стараются только об одном: «как можно меньше движений, как можно меньше мыслей: организм инстинктивно избегает всякой траты». И вот на бесконечно долгом, мучительном пятидесятивёрстном перегоне на миг показывается у дороги дымок и сидящий на пне человек. «Зрелище это промелькнуло мимо моего неподвижного взгляда[...] В последнее мгновение мне показалось, что фигура шевельнулась и что это имело какое-то отношение к нам, к нашему суетливому колокольчику, к нашему быстрому движению. Но я не повернул головы, не повёл глазами. Видение пронеслось мимо и исчезло, и впечатленияплыли к сознанию застывшие, мёртвые, неподвижные, ничего в нём ле будя...»

Но вот путники добираются до стоянки ямщиков, отогреваются, приходят в себя, и у Игнатовича «оттаивает» замёрзшая совесть. «Его лицо было совершенно искажено выражением ужаса и как будто мучительного вопроса». Сначала он пытается себя успокоить: «Я ещё думал, что это был сон.

Ведь не может быть, чтобы это было наяву». Но пробудившаяся совесть не даёт покоя. И в то время, как ямщики долго и шумно спорят, кому ехать на поиски поселенца (за деньги, предложенные рассказчиком), Игнатович исчезает.

Короленко максимально заостряет сюжет. Игнатович гибнет. Труп его находят в густом лесу далеко от стоянки. Его следы «шли всё время прямо, не сворачивая. Прошёл он удивительно много и... не отступил ни шагу», пока его не сломила ледяная стужа. Бродягу тоже находят мёртвым. «Глаза у него были раскрыты, и на зрачках осел иней».

Подвиг Игнатовича, следовательно, был напрасен. «Он бесцельно пошёл на гибель». Выйдя из избы, он, не вспомнив дороги, направился совсем в другую сторону. «Надеялся ли он спасти этого незнакомого человека? — спрашивает себя рассказчик. — Не думаю... Ему просто стало невыносимо».

Это художественный отзвук всё того же мучившего людей восьмидесятых годов вопроса о бесплодности жертвы революционного поколения семидесятых годов. Художник умышленно строит сюжет на подвиге, оставшемся безрезультатным. Для Короленко смысл подвига — в его этической самоценности. В письме к Григорьеву (от 15 сентября 1908 года) Короленко замечает: «В «Морозе», например, нравственная оценка факта совсем не в достижении определённого результата». Короленко окружает моральным ореолом самоподвижническое движение души, побуждение, толкающее на жертву, нравственное отталкивание от обиходных жестокостей жизни: «ему просто стало невыносимо»...

Любопытно — для анализа пути сюжетосложения, — что вторым лейтмотивом короленковского рассказа послужил эпизод, взятый из этой же записной книжки, казалось бы, не имеющий никакого отношения к встрече с погибающим поселенцем. Это эпизод с козулей, перебегающей по льдинам густой шуги к берегу. Художник переосмысливает этот эпизод и создаёт прелестную, волнующую сценку с двумя горными козами. Это сцена жертвы. В поисках спасения козы прыгают со льдины на льдину и, выбираясь на берег, натываются прямо на партию людей с охотничьей собакой. Но и люди и собаки пропускают их мимо, даруя им жизнь.

«Заметили вы, с каким самоотвержением старшая закрыла младшую от собаки? Всякий ли человек сделает это при таких обстоятельствах?» Этот разговор о самоотверженности и служит поводом для того, чтобы начальник разведочной партии Сокольский вспомнил про тот случай с одиноким путником у костра и Игнатовичем, который является, собственно, содержанием рассказа «Мороз». Так появляется сюжетный мотив, «аккомпанирующий» основной теме.

Сопутствующий сюжетный мотив появляется ещё раз в новой вариации. В своём рассказе Сокольский описывает, как он помогал Игнатовичу спасти двух уток, у которых не хватило сил улететь вместе с другими. Они металась по узкой полынье, всё более и более замерзавшей. Когда Игнатович к ним приблизился, одна из уток поднялась на воздух. Но другая, совсем обессиленная, только взмахнула крыльями и осталась. Тогда и другая вернулась к своей подруге.

«Я не могу вам описать, какое действие произвело это проявление великодушия на моего друга, — говорит рассказчик об Игнатовиче. — Когда она самоотверженно шлёпнулась в нескольких шагах в воду, с очевидным намерением разделить общую опасность, — у него на глазах появились слёзы». Так подчёркивается, «оркеструется», заостряется центральный сюжетный мотив рассказа — мотив самопожертвования.

## 5

Прежде чем перейти к дальнейшему, напомним читателю мысль, высказанную В. И. Лениным в его классической работе «Развитие капитализма в России», с непревзойдённой глубиной раскрывшей закономерности экономического развития России. В. И. Ленин самым резким образом выступает против «средних» цифр, которыми оперировала официальная статистика. Ленин настойчиво и упорно повторяет, что средние данные далеки от истины, что «общие и огульные «средние» имеют совершенно фиктивное значение»<sup>1</sup>.

Эта ленинская мысль очень важна для решения интересующего нас вопроса. Общественное мышление, равно как и научное, проникает вглубь закономерностей действительности и, группируя однородные яв-

ления, обобщает. «Нужно наблюдать много однородных людей, чтобы создать один определённый тип», — говорит Л. Толстой<sup>1</sup>.

Но воплотить в «типическом» однородные явления ни в коем случае не означает дать среднее из этих однородных. Подлинно художественный реалистический образ органически сочетает в себе широту обобщения с глубиной индивидуализации, со своеобразием и неповторимостью. Городничий, Обломов, Беликов («Человек в футляре») не стали бы типичными, если бы не были так своеобразны, если бы они представляли собой сглаженную «среднюю» из ряда схожих фигур.

Всё это в равной мере относится и к сюжету. Сюжет художественного произведения, в своём неповторимом сочетании действий, столкновений, судеб воплощающий типические людские отношения, типические жизненные противоречия, не должен быть «средним арифметическим» из многих близких либо сходных ситуаций.

«Среднее» скрадывает, сглаживает, скрывает противоречия. Ленин неоднократно повторяет это в цитированной выше работе. «Получаемые от такого сложения «средние» затушевывают разложение (разрядка Ленина. — Е. Д.) и являются потому чисто фиктивными»<sup>2</sup>. «Средние» затушевывали в данном случае экономическое и классовое расслоение крестьянства, то есть одно из крупнейших социальных противоречий той эпохи.

Ход ленинской мысли имеет самое близкое отношение к искусству. Правда, художник не имеет дело со средними цифрами. Но в реальной действительности, откуда художник черпает свои наблюдения, он сплошь и рядом встречается со «средними» ситуациями, где важная жизненная коллизия притуплена, выражена неотчётливо и неясно. «Всякое отдельное неполно входит в общее». Отсюда вытекает не только закономерность, но и необходимость заострения в сюжете.

Самым детальным образом мы можем проследить эту необходимость на работе Чехова над сюжетом «Попрыгуньи». Мы имеем, к счастью, обильные сведения о реальных прототипах этого рассказа и знаем в подробностях ту обыденную, среднюю житейскую историю, которую Чехов претворил

<sup>1</sup> «Русские писатели о литературе», т. II. Л. 1939.

<sup>2</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 3, стр. 77.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 3, стр. 120.

в художественный сюжет посредством продуманного, искусного, умного «заострения».

Материалом для «Попрыгуньи» послужила Чехову хорошо знакомая ему семья Кувшинниковых (муж — полицейский врач, жена — одарённая дилетантка, художница и музыкантша) и «роман», завязавшийся между С. П. Кувшинниковой и художником И. И. Левитаном. Чехов отшучивался, когда при нём говорили об этом сходстве. Но оно было в глаза, вызвало большие толки среди знакомых Чехова и Кувшинниковых<sup>1</sup> и послужило даже поводом для серьёзной размолвки (впрочем, временной) между Левитаном и Чеховым.

Брат Антона Павловича, М. П. Чехов, пишет о «Попрыгунье»: «Дымов — это Дмитрий Павлович Кувшинников, Ольга Ивановна — Софья Петровна [Кувшинникова], Рябовский — Левитан»<sup>2</sup>. Скажем сразу, что это неверно. При всей близости «Попрыгуньи» к подлинному жизненному материалу в рассказе нет прямой портретности. Это относится даже к образу Ольги Ивановны — «попрыгуньи», наиболее схожей со своим прототипом — С. П. Кувшинниковой. Чехов не связывал своей творческой фантазии портретным сходством.

Больше того: портретная идентичность противоречила бы самой сущности художественного замысла Чехова, ни в коем случае не желавшего скопировать средний житейский случай. Портретное же сходство (в той или иной степени), наоборот, помогало Чехову в реалистической лепке образов и сюжета его рассказа.

В «Странной истории» и в особенности в «Муму» чрезвычайно просто разграничить фактический жизненный материал отмышленных звеньев сюжета. Иное в «Попрыгунье». Здесь отбор и просеивание наблюдаемого в жизни происходят сложным, мозаичным путём. Одни элементы — это касается и психологических характеристик, и событий, и деталей жизненной обстановки — без всяких изменений, с поразительной, почти скрупулёзной точностью переносятся в рассказ. Другие элементы, лежащие рядом с первыми и, казалось, неотделимые от

<sup>1</sup> «Меня вся Москва обвиняет в паскви́ле,— писал Чехов Л. А. Авилевой.— Главная улика — внешнее сходство: дама пишет красками, муж у неё доктор и живёт она с художником» (Полное собрание сочинений и писем, т. XV, стр. 375).

<sup>2</sup> М и х. П а в л. Ч е х о в. Антон Чехов и его сюжеты. М. 1923.

них, начисто отбрасываются. Третьи подвергаются разного рода изменениям. Многие, наконец, — в том числе решающее звено сюжетного построения — придумывается заново, не имея никаких точек соприкосновения с реальной историей.

Это тончайшая, ювелирная работа, смысл которой становится понятным только в свете идейной темы рассказа, раскрывающей важную сторону жизни тогдашней русской интеллигенции. В свете этой обобщающей мысли, повторяем, становится ясной необходимость того заострения, в результате которого получилось мастерски выточенное, удивительно цельное художественное произведение.

Семья Кувшинниковых жила «в казённой квартире, под самой каланчой Мясницкой части. Дмитрий Павлович с утра и до вечера исполнял свои служебные обязанности, а Софья Петровна в его отсутствие занималась живописью [...] В доме Дмитрия Павловича собиралось всегда много гостей: и врачи, и художники, и музыканты, и писатели. Были, между прочим, вхожи и мы, Чеховы, — пишет Михаил Павлович Чехов, — и, говоря правду, любили там бывать». Был вхож в эту семью и Левитан. «Обыкновенно летом московские художники отправлялись на этюды то на Волгу, то в Саввинскую Слободу — около Звенигорода — и жили там коммуной целыми месяцами. Так случилось и теперь. Левитан уехал на Волгу и... с ним вместе отправилась туда и Софья Петровна. Она прожила там целое лето, на другой год уехала всё с тем же Левитаном в Саввинскую Слободу, и среди наших друзей и знакомых стали уже более определённо поговаривать об отношениях Софьи Петровны и Левитана»<sup>1</sup>.

Всё это перешло в «Попрыгунью». Хотя Д. П. Кувшинников, по свидетельству М. П. Чехова, «вероятно, догадывался о близости Софьи Петровны и Левитана», семейной трагедии у четы Кувшинниковых не наблюдалось. Всё протекало, в общем, мирно и благополучно. У Чехова же рассказ кончается трагической гибелью мужа-врача. Всасывая через трубочку гной из горла ребёнка, Дымов заражается и умирает.

Чем это обусловлено? Прежде всего тем, что взаимоотношения Дымова, Ольги Ивановны и художника Рябовского не те, что

<sup>1</sup> М и х. П а в л. Ч е х о в. Антон Чехов и его сюжеты.

наблюдались в знакомой Чехову семье, и только частично на них похожи. И персонажи «Попрыгуньи» не те, что в жизни, хотя более или менее на них похожи. И смысл трагического конца, внесённого Чеховым в сюжет, нам станет ясен, когда мы разберёмся в видоизменениях, которым подверглись характеры трёх живых людей, и поймём их связь с движущей темой рассказа. Тема эта была плодом обширных наблюдений и глубоких дум писателя об окружающей жизни и захватывала значительно шире, чем тот конкретный житейский материал, о котором идёт у нас речь.

Меньше всего изменений внесено в характер Софьи Петровны Кувшинниковой. Однако и он изменён. По отзыву А. С. Лазарева-Грузинского, С. П. Кувшинникова «не была «пустельгой», была «женщиной интересной и незаурядной»<sup>1</sup>. Её воспоминания о Левитане, приведённые С. Глаголем в его известной монографии о знаменитом пейзажисте, написаны с чувством, наблюдательностью и душевным тактом. Но для образа «попрыгуньи» Чехов берёт некоторые стороны характера С. П. Кувшинниковой, берёт подлинные её черты, берёт их в изобилии и без всякой снисходительности.

Меняя образ героини (С. П. Кувшинниковой было сорок два года, Ольге Ивановне — вдвое меньше), Чехов сохраняет «зерно» её характера: экстравагантность и манерность. В воспоминаниях А. С. Лазарева-Грузинского, настроенного к С. П. Кувшинниковой благожелательно, мы читаем всё же, что «стремления к оригинальности в ней было больше, чем подлинной, неподдельной оригинальности». «Софья Петровна ходила в каких-то невероятных греческих хитонах или утрированно-васнецовских шушунах», — вспоминает Т. Л. Щепкина-Куперник. Оригинальничанье Софьи Петровны выражалось во всей обстановке их квартиры, которую «она устроила «не как у всех»: в столовой поставила лавки, кустарные полки, солонки и шитые полотенца «в русском стиле», спаленку свою задрапировала на манер восточного шатра»<sup>2</sup>. На окнах вместо занавесок были развешаны простые рыбацкие сети.

Всё это перешло в рассказ, как ярко

характеризующие героиню детали. «В столовой она оклеила стены лубочными картинками, повесила лапти и серпы, поставила в углу косы и грабли, и получилась столовая в русском вкусе. В спальне она, чтобы положе было на пещеру, задрапировала потолок и стены тёмным сукном, повесила над кроватями венецианский фонарь, а у дверей поставила фигуру с алебардой».

С. П. Кувшинникова «писала красками (и очень хорошо, главным образом цветы), прекрасно играла на фортепиано»<sup>1</sup>. Чехов наделяет Ольгу Ивановну талантливостью своего прототипа: «...она пела, играла на рояли, писала красками, лепила, участвовала в любительских спектаклях, но всё это не как-нибудь, а с талантом...»

«Но ни в чём её талантливость не проявлялась так ярко, — продолжает Чехов, — как в её умении быстро знакомиться и коротко сходить с знаменитыми людьми. Стоило кому-нибудь прославиться хоть немножко и заставить о себе говорить, как она уже знакомилась с ним, в тот же день дружилась и приглашала к себе». Это также списано в точности с семьи Кувшинниковых. «В городе, в скромной казённой квартире под одной из московских полицейских частей, у неё бывала «вся Москва» — писатели, артисты, главным образом художники», — писала Т. Л. Щепкина-Куперник.

Чехов зорко подмечает особую, изощрённую форму искусственности Софьи Петровны Кувшинниковой — маскировку под посредственность, под свободную размахистость, открытость души. При гостях Софья Петровна «подскакивала к мужу, хватала его за голову и восклицала:

— Дмитрий! К! (она называла его по фамилии). Господа, смотрите, какое у него великолепное лицо!»

И после того, как Софья Петровна уехала с Левитаном на всё лето на Волгу и роман их ни для кого уже не был тайной, «возвращаясь каждый раз из поездки домой, Софья Петровна бросалась к своему мужу, ласково и бесхитростно хватала его за голову и говорила:

— Дмитрий! К! Дай, я пожму твою честную руку! Господа, посмотрите, какое у него благородное лицо!»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> А. С. Лазарев-Грузинский, А. П. Чехов. Сборник «Чехов в воспоминаниях современников». М.—Л. 1952.

<sup>2</sup> Т. Л. Щепкина-Куперник. В юные годы. Сборник «А. П. Чехов. Затерянные произведения». Издательство «Атене», Л. 1925.

<sup>1</sup> Т. Л. Щепкина-Куперник. В юные годы.

<sup>2</sup> Мих. Павл. Чехов. Антон Чехов и его сюжеты.



И в повести мы читаем:

«Она то и дело вскакивала, порывисто обнимала его голову и осыпала её поцелуями.

— Ты, Дымов, умный, благородный человек, — говорила она. — Дай я пожму твою честную руку[...]»

«— Милый мой метрдотель, — говорила Ольга Ивановна, всплескивая руками от восторга. — Ты просто очарователен! Господа, господа, посмотрите на его лоб!»

Так создаётся законченный образ претенциозной и суетной «попрыгуньи», черты которой списаны с живого лица.

В чеховском рассказе уделено много места перипетиям «романа» Ольги Ивановны и художника Рябовского, их ссорам, взрывам ревности Ольги Ивановны, терзаниям её самолюбия, оскорблённого изменами бывшего любовника, и т. д. Пока читатель не доходит до конца рассказа, ему может показаться, что здесь-то и заключён сюжетный конфликт. Потом ему становится ясным, что за лежащим на поверхности конфликтом любовной пары лежит скрытая в глубине истинная и глубокая коллизия.

На одном её полюсе — Ольга Ивановна и художник Рябовский, на другом — муж Ольги Ивановны, Дымов, хотя никаких столкновений между ними не происходит. Ольга Ивановна и Рябовский, несмотря на внешний драматизм их отношений, стоят по одну сторону, рядом друг с другом. У Рябовского нет резко бросающихся в глаза отрицательных черт. Но во всём проглядывает его самовлюблённая капризность, его холодный эгоизм. Рябовский — под стать Ольге Ивановне. У обоих — внешний блеск и внутренняя пустота, себялюбие и манерничанье.

Левитан ни в какой мере не мог явиться прототипом Рябовского. «Серьёзный и вдумчивый Левитан совершенно не походил на ничтожного Рябовского» (А. С. Лазарев-Грузинский). Левитан — «одна из симпатичнейших личностей среди художников, с которыми мне приходилось встречаться [...] Он был одним из тех редких людей, которые не имеют врагов, — я не помню, чтобы кто-нибудь отрицательно отзывался о нём. К нему влеклись симпатии всех людей»<sup>1</sup>, — пишет художник А. Я. Головин. «В жизни Левитан был честный и чрезвы-

чайно отзывчивый человек, заботливый друг, верный и скромный товарищ», — читаем мы в воспоминаниях художника В. Н. Бакшеева<sup>1</sup>. «Если он любил что-нибудь в жизни всеми фибрами своего существа, то именно искусство. Он любил его как-то трепетно и трогательно. Искусство было для него чем-то даже святым»<sup>2</sup> (М. П. Чехова).

Но, может быть, Чехов по-иному относился к Левитану? Отнюдь нет. А. С. Лазарев-Грузинский, упрекающий Чехова в том, что в своём рассказе он списал некоторые чёрточки живых людей, подчёркивает: «Чехов любил Левитана и карикатурить его не стал бы». Михаил Павлович Чехов пишет о Левитане, как о «хорошем друге» Антона Павловича. Т. Л. Щепкина-Куперник, близко знавшая их обоих, называет Левитана «большим другом» Чехова.

По самой размовке Левитана с Чеховым из-за «Попрыгуньи» можно судить об их крепкой душевной привязанности друг к другу. Левитан обиделся за С. П. Кувшинникову. Примирение состоялось через год. Т. Л. Щепкина-Куперник описывает, как при свидании «оба кинулись друг к другу, крепко-крепко схватили друг друга за руки», как за ужином «влажным блеском подёргивались прекрасные глаза Левитана и... весело сияли обычно задумчивые глаза Антона Павловича» («В юные годы»).

Если бы Левитан узнал себя в Рябовском (как об этом судачили добрые знакомые), ни о каком примирении не могло бы быть и речи. Не мог бы Левитан — после «Попрыгуньи» — писать такие дышащие любовью письма: «Дорогой мой Антон Павлович! Ты меня адски встревожил своим письмом. Что с тобой, неужели в самом деле болезнь лёгких?» (письмо от 5 мая 1897 года). И Чехов, обычно сдержанный в выражении своих чувств, сам тяжело больной, полон мучительной тревоги за здоровье Левитана: «Как Левитан? Меня ужасно мучает неизвестность» (письмо к О. Л. Книппер от 20 мая 1900 года).

Одним словом, Рябовский — не Левитан. И всё же, дорожа характерными штрихами, подсмотренными в жизни, Чехов вкрапляет в повесть некоторые чёрточки, подмеченные у Левитана.

<sup>1</sup> «И. И. Левитан. 1861—1900. Воспоминания и письма». «Искусство», М. 1950.

<sup>1</sup> «И. И. Левитан. 1861—1900. Воспоминания и письма».

<sup>2</sup> Там же.

Для образа Рябовского взята у Левитана его меланхоличность, некоторая томность («томный Левитан», — пишет Чехов в одном из своих писем), желание нравиться. По свидетельству сестры А. П. Чехова, Марии Павловны, «Левитан был очень самолюбив и не только жаждал славы как художник, но хотел нравиться и как человек, нравиться даже своей внешностью. Он, зная, что был красив, немножко кокетничал этим и заблудился о своей наружности, о костюме и т. п., но, разумеется, понимал всё это очень тонко, как настоящий художник»<sup>1</sup>.

В «Попрыгунье» мы читаем: «За чаем Рябовский говорил Ольге Ивановне, что живопись — самое неблагоприятное и самое скучное искусство, что он не художник, что одни только дураки думают, что у него есть талант, и вдруг ни с того ни с сего схватил нож и поцарапал им свой самый лучший этюд». Такие припадки жестоких сомнений в своём даровании были очень часты у болезненно-требовательного к себе Левитана. Рябовский «с решительным видом, как будто желал что-то кому-то доказать, надел фуражку, перекинул через плечо ружьё и вышел из избы», — описывает Чехов. И Левитан часто «всё бросал, брал ружьё, собаку и исчезал на целые дни. Большею частью это бывало, когда вдруг его охватывала какая-то мучительная тоска», — пишет М. П. Чехова. «Верил ли он в себя? Конечно, да, хотя это и не мешало ему вечно сомневаться, вечно мучиться, вечно быть недовольным собой. Левитан знал, что видит в родной природе новые красоты, но в то же время ему вечно казалось, что он не передаёт и доли всего найденного, всего, что жило в его душе. Отсюда иногда мучительное недовольство собой»<sup>2</sup>.

Эта характернейшая черта левитановского облика и сохранена и решительно пересмыслена в повести. В сопоставлении со всем психологическим строем Рябовского его творческие сомнения выглядят не как глубокие муки поисков взыскательного художника, а как изломанное кокетничание.

Так обрисован в творческой лаборатории писателя второй персонаж «Попрыгуньи», глубоко не похожий на свой, условно гово-

ря, прототип, даже противоположный ему по своей сущности, но сохранивший отдельные живые его черты.

«Попрыгунье» и душевно ничтожному Рябовскому в рассказе противопоставлен Дымов, как небо от земли далёкий от заурядного полицейского врача, мужа Софьи Петровны, Д. П. Кувшинникова. Это была серебряная личность, ничем не примечательная, совершенно терявшаяся в шумном обществе, окружавшем его жену. Однако в Дымове воспроизведена присущая Д. П. Кувшинникову характерная чёрточка. «Как-то случилось, — рассказывает М. П. Чехов, — что в течение целого вечера, несмотря на шумные разговоры, музыку и пение, мы ни разу не видели среди гостей самого хозяина. И только обыкновенно около полуночи вдруг растворились двери и в них появлялась крупная фигура доктора, с вилкой в одной руке и с ножом в другой, и торжественно возвещала:

— Пожалуйте, господа, покушать!»<sup>1</sup>

В точности такую же сцену мы встречаем в «Попрыгунье». Но, так же как и деталь с творческими сомнениями Рябовского, она приобретает совсем иной смысл. Среди «знаменитых» приятелей Ольги Ивановны Дымов ступенькается, как и Д. П. Кувшинников. На этом «базаре житейской суеты» Дымов самый незаметный. Но не потому, что он самый незначительный, а, наоборот, потому, что он самый значительный и достойный. Под покровом незаметности скрыт человек высокой душевной закалки, талантливый, умный молодой учёный.

Контраст между скромной незаметностью человека, поистине замечательного, и щегольской, рядящейся в павлиньи перья пошлостью и есть «зерно» сюжетного замысла «Попрыгуньи», его лейтмотив. Чтобы конфликт между благородной самоотверженностью труженика на ниве науки и преуспевающей, самоуверенной пошлостью прозвучал с полной силой, Чехов вносит в наблюдаемый им жизненный материал трагическую ноту — безвременную смерть Дымова, сознательно рисковавшего жизнью ради спасения больного (высасывая из трубочки гной из горла ребёнка, больного дифтеритом, Дымов заражается и умирает). «Какая потеря для науки! — с болью восклицает Коростелёв: — Эх, если всех нас сравнить с ним, был великий, необыкновен-

<sup>1</sup> М. П. Чехова. Из воспоминаний о Левитане. Сборник «И. И. Левитан. 1861—1900. Воспоминания и письма».

<sup>2</sup> М. П. Чехова. Из воспоминаний о Левитане.

<sup>1</sup> М. И. Павл. Чехов. Антон Чехов и его сюжеты.

ный человек! Какие дарования! Какие надежды он подавал нам всем! [...] добрая, чистая, любящая душа — не человек, а стекло! Служил науке и умер от науки».

Чехов «ненавидел всё[...] сытое, великолепное, самодовольное, не знающее сомнений, не выносил ничего напыщенного, риторического, претенциозного и фокусного и был поразительно чуток ко всему лживому, выдуманному, изломанному»<sup>1</sup>. Чехов «любил всё простое, настоящее, искреннее» (А. М. Горький). В ряде своих рассказов и повестей Чехов «казнит» пошлость обывательскую, скопидомную, стяжательскую. В «Попрыгунье» он срывает маски с пошлости изысканной, маскирующей под хороший вкус. Любовь Чехова к простоте, его антипатия к показному, ненастоящему, его влюблённость в науку, в честный, скромный и самоотверженный труд на благо людей и продиктовали всё построение рассказа, всё его «заострение».

Поэтому оказалось необходимым так близко подойти к портретности в образе Ольги Ивановны и, наоборот, так решительно отойти от прототипов в образах Дымова и Рябовского. И отойти при этом в двух диаметрально противоположных направлениях: одного — необычайно возвысить, другого — резко снизить.

Трагическая развязка не только заострила противопоставление простого и идейно значительного показному и внутренне пустому. Она вносила важную тему общественного неблагополучия и неустройства. В обстановке полного равнодушия и безразличия сходит на нет человек с многообещающим дарованием. «Работал, как вол, день и ночь, — говорит о Дымове Коростелёв, — никто его не шадил, и молодой учёный, будущий профессор, должен был искать себе практику и по ночам заниматься переводами». И так ему и не суждено выйти на широкую дорогу науки. Так и гибнет большой талант под тяжким бременем казённости и бескультурья. В этом — идейный смысл чеховского рассказа.

Заострение было необходимым орудием выражения и раскрытия этого смысла.

Любопытно, что «роман» С. П. Кувшинниковой с Левитаном послужил материалом ещё для одного беллетристического произведения. Это рассказ Т. Л. Щепкиной-Ку-

перник «Старшие», опубликованный в № 11 за 1911 год «Вестника Европы». В рассказе этом Щепкина-Куперник, не мудрствуя лукаво, с фотографической тщательностью воспроизвела знакомую ей обстановку и житейскую коллизию. Получился мелкотравчатый бытовой сюжет, тысяча первая вариация набившего оскомину «треугольника», заурядный случай, о котором рассказывают знакомым за чайным столом.

Разумеется, сопоставлять рассказы Чехова и Щепкиной-Куперник как художественные произведения не имеет смысла: это величины несоизмеримые. Но для уяснения самой функции заострения это сопоставление поучительно. По «Попрыгунье» мы видим, что заострение выводит сюжет за рамки единичного случая. Оно даёт возможность охватить то или иное жизненное явление в его сути, в его важнейших особенностях. Без заострения сюжета в «Попрыгунье» — да и в «Пиковой даме», «Муму», «Четырёх днях», в «Затишье», «Морозе» — не родилось бы художественное обобщение, не получила бы образного воплощения мысль художника об определённом круге людских взаимоотношений.

Во всех случаях, где нам известен реальный жизненный материал, лёгший в основу сюжета, мы наталкиваемся на заострение, как на движущий принцип окончательного формирования сюжета. Можно ли объяснить это случайностью или простым совпадением? Ответ может быть только один. Заострение — необходимый момент в складывании, кристаллизации сюжета. Образ — это единичное, насыщенное обобщением. Художественный сюжет в форме цепи отдельных событий отражает и воплощает жизненное противоречие в его внутренней последовательности и строго обусловленной связи причин и следствий. Заострение раскрывает противоречие до конца. Этим оно придаёт течению событий в сюжете силу безусловной необходимости: не просто «случилось так», но должно было так произойти и так завершиться.

6

В «Затишье», «Морозе», «Попрыгунье» заострение сюжета выразилось во внесении трагической развязки: центральное действующее лицо гибнет. Такое же завершение сюжета избирает Гоголь в «Шинели» и

<sup>1</sup> С. Елпатьевский. Антон Павлович Чехов. Сборник «О Чехове». М. 1910.

Толстой в «Живом трупе». Источником сюжета «Шинели» явилось действительное происшествие с бедным чиновником, накопившим ценой долгих лишений деньги на покупку лепажевского ружья и потерявшим его в первую же охоту. Происшествие кончилось преблагополучно: сослуживцы собрали потерпевшему по подписке деньги на покупку другого ружья. В «Шинели» же Акакий Акакиевич гибнет. «Живой труп», Федя Протасов, кончает с собой выстрелом из пистолета. Как известно, в реальном прототипе сюжета толстовской пьесы, в судебном деле супругов Гимер, этого трагического финала не было.

Из этого, однако, отнюдь не следует, что заострение сюжета обязательно связано с «трагизированием». Могут быть и обратные случаи.

Сюжет чеховского рассказа «Неосторожность», как установлено Н. Елизаровой, взят из хроникёрской заметки в «Петербургской газете» (от 2 февраля 1885 года). В ней описывается, как некий молодой человек, проснувшись после попойки и желая опохмелиться, «начал шарить по всем углам, не найдётся ли где-нибудь хмельного. В одном шкафу стояла склянка бензину. Пьяница схватил её и осушил до дна [...] Несчастный умер».

В рассказе Чехова поначалу тот же ход событий. Выпивший в гостях Пётр Петрович Стрижин по приходе домой ищет, чем бы опохмелиться, находит в шкафу бутылку и выпивает. «Стрижина вдруг отбросило от шкафа к сундуку[...]» Ему показалось, что вместо водки он проглотил кусок динамита, который взорвал его тело, дом, весь переулочек. В бутылке оказался керосин.

Каждую минуту Стрижину кажется, что «конец его уже близок, что сердце его уже не бьётся». Он пишет записку: «Прошу в моей смерти никого не винить» — и всю ночь ждёт смерти. Но Чехов меняет финал происшествия. Стрижин не умирает. Здоровёхонький Стрижин «утром сидел на кровати и, улыбаясь, говорил[...]»:

— Кто ведёт правильную и регулярную жизнь[...], того никакая отравка не возьмёт[...] Был я на краю гибели, умирал, мучился, а теперь ничего».

И всё же сюжет Чехова заострён. Заострён комически или — хотите — трагикомически. В сюжет введена свояченица Стрижина, ведущая его хозяйство. Эта особа

люто набрасывается на блаженствующего от сознания своего спасения Стрижина.

«— Кто это вам позволил? — спросила она строго, оглядывая внутренность шкафа. — Нешто водка для вас поставлена?»

— Я... я, Дашенька, пил не водку, а керосин... — пробормотал Стрижин, отирая холодный пот».

Оказывается, что пить керосин — ещё худшее преступление. На несчастного Стрижина обрушивается буря.

«— А зачем вам керосин трогать? Разве это ваше дело? Для вас он поставлен? Или, по-вашему, керосин денег не стоит? А? Да вы знаете, почём теперь керосин? Знаете?»

— Дорогая Дашенька! — простонал Стрижин. — Вопрос идёт о жизни и смерти, а вы о деньгах!

— Напился пьяный и в шкаф суёт свой нос! — крикнула Дашенька, сердито хлопнув дверцей.— О, изверги, мучители! [...] Аспиды-василиски, ироды окаянные...»

Дашенька — одно из тех созданий, которые поедом едят окружающих, считая себя при этом безвинными страдальцами. И то, что Пётр Петрович остался жив, вызывает с новой силой поток её жалоб и брани:

«— Нет, это значит — керосин плохой! [...]Значит, лавочник мне дал не лучшего, а того, что полторы копейки фунт. Страдалица я несчастная, изверги-мучители, чтоб вам на том свете так жилось, ироды окаянные!..»

И пошла, и пошла...»

В заострённой, полной комизма ситуации дан образ чадного мешанского прозябания во всей его тупости, бессмысленности и пустоте.

Формалисты много и усердно занимались изучением сюжета. Но их изыскания остались бесплодными. Причиной этого была порочность исходной предпосылки формалистической теории. Законы построения сюжета представлялись формалистам совершенно независимыми от самого жизненного содержания художественного произведения. Оно, это содержание, выступало как безличный и косный строительный материал, способный принимать любую сюжетную форму. Приёмы сюжетного построения существуют сами по себе, ткань материала — сама по себе. Сюжетную конструкцию художник выбирает по своему произволу, вне всякой зависимости от реальных жиз-

ненных связей, от логики конкретных человеческих взаимоотношений.

Между тем, исследуя художественное произведение, мы на каждом шагу убеждаемся, что сюжетное построение неотделимо от закономерностей самой действительности и обусловлено ими. О чём говорится в высказываниях самих художников о ходе работы над сюжетом? В чём специфические трудности этой работы? В нахождении такой правдоподобной, строго необходимой и целостной цепи поступков, событий и судеб, которая правдиво, сильно и сосредоточенно выразила бы существенные черты определённого круга явлений, определённых жизненных коллизий.

По дневникам Л. Толстого и по черновикам «Воскресения», опубликованным в 33-м томе юбилейного полного собрания сочинений, мы можем проследить все этапы долголетней работы автора над сюжетом романа. Что беспокоит, тревожит, мучит Толстого? Что заставляет его несколько раз бросать начатую работу и вновь к ней возвращаться, многократно перекраивать и перестраивать роман? Быть может, поиски тех или иных приёмов изложения, с которыми так носились формалисты (обрамление, ступенчатое или кольцевое построение и т. п.)?

Вовсе нет.

Л. Толстой пишет А. Фету:

«Обдумать и передумать всё, что может случиться со всеми будущими людьми предстоящего сочинения, очень большого, и обдумать миллионы возможных сочетаний, чтобы выбрать из них 1/10000000,— ужасно трудно» (письмо от 17 ноября 1884 года).

Из десяти миллионов возможных сочетаний, которые могут случиться, нужно выбрать одно, которое должно случиться, которое воплотило бы избранную художником сферу человеческих отношений и жизненных противоречий наиболее глубоко и сильно, во внутренне сцементированной и законченной форме.

В каких обстоятельствах должны протекать жизненные пути героев? Как они должны поступать в этих обстоятельствах? Как должны сложиться их судьбы? Вот что волнует и мучит Толстого.

<sup>1</sup> Существует по меньшей мере шесть редакций «Воскресения».

В чём действительная вина Катюши и в чём её обвиняют на суде? Как окончится суд? К чему приведут хлопоты Нехлюдова у всяких высокопоставленных лиц? Женится ли Нехлюдов на Катюше? Уедут ли они в Англию? Вот что занимает творческую фантазию Толстого. И как, наконец, построить роман, чтобы его форма гармонировала с его идеей? Кто должен быть в центре романа: человек, раскаявшийся в своей вине, или его жертва? Аристократ или люди из низов?

Мы не имеем возможности подробно коснуться здесь творческой истории «Воскресения». Упомянем здесь только о гениальном заострении сюжета «Воскресения», которое находит Толстой, о судебной ошибке, в результате которой заведомо для всех — и для присяжных и для судей — невиновную Катюшу Маслову приговаривают к каторге<sup>1</sup>.

Заострение это даёт возможность Толстому создать поразительное по широте и силе обобщение, построить в художественной форме грандиозный обвинительный акт против несправедливой, жестокой, бесчеловечной государственной системы царской России. Нужно ли объяснять, что заострение ни в какой мере нельзя рассматривать как приём, вынутый из некоего набора или инструментария, имеющегося в распоряжении художника (как это мыслилось формалистам). Заострение продиктовано проникновением гениального художника в самую глубь противоречий самодержавно-сословного строя, желанием художника вскрыть их и выразить со всем размахом типического обобщения.

Требование марксистско-ленинской эстетики о заострении образа помогает связать специфические особенности искусства с закономерностями реальной действительности. Только идя по этому пути, наша литературная наука и критика смогут добиться решающих успехов в анализе художественной формы и законов сюжетосложения в частности.

<sup>1</sup> Проститутка Розалия Они (история которой, как известно, послужила источником сюжета «Воскресения») судилась за действительно совершенную ею кражу ста рублей у пьяного «гостя».

Г. КОЙРАНСКАЯ

★

## АЛЬМАНАХ „НОВАЯ СИБИРЬ“

**А**льманах «Новая Сибирь» издаётся в Иркутске давно, с 1936 года. На его страницах выступали и писатели старшего поколения и молодые литераторы. Проза, стихи, критические и литературоведческие статьи, печатаемые в нём, почти всегда в той или иной степени связаны с Сибирью, с её современностью и историей, — и эта приверженность к родным местам нередко отмечалась критикой как достоинство альманаха.

Сказанное о прежних выпусках может быть отнесено и к последним двум номерам альманаха, где опубликованы роман А. Иванова «Горы зовут» — о золотоискателях, повесть и рассказы В. Мариной о сибирских железнодорожниках, рассказы и очерки В. Тычинина, И. Дворецкого, Г. Падерина и других, тоже связанные с трудом и бытом сибиряков, стихотворения А. Гайда, Е. Евтушенко, Ю. Левитанского, критическая статья Г. Маркова о романе сибирского писателя С. Сартакова «Хребты Саянские», статьи Б. Школьника «Сибирь в художественной литературе», А. Абрамовича «Современная тема в произведениях сибирских писателей» и т. д.

Как это ни печально, надо признать, что на долю стихотворного раздела альманаха пришлось почти одни недостатки. Бедность содержания, привязанность автора только лишь к внешним «местным признакам», отсутствие серьёзного поэтического замысла характерны, например, для стихотворения Ю. Левитанского «К вопросу о климате»:

Кто сказал, что в Сибири холодно?  
Ерунда!..  
Видишь — вниз поплыли, расколоты,  
синеватые глыбы льда.  
Тянет из лесу запах прелости  
листьев прошлого года,  
и уже не апрель — а прелести,  
ах, какая погода!

и для «Весны на Байкале» И. Молчанова-Сибирского:

Когда в небесной лазури  
На запад проплыл самолёт,  
Весёлая первая буря  
Промчалась, ломая лёд.

Хрустя, рассыпаются льдины,  
Дробятся они, как хрусталь,  
Уже оживляют долины  
Потоки, бегущие вдаль.

Два эти стихотворения различны по форме. У Ю. Левитанского есть некоторые притязания на новизну, у И. Молчанова-Сибирского стих ясен и прост; но общий характер и уровень мысли — вялой, малоинтересной — в обоих произведениях одинаковы. Примерно таковы же и стихотворения Е. Евтушенко.

Прозаические произведения, помещённые в книгах 29 и 30 альманаха, отличаются большей тематической значимостью и большими художественными достоинствами.

Роман «Горы зовут» (книга 29) написан сибирским писателем А. Ивановым, автором повести «У синих гор», опубликованной Иркутским издательством в 1952 году. Критика уже отмечала, что писатель знает материал и владеет им, умеет подмечать интересные детали. Вместе с тем указывалось, что автор не всегда художественно последователен в психологическом раскрытии людей, что мотивы, определяющие поступки героев, бывают в его повести необъяснимыми — прежде всего в силу их упрощённости.

Новое произведение А. Иванова сложнее предыдущей вещи и по вопросам, которые оно ставит, и по разрешению их. Действие романа «Горы зовут» относится к 1935 году. Автор повествует о том, как в глухой якутской тайге создаётся новый прииск, с какими немалыми трудностями приходится

встречаться строителям и как они преодолевают их.

Замысел автора интересен, и можно только приветствовать обращение писателя к нашему недавнему прошлому. Опыт борьбы советского народа за создание могучего социалистического государства — неиссякаемый источник вдохновения для советских писателей. Но, к сожалению, замысел А. Иванова во многом остался неосуществлённым. Этому прежде всего мешает, по нашему мнению, сбивчивость, неточность и поверхностность характеристик некоторых действующих лиц.

Парторг прииска Павлов задуман как «идеально-положительный герой». Автор романа и персонажи немало говорят о его душевности, о его способности хорошо понимать людей. Но читатель видит в нём лишь резонёра, лишённого живого характера. Вот типичный образец книжных речей Павлова: «К молодым рабочим нужно чутко относиться. Надо сделать так, чтобы они на всю жизнь полюбили труд, чтобы мечтам их в труде краю не было». Всё это верно. Но неужели это живая разговорная речь, а не статья?

В начале десятой главы говорится: «Рабочий день парторга, как всегда, начался на полчаса раньше, чем у старателей. Он стоял у окна и смотрел, как шли на полигон и разрез бригады... Антон Демидович немного отклонился вглубь кабинета и широко улыбнулся». Будь Павлов на остальных страницах романа другим, такое бездельное «начало рабочего дня» читатель воспринял бы, как досадную опisku автора. Но Павлов на протяжении всего романа предстаёт то улыбающимся, то хмурым, то поучающим и, по сути, ничего не делающим...

Поражает ещё одна неприятная черта в нём, никак не вяжущаяся с действительными чертами хорошего коммуниста. По недосмотру руководства прииск остаётся без помещения для больницы. И вот Павлов — один из главных виновников этого упущения — равнодушно рассуждает: «Да, тут наша общая вина. Вот вернётся Харанов, обязательно начнём строить. И до холодов закончим. Не хватит строителей, общеприисковский воскресник объявим. Народ всё может сделать. Даже горы перевернуть». Нас отталкивает от Павлова эта лёгкая готовность за-

ставить других горы vorочать ради того, чтобы исправить его, Павлова, ошибки.

И это тоже не обмолвка. Случилось так, что прииск остался без продовольствия — опять же по вине руководителей и в их числе Павлова. И вот он появляется среди людей, брошенных на расчистку дороги к аэродрому. Вокруг него столпились рабочие, «они стояли усталые, обветренные, даже не все одетые по-зимнему: у многих, вместо тёплых шарфов, шеи укутаны белыми полотенцами». Павлов призывает людей сделать ещё усилие, чтобы разорвать кольцо снежной блокады: «Помните старую русскую поговорку, — заключает он свою речь, — терпение и труд всё перетрут».

Перетрут, конечно. Только не лучше ли, если этот труд будет затрачен более производительно, чем когда он употреблён на устранение нераспорядительности Павлова? Нельзя это похлопывание народа по плечу выдавать за что-то положительное в руководителе. за «веру в силы народа».

Все главные герои романа делятся на две группы: абсолютно положительных, как кажется автору, и беспросветно плохих. Некоторым исключением является начальник прииска Харанов: он энергичен, любит своё дело, но изрядно подвержен консерватизму, слишком стремится к славе, почёту, не чужд и угодничества перед начальством. Бывает и такое. Но автор не отыскал той внутренней связи, которая позволяет увязывать разнородным качествам в одной этой душе. Создаётся впечатление, что заблуждения Харанова, никак не вяжущиеся с его здравым рассудком, даны ему только для того, чтобы Павлов непрестанно наставлял его на путь истины. Павлов всегда оказывается правым, но правота его неинтересна, так как заблуждения Харанова слишком очевидны; образ же Харанова в значительной степени разрушает его карикатурно-бюрократическая наивность.

Гораздо удачнее в романе образ пожилого старателя Николая Сазонова. Немало он перевидал на своём веку людей, и многим из них была свойственна погоня за «фартом», стремление заработать летом побольше, чтобы зимой всё прокутить. Сазонов иначе относится к труду. Его вели с одного места на другое «не стяжательство, не погоня за призрачным фартом — старательской удачей... он любил старательскую работу, она была как раз по его смелой душе, по широ-

ким плечам. Сгубившая многих жадность к золоту не трогала его сердце». Эти черты — любовь к старательскому труду, пренебрежение к наживе — чрезвычайно важны для последующего развития Сазонова в настоящего социалистического рабочего. На новом прииске Хандагай Сазонов умело применяет свой многолетний опыт, передаёт свои знания молодёжи; бригада его — одна из передовых. Не случайно именно Сазонов ратует за превращение прииска в постоянно действующий, за то, чтобы работы не прекращались и зимой. Не случайно Сазонов ссорится с главным инженером Чарочкиным, хотя ссора эта начинается, казалось бы, по пустяковому поводу: Сазонов потребовал свечей для освещения шахты, Чарочкин ему в этом отказал, попрекнув старателя погоней за длинным рублём, — и этого было достаточно, чтобы Сазонов попросил расчёта, покинул прииск, на котором, после долгих лет скитаний, нашёл постоянную работу по душе и почувствовал себя человеком, нужным другим людям. На самом деле здесь произошло серьёзнейшее столкновение: Чарочкин задел самую чувствительную струну Сазонова.

Досадно только, что в речь Сазонова (вообще-то довольно образную) нет-нет да и проникают нотки резонёрства. Впрочем, резонёрство ещё в большей степени свойственно другим персонажам романа. От него не свободен и молодой золотоискатель Василий — разведчик совершенно нового типа, мечтающий о том, что открытие новых золотых запасов приведёт глухой таёжный край к расцвету.

По замыслу Василий должен быть человеком волевым, эмоционально ярким, олицетворять нашу беспокойную молодёжь тридцатых годов, энтузиастов, зачинателей нового дела. А как скучно, бесцветно, резонёрски рассуждает этот молодой человек. «Впрочем, я человек беспокойный, — говорит он. — Мне иногда каждое дело хочется попробовать. Хочется научиться хорошо понимать его...» На реплику своего бригадира: «Как складно ты говоришь, Василий» — Василий отвечает: «Ну, что ж тут складного? Просто всё говорю, как на душе есть. А впрочем, Сергей, про любимое дело нельзя говорить плохо. Если любишь его, то совсем и не стараешься, а складно получается. Слова сами такие приходят, что в душе от них теплее становится».

Не верим мы, что рассуждает это двадцатилетний, беспокойный парень, не верим также, что от его слов становится теплее на душе.

Однако резонёрство, бесцветность языка — большой, но не главный недостаток. Основная беда заключается в том, что Василий остаётся внутренне неподвижным от первых до последних страниц романа. Он что-то делает, внешне успехи его даже значительны, но обо всём этом чаще всего сообщается в авторских отступлениях. А ведь хорошо известно, что развитие образа в литературном произведении достигается не просто обозначением отдельных этапов жизни героя, а показом тех сдвигов, изменений, которые происходят в его сознании. И если автор не раскрывает перед нами внутреннего мира своих героев, а бесстрастно излагает события, сообщает о происшедших изменениях, читателя он не убеждает, живого человека за литературным образом читатель не видит.

В начале романа сообщается, что Василий, ранее работавший на прииске с лошадьми, поступает старателем в молодёжную бригаду. Опыта у него нет. Но есть желание трудиться. «Я, может, давно к хорошему делу рвусь», — говорит он. Затем оказывается, что он «вообще молодец»: «В политкружке занимается. Вместе со Ждановым молодёжную бригаду организовал. Лучший забойщик получился. Из него и комсомолец хороший будет». И ничего этого читатель не видит и не знает, почему именно Василий стал первым ударником прииска, — то ли везло ему во всём, натура удачливая, то ли есть в нём какие-то внутренние волевые качества. Правда, в одном месте говорится, что у Василия «в работе есть что-то своё». Эта мысль не получила никакого развития, а между тем она могла бы явиться самостоятельной темой.

В целом же люди в труде, на производстве показаны писателем значительно богаче, интереснее, нежели в личной жизни. Вот, например, автор рассказывает, как по дороге на прииск фельдшер Валентина познакомилась с инженером Чарочкиным. Дорожное знакомство переходит в любовь. Правда, каких-либо серьёзных проявлений любви читатель не видит; но, как бы там ни было, Валентина вскоре считается уже невестой Чарочкина. Как только будет выстроен предназначенный инженеру дом, они поженятся. Наконец дом достроен. Но тут Ва-



лентина в отсутствие Чарочкина, не спросив его согласия, отдаёт этот дом под амбулаторию. Вернувшийся на прииск Чарочкин возмущён её самоуправством, а она в свою очередь обвиняет его в чёрством эгоизме и порывает с ним.

Конечно, всё это несколько странно: хотя бы и то уже, что распоряжений Валентины выполнять никто не имел права, — она ведь и не жена Чарочкина, и жила от него отдельно, и вообще такие приказания о распредслении зданий не могут давать родственники или знакомые. Но ещё более странно поведение самой Валентины после ссоры с Чарочкиным, которого она, как нам сообщалось, очень любила. Расставшись со своим женихом, «Валентина не томилась в одиночестве. Чарочкин часто видел её весёлой в окружении комсомольцев, слышал её задорный смех». Оказывается, Валентина решила таким образом его перевоспитать.

В романе развёртываются ещё две любовные линии (по удобному стечению обстоятельств все три руководителя прииска — начальник, главный инженер и парторг — люди неженатые). Парторг Павлов встретил эвенку Марфу, которую он увидел впервые тринадцать лет назад, во время гражданской войны, очнувшись после тяжёлого ранения в эвенском чуме. Видение это, смутное, как сон, крепко запало в душу Павлова, и все эти тринадцать лет он думал о Марфе и как бы надеялся встретить её и не верил в эту встречу. Но оказывается, и Марфа помнила и ждала все эти годы Павлова. Они встречаются теперь, когда Марфа — руководитель поселкового Совета в соседнем колхозе — привозит еду для прииска.

«— Ну, приехала-таки? — сказал Антон Демидович и призывно протянул к ней руки.

— Приехала, Антон, — впервые назвала она его по имени. — Совсем приехала.

— Как долго шли мы друг к другу, Марфа. Столько лет только думами и надеждой жили. Но мы ещё сильные, Марфа. И мы сумеем построить хорошую жизнь.

— Обязательно, Антон. — Она сама вся потянулась к нему. — Я работать буду у вас.

Он крепко сжал её руки повыше локтей. Ей было больно, но она не отнимала рук.

— Теперь-то я тебя никуда не отпущу, — говорил он, привлекая её к себе ближе. — Мы найдём тебе какую хочешь работу. Вот

поселковый Совет надо организовать. Тебя, наверное, выберут.

— Поселковый Совет обязательно надо создавать. У посёлка хозяин должен быть. Власть Советская. Только на это дело другого человека подобрать нужно. Вот Костина, например.

— Костина нельзя. Он мастер, прииску нужен.

— И Совету такие нужны, — твёрдо сказала Марфа. — Ну, пусть не председателем, а членом исполкома обязательно.

— Если не нравится Совет, в конторе работу найдём.

— Нет, Антон. Работа в Совете мне больше всего нравится. Я знаю её много лет. Я ведь сюда председателем оргкомитета райисполкома приехала. Хандагайского райисполкома. Понимаешь?»

Мы выписали всю эту сцену единственно для того, чтобы наглядно показать, как может способный писатель нарочитой и безвкусной патетикой испортить и такое жизненное положение, в котором заложена возможность истинного и ничем не замутнённого переживания.

В самом деле, что, кроме неприязни, могут возбудить в читателе такие стёртые фразы, как: «Павлову показалось, что где-то в небе раздвинулись плотные тучи и в просторном кабинете директора стало светлее и уютнее»? У автора, нам кажется, достаточно изобразительных возможностей, чтобы не писать: «Казалось, в груди сжимается боевая пружина, и чем больше она сжимается, тем сильнее будет отдача».

Читая роман «Горы зовут», нельзя не обратить внимания ещё на одно обстоятельство. Писатель порой как бы забывает о сказанном выше. На многих страницах романа говорилось, например, что единственный выход из создавшегося на приiske тяжёлого продовольственного положения — присылка продуктов на самолётах. Люди с нетерпением ждут их. Голодные, замёрзшие, они всё же находят в себе силы, чтобы расчистить посадочную площадку. Но вот неожиданно появились колхозники-эвены — они привезли на оленях муку и другую еду. После этого о самолётах и о посадочной площадке автор ни разу и не вспомнил.

Задолго до этого эпизода известно было, что недалеко от прииска расположен богатый эвенский колхоз. Эвены-колхозники обучались у плотников прииска их мастер-

ству. Почему же в трудную минуту никому из руководителей прииска не пришло в голову обратиться за помощью в этот близлежащий эвенский колхоз?

Упущен в романе и ещё один немаловажный момент, задуманный поначалу, как один из главных в произведении. Между Харановым и Павловым на протяжении долгого времени идёт спор — стоит ли вести на прииске работы зимой или распустить основную массу старателей, как это было раньше и на других приисках? Судьба, так сказать, решила этот спор в пользу Павлова: из-за рано выпавшего снега никто из рабочих — даже из тех, кто собирался это сделать, — с прииска не ушёл. Тут бы, кажется, и надо было показать жизнь, работу прииска в зимних условиях. Но и здесь писатель свёл на нет весь конфликт. Мы ничего не узнаём о зимних работах на приисках. После глав, в которых описана борьба со снежными заносами и с голодом, идёт глава, начинающаяся словами: «На Хандагай пришла весна. В долине растаял последний снег, зазеленели первые стрелки травы...» Начатое писателем интересное и трудное вновь обойдено.

Возможно, что в этих упущениях автор не столь и повинен. Роман «Горы зовут» печатается в альманахе «с сокращениями»; может быть, в полном варианте сюжетная ткань романа более целостна. Но тогда возникает вопрос: допустимо ли печатание таких сокращённых вариантов произведений? Писатель, давая своё произведение в альманахе, вправе рассчитывать на то, что читатели его прочтут полностью. Ведь и возможность выпуска романа отдельной книгой немало зависит от того впечатления, которое произведёт первая публикация в альманахе... Мы считаемся в этой статье с опубликованным текстом — иначе и нельзя, — но остерегаемся высказать окончательное суждение о романе «Горы зовут», так как в полном тексте он, может быть, будет выглядеть иначе.

В книге 24 альманаха «Новая Сибирь» (1951) появился рассказ В. Мариной «Необыкновенный рейс». С тех пор писательница регулярно печатается на страницах альманаха. Излюбленные её герои — железнодорожники: машинисты, сцепщики, кондукторы, люди, бескорыстно любящие свой труд, энтузиасты своей профессии. В. Марина умеет отметить черты героизма в самом, казалось бы, не примет-

ном человеке. В её рассказах есть подлинность и живость. Но, к сожалению, она иногда чрезмерно увлекается описанием технических деталей и этим заслоняет образы людей. В рассказе «Над Байкалом» (книга 29) этого увлечения чисто производственным процессом нет (хотя труд занимает в рассказе большое место), и поэтому он читается с большим интересом, чем другие произведения В. Мариной. Правдиво, не сусально показана нарождающаяся любовь двух молодых людей. Путевая обходчица Лена — известная в посёлке болтушка и пересмешница — с восторгом наблюдает, как умело, с какой артистичностью выполняет верхолаз Кеша своё опаснейшее задание. И мы верим автору, что это окончательно покорило неутомную девушку.

К сожалению, естественность и простоту в изображении героев В. Марина теряет в следующем своём произведении — в повести «Трудный год» (книга 30). В этой повести она решила отойти от «производственной» темы и заняться исключительно бытовыми вопросами. Но абстрактная преднамеренность и здесь не привела к добру.

Герой повести Николай Тулугуров — маневровый диспетчер, а затем старший помощник начальника станции, отец семейства — влюбляется в чужую жену, инженера Анну Егорову. Жена Тулугурова, Катя, скромная, простая женщина, обременённая семьёй, мучится, ревнует, подозревает мужа в измене. Парторг железнодорожного узла, чтобы усвоить её мужа, делает Катю активной общественницей и предлагает ей вступить в партию. Семейная жизнь налаживается.

В повести рассказывается также, что Тулугуров занимается на станции введением новой технологии. Именно в борьбе за эту технологию и происходит сближение Тулугурова с Егоровой.

В. Марина употребляет немало усилий, чтобы её Катя, натура несколько замкнутая, стала более активной и усвоила себе роль трибуна и вожака. Мы готовы этому порадоваться. Но неужели общественная активность приобретается лишь для устройства семейных дел Кати? Неужели по обстоятельствам для этого устройства не довольно того, что Катя — неутомимая труженица-мать, неужели мало этого, чтобы доказать человеческую ценность Кати? К тому же писательница рисует «разлучницу» Анну Егорову как демоническую жен-

щину по всем статьям. У Егоровой есть и властная красота, и огненные глаза, и величавая осанка.

«Анне Викторовне Егоровой было 37 лет, но можно было дать и 30... Чёрное вечернее платье Анны Викторовны подчёркивало властную красоту энергичного лица и крупной, видной фигуры. Тяжёлый узел чёрных волос на затылке, оттягивая голову, придавал величавость осанке. Небольшое ожерелье из крупных красных камней бросало на лицо горячие отсветы».

Соответственно этому весь роман Тулугурова с Егоровой низведён на мелодраматический уровень.

Повесть В. Мариной — лишнее доказательство, что по заранее заданной схеме, оторванной от действительности, ничего хорошего в литературе сделать нельзя.

Очень неровно написаны произведения И. Дворецкого: рассказ «В новую дорогу» и два очерка — «Ночью в степи» и «Есипов». Рассказ «В новую дорогу» читается с интересом, идея дружбы братских народов воплощается в нём в конкретных образах. Скупое, немногословно написаны образы Зекена Адилова, Кости Мещерякова, повариши Тани. Каждый из них имеет нечто своё, оригинальное, читатель запоминает их. Очерки И. Дворецкого слабее. В очерке «Ночью в степи» мы видим лишь нарочитое и внешнее подражание Чехову. Вначале идёт описание ночной степи, сообщается, что на душе у автора и его спутника «было тревожно и одиноко». Затем автор и его спутник встречают женщину, с которой у них завязывается разговор. Выясняется, что у этой женщины дочь — учительница, сын — второй секретарь райкома. На этом тревога путников и улеглась. В заключение автор, вероятно спохватившись, что идея очерка неясна, решил её высказать, что называется, напрямик: «О чём я сейчас думал? Вот мать... и сын её — простые люди... и в обком пойдём... и в ЦК, везде там простые наши люди — из народа». Эта мысль, конечно, верна. Но ведь она известна без этого очерка, который её ничем не обогащает.

В очерке «Есипов» речь идёт о начальнике городской пожарной команды. Показано, как он обучает курсантов пожарному делу. Ненужных подробностей много, но образ самого Есипова ускользает. И. Дворецкий здесь, как и в предыдущем очерке, разъясняет «от автора» читателю то, что

он не сумел показать в действиях и словах героев: «Несомненно, все, кто слушает Есипова, понимают, как велика его преданность пожарному делу, которое он, по простоте душевной, возводит до степени искусства, и за это ему готовы простить некоторое манерничанье, которое он допускает, мня себя заправским лектором». Думается, что и эта ироническая снисходительность к герою мало уместна и что «душевная простота» его гораздо сложнее и интереснее, чем думает автор.

Приятно отметить, что очерки Г. Падерина, Н. Аксаментовой и Л. Тихоновой, опубликованные в книге 30 альманаха, затрагивают самые различные вопросы, связанные с жизнью сибиряков. В них рассказывается и о сельских механизаторах, и о материальном и культурном росте колхозников, и о богатствах сибирской тайги. Наиболее удачными нам представляются очерки Г. Падерина «На новом месте» и «Сокровища сибирской тайги». В первом из них речь идёт о рабочих вагонного депо, которые, бросив насиженные места, отправляются на работу в МТС. Неспokoйно было поначалу на душе у механика Мазаникова и слесаря Сундеева: как-то их примут? Понравится ли им новая работа? Оказывается, настоящий работник везде будет чувствовать себя на месте: уже первые шаги новосёлов показывают, что эти люди — подлинные хозяева жизни.

Очерк «Сокровища сибирской тайги» привлекает нас не только интересным материалом, но и тем, что автор сумел даже такие, казалось бы, «скучные», чисто деловые сведения, как история организации научно-исследовательского института охотничьего промысла, как география расселения соболей и т. д., написать так, что они читаются с большим интересом. Везде есть мысль, отражающаяся и в точном языке.

Путевые заметки «Таёжная новь» Н. Аксаментовой и очерки молодой журналистки Л. Тихоновой «Будни колхозного села» даны под общей рубрикой «Дела и люди». Очеркисты сообщают читателям о возрастающей зажиточности колхозников, о повышении культуры сельских жителей. Однако нельзя не отметить присущий этим очеркам общий недостаток: они слишком описательны — это именно взгляд «из окна» «Победы» (название первого очерка Н. Аксаментовой), а не глубокое изучение и серьёзное размышление. Ни в одном из этих очерков

нет каких-либо острых, злободневных вопросов, нет делового подхода к материалу. Так, Н. Аксаментова, говоря о росте благосостояния колхозников Нижнеудинского района, пишет: «Пять лет назад председатели колхозов ещё хвастались друг перед другом рысаками. Теперь почти у каждого «Победа». Шофёр колхоза имени Ленина Василий Юдаков ведёт её по раскатам и ухабам так уверенно и плавно, словно по столичному асфальту. И это тоже показательно. Ещё совсем недавно такие умелые люди тянулись в город, на крупные автобазы, на большие магистральные тракты». Что же хорошего в этих ухабах и раскатах? Показательно здесь всё-таки то, что председатели колхозов машины приобрели, а дороги сделать приличные не сумели... Автор этому обстоятельству не придаёт никакого значения и даже как бы радуется тому, как ловко умелые шофёры колесят по дурным дорогам.

Правда, та же Н. Аксаментова в очерке «Новый председатель» делает попытку пристальнее всмотреться в жизнь. Она старается выяснить причины долгого отставания одного колхоза и затем быстрого роста его при новом председателе-агрономе. Но и этот очерк написан торопливо; в нём сказано о многом важном (об авторитете председателя колхоза, о методах его работы, о рыночной торговле колхозов и т. д.), но всё это мимоходом, неглубоко.

Приходится сожалеть, что раздел очерка, который должен был бы быть одним из самых боевых в альманахе, не полностью выполняет эту свою роль, редакция слабо использует его возможности.

Другим, не менее боевым отделом является, как известно, критика. Критические

работы, которые опубликованы в альманахе, имеют ту особенность, что всё творчество писателей-сибиряков рассматривается в них так, словно за пределами родного края нет ничего другого. Это, на наш взгляд, серьёзный недостаток. Нет здесь статей, которые бы ставили острые проблемы, волнующие нашу литературную общественность, нет работ дискуссионного характера. Исключением является лишь статья Г. Маркова «Хребты Саянские», в которой он полемизирует с критиком Ю. Константиновым в оценке романа С. Сартакова. Думается, что в этой полемике Г. Марков прав. Анализируя роман, он с бесспорностью доказывает его положительное значение в нашей литературе, говорит об удаче образов основных героев произведения и вместе с тем отмечает недочёты романа, которые ещё имеются даже в переработанном издании. Приходится согласиться с Г. Марковым, что рецензия Ю. Константинова, опубликованная в журнале «Звезда» (книга 5, 1953), озаглавленная «Поверхностное и случайное», сама носила несколько поверхностный характер, вследствие чего многое положительное, что есть в романе, осталось автором статьи незамеченным.

Альманах «Новая Сибирь» делает большое и важное дело, привлекая молодые литературные силы родного края. Хотелось бы, чтобы редакция с большей требовательностью относилась к произведениям молодых писателей. Хотелось бы также видеть в альманахе материалы, отвечающие на животрепещущие вопросы нашей действительности. В первую очередь это относится к отделам критики и очерка.



# КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**С. Ильичёва.** Свежий голос.— **А. Штамбок.** Две повести о художниках.— **К. Поздняев.** О военных корреспондентах.— **А. Дирингерова.** Новая жизнь.— **Юрий Смирнов.** Новая книга о Чаплине.— **А. Отарова.** Сборник статей о Л. Н. Толстом.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

Кандидат военных наук **П. Синельников.** Быть постоянно начеку.— Кандидат военных наук **И. Крупченко.** Советские танкисты в дни войны и мира.— Кандидат исторических наук **Е. Черняк.** Вещания современных мракобесов.— Инженер-капитан 3-го ранга **Н. Орлов.** Глазами советского моряка.— **С. Марвич.** Никос Белоаннис.— **М. Стуруа.** Слова и дела колонизаторов.— Профессор **А. Горин.** доцент **А. Унолов.** Пути создания новых культурных растений.— **И. Иноземцев.** Советские натуралисты в пустыне Гоби.— Кандидат географических наук **И. Забелин.** Измышления буржуазных географов.

## Литература и искусство

### Свежий голос

**В** стихотворениях Н. Перевалова, составивших сборник его стихов, читатель не найдёт эпической широты, внешней неподнятости, яркой декоративности.

Многие стихи сборника по своему лирическому звучанию, по нежности и прозрачности красок, по мягкости и простоте рисунка напоминают акварельную живопись. И дело здесь не только в словесной изобразительности, свойственной молодому поэту, но и в самом её характере, её тональности, в поэтической манере, с какой поэт, рисуя картины реальной действительности, раскрывает человеческие мысли и чувства.

Вот перед нами первый снег, покрывший всё вокруг «однообразной белизной, ещё нетронутой и строгой». По снегу гуськом идут в школу ребятки. И впереди идущему малышу кажется, будто —

Большой и смелый, он идёт  
По целине необозримой —  
И самый первый след живой  
Там оставляет за собой.

Так и видишь перед собой сплошной белый покров, отливающий едва заметной голубиной, небольшие тёмные следы от ре-

Николай Перевалов. «Стихи». Новосибирское книжное издательство, 1954.

бьих валенок и гордо идущую впереди фигурку «землепроходца».

Таких живых, как бы нарисованных кистью художника картин немало в этом сборнике. Однако живопись не служит для поэта самоцелью. Зримый и выразительный, освещённый каким-то особым светом изнутри, пейзаж для него — одна из возможностей, одно из средств для раскрытия духовного мира человека.

В стихотворении «Пройденное поле» природа родного края вызывает у поэта светлые, радостные чувства, воспоминания о детстве, являющиеся всегда очень дорогими и близкими для каждого из нас.

Ивы старые, милые клёны!  
В час раздумий опять и опять  
среди вас

в сапогах запылённых  
разрешите вы мне постоять;  
приглядеться к волнующим вехам,  
долго слушать, как ветер поёт,—  
и припомнить, куда же со смехом  
пробежало тут детство моё.

И в другом стихотворении — «Иня» — также с большим чувством передано глубокое волнение, возникающее у поэта при виде хорошо знакомой ему с детства реки. Но поэт не повторяется. Каждый раз он на-

ходит новые слова и образы, новый угол зрения для передачи своих мыслей и чувств.

Через всю книгу проходит тема любви к жизни, к Родине. Патриотические и жизнелюбивые мотивы переплетаются здесь с многообразием других чувств и настроений и составляют как бы лирический подтекст многих стихотворений сборника.

Так, например, в стихотворении «Ветка» радостное восприятие жизни лирическим героем раскрывается в его отцовских чувствах, в ощущении большого личного счастья, которое ему доставляет сознание того, что его дочь родилась в такое время, когда Родина заботится о каждом ребёнке.

Тема эта не отличается новизной, и не она в данном случае определила поэтическую свежесть, эмоциональное звучание стихотворения. «Секрет» успеха здесь в том ощущении радости, душевной полноты, в добром отношении к людям, которым поэт от души желает такого же счастья, — иначе говоря, в той искренности чувства, которым проникнута здесь каждая строка.

Любовь к жизни подлинной, ничем не прикрашенной находит своё отражение в стихотворении «Девочка». Поэт выражает здесь глубокую уверенность в том, что тот новый мир, который строят советские люди, не нуждается ни в каких прикрасах и что незачем его искусственно расцвечивать.

Маленькая девочка, найдя осколок синего стекла, осторожно поднесла его к глазам, и тот мир, который она увидела через стекло, на мгновение показался ей «чудом из чудес». Но вот, отняв стекло от глаз, девочка невольно зажмурилась, её ослепили горячее солнце, яркие краски цветущей весенней земли. И поэт с присущей ему мягкостью и теплотой заканчивает стихотворение следующими строками:

Смешная девочка, не надо,  
Не надо синего стекла!  
Тот мир, что строишь неустанно,  
Где ты, весёлая, растёшь.  
Для глаз не требует обмана:  
Он так  
Невиданно хорош!

И здесь впечатление свежести создаётся не темой, которая также уже не нова, а поэтической интонацией, простой и безыскусственной деталью, которой автор в данном случае пользуется.

Об образной силе, таящейся в поэте, говорят многие строки стихов Н. Перевалова. Пожалуй, в каждом из них можно найти

свежий эпитет, выразительную рифму, метафору, удачное сравнение. И это, конечно, радует. Многие эти находки свидетельствуют не только об одарённости поэта, но и о той большой работе над словом, которая чувствуется за многими строками. Конечно же, поэтическая простота, прозрачность, кажущаяся лёгкость, с какой написаны лучшие стихи, требовали от поэта упорного труда.

Тем обиднее, когда среди самостоятельных, выношенных произведений обнаруживаешь вещи, написанные «с чужого голоса».

Такое чувство испытываешь, читая стихотворение «Поверь, уляжется тоска». Всё, что здесь есть, давно открыто и найдено другими авторами. Для доказательства достаточно привести первые четыре строки этого стихотворения.

Поверь, уляжется тоска,  
пройдёт с годами боль разлуки —  
и встретит нежная рука  
другие любящие руки.

Это стихотворение невольно вызывает в памяти другое, написанное ровно сто лет тому назад:

Увы! утешится жена,  
И друга лучший друг забудет;  
Но где-то есть душа одна —  
Она до гроба помнить будет!

Вся лексика, весь образный словарь стихотворения — чужие, заёмные.

К счастью, такие стихи представляют собой лишь досадное исключение. И надо думать, что их возникновение случайно и не является следствием сознательного желания идти проторёнными путями. Многие трудности, удачно преодоленные автором в других стихах, служат лучшим доказательством совсем иного отношения к своим обязанностям, свидетельством стремления поэта к поискам своих собственных изобразительных средств для раскрытия собственных мыслей и чувств.

Характерной чертой творчества Н. Перевалова является сосредоточенность его внимания на добрых, положительных началах. Но жаль, что при этом поэт не видит отрицательных явлений в нашей действительности, не видит зла, мешающего нашему движению вперёд. Только в одном стихотворении сборника («Якорь») говорится о дурном человеке, не пожелавшем свить собственное гнездо, семья ему кажется якорем, при-

ковывающим человека к одному месту и лишаящим его свободы. Но автор не возмущается «житейской мудростью» бессердечного эгонста, судя по некоторым намёкам сделавшего несчастной не одну женщину. Кроме чувства сожаления по поводу неудавшейся судьбы человека, оставшегося к старости без «якоря», никаких других эмоций у автора нет.

Поэт не видит также трудностей, которые приходится преодолевать советским людям в борьбе за новое. Так, в стихотворении «У дикой роши» он пытается нарисовать образ садовода-новатора, заложившего сад в Сибири, «...где вьюга полгода кружит, где, закутан в морозный чад, тяжко охает лес от стужи». Надо думать, что нелегко далась этому энтузиасту борьба с природой в таких условиях. Однако в стихотворении всё происходит с какой-то необычайной лёгкостью, со сказочной быстротой и без всяких человеческих усилий. Автор хотел показать постоянную неудовлетворённость новатора достигнутым, его стремление к всё большему и большему победам. Но, не показав трудностей, которые ему пришлось преодолеть, поэт нарисовал не реальную картину жизни, а создал идиллию. И поэтому восхищение неутомимым садоводом-новатором здесь перешло в умилённость, слащавость.

Этим же недостатком отмечены и некоторые другие стихи сборника («Как построили дом», «Новый год»). Здесь нет ни изображения реальной действительности, ни чувства, ни настроения. Отсюда блёклость стиха, невыразительность.

О подобных стихах Белинский в своё время говорил, что они оставляют в душе такое же впечатление, «как дуновение уст на стекле зеркала: оно легко и скоропреходяще».

Вследствие такого, несколько одностороннего видения мира поэт не сумел создать страстных, негодующих стихов, направленных против всего того, что мешает жить и радоваться всем тем хорошим и чистым людям, о которых так доброжелательно говорит он в своём сборнике.

В стихах Н. Перевалова ещё недостаточно явно чувствуется активное, волевое участие лирического героя в жизни, в борьбе, в преодолении трудностей.

Было бы очень отрадно, говоря о следующей книге стихов Н. Перевалова, уже не отмечать этого недостатка. Думается, что у автора найдётся достаточно творческих сил для изображения жизни подлинной, со всеми её противоречиями, тем более, что он сам к этому призывает. Вспомним стихотворение «Девочка». А разве не показывать жизнь во всей её сложности, во всём её многообразии не означает искусственно её приукрашивать, смотреть на неё через цветное стекло?

Умение воплощать хорошие принципы в конкретные поэтические образы — ценное умение. Владеть им — значит добиться многого. Пожелаем же молодому, способному поэту, голос которого прозвучал в его книге искренне, взволнованно, свежо, новых поэтических успехов.

С. ИЛЬИЧЕВА.

★

## Две повести о художниках

В издательстве «Советский писатель» вышли две повести о художниках — Н. Харджиева о Федотове и К. Охупкиной о Куинджи. Авторы этих повестей шли своими путями. Н. Харджиев шёл по следам документов, как исследователь, ни на шаг не отступая от фактов. Для К. Охупкиной документальный материал был только канвой.

Оба метода закономерны и могут быть одинаково плодотворными. В конце концов расстояние между научно-исследова-

тельской биографией и исторической повестью о художнике не так уж велико. В том и другом случае цель одна: дать верное представление об исторической эпохе, о творчестве художника, о его жизни.

Воссоздать живой образ Федотова и Куинджи в реально-исторической обстановке — в этом сходились задачи Н. Харджиева и К. Охупкиной. Задача была одна, но одинаково ли они достигли успеха в решении её?

Вряд ли среди русских живописцев найдётся художник с более сложной биографией, чем у Куинджи. Его жизнь избивала неожиданными превращениями: от провалов на экзаменах в Академию худо-

Ксения Охупкина. «Повесть о Куинджи». «Советский писатель», М. 1953.

Николай Харджиев. «Судьба художника». «Советский писатель», М. 1954.

жеств к триумфу на выставках и головокружительной славе, от скитаний по югу России и беспросветной нужды к сказочному богатству. Самоучка, он входит затем в Академию художеств как маститый профессор, действительный член её совета. В восьмидесятых годах прошлого века Куинджи был в зените славы. Ему посвящались в газетах хвалебные передовицы, о его картинах слагали стихи и перекладывали эти стихи на музыку. И вот после этого фурора художник неожиданно для многих замыкается в себе, скрывая в мастерской свои этюды и картины даже от близких друзей.

За внешними и эффектными событиями творческой биографии Куинджи проступают сложные противоречия его времени и внутренние коллизии художника-самоходка. Поэтому К. Охупкина поступила правильно, стараясь передать ту общественно-историческую атмосферу, которая окружала художника; писательница подробно говорит о скитаниях и встречах Куинджи с чумаками, крестьянами, студентами-революционерами. Выразительно рассказано о неудачах Куинджи в Академии художеств, о его встречах с Репиным в «Мазанихе», о дружбе с передвижниками и их совместной борьбе против академической рутины. Отдельные моменты жизни Куинджи освещены интересно. И всё же образ художника до конца повести остаётся неясным, его взлёты и кризисы ничем не объяснены.

Объясняется это во многом тем, что творчество Куинджи мало изучено. До настоящего времени не определено достаточно ясно его место в истории русского искусства. К. Охупкиной нужно было бы пройти путь исследователя, чтобы овладеть материалом, очистить его от мусора, суррогатов и, разумеется, правильно осмыслить его в художественном произведении. Но, к сожалению, она не сумела критически оценить исторический материал и пошла по ложному следу.

Писательница справедливо отвергла мутные источники, вроде пасквильного изображения Куинджи эпигоном и декадентом, но она без всякой проверки и отбора черпала всё то, что писали его не в меру восторженные почитатели.

Между тем ещё Крамской и Стасов, высоко ценившие Куинджи, указывали на слабые стороны его творчества. Стасов пи-

сал, что никому не удавалось написать такого раскалённого солнца, как Куинджи, но художник приносит в жертву световым эффектам всю картину, впадая в декоративность.

К. Охупкина сгладила противоречия в творчестве Куинджи. «Великий художник», «великий мастер», патетически говорит она о Куинджи, «великим произведением» называет она его картину «Ночь на Днепре». На этой высокой ноте построено всё повествование, и писательница не смогла удержаться от преувеличений.

В повести Куинджи сталкивается с различными художниками, но в их разговорах нет настоящих творческих суждений. Если не считать безмолвных завистников Клодта и Орловского, которых К. Охупкина обрисовывает чёрными красками, все другие художники немеют от удивления перед картинами Куинджи и не в силах ничего вымолвить, кроме восторженных восклицаний. «Это же гениально!» — восклицает восхищённый картиной «Украинская ночь» Пётр Волжын — ученик Куинджи. Пейзажист Шишкин, зайдя в мастерскую Куинджи, останавливается, «поражённый внезапным впечатлением силы и могущества нового пейзажа». После того как Куинджи чуть подправил картину Рылова, которую тот считал неудачной и хотел уничтожить, произошло вот что: «Рылов смотрел, не веря своим глазам: от нескольких мазков великого мастера картина ожила, стала такой, как мечталось...»

Художник-чародей, первооткрыватель реализма, гений, каких не знал мир искусств, — на этом материале старых газет и журналов К. Охупкина воссоздаёт образ Куинджи. Как же должен вести себя такой гений? В представлении писательницы он стоит «заколдованный» перед своей картиной, любуясь «на то великое, что сотворил». Таким «заколдованным» Куинджи проходит через всю повесть, и даже тогда, когда он встречается со своими собратьями по кисти, в обычной обстановке, эти чары колдовства не проходят. К. Охупкина теряет чувство меры, заставляя говорить Куинджи о своей картине «Ночь на Днепре» в доме Крамского, среди умных и требовательных художников: «Ничего подобного никому — понимаете? — никому ещё не удавалось!»

Справедливости ради следует отметить, что задача К. Охупкиной была трудной. Куинджи не вёл дневников, после него не



осталось ни записок, ни писем. Нужны были большой такт и знание эпохи, чтобы на основании косвенных материалов восстановить то, что говорил и думал замечательный художник-самородок. Этого К. Охупкина не проявила. Она не сумела разобраться в сложных взаимоотношениях Куинджи с передвижниками и охарактеризовать, в чём его творчество сходилось и в чём расходилось с их эстетикой. Возвеличивая и выдвигая Куинджи на передний план, она принижает при этом его выдающихся современников. В повести Куинджи становится более последовательным передвижником, чем Крамской и Репин.

Писательница всюду выдвигает Куинджи вперёд, даже когда он отставал или пятился назад. В последние годы жизни он отдавал дань стилизации и эффектным сочетаниям красочных пятен. В протоколах Академии художеств сохранились выступления Куинджи в защиту декадентской группы «Мира искусства». Но К. Охупкина не только затушёвывает эти выступления, но делает Куинджи таким же последовательным борцом против декадентства, каким был Стасов.

Куинджи был реалист, но он не занимал того места в передвижничестве, которое ему отводит К. Охупкина. Она поставила его в центре движения передвижничества, а идейным вдохновителям передвижничества отвела роль статистов. От этого споры среди художников в напряжённой атмосфере формирования нового направления искусства теряют свою остроту. Они вялы и надуманны, носят описательный характер или декларативны.

Н. Харджиев подходил к своему материалу иначе и столкнулся со своими трудностями. Насколько в судьбе Куинджи многое осталось запутанным и не приведено в ясность, настолько всё внешне просто и обычно в творческом пути Федотова: детство в небогатой семье, кадетский корпус, гвардейский полк, отставка, успех на выставках и безысходная нужда. Федотов оставил свои записки, автобиографию, дневники и стихи. Чуть ли не каждая строчка этих драгоценнейших для биографии художника материалов взвешена, истолкована, сопоставлена с другими фактами.

Книга Н. Харджиева открывается родословной Федотова. Уже с первых строк чувствуется, что писатель любовно собрал факты и скуп на слова.

Повесть насыщена фактическим материалом. Н. Харджиев даёт широкую панораму художественной и литературной жизни тридцатых—сороковых годов прошлого века. Пушкин и Гоголь, Венецианов и Тропинин, Полевой и Кукольник — целая вереница писателей, поэтов, художников проходит перед глазами читателя. О каждом из них Н. Харджиев сказал не многое, но нужное.

Н. Харджиев подошёл к своему материалу как исследователь, обогатив наше представление о Федотове, но всё-таки его книга не исследовательская и не популярная биография, хотя она включает и то и другое. Перед нами — художественное произведение. Отличает его от учёных трудов не только живой и меткий язык. Научно-популярная биография не исключает или не должна исключать этого качества. Особенность повести Н. Харджиева в другом. Своей повествовательной манерой писатель создаёт ощущение незримого рассказчика, создающего в конце концов в нашем сознании цельную и рельефную картину творческого развития Федотова.

Н. Харджиев ведёт повествование в тоне внешне спокойном, бесстрастным, но в своём отборе и сопоставлении фактов он не остаётся равнодушным. Факты, собранные писателем, говорят сами за себя, они убедительны. Но иногда, стараясь удержать тон внешней беспристрастности, писатель «переигрывает» и не находит нужных красок, чтобы охарактеризовать людей и события.

Он пишет о дружбе Федотова и Дружинина, сообщает, что Дружинин был писателем, связанным с «натуральной школой». Но ведь известно, что позднее Дружинин вёл борьбу против эстетики революционных демократов, защищая идею чистого искусства. Н. Харджиев не рассмотрел под этим углом зрения дружбу Дружинина с Федотовым и приукрасил этого писателя.

Не нашлось нужных слов у Н. Харджиева, чтобы сказать правду о Шевырёве. Он описывает вечер в доме Шевырёва, где читал свою пьесу Осгровский и показывал свои произведения Федотов в обществе таких разных людей, как Грановский и Погодин. Читатель узнаёт, что Грановский подвергался преследованиям за свои прогрессивные убеждения, позднее выясняется неблагоприятная роль Погодина в травле Федотова, но к какому лагерю принадлежал го-

степриимный профессор Шевырёв, так и остаётся неизвестным. Кроме того, что Шевырёв не выполнил своего обещания помочь Федотову, читатель ничего не узнаёт об этом яром противнике передового искусства и литературы.

Иногда Н. Харджиев впадает в другую крайность. Он слишком сгущает краски там, где не надо, пятая людей, которые этого не заслуживают. Он пишет о теоретике искусств начала XIX века А. А. Писареве: «В 1807 г. полковник лейб-гвардии Семёновского полка Александр Писарев издал книгу «Предметы для художников». Книга была издана по повелению Александра I. Сюжеты для картин были заимствованы из напыщенных трагедий Сумарокова, Княжнина и Николева. Эти «Предметы» Писарев наивно, но метко назвал «театральные мгновения». Но ведь этот «полковник лейб-гвардии» был радищевцем, входил в просветительское Вольное общество любителей словесности, наук и художеств и развивал для своего времени прогрессивные идеи. Он не только заимствовал сюжеты из «напыщенных трагедий», но и из народного творчества.

Налёт объективизма в отдельных местах и неточности портят в основном хорошую книгу. Повести Н. Харджиева предпослано предисловие К. Паустовского. Нельзя не согласиться со многими достоинствами повести, отмеченными К. Паустовским. Справедливо, что Харджиев внёс много нового, дополнил черты биографии Федотова, выпукло описал картины художника и верно их истолковал. Но К. Паустовский преувеличи-

вает, когда говорит, что Н. Харджиев «впервые» очистил биографию Федотова от многих ошибок, дал «наконец полную, ясную датировку его произведений», дал «новую и точную трактовку сюжетов его знаменитых картин», сделал открытия, «по-новому раскрывающие облик Федотова». Почему «впервые» и всё «по-новому», а не продолжил работу своих предшественников? Ценная книга Н. Харджиева не зачёркивает плодотворных трудов многих исследователей творчества Федотова, которые отнюдь нельзя признать ошибочными и искажающими облик художника.

Книга Н. Харджиева обрадует читателя обилием познавательного материала и свежестью привлечённых фактов, живо и интересно рассказанных писателем. Из книги К. Охупкиной читатель получит искажённое представление о передвижничестве и ходульный образ художника Куинджи. Это нельзя объяснить тем, что К. Охупкина больше фантазировала, а Н. Харджиев не отходил от документов. Пожалуй, даже наоборот: К. Охупкина слишком доверилась своим источникам, не проверила и не сопоставила факты, не сумев прочувствовать образ художника, и в её повесть вошёл сырой, необработанный материал, сковавший её воображение. Н. Харджиев создал живой и понятный образ Федотова. Глубокое знание эпохи позволило ему свободно обращаться со своим материалом и по-своему его осмыслить.

А. ШТАМБОК.



## О военных корреспондентах

Мы с интересом знакомимся с героями этой книги. Нам нравится военный корреспондент Юрий Коротков, который явился в окопы боевого охранения лишь за тем, «чтобы посмотреть, как лейтенант Власов будет отдавать распоряжения перед боем», а потом и сам пошёл в атаку, «так как взвод пошёл вперёд». Пленяет нас и капитан Михнев, который, узнав, что один из прибывших к нему на командный пункт офицеров — корреспондент, сразу «перестал

интересоваться им», а после боя, поражённый бесстрашием журналиста, приглашает его совсем остаться в батальоне. Оба эти образа из рассказа «Первый бой» запоминаются, потому что автор рисует их с подкупающей теплотой. Запоминаются также и фоторепортёр «Вася-Василёк» — любимец многих солдат, считавший своим долгом не только быстро обеспечить газету снимками с передовой, но и снабдить портретами тех, кто отличился в бою и кого он запечатлел на плёнке («Частная практика» фоторепортёра Василькова), и командир отделения военкор Геннадий Лаврентьев, чья статья взволновала всех читателей-воинов и

Константин Лапин. «Военный корреспондент». Рассказы. Военное издательство Министерства Обороны Союза ССР, М. 1954.

вызвала у них стремление ещё яростнее бить врага («Военкоры»), и секретарь редакции майор Хмельёв, что «работал за двоих, а если было нужно,— и за троих, мог не спать по две ночи подряд, поддерживая себя чёрным, как дёготь, чаем и папиросами, но уж зато не прощал сотрудникам ни малейшего проявления расхлябанности» («В наступлении»). А вот санитарка Маша Старцева, мужественно выносящая со льда «озера смерти» раненых солдат и трогательная в своей первой и единственной любви («Маша Беленькая»); агитатор Николай Корнев («Голос агитатора»); латвийский поэт Валдис и журналист Яковлев («В районе Пушкинских гор»). Все они (да и не только они) становятся дороги сердцу читателя, потому что их образы жизненно правдивы, а дела их и поступки, их труд на войне показаны молодым писателем так, что невольно проникаешься уважением к этим людям.

Автор книги — Константин Лапин — сам был военным корреспондентом. Он знает быт армейских журналистов и вместе с тем — быт солдата на войне. Это позволило ему показать в своих рассказах, как работали газетчики на переднем крае — в окопах и траншеях, на трудных дорогах наступления, на огневых позициях батарей и на переправах через реки.

Военный корреспондент не отделял себя от тех, кто шёл в атаку, кто проливал кровь в бою,— таков лейтмотив книги. Вот почему Юрий Коротков не мог быть во вводе Власова простым гостем или наблюдателем и, уходя после боя из батальона Михнева, «не без сожаления попрощался со всеми; частица его души оставалась здесь». Вот почему все сразу зашикали на краснощёкого лейтенанта связи, который позволил проявить бестактность по отношению к корреспонденту,— «боевые, обстрелянные офицеры... умели разбираться в людях; маленький бесстрашный корреспондент пришёлся им по душе». И именно потому, что фронтовики видели в армейских журналистах таких же воинов, как они сами, знатный снайпер Пётр Головин, истребивший девяносто гитлеровцев, писал фотокорреспонденту Василькову, что постарается до сотни счёт довести. И, наконец, именно потому в книге как активно действующие герои присутствуют не только военные журналисты, хотя она и задумана, как рассказы о работниках армейской печати.

Герои книги — это единая, дружная боевая семья. Когда «шеф военкоров», капитан Гусев, читает письмо, полученное с переднего края, радуется меткому слову в заметке сержанта, его радость разделяют и другие журналисты. Когда агитатор Николай Корнев после ранения теряет голос, все помогают ему в том, чтобы он стал агитатором печатного слова. Смерть Маши Беленькой болью отзывается не только в сердце любившего её человека, но и в сердцах всех, кто знал и слышал о ней,— подруг-санитарок, солдат, командира полка, редактора газеты...

Константин Лапин пишет задушевно, тепло. Особенно характерен в этом отношении рассказ «Маша Беленькая». История светлой любви, возникшей между Машенькой и офицером-журналистом, от чьего имени ведётся повествование, изображена с большим тактом, без какого бы то ни было налёта слащавости, сентиментальности.

Достоинством рассказов Константина Лапина является свойственный им юмор. Он и в авторских характеристиках и в диалоге. Герои книги жизнерадостны, они много шутят, даже в трудной боевой обстановке.

«Таких, как вы, и плёнка не выдержит. Ишь, какие толстые и смешливые!» — говорит капитан Тихонов встретившимся ему на дороге санитаркам в ответ на просьбу сфотографировать их. И девушки, перебивая друг друга, отзываются на это каскадом шуток: «Нас никакой скрипун не берёт (скрипуну фронтовики называли немецкий десятиствольный миномёт. — К. П.), нас только смехун прошибает...» «Вы разве не знаете, что смех витамин «С» содержит? Час смеха — ведро моркови заменяет...»

Полковник Воловой, разговаривая в дороге с молодым корреспондентом Костиным, так характеризует одного из своих бывших шофёров: «Машину водил лихо, но слишком уж в приметы верил. Бывало, едем — дорогу кошка перебежала. Смотрю, мой Степан пилотку звёздочкой назад переворачивает: дескать, пусть не думает кошка, я совсем в другую сторону еду. Новая кошка дорогу перебежала — звёздочка перемещается на своё место. И так всю дорогу, честное слово! До того мне эти манипуляции надоели, что я сказал Степану: либо ты изобретёшь автоматический переворачиватель пилотки, на манер «автодворника», либо пересядешь на другую машину».

Есть в книге и недостатки. Порой автор как бы забывает, что пишет рассказ, и сбивается на язык публицистической статьи, газетной корреспонденции. Так, при описании событий, развёртывавшихся в дни боёв на Орловско-Курской дуге, он приводит подробные цифровые данные, почерпнутые из сводок Совинформбюро. Зачем? Может быть, эти данные и «вносят ясность в обстановку», но вряд ли они столь уж необходимы в рассказе. И ещё пример. Вместо того, чтобы оборвать рассказ о Маше Бельничко там, где уже поставлены все точки над *i*, автор долго и подробно, сугубо по-газетному, повествует и о том, какую роль играла в деле увековечения памяти Машеньки печать, и о том, что делает после войны рассказчик, и о том, что делает по-

сле войны друг рассказчика — капитан Тихонов.

Есть в книге и «языковые огрехи». Константин Лапин, например, пишет: «Днём гул дальней битвы заглушался привычными дневными звуками...» Или: «...скулы его свела нервная зевота при виде первой увиденной им серо-зелёной фигуры на снегу». Или: «Пока полковник беседовал с начальником политотдела, сидевшим за другой дверью, Костин поднял немецкую солдатскую газету...»

В целом книга читается с интересом. В ней правдиво и всесторонне, со знанием дела и с любовью рассказано о трудной и почётной работе журналистов в дни Великой Отечественной войны.

К. ПОЗДНЯЕВ.

★

## Новая жизнь

Казимеж Брандыс принадлежит к послевоенному поколению польских писателей. «В 1946 году я переехал из Кракова в Лодзь, имея в чемодане рукописи двух романов... и несколько десятков опубликованных в журналах статей и фельетонов. Мне было 29 лет», — пишет Брандыс в автобиографической заметке, отвечая на анкету одного из варшавских журналов. В последующие годы Брандыс часто выступал в прессе на политические и литературные темы. В период 1946—1951 годов он создал тетралогия «Между двух войн», в которой пытался изобразить довоенную Польшу, годы войны, а также перемены, происшедшие в жизни польского народа после освобождения страны от фашистской оккупации. В цитированном выше ответе на анкету Брандыс характеризует свою тетралогия как попытку показать судьбы нескольких людей в свете противоречий, присущих капиталистическому обществу. Польская критика в своё время отметила трудности, которые пришлось преодолеть писателю на пути к полноценному реалистическому творчеству. Вместе с героем четвёртого тома цикла Шерлеом писатель, по его собственным словам, «прошёл путь к идейным позициям пролетариата». Идейное обогащение автора не могло не отразиться на художественной правде произведения. Последний

том тетралогии («Человек не умирает») — серьёзный шаг вперёд в творчестве Брандыса.

Новый роман К. Брандыса «Граждане» написан о современниках и для современников. Его действие происходит в Варшаве в 1951—1952 годы. В трёх сюжетных линиях автор показал три участка общественной жизни польской столицы: строительство нового района города, редакцию крупной газеты, среднюю школу. И всюду раскрывается основная проблема романа: становление нового человека — подлинного гражданина социалистического государства, его рост в процессе работы, в столкновении с производственными трудностями, в борьбе с классовым врагом. Автор показывает своих героев в сложном переплётке житейских дел и в одинокие часы раздумий, в интимной обстановке семейной жизни и в беседе с друзьями.

Один из героев романа «Граждане», Михал Кузьнар, был до войны простым каменщиком. Народная Польша открыла перед ним все пути жизни. Хозяин страны, он проявляет хозяйскую заботу о порученном ему деле. Кузьнар налаживает работу в одном из управлений транспорта, будучи поставленным во главе крупного строительства, оказывается прекрасным организатором. Благодаря его неутомимым стараниям и труду специалистов строительный план в посёлке «Прага-3» выполняется досрочно.

К. Брандыс. «Граждане». Издательство «Читатель», Варшава, 1954.

Неожиданное препятствие — появление на территории строительства подпочвенной воды — чуть ли не сводит на нет результаты огромного труда. Коллектив с Кузьнаром во главе борется за утверждение нового плана строительства — посёлка на сваях. Ратуя за этот план, польские рабочие ссылаются на пример строителей Волго-Дона, преодолевших куда более серьёзные трудности. А Кузьнар озабочен не только угрозой срыва работ, но и тем, чтобы не разочаровать рабочих, увлечённых перспективой создания будущего города.

На примере Кузьнара писателю хорошо удалось показать, как растёт чувство ответственности и любовь к делу у человека, который «Польшу по книгам не изучал», и как такой человек умеет увлечь за собой лучших членов коллектива.

Среди образов инженеров и рабочих — сотрудников Кузьнара — наиболее удачны образы инженера Шеллинга, честного беспартийного специалиста, скептика на словах, энтузиаста на деле, и безграмотного парня Челиса, деревенского добродушного великана, затравленного бессмысленной жестокостью несознательных элементов среди рабочих. В эпизоде с бегством Челиса сказался результат невысокого уровня просветительной работы на строительстве. О необходимости улучшить эту работу много говорит парторг строительства Тобиш. Однако Тобиш сух и педантичен, ему не хватает темперамента, жизнерадостности, чувства юмора. Его деятельность заключается в жалобах по поводу трудностей и в упреках по адресу Кузьнара. Вообще следует сказать, что партийные организации, о которых идёт речь в романе, работают из рук вон плохо. Думается, что присутший писателю художественный такт здесь явно изменил ему.

В редакции газеты, где сотрудничает племянник Кузьнара, молодой журналист Павел Чиж, партийная организация существует «лишь в отчётах райкома», и поэтому замаскированный враг народа Лэнкот в состоянии навязать свою порочную линию коллективу. Лэнкот «ловко пользуется партийным языком, как вор украденными ключами». Не удивительно, что в его силки попадает наивный провинциальный юноша Павел Чиж. В жестокой схватке с собственной совестью Чиж уясняет себе источник своих ошибок: он приехал в Варшаву, преисполненный честолюбия, мечта

о карьере. В минуту самообличения Чиж видит будущее, ожидающее его, если он и в дальнейшем будет повиноваться Лэнкоту.

Один из польских критиков (Р. Матушевский, «Новая культура» № 23, 1954 год) называет Павла Чижа Люсьеном де Рюбампре Народной Польши, тем самым Люсьеном де Рюбампре, который на вопрос Лусто, к какой партии он примкнёт — роялистов или либералов, — отвечает вопросом: «Которая сильнее?» Нам это сравнение кажется рискованным и обидным для героя Брандыса. Павел Чиж — честолюбивый, но честный юноша. Примесь карьеризма в его мечтах — ошибка, в которую окружающая действительность быстро вносит свой корректив. Имя Люсьена де Рюбампре стало в литературе синонимом циничной беспринципности, продажности, всех моральных пороков, характерных для «высшего общества» Франции эпохи Луи Филиппа. Пропасть в более чем одно столетие и четыре революции лежит между жизненным путём, на котором герой Бальзака потерял свои иллюзии, и теми событиями, в которых Павел Чиж приобрёл знание людей и жизни. О каком тут сходстве может быть речь?

В третьей сюжетной линии романа автор показывает коллектив преподавателей гимназии и учащуюся молодёжь.

«Лишь узкая дорожка отделяет бдительность от веры в человека», — говорит один из персонажей романа Брандыса. Поэтому так легко сделать неверный шаг в одну или другую сторону. Об этом знает директор гимназии Ярош, это чувствуют вожаки школьной организации Союза польской молодёжи. Перед ними нелёгкая задача. Преподаватель истории Моравецкий — хороший специалист, молодёжь любит и уважает его, хотя его поведение вызывает некоторое недоверие у руководства гимназии. В лекциях преподавателя литературы Дзялынца то и дело сквозят нотки, враждебные народной власти. Не желая иметь такого преподавателя, молодёжь об изречениях Дзялынца докладывает дирекции, а на подсвете Моравецкий выступает в защиту Дзялынца, считая его заблуждающимся, но честным человеком. Атмосфера вокруг Моравецкого сгущается особенно в тот момент, когда в школе появляются контрреволюционные листовки. Некоторые улики наводят Яроша на мысль, что к этому делу причастен историк. Толь-

ко молодёжь, руководимая присущим ей чувством справедливости, глубокой идейностью, безошибочно распознаёт в Дзялынце врага, в Моравецком — честного человека. Арест Дзялынца, его показания на процессе вносят ясность в создавшееся положение.

Образы молодёжных вожakov — настоящая удача писателя. У каждого из них свой индивидуальный характер, каждый по-своему обаятелен. Эти юноши трогают моральной чистотой, серьёзным отношением к своим обязанностям, оставаясь в то же время семнадцати- и восемнадцатилетними мальчиками со всеми присущими этому возрасту чертами.

Тонкому и глубокому анализу подвержены в романе внутренние переживания Моравецкого, мучимого вопросом: почему он, человек, который своим трудом приносит какую-то долю в дело построения социализма в родной стране, не сумел раскусить Дзялынца? Почему поддерживал с ним отношения и принимал в своём доме этого агента эмигрантских предателей в настоящем и полицейского доносчика в прошлом? Моравецкий считал себя человеком гуманных убеждений и широких взглядов. Случай с Дзялынцем многому его научил. Он понял, что его «гуманизм» — это всего-навсего отсутствие твёрдых взглядов.

Заглавие романа в точности выражает намерение автора показать в качестве героя не одно лицо, а группу людей из тех,

кто заслуживает названия гражданина Народной Польши. Может быть, в этом и кроется причина некоторой композиционной разобщённости произведения. Сюжетные линии развиваются параллельно, редко переплетаясь друг с другом в ходе действия. Узлом, связывающим всё действие, является, правда, семья Кузьнара, но их квартира — это скорее всего место встреч людей разных интересов, не связанных ни делом, ни личной жизнью. Жаль, что, описывая дом Кузьнара, автор не дал полноценного образа жизни польской рабочей семьи. Недаром Кузьнар чувствует себя иногда одиноко в пустой, неуютной квартире, и мы от всего сердца сочувствуем старому труженику, у которого нет настоящей близости ни с собственными детьми, ни с проживающим у него племянником Павлом Чижом.

Действительность, изображённая К. Брандысом, не лишена трудностей. Мы видим и сложность человеческих взаимоотношений и извилистость путей, ведущих к переоценке старых, отживших взглядов. Всё хорошее и плохое, радостное и печальное показано в художественных образах, насыщенных глубоким эмоциональным содержанием. Эта взволнованность писателя помогла ему правильно распределить свет и тени, показать истоки творческого и молодого в жизни народа, сделать свою книгу оптимистической, жизнерадостной.

А. ДИРИНГЕРОВА.

★

## Новая книга о Чаплине

В середине прошлого года в Англии вышла книга известного английского публициста, драматурга и кинорежиссёра Р. Дж. Минни, посвящённая Чаплину. Это последняя по времени книга о великом киноартисте, выпущенная на Западе.

В 1952 году в связи с отъездом Чаплина из Соединённых Штатов Америки и обвинением его Вашингтонским правительством в «коммунистической деятельности» имя Чаплина не сходило со столбцов американских и западноевропейских газет и журналов. Но после этого на Западе наступила явно инспирированная полоса замалчивания как самого артиста, так и его творчества. Этот

«заговор молчания» не может быть случаен, если учесть, что раньше такие книги выпускались непрерывно.

В этой связи появление книги Р. Дж. Минни — работы, безусловно, объективной и написанной с большой любовью к творчеству и личности самого Чаплина, — явление чрезвычайно отрадное.

На протяжении многих лет автор книги был связан узами дружбы с Чаплином и его семьёй. В то же время книга не грешит пороком, присущим многим другим мемуарно-биографическим произведениям, авторы которых, рассказывая о великих людях, вольно или невольно выпячивают на первый план свою собственную персону. Книга Минни, если можно так выразиться, не «Я и Чаплин», а именно «Чаплин». Она

R. J. M i n n i e. „Chaplin—the Immortal Tramp“ London, 1954 (Р. Дж. М и н н и. «Чаплин — бессмертный бродяга». Лондон, 1954).

представляет собой живо и интересно написанную творческую биографию замечательного артиста. Строго придерживаясь хронологических рамок, автор шаг за шагом прослеживает путь Чаплина от лондонских подмостков, на которых он начал свою творческую деятельность, до вершин творчества. Минни особенно подчёркивает требовательность Чаплина к себе, его кропотливую, тщательную работу над каждым эпизодом, неустанные поиски лучшего решения художественной задачи. Почти два года непрерывной работы ушло у Чаплина, например, на подготовку к съёмке фильма «Огни рампы» и на написание сценария, объём которого превысил 750 страниц. (Чаплин сам пишет сценарии для своих фильмов.)

Рассказывая о жизни и творчестве великого артиста, говоря о методах его работы, автор не делает никаких выводов, предпочитая приводить высказывания самого Чаплина, представляющие сами по себе большой интерес. Может даже показаться, что Минни тщательно старается скрыть своё мнение о том, что рассказывает. Однако было бы неверно упрекать его в объективизме. Прослеживая, например, трансформацию и развитие бессмертного образа бродяги, созданного Чаплином, раскрывая различные факты чаплинской биографии, он подводит читателя к определённым и ясным выводам. Так, говоря о логическом завершении образа чаплинского бродяги в фильме «Мосье Верду», автор не говорит, что именно американская действительность превратила «маленького человека» в бездумного убийцу-профессионала, которого воспитывают в Америке в чайни новых истребительных войн. Но это и так ясно читателю из текста.

Совершенно очевидно, что автор сознательно ограничил себя рамками констатации фактов и изложения содержания фильмов. Его задача — познакомить читателя с Чаплином, с его творчеством и, в частности, с теми ранними фильмами, которые большинство людей нашего поколения совсем не видело на экране. Именно этим можно объяснить сравнительно более полное изложение ранних работ Чаплина.

Несмотря на отдельные неточности (так, например, Минни пишет, что фильм «Новые времена» будто бы не пользовался успехом у советского зрителя), характери-

стика Чаплина-актёра, данная автором, в достаточной мере полна и верна.

Неоднократно останавливается Минни также на общественно-политических убеждениях Чаплина. Он подчёркивает, что Чаплин никогда не был коммунистом, но что его честность, высокая принципиальность, неизменная любовь к простым «маленьким» людям, которым он посвятил всё своё творчество, сделали его нежелательной и даже опасной фигурой для фашиствующих правителей современной Америки. Автор с негодованием описывает клеветническую кампанию против Чаплина, которая сопровождала Чаплина чуть ли не с первых лет его пребывания в Соединённых Штатах и достигла своего апогея в 1952 году.

В вину Чаплину ставилось буквально всё — и его отказ на протяжении 35 лет, проведённых в Соединённых Штатах, принять американское гражданство и его семейные неурядицы. И то, что, отплывая однажды в Европу, он отказался послать воздушный поцелуй статуе Свободы, как его просили фоторепортёры. И то, как многозначительно и осуждающе он взглянул на эту самую статую в одном из своих ранних фильмов. Особенно не прощают Чаплину реакционные правители Америки его симпатий к Советскому Союзу. Понятно, почему так яростно требовали американские реакционеры высылки Чаплина из США.

В этой связи представляет интерес приведённое автором книги интервью, данное Чаплином корреспонденту одной из буржуазных американских газет. На заданный ему вопрос: «Являетесь ли вы большевиком?» — Чаплин с достоинством ответил:

«Я артист. Меня интересует жизнь. Большевиком представляет собой новую фазу жизни. Я должен быть заинтересован в ней».

Минни приводит и другое высказывание Чарли Чаплина: «Я хочу видеть в своей стране подлинную демократию и свободу от дьявольского «нового порядка», который расплозается по всему миру».

Изменился только адрес. Если в те годы наиболее откровенным, демонстративным очагом «нового порядка» была гитлеровская Германия, то теперь очаг этот переместился за океан.

**Юрий СМЕРНОВ.**

### Сборник статей о Л. Н. Толстом

За прошедшие годы появился ряд новых работ о Толстом, в которых дано освещение как общих проблем, так и конкретных вопросов творчества великого писателя. В ряду этих работ бесспорный интерес представляет сборник статей «Творчество Толстого», подготовленный Институтом мировой литературы имени А. М. Горького и Музеем Л. Н. Толстого в Москве.

Наиболее глубокими в сборнике являются, на наш взгляд, статьи Б. Бурсова и С. Дурылина.

Работа Б. Бурсова «Ранний Толстой» посвящена анализу автобиографической трилогии писателя, его военных и «Севастопольских рассказов». Автор последовательно доказывает необоснованность утверждения буржуазных литературоведов, толковавших трилогию как дворянскую хроникку и объявлявших детство Николенки Иртеньева безоблачно счастливым. Сильной стороной статьи является раскрытие темы разлада Николенки с окружающей дворянской средой и постепенного нарастания в нём чувства одиночества. Автор убедительно показывает, что в трилогии Толстой уже поднялся на уровень критики дворянской идеологии, хотя и оставался ещё прочно связанным с дворянским обществом. Но временами исследователь преувеличивает демократизм Иртеньева и в связи с этим обходит оценку «Юности» Чернышевским, который отмечал в герое трилогии его аристократизм и самолюбование.

Большим достоинством статьи является умение автора раскрыть не только идейную проблематику ранних произведений писателя, но и показать при этом, какими художественными средствами он достигает яркого и глубокого показа событий в судьбе людей. В фокусе внимания автора всё время остаётся Толстой-художник. Правда, иногда слишком математически скрупулёзно, излишне академично исследует Б. Бурсов художественную структуру произведений писателя. При анализе заметно стремление разложить материал по полочкам разных «тем» и «линий» (например, в анализе «Юности»). Существенным минусом статьи является то, что молодой Толстой дан в отрыве от эпохи и современной литературы. Хорошо раскрывая внутреннюю ло-

гику творческой эволюции Толстого, Б. Бурсов недостаточно показывает внешние причины, обусловившие эту эволюцию.

В статье С. Дурылина дан анализ пьесы «Плоды просвещения». В этой комедии писатель остро ставит вопрос о социальном конфликте между баринством и мужиком. С одной стороны, пишет С. Дурылин, мы имеем в пьесе барский водевиль, с другой — народную трагедию. Этим определяются два контрастных сквозных действия. Первое выражается в глупой затее бар устроить сеанс с медиумом. Второе — борьба мужиков за аренду земли — большое и трудное дело.

Статья С. Дурылина обстоятельно анализирует идейную проблематику комедии Толстого. Хорошо, что автор рассматривает пьесу как литературовед и одновременно театровед. Статья содержит сведения о сценической истории пьесы, интересные замечания о её драматургической форме.

Научную ценность некоторых в целом держательных и верных статей снижает большое количество в них уже давно известных положений. Авторы таких статей как бы заранее складывают с себя обязанности исследователей и потому вносят мало нового в рассматриваемый вопрос. К такого рода статьям следует отнести работу М. Храпченко.

В статье М. Храпченко «Реалистическое искусство Л. Толстого» сконцентрировано и обобщено в основном то, чего достигла наука о Толстом в изучении реализма писателя. И с этой точки зрения она полезна нашему читателю.

Есть в статье и недостатки. На наш взгляд, спорно утверждение М. Храпченко, что уже в ранних художественных произведениях писателя известно отражение получают настроения патриархального крестьянства.

Можно и нужно говорить об изображении бедственного положения народа уже в раннем творчестве писателя, о тяге и интересе Толстого к жизни народа, о демократизме его творчества пятидесятых — семидесятых годов, но едва ли оправдано механическое перенесение известного указания В. И. Ленина на «раннее» творчество Толстого. Автор статьи не учитывает того, что патриархальный крестьянин шестидесятых годов думал и оценивал факты обществен-



ной жизни далеко не так, как в восьмидесятые годы. А это важный момент, с которым нельзя не считаться. К тому же нам кажется, что при подобной постановке вопроса умалывается значение сложной идейной эволюции Толстого.

Не все стороны реализма писателя нашли в статье достаточное освещение. Реализм Толстого связан с лучшими традициями творчества Пушкина, Гоголя, Лермонтова. Но, подчёркивая связь с традициями, автор статьи недостаточно полно и конкретно раскрывает новаторство Толстого в истории развития критического реализма XIX века.

М. Храпченко ставит вопрос о месте сатиры в реализме Толстого. Критикуя тех, кто до недавнего времени склонен был преуменьшать сатирическое начало в творчестве Толстого, автор считает, что обличительный пафос Толстого находил яркое выражение и в сатирических формах. Но, много говоря о сатирической окраске в изображении Толстым того или иного явления, автор статьи не всегда даёт чёткое представление о том, какими своеобразными средствами Толстой достигал этой окраски. В результате в один ряд попадают Берг и Каренин, Василий Курагин и Вейротер.

В статье «Роман «Воскресение» Е. Андреева рассматривает сатирические приёмы, с помощью которых достигается обличительный пафос романа. Она справедливо отличает сатирический метод изображения Толстого от метода Гоголя или Шедрина и стремится определить своеобразие сатиры Толстого. Статья не лишена метких наблюдений, но в то же время страдает эмпиризмом, в ней нет теоретической чёткости. Автору, нам кажется, следовало бы сконцентрировать внимание на вопросах изучения сатирических элементов и осветить их всесторонне.

Роману «Война и мир» посвящена статья С. Бычкова «Война и мир» — народно-героическая эпопея. (Проблематика, основные образы романа). Статья правильно ориентирует читателя в идейной проблематике романа, содержит развёрнутую характеристику образов.

Вопросы художественного мастерства Толстого-писателя не нашли в сборнике должного освещения. Так, И. Успенский в статье «Роман «Анна Каренина» стремится раскрыть общественное содержание романа, много говорит о теме народа, о глубоких

противоречиях между мужиком и барином. И всё, что говорит И. Успенский по этому поводу, верно и не вызывает возражений. Но вызывает серьёзные возражения самый метод исследования.

Разбирая социально-экономическое содержание «Анны Карениной», И. Успенский забывает, что речь идёт о выдающемся художественном произведении. Автор статьи не касается вопроса, как тот или иной факт общественной и политической жизни изображён Толстым, какими художественными средствами достигается яркость и глубокая правдивость изображения. Явления общественной жизни России семидесятых годов автор статьи щедро иллюстрирует примерами из романа. Создаётся впечатление, что он рассуждает не столько о романе, сколько по поводу романа. Не спасают положения несколько последних страниц статьи, касающихся принципов типизации у Толстого, речевых и стилевых особенностей романа. Они беглы, общи.

На наш взгляд, в статье И. Успенского много натянутых положений, неаргументированных деклараций. Вполне оправдано, когда И. Успенский характеризует Анну как натуру незаурядную, духовно стоящую выше, чем люди света. Действительно, она всем своим обликом и поведением выделяется из своей среды. Но явная натяжка утверждать, что Анна — целеустремлённая натура. Всё поведение Анны свидетельствует о том, что она мечется и что это не случайно. Положение, в котором она находится, неразрешимо, противоречиво и сложно, так как в конечном счёте определяется социальными противоречиями эпохи. И это блестяще показал Толстой.

И. Успенский упорно приписывает Анне сознательную борьбу со светом, то, чего нет в романе. Упрощённо объясняет он любовь Вронского к Анне, сильно акцентируя физиологическое начало в его отношении к ней. Спорным кажется утверждение автора, что оценка Каренина Анной совпадает с толстовской оценкой. Ещё более неоправданной кажется характеристика Вронского словами Анны, сказанными ею в минуты особенного раздражения.

Статья И. Успенского растянута, страдает описательством, анализ нередко подменяется изложением событий и фактов, взятых из романа. Язык её изобилует «трескучими» фразами, штампами. Например: «Роман «Анна Каренина» стал бессмертной песней...

о великой силе любви». И по мысли это неверно, да и к чему этот ложно-возвышенный тон, эта излишняя «красивость» языка?

Сборник заключает статья А. Шифмана «Лев Толстой — обличитель империализма». На основе большого фактического материала, извлечённого из публицистических статей Толстого, писем и воспоминаний о нём (частично неопубликованных), автор показывает, как настойчиво и беспощадно обличал Толстой империализм и его закономерные порождения — агрессию, милитаризм, колониальное угнетение и разбой.

Критика империализма была одним из проявлений гуманизма Толстого и сохранила свою актуальность по сей день.

Кроме указанных выше, в сборнике имеются недочёты общего характера. Научную ценность сборника снижает недостаточная постановка острых и конкретных проблем.

В сборнике преобладают статьи общего характера. Некоторые из них с небольшими изменениями перекочевали из журналов и книг предшествующих лет.

Нельзя удержаться от упрека, что книга, готовящаяся к 125-летию со дня рождения писателя, вышла с опозданием на год.

Сборник статей о Толстом имеет ряд достоинств. Статьи в нём охватывают весь творческий путь писателя, начиная от первых опытов, автобиографической трилогии до публицистических статей последних лет. Анализ творчества Толстого дан в основном с методологически правильных позиций. Написанная ясным языком, в доходчивой форме, новая книга о Толстом в целом будет полезна учащейся молодёжи, студентам и преподавателям школ и вузов.

А. ОТАРОВА.

★

### Политика и наука

#### Быть постоянно начеку

**В** решении исторических задач, поставленных перед нашим народом Коммунистической партией, огромное значение имеет всемерное повышение политической бдительности и активности советских людей в борьбе против агентуры международного империализма. Этой важнейшей теме посвящена недавно выпущенная в свет книга Н. Зубова. Она напоминает о священной обязанности трудящихся СССР — постоянно быть начеку.

На неопровержимых фактах показывается в этой работе, как в последние годы агрессивные круги империалистических государств всё больше усиливают подрывную и разведывательную деятельность в странах социалистического лагеря, подняв её на уровень государственной политики.

В своей книге Н. Зубов справедливо подчёркивает, что враги мира и демократии способны на любые враждебные действия против народов, сбросивших цепи капиталистического рабства. Они стремятся подорвать экономическую и оборонную мощь Советской страны. Чем больше наши успехи в строительстве коммунистического общества, тем слабее становятся позиции междуна-

родного империализма, но зато тем сильнее возрастает его ненависть к СССР. «Быть бдительным,— говорится в книге,— это значит на любом участке работы стоять на страже интересов Советского государства, бороться с ротозейством, быть непримиримым к недостаткам».

Читателю, особенно молодому, будет интересно прочесть страницы, где кратко излагается история борьбы советского народа с вражеской агентурой — от раскрытия заговора английского агента Локкарта в 1918 году до разоблачения презренного наймита международного империализма, гнусного предателя Берия в 1953 году. Автор убедительно показывает, что источник силы советской разведки заключается в активной помощи и поддержке всего народа. Проявляя политическую зоркость и революционную бдительность, советские патриоты много раз срывали коварные замыслы и происки врагов, как бы искусно они ни маскировались.

Лагутчики капиталистических стран пытаются оживить и поддерживать пережитки капитализма в сознании наших людей. В книге Н. Зубова приведены примеры, показывающие, как шпионы и диверсанты охотятся прежде всего за перерожденцами, неустойчивыми и уголовными элементами, за людь-

Н. Зубов. «Быть бдительным на любом участке и во всякой обстановке». Госполитиздат, М. 1954.

ми с частнособственническими взглядами и почитателями буржуазной морали.

Автор правильно обращает внимание читателя на то, что политическая бдительность предполагает дальнейшее укрепление партийной и государственной дисциплины, соблюдение всегда и во всём советской законности. Чтобы уметь ловить врагов, говорил В. И. Ленин, «надо быть искусным, осторожным, сознательным, надо внимательнейшим образом следить за малейшим беспорядком, за малейшим отступлением от добросовестного исполнения законов Советской власти...»

Малейшее беззаконие, малейшее нарушение советского порядка есть уже дыра, которую немедленно используют враги трудящихся...»<sup>1</sup>

В книге Н. Зубова отведено достаточно места показу конкретных форм проявления бдительности советских людей на службе и в быту. Бдительность предполагает прежде всего строжайшее сохранение партийной и государственной тайны, которой в той или иной мере располагает каждый из нас. В этих вопросах нет «мелочей». Недаром народная мудрость гласит: «Чего не должен знать твой враг — не говори и другу».

Один из резидентов буржуазной разведки устроил своего платного агента на работу в парикмахерскую в качестве швейцара. Этот «швейцар» после своего ареста показал: «Мне было поручено прислушиваться к каждому слову клиентов парикмахерской и использовать болтливость посетителей». Известен случай разоблачения шпионки-манкиюрши, развившей активную шпионскую деятельность, пользуясь преступной словоохотливостью своих клиенток. Особенно следят шпионы за людьми, склонными к выпивке. Не случайно, отмечает Н. Зубов, империалистическая разведка наставляет своих агентов: «Вино — наш союзник». Поэтому борьба с пьянством, которую ведёт советская общественность, имеет прямое отношение к задаче повышения политической бдительности всех граждан СССР, молодёжи в особенности.

Беспечность и ротозейство в хранении личных и служебных документов должны расцениваться как тягчайшее преступление перед партией и народом. Гитлеровская разведка учила свою агентуру пользоваться

тем, что «каждая канцелярия имеет своего неряху». Как известно, иностранные разведчики, действуя под личиной сборщиков утиля, скупали у уборщиц содержимое корзинок для бумаг, а завербованные полторы подбирали на столах и извлекали из ящиков материалы, интересующие шпионов.

В своей книге Н. Зубов рассматривает широкий круг вопросов, связанных с задачей неустанного повышения бдительности. Каждый из этих вопросов, взятый сам по себе, является в наше время очень актуальным и значительным. Надо заметить только, что стремление автора затронуть в равной степени все стороны этой обширной темы не всегда достигает желаемого результата. Повидимому, этим и объясняется некоторая растянутость текста в ряде мест, довольно частые смысловые повторения, перегруженность книги общими фразами. Временами вредит живому восприятию авторских мыслей и несколько поучительный тон.

Для иллюстрации выдвинутых положений автор собрал большое число фактов и примеров. Однако некоторые из них, как нам представляется, логически отнюдь не обязательны. Так, вряд ли читатель сможет сделать для себя практический вывод из непрокомментированного Н. Зубовым сообщения о том, что в ряд наших научных учреждений «в своё время проникли буржуазные националисты». Не останавливает внимания при чтении такая, обронённая мимоходом, самостоятельная фраза: «Имеют место факты идеологических срывов в нашей исторической литературе, в литературе по вопросам философии, политической экономии и др.». Сомнительно, что читателю важно знать о числе утерянных в некоторых районах партийных документов.

В работе Н. Зубова есть неточности. Обращаясь к примерам сохранения тайны подготовки наступательных операций под Москвой, Сталинградом и Курском, автор относит операцию под Сталинградом к контрнаступлению, а две другие — к обычному наступлению. В действительности во всех трёх случаях имели место контрнаступления, которые переросли в общие наступления Советской Армии.

Хочется адресовать некоторые замечания редактору книги С. Сергееву. Невольно бросается в глаза однообразие отдельных выражений, в ряде мест трафаретность языка. При большем внимании можно было бы

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 29, стр. 515.

избежать повторения таких, например, фраз: «Фашисты предпринимали дьявольские усилия...»; «Английская разведка прилагала дьявольские усилия...»

Отмеченные недостатки не настолько серьезны, чтобы они могли повлиять на об-

щую положительную оценку рецензируемой книги. Бесспорным является то, что она окажет несомненную пользу политическому воспитанию советских людей.

*Кандидат военных наук*

**П. СИНЕЛЬНИКОВ.**

★

## Советские танкисты в дни войны и мира

Пройдут многие годы, вырастут новые поколения, но никогда благодарное человечество не забудет героического подвига советского народа и его Вооружённых Сил, которые в дни грозных событий Великой Отечественной войны не только избавили нашу Родину от нависшей над ней опасности, но и спасли народы Европы и Азии от угрозы фашистского порабощения.

Эта победа продемонстрировала всему миру неоспоримые преимущества советского общественного и государственного строя перед строем капиталистическим, показала несокрушимую мощь Вооружённых Сил нашего государства и полное превосходство советской военной науки над буржуазной военной наукой.

Вполне понятно поэтому, что трудящиеся СССР, как и наши друзья за рубежом, проявляют большой интерес к изучению исторического прошлого Советской Армии. В этой связи следует отметить ценную инициативу Военного издательства, которое за последнее время наряду с работами, посвящёнными истории Великой Отечественной войны в целом, выпустило ряд очерков, характеризующих строительство и развитие отдельных родов советских войск. Литература эта имеет большое воспитательное значение, особенно для молодёжи.

Книга гвардии полковников П. Корнюшина и Н. Королькова «Советские танкисты» в популярной форме рассказывает о боевом пути наших бронетанковых и механизированных войск, о ратных делах воинов-танкистов, о том, как в послевоенный период советские танкисты бдительно охраняют мирный труд советского народа, непрерывно повышают своё боевое мастерство, приумножают славные традиции Советской Армии.

**П. Корнюшин, Н. Корольков. «Советские танкисты (Краткий очерк развития и боевого пути бронетанковых и механизированных войск Советской Армии)». Воениздат, М. 1954.**

Первые три главы книги посвящены созданию и совершенствованию бронетанковых формирований в период до Великой Отечественной войны. Читая эти главы, проникаешься законным чувством гордости за тех талантливых русских людей, которые своими выдающимися научными и техническими открытиями обеспечили нашей Родине первенство в создании боевых гусеничных машин, названных впоследствии танками.

Начало зарождения броневых сил СССР и советского танкостроения относится к периоду иностранной военной интервенции и гражданской войны. Уже в боях против интервентов и белогвардейцев принимали участие бронепоезда и отряды бронеавтомобилей, явившиеся зародышем созданных позднее танковых и механизированных частей и соединений Советской Армии. В 1919 году по указанию В. И. Ленина на Сормовском заводе в Нижнем Новгороде впервые было начато строительство отечественных танков. Надпись на броне первого танка, вышедшего из ворот Сормовского завода, гласила: «Борец за свободу тов. Ленин». В 1920 году было разработано более десяти различных типов танков.

Развитие боевой техники и организационных форм бронетанковых и механизированных войск после гражданской войны авторы книги правильно показывают в тесной связи с индустриализацией нашей страны. В результате успешного выполнения пятилетних планов была создана мощная индустрия. В числе других отраслей оборонной промышленности заново возникла и выросла танковая промышленность. Только за период с 1930 по 1939 год танковый парк Советской Армии увеличился в сорок три раза. Наша армия стала получать первоклассные танки. Коммунистическая партия проявила большую заботу о подготовке кадров танкистов.

Суровый экзамен наши танкисты, как и все Вооружённые Силы Советского госу-

дарства, держали в годы Великой Отечественной войны. Об этом говорится в четвёртой главе книги.

Авторы избрали, на наш взгляд, правильный метод повествования — краткое изложение общего хода Великой Отечественной войны и показ на этом фоне боевого пути бронетанковых и механизированных войск Советской Армии. В книге рассказывается о героизме воинов-танкистов, о воодушевляющих примерах самоотверженного исполнения ими воинского долга, проявлении бесстрашия в боях.

В ряде мест книги хорошо передаётся атмосфера войскового товарищества, подлинной фронтовой дружбы, проверенной огнём войны. Авторы показывают не только храбрость и боевое мастерство советских танкистов, но и их высокий гуманизм. С особой силой он выражен в подвиге командира танка Дмитрия Слепухи, который, рискуя жизнью, спас немецких мальчика и девочку от неминуемой гибели.

В книге широко отражено патриотическое движение советского народа в годы войны, что привело к обеспечению наших войск первоклассной боевой техникой. обстоятельно изложены военно-политические итоги войны, источники могущества нашего государства.

В последней главе книги, правда весьма коротко, порой схематично, рассказывается о послевоенных буднях советских танкистов, о мирных днях, заполненных неустанной работой по обучению и воспитанию личного состава, укреплению воинской дисциплины и единоначалия. Руководствуясь указаниями XIX съезда КПСС о всемерном укреплении активной обороны Советской страны, наши воины бдительно стоят на страже государственных интересов Советского Союза и всегда готовы нанести сокрушительный удар врагу, который осмелится напасть на наше государство.

Книга П. Корнюшина и Н. Королькова обладает рядом бесспорных достоинств и является нужной и полезной работой, имеющей не только воспитательное, но и в известной степени познавательное значение. Однако, отмечая эти положительные стороны, следует сказать и о тех существенных недочётах, которые присущи книге.

Развитие бронетанковых войск, да и то лишь в общих чертах, без достаточного анализа, показано в книге преимущественно в довоенный период, и по существу ничего

не сказано об их дальнейшем совершенствовании, в особенности в годы Великой Отечественной войны. Исходя из темы, уточнённой в подзаголовке, авторам следовало бы более подробно рассмотреть становление и укрепление бронетанковых войск в связи с общим развитием всех родов войск Советской Армии и, что особенно важно, в соответствии с развитием советской военной науки и её составной части — военного искусства. К сожалению, этого в книге нет.

Авторы допускают ошибку, связывая изменение организационных форм бронетанковых войск лишь с оснащением их новой техникой (стр. 28, 29). Между тем известно, что изменение и развитие организационных форм любого рода войск зависят от изменения способов боевых действий. Что же касается средств борьбы, то они оказывают влияние на способы ведения боевых действий, главным образом на тактику. Серьёзным недочётом является полное отсутствие в книге освещения вопросов теории применения бронетанковых войск в бою и операции.

Говоря о периоде Великой Отечественной войны, авторам надо было бы с большей силой показать деятельность нашей партии как вдохновителя и организатора всех побед, найти более яркие краски для рассказа об огромной воспитательной работе партии в сложных условиях фронтовой обстановки.

Известно, что каждая военная победа состоит из подвигов многих отдельных людей, независимо от того, какие обязанности они выполняют. В книге это положение не нашло должного отражения. В частности, роль командиров — организаторов и руководителей боя и операции — показана слабо. В ряде мест называются фамилии известных всей стране генералов бронетанковых войск, но о деятельности их как военачальников почти ничего не говорится. В итоге, героизм рядовых советских воинов искусственно отрываем от высокого мастерства наших войск, от искусства воспитанных партией командиров, являющихся носителями передовых способов организации и ведения современного боя, разработанных советским военным искусством.

В книге встречаются фактические ошибки. Так, например, авторы утверждают, что «русская армия вступила в первую мировую войну, имея на вооружении более пяти тысяч бронеавтомобилей». Видимо, здесь

допущена досадная опечатка. В начале первой мировой войны в русской армии было всего 711 автомобилей всех видов.

Несколько странным представляется, что книга о боевом пути бронетанковых и механизированных войск не сопровождается ни одной схемой, которая помогла бы читателю ориентироваться при чтении описаний боёв, сражений и битв.

Книга «Советские танкисты» воспитывает в наших людях гордость за доблестную Со-

ветскую Армию; с заслуженным вниманием и интересом её прочтёт советская молодёжь. Хочется рекомендовать Военному издательству усилить работу по выпуску популярной литературы, знакомящей широкие круги читателей с историей боевого пути отдельных родов войск Вооружённых Сил Советского государства.

*Кандидат военных наук  
И. КРУПЧЕНКО.*

★

## Вещания современных мракобесов

Не так давно профессор американского католического Колледжа Провиденция П. Конвей поведал миру, что Америка открыта вовсе не Христофором Колумбом, а средневековым доминиканским монахом Фомой Аквинским. Тот же Фома Аквинский, а не Коперник, оказывается, открыл и гелиоцентрическую систему мира. Что же касается собственно Коперника и его последователя Галилея, по выражению Конвея, «до конца и по искреннему убеждению верного сына церкви», то вдохновительницей всех их трудов, оказывается, была сама... святая инквизиция.

Таково вкратце содержание статей П. Конвея, опубликованных в органе Американской католической философской ассоциации «Новая схоластика», а также в журнале доминиканского ордена «Томист». Сткровения этого осенённого доминиканской благодатью адвоката инквизиции могут служить образчиком того «страшного суда» над научной истиной, который творит многочисленная рать американских католических «учёных».

Агрессивные круги США, лелеющие бредовые планы мирового господства, целиком поставили себе на службу Ватикан и его «науку», особенно пышно расцветающую теперь на американской почве. Золотая цепь прочно приковала князей церкви к коронам стали и нефти. 80 процентов всех доходов Ватикана поступает из США и Канады.

Чёрная армия Ватикана насчитывает в США четырёх кардиналов, 24 архиепископа,

156 епископов, 44 тысячи священников, 160 тысяч монахов и монахинь. Святые отцы бесконтрольно распоряжаются сотнями газет и журналов, издательствами, радиостанциями, кинокомпаниями.

Особые старания прилагает католическая иерархия для установления своего контроля над системой просвещения. Американский журнал «Мысль» в 1953 году хвастал: «Никогда в истории христианства, включая период расцвета средневековья, церковь, как таковая, не осуществляла продуманной программы просвещения, которую можно было бы даже отдалённо сравнивать с проводимой ныне в Соединённых Штатах». Агрессия церковников в научной области строго централизована и направляется Католической комиссией по делам науки и культуры и Национальным католическим советом по вопросам образования. Опекающий церковную «науку» доминиканский орден может смело передать католическим университетам своё звание, где изображена стая псов, терзающих тела «грешников». Ревностные «псы господни» в профессорских мантиях, мёртвой хваткой вцепившиеся в американскую науку, стремятся сделать её верной помощницей воинствующей поповщины, превратить в средство одурманивания и порабощения масс.

Американское католическое духовенство опубликовало множество книг и статей, рекламирующих учение «святого» Фомы Аквинского, так называемый томизм.

Американский церковный «теоретик» Д. Кронин писал в своей книге «Католические социальные принципы»: «Аргументы святого Фомы в защиту частной собственности спустя столетия сохранили весь свой блеск... Святой Фома подчёркивает мысль,

Журналы „The New Scholasticism“ («Новая схоластика»), „The Thought“ («Мысль»), „Americana“ («Америка»). Нью-Йорк, 1953—1954.

что частная собственность необходима вследствие первородного греха.

Движение вспять к средневековью, к рабскому подчинению трудящихся масс социальным верхам, восстановление господства католицизма в науке и культуре — вот к чему исступлённо призывают томистские проповедники.

Недостаточно назвать американские клерикальные журналы, вроде «Новой схоластики», «Мысли» или «Америки», просто реакционными журналами. Их безудержное мракобесие могло бы возмутить и двести лет назад просветителей XVIII века и пятьсот лет назад великих мыслителей и учёных Возрождения, поднявших восстание против мертвящей схоластики, за свободу науки от церковного засилья.

Мистер О'Нил из Маркеттского университета так повествует в журнале «Новая схоластика» о нехитрой «методологии» томистских изысканий: «Мы не стыдимся быть неоригинальными... В момент мерцания сверхчувственного света мы делаем решение святого Фомы своим собственным решением». В этом «мерцании» католические профессора стремятся затемнить результаты современных научных исследований.

В конце 1951 года папа римский в обращении к папской Академии наук особо настаивал на фальсификация новейших открытий в естественных науках для «доказательства бытия божьего». Эти ватиканские призывы нашли немедленный отклик среди американских мракобесов. Характерным образчиком их стараний может служить вышедшая в Нью-Йорке книга К. Догерти «Космология», в которой последние достижения атомной физики выдаются за свидетельство... сотворения мира богом и неизбежности «конца света».

Одобрение журнала «Америка» получила книга некоего Келли. Прочитав её, можно получить ответы на такие нелёгкие вопросы: «Кто такой сатана? Каковы его планы о вселенной?» Не менее животрепещущие проблемы обсуждались, по свидетельству «Новой схоластики», на состоявшейся в апреле 1954 года ежегодной сессии Американской католической философской ассоциации: познание божества путём «сверхъестественной веры» или «нефилософского естественного знания».

Один из американских католических «учёных», Райян, рекомендует «пропитать» церковной догматикой преподавание всех на-

учных дисциплин. В своей книге «По ту сторону гуманизма» он требует разъяснять студентам, «как математика даёт нам некоторые указания на скрытую простоту бога, как биология создаёт возможность оценить... красоту мистического тела Христа, как психология позволяет, следуя Блаженному Августину, получить по аналогии лучшее представление о Троице и т. д.».

Конечно, прокладываемые католической «наукой» пути в потустороннем мире всегда ведут к весьма земным целям. В журнале «Новая схоластика» наряду со статьями по, так сказать, узкоспециальной загробной тематике, вроде исследований о времени воскресения после смерти или «формах» существования ангелов, помещаются сугубо деловые размышления о важности томизма для сохранения «нашей (то есть американской.— Е. Ч.) позиции в качестве политического и военного лидера». Орган американских схоластов видит перст божий в томизме также потому, что он, мол, «неизбежно приводит в наши дни ко всемирным законам, всемирному правительству и всемирному государству». Мечтания Фомы Аквинского об «универсальной» монархии во главе с римским папой изображаются «Новой схоластикой» как оправдание авантюристических планов создания мировой американской империи.

Многие католические университеты стараниями иезуитов превращены за последние годы в учебные центры американской разведки, подготовляющие шпионов для засылки в СССР и страны народной демократии. Выступая на страницах журнала «Америка», директор иезуитского Фордхемского университета Ивинг откровенно писал: «В Фордхеме мы изучаем ряд специальных средств (!) для борьбы против коммунизма».

Церковные «учёные» пытаются любыми способами «обосновать» преступную политику возрождения германского милитаризма. Неспроста, например, председатель Американской католической исторической ассоциации Зонтаг выступил в «Католическом историческом обозрении» с безудержным восхвалением премьер-министра Англии довоенных лет Невилля Чемберлена, покровителя гитлеровской агрессии. Не случайным является также, что в журнале «Америка» иезуиты тщатся представить фашистского палача Роммеля «рыцарем».

в котором «сохранились добродетели христианского благорядства».

Нет предела ненависти воинствующих клерикалов к демократическим силам. Американские церковные «теоретики» объявляют «происками дьявола» заботу о повышении жизненного уровня масс в СССР и странах народной демократии. Епископ Фултон Шин пророчествовал в связи с этим, что в современную эпоху дьявол «будет являться под маской Великого Гуманиста; он будет говорить о мире, процветании и изобилии». В январе 1954 года журнал «Новая схоластика» со злобой писал об «атеистическом гуманизме» Маркса, который заботится о земных нуждах людей, не оставляя места для религии. Всё это вполне последовательно с точки зрения святых отцов, руководствующихся папской энцикликой от 2 июня 1951 года, где проклинаются «пагубные доктрины... представляющие блага этого мира единственной целью, которой должны добиваться люди в земной жизни». А двумя годами раньше римский папа особым декретом разом отлучил от церкви всех коммунистов, читателей марксистских книг и газет, членов Всемирной федерации профсоюзов.

В своих печатных органах иезуиты всячески пытаются отравить международную

атмосферу, сделать невозможным мирное решение спорных вопросов. Католический журнал «Ревью оф политикс», например, открыто проповедует теорию «невозможности» мирного сосуществования капиталистических стран с Советским Союзом.

Католическая печать рьяно выступает против запрещения оружия массового уничтожения людей. Так, журнал «Америка» в рецензии на книжонку священника Вельша «Тотальная империя» с одобрением отметил содержащееся в ней утверждение, что не существует религиозных, моральных или практических препятствий для использования атомной бомбы.

Иезуитская «мораль»! Её, как и все известные иезуитские приёмы, вполне усвоили американские реакционеры, вкладывая в устоявшиеся понятия противоречащее им содержание, именуя агрессию «обороной», экономический грабёж — «помощью», «американский образ жизни» — «демократией».

Американские мракобесы мобилизуют все силы идеологической реакции на службу империализму США. Но все «чудеса» церковной лженауки бессильны приостановить борьбу сотен миллионов простых людей за мир, демократию и социализм.

*Кандидат исторических наук*  
**Е. ЧЕРНЯК.**

★

## Глазами советского моряка

Книга П. Гуцала «Австралийская трагедия» представляет собой путевые очерки советского моряка, помощника капитана парохода «Омск». В ней рассказывается о примечательном рейсе, названном экипажем судна «рейсом четырёх А»: Австралия — Англия — Архангельск — Александрия.

Вскоре после возвращения в Одессу П. Гуцал опубликовал свои записки в журнале «Вітчизна». Не ограничившись этим, он продолжал упорно работать над своим произведением. В результате появилась первая книга молодого автора.

Нетрудно видеть, что она написана человеком, ещё не вполне обладающим опытом и умением профессионального журналиста. Вместе с тем ей присущи определённые достоинства, проистекающие, на наш взгляд,

от непосредственности авторского восприятия. Легко себе представить, что, идя в плавание, П. Гуцал не запасался блокнотом и вечным пером. Но вот перед ним проходят новые, доселе неведомые ему страны, народы. И этот «материал» пробуждает у П. Гуцала темперамент публициста, обостряет необходимую наблюдательность.

Люди, с которыми ему приходится сталкиваться, многочисленные собеседники, встречи в долгом и интересном пути, не подозревают, что перед ними весьма внимательный человек, который всё запомнит, а потом и запишет.

Твёрдой опорой автора являются ясные идейные позиции, правильный взгляд на окружающую действительность. Благодаря этому он всем ходом изложения подводит читателя к конечному выводу, сформулированному в последней главе книги: «Мы побывали в капиталистических, зависимых и

**П. Гуцал.** «Австралийская трагедия. Записки советского моряка». «Радянський письменник», Киев. 1954.



колониальных странах, увидели своими глазами безотрадное, нищенское существование трудящихся, закабалённых империализмом. Мы увидели, как уходит в небитые спокойная жизнь колонизаторов в Египте, как зреет буря в долинах Нила, горах Адена, на фермах и заводах Австралии. Мы убедились в непреклонном стремлении простых людей к миру, в их огромной любви и уважении к нашей стране — знаменосцу мира...»

Повествование ведётся в хронологической последовательности. Между тем это не «прямолинейные» дневниковые записи и, тем более, не тот «дорожный мешок» впечатлений, куда закинуто всё, что попало в пути. Автор тщательно отбирает факты, даёт им определённую политическую оценку.

Он приводит читателя в далёкую Австралию. Если верить апологетам капитализма, тут царит благоденствие, «тишь да гладь». Но именно здесь, в далёком доминионе Британии, империалистические монополии со свойственной им жадностью впились в тело самой молодой части света. И точкой najwyżшего напряжения, кульминацией книги является «австралийская трагедия», которой посвящена центральная глава дневника.

Разгрузка парохода в порту Маккай производится медленно, вручную. Судно вынуждено долго простаивать в порту под грузовыми операциями. Экипаж «Омска» пользуется этим для знакомства со страной, её культурой, жизнью и бытом народа. Собирается группа моряков, нанимают автомашину и выезжают вглубь страны. Дорога проходит через огромный лес... но он — мёртв. «Словно высеченные из камня, стоят высокие, искривлённые деревья, без единой веточки и листьев. Это — эвкалипты. Когда-то они давали тень, вытягивали влагу из почвы. Но люди, охваченные жадной капиталистической наживы, убили их. Хозяева-овцеводы методически умерщвляли деревья. Их кольцевали. Внизу, у корня каждого дерева, вокруг его ствола вырезывали кольцо коры. Дерево засыхало. Зато выростала трава для корма овец».

С болью в душе советские моряки глядят на зону, пленённую наступающими песками и брошенную фермерами. «Оставив насиженные места, люди сдались в борьбе с неумолимым врагом», — пишет П. Гуцал, и ему «хочется осмыслить создавшееся положение в Австралии». Он беседует с фермерами, с агрономом. Тот рекомендует познакомиться с книгой австралийского почвовед Гимбери

«Битва за землю». Затем автор обращается к фундаментальному труду советского учёного А. П. Ильинского «Растительность земного шара», где находит интересные данные об Австралии. Личные наблюдения как бы пропитываются сведениями и выводами, почерпнутыми из солидных научных источников. Теперь П. Гуцал во всеоружии, и, пользуясь средствами художественной публицистики, он убедительно показывает, что не капризы природы повинны в трагической истории австралийского народа. Капитализм — вот кто виновник всех этих бед. Страна зажата в ярме английского и американского империализма.

Продажность, беспринципность и лживость реакционных газет — вещь известная. Но то, что пишет по этому поводу П. Гуцал, вносит ещё один штрих в наши представления.

Буржуазные журналисты не останавливаются перед шантажом, чтобы получить хоть какую-нибудь возможность оболгать советских людей, матросов и офицеров советского судна. В книге рассказывается и о том, как «босс» одной из австралийских газет уволил репортёров, составивших о пароходе «Омск» сравнительно правдивый отчёт.

Содержание записок П. Гуцала обогащено темой, которая редко встречается в путевых очерках. Мы имеем в виду рассказы о труде, учёбе и развлечениях экипажа советского судна, находящегося в большом плаваньи.

Небольшой коллектив моряков надолго уходит от родных берегов. Но тысячами незримых нитей он неразрывно связан со своей великой Родиной. Это воодушевляет людей, поддерживает в них бодрость духа.

Автор подробно характеризует ту большую и многообразную политико-просветительную работу, которая систематически ведётся на судне в течение всего рейса. Отличаясь продуманностью и оперативностью, она воспитывает у членов коллектива чувство любви к родной стране, гордость за неё и готовность к подвигу.

Ценность нужной, интересной книги П. Гуцала была бы куда более высокой, если бы автор упорнее поработал над языком своего произведения. Слабое внимание к языку книги проявили и её редакторы — И. Кифоренко и К. Золотарёва. Только этим можно объяснить, что читатель нередко встречается с такими, скажем, выраже-

ниями: «Мы совершили рейс в смысле отрыва от земли, пожалуй, самый большой».

Книга заключается послесловием, из которого видно, что автору приходится бывать в странах народной демократии, общаться с людьми, строящими там новую, счастли-

вую жизнь. Мы убеждены, что П. Гуал продолжает вести свои записи. И читатель ждёт от него новой книги.

*Инженер-капитан 3-го ранга*  
**Н. ОРЛОВ**

г. Измаил

★

## Никос Белояннис

**В** марте 1952 года был расстрелян Никос Белояннис, член Центрального Комитета Коммунистической партии Греции, мужественный патриот своей родины. Вынесению смертного приговора предшествовал судебный процесс, происходивший в Афинах в течение двух недель.

Недавно издательством «Свободная Греция» выпущен на французском языке сборник документов под названием «Никос Белояннис, национальный герой Греции». В сборник вошли стенограммы процесса, письма Белоянниса и его жены, а также материалы, отражающие возмущение прогрессивных организаций и видных политических деятелей Греции и других стран по поводу убийства Белоянниса. Собранные в книге факты позволяют читателю подробно ознакомиться с процедурой сфабрикованного полниции процесса, глубже представить себе всю гнусность фальши этого акта буржуазного «правосудия».

Ещё в 1951 году Никосу Белояннису было предъявлено обвинение в «намерении свергнуть существующий режим». Его приговорили к смертной казни. Однако осуществить свои намерения монархо-фашистам тогда не удалось. Тем не менее было очевидным, что Белояннису снова предстоит встреча с теми же судьями. Недаром председатель чрезвычайного суда заявил, что он постарается занять председательское кресло и на втором процессе, чтобы всё же «свести счёты» с Белояннисом.

Греческие фашисты намеревались изыскать новые обвинительные материалы. Такими «материалами» могли быть только подложные документы, фальшивки, состряпанные охранкой.

Белоянниса и его товарищей обвинили в шпионаже. Казалось, все меры благовре-

менно приняты. И всё же прокурор не мог привести ни одного факта, ни одного конкретного свидетельства, подкрепляющего это обвинение. Характерным является также приведённое в книге следующее свидетельство английского юриста Стэнли Мура: «Передо мной протоколы процесса. Они не содержат ни одного факта, я повторяю это, ни одного факта, показывающего, что кто-либо из обвиняемых передал военные секреты».

Чем глубже вникаешь в материалы процесса, включённые в сборник, тем яснее видишь причину организации нового судебного процесса. Реакционным кругам нужно было чем-то оправдать фашистский разгул и террор в связи с обсуждением вопроса о включении Греции в Северо-атлантический блок. Агрессоры опасались политической активности Белоянниса, одного из наиболее популярных людей в стране, выдающегося борца за мир.

И вот на скамье подсудимых оказался беззаветный патриот Греции, не раз доказавший свою преданность родине. В судебных креслах — предатели интересов трудящихся, наёмники иностранного капитала.

Против кого же ополчилась реакция?

Сын крестьянина, человек, безупречно прошедший трудный жизненный путь, Никос Белояннис уже в юношеские годы становится социалистом. Ценой больших лишений ему удаётся получить среднее образование и поступить в Афинский университет. Никос отлично учится, но его политические взгляды не могут примириться с режимом, установленным диктатором Метаксасом. Белоянниса исключают из университета. Арест следует за арестом. Несколько лет он проводит в концентрационных лагерях и в это время заканчивает свои научные труды — книги «Экономическое развитие Греции» и «История современной греческой литературы».

„Nicos Beloyannis, Héros national de Grèce“, Editions „Grèce Libre“ («Никос Белояннис, национальный герой Греции». Издательство «Свободная Греция»).

Началась вторая мировая война. Гитлеровские войска оккупируют Балканы. Те, кто через двенадцать лет будет выносить смертный приговор греческим патриотам, служат оккупантам. А Белояннис, которому удалось вырваться на свободу, берётся за оружие. Он возглавил крупный партизанский отряд. Если бы военный трибунал, судивший Белоянниса и его товарищей, вызвал в качестве свидетеля генерала, командовавшего в 1944 году английскими силами на Ближнем Востоке, тот, будь он объективным, многое смог бы рассказать о помощи, оказанной его войскам партизанами Белоянниса.

Прекратились военные действия в Греции, но не кончилась борьба за свободу греческого народа, и эта борьба стоила коммунистам новых тяжёлых жертв.

В 1948 году убили отца Белоянниса; вскоре в охранке была замучена его сестра. После ранения Никос вернулся в Афины. Он боролся за мир, поднимая оружие против гитлеровцев, дело мира он отстаивал, сражаясь с войсками реакции. Это были последние дни героической эпопеи Демократической армии.

«Опыт всех этих лет, — говорил Белояннис на суде, — убедил меня в том, что на-

циональные интересы Греции требуют, чтобы она оставалась вне всяких военных авантюр».

Но новые оккупанты Греции дали приказ уничтожить Белоянниса. Он говорил судьям: «Судя нас, вы сегодня судите борьбу за мир, вы судите Грецию».

Преступление греческих монархо-фашистов, учинивших расправу над Белояннисом и его товарищами, вызвало во всём мире широкую волну гнева и возмущения. С волнением читаешь собранные в книге многочисленные отклики на казнь греческих патриотов. Имя национального героя Греции Белоянниса присвоено отдельным предприятням, площадям, улицам в Будапеште, в Праге, в Бухаресте и других городах стран народной демократии.

Сборник документов, выпущенный издательством «Свободная Греция», даёт яркое представление о жизни и самоотверженной борьбе Никоса Белоянниса. Материалы, помещённые в этой книге, разоблачают политику реакционных кругов Греции и в то же время показывают борьбу коммунистической партии за демократические права народа.

**С. МАРВИЧ.**

★

## Слова и дела колонизаторов

Не так давно в Лондоне вышла в свет книга Чедди Джагана «Что произошло в Британской Гвиане», вновь напомнившая миру о национальной трагедии этой страны.

Автор книги — бывший премьер-министр и лидер народно-прогрессивной партии Британской Гвианы, арестованный английскими властями в апреле 1954 года и приговорённый к шести месяцам тюремного заключения. Его новая книга интересна не только тем, что она проливает дополнительный свет на события, происшедшие в одной из колоний Великобритании. Работа эта вскрывает ложь об «освобождении» малых народов, к которой в последнее время всё чаще прибегают идеологические трубадуры империализма. Приведённые автором материалы обнажают и разоблачают гнусную механи-

ку, при помощи которой империалистические хищники, разлагольствующие о правах народов на национальную независимость и суверенитет, в действительности подавляют эти права, коль скоро они хоть в малейшей степени ставят под угрозу их империалистические и колониальные интересы.

В этом смысле Британская Гвиана не исключение. О том, как империалисты соблюдают и уважают декларируемые ими «права народов», свидетельствуют и факты недавнего времени. В самом деле, события в Британской Гвиане, как и события в Гватемале и Коста-Рике, о которых сообщалось в советской печати, — явления одного порядка. Недаром известный английский радиокomentатор Морис Лейте заявлял: «Прошло время, когда существовали сферы влияния. Теперь в таких колониальных странах, как, например, Британская Гвиана, вы можете приостановить действие конституции и задержать срок предостав-

**C h e d d i J a g a n . „What happened in British Guiana“. London, 1954 (Ч е д д и Д ж а г а н . «Что произошло в Британской Гвиане». Лондон, 1954).**

ления самоуправления. В независимых странах (речь шла о Гватемале. — М. С.) необходимо прибегать к влиянию соседей...»

В своей книге, изданной в Англии «Союзом демократического контроля», Чедди Джаган на основании многочисленных неопровержимых фактов показывает губительные последствия английского колониального господства для Британской Гвианы. Как пишет автор, «экономика Британской Гвианы... построена по классическому колониальному образцу». Английским монополиям принадлежит главное богатство страны — сахарный тростник. Существовавшие в середине XIX века несколько сотен плантаций ныне объединены в двадцать одну плантацию, которые находятся во владении трёх крупных английских компаний. Они и являются настоящими хозяевами Британской Гвианы — «Букеровской Гвианы», как иногда иронически называют её по наименованию крупнейшей фирмы «Букерс бразерс».

Автор разоблачает утверждения английской пропаганды о «благодарном» влиянии колониального господства плантаторов на жизненный уровень трудящихся Британской Гвианы. «Народ в моей стране очень беден», — этими словами начинает он главу «Наша нищета», в которой повествуется о пагубных результатах хозяйничанья английских монополий. Заработная плата рабочих крайне низка. Средняя рабочая семья, как правило, живёт в кредит, ибо наличных средств не хватает на самое необходимое. Даже по официальным подсчётам, около 30 процентов жителей Джорджтауна (столица Британской Гвианы) не в состоянии покупать продукты, необходимые для нормального питания.

Население находится в ужасающих жилищных условиях. Достаточно сказать, что за восемь лет, с 1945 по 1953 год, было построено жилищ всего лишь для 48 семей! В книге указывается, что 99 процентов детей, получивших начальное образование, лишены возможности окончить среднюю школу. На всю страну имеется только 67 врачей. Страхования нет. Пенсиями пользуются исключительно англичане, составляющие 0,66 процента населения Британской Гвианы.

«В такой обстановке «господства плантаторов», — пишет Джаган, — в нашей колонии крепло и ширилось требование самоуправления и самоопределения точно так

же, как оно ширилось и продолжает шириться в остальных колониях Британской империи». Автор рассказывает о борьбе трудящихся Британской Гвианы за демократические права и независимость родины, о возникновении профсоюзного движения и создании первой национальной политической партии — народно-прогрессивной партии.

Рост национально-освободительного движения, поставивший под угрозу владения и прибыли предпринимателей, встревожил монополистов Англии. Для того чтобы взять это движение под свой контроль, английское правительство в 1948 году решило «даровать» Британской Гвиане конституцию, а вместе с ней и самоуправление.

Автор книги подробно анализирует содержание этой, с позволения сказать, конституции и показывает призрачность самоуправления, якобы предоставленного Британской Гвиане. На самом же деле вся власть в колонии, согласно конституции, сосредоточивалась в руках английского губернатора, который имел право накладывать «вето» на любое решение правительства.

Эта конституция вошла в силу только в январе 1953 года, а в апреле в Британской Гвиане состоялись первые выборы. Выборы закончились победой народно-прогрессивной партии, возглавляемой Чедди Джаганом. Шесть членов этой партии вошли в правительство, а её лидер стал премьер-министром.

Из книги Джагана мы узнаём о предвыборной программе народно-прогрессивной партии и о том, как она проводилась в жизнь после апрельских выборов. Программа предусматривала введение системы социального обеспечения, светское образование, земельную реформу, широкое жилищное строительство, снижение косвенных налогов, создание отечественной промышленности и другие меры, направленные на повышение жизненного уровня народа Британской Гвианы. Перечислив эти требования, Джаган пишет: «Учитывая постоянно выдвигающиеся против нас обвинения в коммунизме, разве не позволительно просить читателя снова просмотреть этот список и спросить себя, предусматривает ли он какие-либо мероприятия, которые не выдвигались бы в тот или иной период лейбористским правительством Великобритании?»

Тем не менее уже первые шаги правительства Джагана всполошили сахарных и горнорудных королей, прочно обосновав-

шихся в Британской Гвиане. Реакционная пресса, должным образом инспирируемая, стала вопить о «коммунистическом заговоре». В октябре 1953 года в Британской Гвиане высадились английские войска, а на следующий день было приостановлено действие конституции. Эти меры карателей были совершены при полном согласии и поддержке американских правящих кругов.

Действия колонизаторов вызвали протест во всём мире, в частности в соседних с Британской Гвианой латиноамериканских странах. Бразильская газета «О популар» писала: «Это чудовищное преступление против народа американского континента... совершено с согласия США». Уругвайская газета «Марча» также подчёркивала, что «английские власти при поддержке американского правительства... совершают в Британской Гвиане акты насилия и бесчинства». Американская заинтересованность в подавлении национально-освободительного движения в Британской Гвиане объяснялась не только колонизаторской «солидарностью». Соединённые Штаты Америки намеревались использовать Британскую Гвиану в качестве плацдарма агрессии против Гватемалы.

Для того чтобы как-нибудь оправдать свои действия в отношении Британской Гвианы, в Англии опубликовали так называемую Белую книгу, которая должна была подтвердить версию о мнимом «коммунистическом заговоре». Значительное место в работе Джагана отведено убедительному опровержению этих клеветнических вымыслов. Факты, приводимые автором, не оставляют камня на камне от «доказательств» английских колонизаторов. В частности, Джаган высмеивает утверждение английского министра колоний Литтлтона со ссылкой на «надёжные источники» о том, что народно-прогрессивная партия будто бы замышляла поджечь в Джорджтауне предприятия и жилые дома европейцев. Это дикое обвинение послужило главным основанием для приостановления действия конституции.

Составители Белой книги дошли до того, что узрели коммунистическое направление правительства Британской Гвианы в том, что некоторые его министры принимают участие в движении сторонников мира, а некоторые в гвианские профсоюзы входят в ВФП.

Вскрывая истинную подоплёку событий в Британской Гвиане, Джаган пишет: «Литтлтон, говоря о коммунизме, в действительности подразумевает любое правительство, выступающее против извлечения прибылей из пота и слёз колониальных рабочих и вывоза этих прибылей за границу». События в Британской Гвиане, пишет далее автор, ясно показывают, что английские правящие круги «согласятся в колониях только на такие правительства, которые они могут контролировать и которые сочувствуют их империалистической точке зрения».

После переворота, совершённого английскими колониальными властями в Британской Гвиане, Джаган предпринял поездку по многим странам мира с целью разоблачить действия английских колонизаторов. Он побывал в Англии, Индии, Пакистане, Франции, Италии, Египте и во всех этих странах встречал у широких слоёв населения горячее сочувствие борьбе народа Британской Гвианы за свою независимость. Выступая в Лондоне, Джаган заявил: «Мы возвращаемся (в Британскую Гвиану. — М. С.), чтобы организовать решительное сопротивление, даже если это угрожает нам арестом и тюрьмой. Некоторые могут погибнуть, но за ними стоят тысячи». Опасения Джагана оправдались. После своего возвращения на родину он был арестован и брошен в тюрьму. В стране поднялась волна массового террора. Однако, несмотря на репрессии, национально-освободительное движение трудящихся Британской Гвианы разгорается с ещё большей силой, вливаясь в общий поток национально-освободительного движения народов стран Латинской Америки против империалистического гнёта.

М. СТУРУА.



## Пути создания новых культурных растений

Книга академика Н. В. Цицина «Отдалённая гибридизация растений» представляет собой сборник работ и статей, опубликованных автором на протяжении последних двадцати лет. В этих материалах описываются исследования и практический опыт учёного по выведению новых сельскохозяйственных растений.

Гибридизация как наука сложилась в нашей стране. Ещё около двухсот лет назад профессор И. Г. Кельрейтер впервые в истории науки применил межвидовую гибридизацию растений. Получив гибрид от скрещивания табака с махоркой, он писал: «И если учёный мир этим создаст со временем для народа удовольствие или пользу, то это надо приписать Российской Академии наук».

В статьях, помещённых в сборнике, вкратце рассказывается о том, как укреплялись и развивались у нас теория и методы действенной творческой селекции.

Великий естествоиспытатель К. А. Тимирязев считал гибридизацию отправным пунктом растениеводства. Он рассматривал её как средство, с помощью которого можно достигнуть не только качественного улучшения уже возделываемых, но и выведения совершенно особых сортов.

На новую, высокую ступень поднял учение о гибридизации замечательный преобразователь природы И. В. Мичурин. Методами скрещивания культурных растений с их далёкими родичами, дикими растениями, удалёнными по своему географическому местобитанию, Мичурин добился невиданных результатов в создании заранее задуманных сортов и форм растений.

С тех пор прошло немало времени. Селекционная работа в нашей стране получила огромный размах и продолжает расширяться. Советскими селекционерами выведено около 1 700 высокоурожайных сортов зерновых, технических, огородно-бахчевых и кормовых культур. Применение метода отдалённой гибридизации (скрещивание культурных растений с дикорастущими), отмечает Н. Цицин, является главным и принципиально новым направлением в селекционном деле.

Сообщая о своих опытах в этой области, автор пишет: «Идя по пути, указанному

**Н. В. Цицин. «Отдалённая гибридизация растений». Сельхозгиз, М. 1954.**

Мичуриным, в поисках диких растений, пригодных для коренной переработки и обновления культуры пшеницы, мы обратили внимание на злейший сорняк наших полей — пырей». Научное название пырея — *Agropyrum*. В буквальном переводе это слово означает «огонь полей». Наши крестьяне нашли выразительные названия этой травы, как, например, земляной спрут, ведьмина трава, сосун-трава. Распространён пырей очень широко, его можно встретить в любой части земного шара. Растение это отличается высокой стойкостью в борьбе за своё существование, огромной способностью к размножению; верхушки его побегов, защищённые твёрдыми чешуйчатыми листочками, настолько сильны, что пробивают любую почву. Пырей весьма устойчив к засухам и морозам, некоторые его виды почти вовсе не подвержены болезням.

Взять все эти свойства у дикого пырея и передать их культурной пшенице — такую цель поставила перед собой группа советских учёных-селекционеров во главе академиком Н. Цициным. В сборнике автор приводит схему возможных скрещиваний культурных и диких растений: пшеницы и ржи — с пыреем, ржи и ячменя — с колосняком (элимусом), овса — с костром и так далее.

Более сложная задача, поставленная Н. Цициным, — создание многолетней пшеницы. Речь идёт о такой культуре, которая приносила бы урожай в течение ряда лет без пересева. Как справедливо подчёркивает автор, перспектива пахать землю и сеять хлеб не каждый год, а посеяв однажды, собирать высокий урожай подряд в течение двух-трёх лет и более — чрезвычайно заманчива.

В результате длительной, сложной и кропотливой работы учёным была получена, в частности, многолетняя пшеница № 2 с крупным зерном, ежегодно дающая урожай зерна и сена в течение трёх лет без пересева. Она, говорится в книге, «представляет собой растение совершенно нового ботанического и культурного вида с рядом признаков и свойств, которыми не обладает ни одна пшеница в мире». В колосе обычной пшеницы содержится чаще всего до 23 и редко 25 колосков. В колосьях же многолетней пшеницы № 2 бывает до 35 колос-

ков. А ведь если в каждом колосе будет только одно лишнее зерно, отмечает Н. Цицин, то на гектар это даст прибавку урожая минимум на полцентнера. Как указывает автор, полученные формы многолетних пшениц пока недостаточно совершенны, и с ними придётся ещё много работать.

Большую практическую ценность обещают сорта озимых пшенично-пырейных гибридов, обозначенные номерами 1, 186 и 599. Они обладают высокой урожайностью. Например, гибрид № 1 дал в среднем за три года урожай 61 центнер зерна с гектара, а при увеличенной норме посева — 71 центнер. Важно отметить, что при таком высоком урожае гибридная пшеница совершенно не полегает. Хорошие хозяйственные свойства имеют и другие выведенные Н. Цициным пшенично-пырейные гибриды.

Значительный интерес представляет проблема создания ветвистых форм зерновых хлебных растений, в частности ржи. Описание опытов решения этой проблемы автор также даёт в сборнике. Он приводит некоторые данные по полученным им лучшим экземплярам отдельных растений. Продуктивность их оказалась весьма высокой — 25 колосьев в кусте с числом зёрен от 52 до 237 на один колос. Всего с растения получено 3510 зёрен весом 59,7 грамма. Таких показателей обыкновенная рожь не имеет.

По мнению Н. Цицина, многообещающие результаты ожидаются от его исследований по гибридизации древесных растений с травянистыми. Он считает, что создание таких гибридов «даст большое количество самых разнообразных форм со всей гаммой взаимопереходов по признакам, свойственным и не свойственным привлекаемым в это скрещивание растениям».

В сборнике описываются опыты над многолетним томатным деревом — цифомандрой, привезённой А. М. Горьким из Сорренто (Италия). В Москве в оранжерейных условиях это вечнозелёное субтропическое растение обильно цветёт и плодоносит, высота его достигает трёх метров. Сливовидный плод цифомандры весит от 50 до 100 граммов, имеет кислотовато-сладкий вкус, содержит много сахара.

За период с 1940 по 1952 год было сделано более пяти тысяч прививок различных видов и сортов томатов на цифоманд-

ру и около полутора тысяч обратных прививок. Плоды полученного межродового гибрида имеют высокую сахаристость, мясистость, хорошую лёжкость. В настоящее время цифомандро-томатный гибрид изучается в ряде селекционно-опытных станций.

Перспективными считает Н. Цицин прививки гороха на жёлтую акацию. Жёлтая акация хорошо растёт в северных условиях и на юге. Она неприхотлива и обладает достаточной морозостойкостью и засухоустойчивостью. По урожайности это растение намного превышает культурный горох. Семена акации содержат много белка (больше, чем горох, чечевица, фасоль) и могут быть использованы для откорма животных и птицы. Н. Цицину и его сотрудникам Г. Лапченко и Ф. Крыжановскому удалось привить на акацию также фасоль, нут, чечевицу и другие растения из семейства бобовых.

Рецензируемая книга может оказать большую помощь опытным селекционерам, новаторам сельскохозяйственного производства. Следует, однако, сделать и некоторые критические замечания по поводу помещённых в сборнике материалов. Автор полагает, что создание новых форм осуществляется преимущественно путём сочетания полезных признаков скрещиваемых форм. Вопросам воспитания гибридов, к сожалению, не придано должного значения. А между тем в методике работы Мичурина гибридизация должна обязательно сопровождаться также и соответствующим воспитанием, благодаря чему можно направлять формирование наследственных свойств у гибридных растений.

Литературы, посвящённой проблемам отдалённой гибридизации как одного из важных методов мичуринской биологии, у нас пока ещё очень мало. Поэтому наряду со сборником статей желателен выпуск в свет книги, в которой автор смог бы последовательно и стройно изложить теоретические исследования, подтверждённые практикой скрещивания культурных растений с дикорастущими. Такая книга принесёт реальную пользу селекционерам и студентам сельскохозяйственных вузов.

*Профессор А. ГОРИН,  
доцент А. УКОЛОВ.*

## Советские натуралисты в пустыне Гоби

В Палеонтологическом музее, в Москве, среди интереснейших ископаемых животных, населявших Землю в далёком прошлом, можно видеть скелет утконосого динозавра — зауролафа, стоящего на задних лапах и достигающего почти семи метров высоты. Голова этих гигантских ящеров в своей передней части была расширена, образуя подобие утиного клюва. Во рту животного имелось несколько сотен зубов, расположенных рядами. Могучий хвост служил ящеру опорой при ходьбе и помогал при плавании. Тут же в музее выставлены черепа хищных тираннозавров, самых крупных сухопутных животных из когда-либо существовавших на Земле. Две витрины занял скелет панцирного динозавра; туловище его находится в одной, а хвост в другой витрине. Всё это находки палеонтологической экспедиции Академии наук СССР, работавшей на протяжении трёх лет в Монголии, в дикой и малоисследованной полупустыне Гоби.

Эта Монгольская экспедиция, которая по праву может быть названа крупнейшей в истории русской палеонтологии, сделала важные научные открытия. Динозавры, открытые советскими исследователями, как и найденные ими копытные, принадлежат к новым, неизвестным ранее науке формам. Собранный материал (общий вес сборов превышает 120 тонн) огромен по количеству находок и в то же время является богатейшим по своему разнообразию и превосходным по сохранности. Он позволяет проследить историю животного мира Центральной Азии за последние 65—70 миллионов лет. Но не только в этом ценность результатов полевых работ палеонтологов. Они дают возможность также проникнуть и в историю животного мира более северных областей — Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии, куда расселялась эта фауна в отдалённые геологические времена.

О трудах и находках Монгольской экспедиции рассказывает её участник А. К. Рождественский в книге «На поиски динозавров в Гоби». В этих путевых заметках автор повествует о буднях экспедиционной жизни с подкупающей простотой.

**А. К. Рождественский.** «На поиски динозавров в Гоби». Издательство Академии наук СССР, М. 1954.

Его очерки так привлекают своей содер­жательностью, скромностью, с которой говорится в них о перенесённых трудностях и опасностях, о радости находок и горечи неудач, что охотно прощаешь рассказчику и отдельные длинноты, которые можно было бы устранить, и утомительную местами мелочность описаний. В целом это книга о большом научном подвиге советских людей, исследовавших неприступную Гоби в самых суровых её районах и внесших особо ценный вклад в науку о развитии жизни на Земле.

Находки Монгольской экспедиции подтвердили смелую догадку известного русского палеонтолога А. Борисяка о том, что Центральная Азия — родина многих групп позвоночных, в том числе и млекопитающих.

Успехи экспедиции дались ей в результате тщательно проведённой разведки и применения современной техники, начиная от автотранспорта, приспособленного к условиям пустыни, и кончая инструментами для выемки костей и их обработки. Эпизоды, посвящённые выдающимся открытиям палеонтологов, принадлежат к числу наиболее увлекательных в книге. С гордостью за наших соотечественников читаешь страницы, рассказывающие о том, с какой отвагой пробивались участники экспедиции сквозь пески, спускались на дно глубоких расселин в поисках редчайших ископаемых, пролежавших в каменной «могиле» десятки миллионов лет.

Нелёгко было путь к этим сокровищам. В Нэмэгэту, основном районе раскопок, исследователей настигла песчаная буря. А. Рождественский так описывает этот случай: «Пыль и песок, поднятые яростным ветром, будто мглой окутали всю Нэмэгэтинскую котловину, скрыв из глаз все ориентиры. Громадные массы песка стремительно неслись нам навстречу, всё увеличиваясь в размерах; казалось, не будет конца бешенству песка и ветра. Вой бури не давал собеседникам расслышать друг друга — приходилось изо всех сил кричать почти в ухо». Трудно, продолжает автор, передать словами ту борьбу и напряжение, которые приходилось тогда выдерживать. Здесь, в Нэмэгэту, экспедицией был найден скелет чудовищного ящера — тираннозавра с двадцатисантиметровыми зубами-



кинжалами и мощными когтями на задних лапах.

Не меньших усилий потребовал от путешественников маршрут по Западной Монголии, совершённый в следующем, 1949 году и закончившийся открытием местонахождения ископаемых Алтан-Тээли, одного из крупнейших в Азии. Достаточно прочесть описание подъёма на перевал Дугу-Даба, чтобы получить представление о том, какого труда и риска потребовало от советских учёных это путешествие. Машины ползли по склонам огромной крутизны и каждую секунду могли оторваться от склона и рухнуть в пропасть — спасало только искусство водителей. В этих местах палеонтологи обнаружили кости млекопитающих так называемой гиппарионовой фауны — степных носорогов и мастодонтов. Ископаемые представители этой фауны встречаются и в Казахстане, потомки же её — жирафы, антилопы, страусы — живут в наши дни в африканских саваннах.

В книге много метких наблюдений, живых зарисовок, воссоздающих картину Гоби. Автор хорошо передаёт её своеобразный пейзаж, чаще угнетающий безбрежными каменистыми или песчаными просторами, а иногда вдруг радующий взор группой пустынных вязов—хайлясов, тополевой рощей или большими россыпями искрящихся разноцветными огнями под ярким солнцем халцедонов (разновидность кварца), «будто кто-то щедрой рукой рассыпал здесь самоцветы на огромной, чёрной, как бархат, скатерти».

Отмечает автор и черты новой, сегодняшней Монголии, свидетельствующие о росте благосостояния монгольского народа, о заботе народного правительства о труженике-арате. Лишь после революции 1921 года в Монголии начала создаваться национальная промышленность. Всё шире развёртывается сеть учебных заведений и научных учреждений. Большое внимание уделяет народная власть здравоохранению — во всех аймачных центрах имеются амбулатории и больницы. Путевые записи натуралиста дают, таким образом, разносторонние географические сведения о МНР, о развитии её экономики и культуры.

Очерки А. Рождественского — ценное пополнение нашей популярной литературы о путешествиях и экспедициях советских учёных. Однако наряду с достоинствами книги хотелось бы отметить и неко-

торые её недостатки, как произведения, обращаясь к широким кругам советских читателей.

Многие вопросы, поднятые автором, лишь слегка намечены в книге и не получили в ней должного развития. Так, например, А. Рождественский упоминает об исторической находке академика В. Обручева, в 1892 году обнаружившего на границе Внутренней и Внешней Монголии зуб третичного носорога, о работах академика А. Борисяка, предсказавшего блестящие перспективы палеонтологических исследований в Монголии. В популярной книге о заслугах русских учёных следовало бы рассказать конкретнее. По свидетельству автора, именно труды Борисяка подсказали американским палеонтологам мысль об экспедиции в Монголию, которая и была ими осуществлена в 1918—1930 годах.

Однако, стремясь всё взять «с ходу», не учитывая закономерностей, по которым происходит захоронение остатков позвоночных животных, американские палеонтологи оказались жертвой своей непродуманной методики «охоты за ископаемыми». В результате работ Монгольской экспедиции Академии наук СССР было доказано, что так называемые «меловые млекопитающие», о находке которых шумно оповестила мир американская экспедиция, на самом деле относятся к более поздним, палеоценовым, формам. К сожалению, в книге лишь вскользь высказываются очень интересные мысли и замечания автора по поводу методов работы американских учёных и их сенсационных домыслов, разоблачённых советской наукой.

Читателям хорошо известно, как успешно развиваются советско-монгольские культурные связи. Наши учёные — частые гости в Монголии и охотно передают молодым специалистам МНР свой опыт и знания. Эта значительная тема почти не нашла отражения в записках А. Рождественского. Автор лишь бегло говорит о монголах-проводниках экспедиции да в главе «Вдоль великой Гоби» упоминает между прочим о том, что препаратор М. Лукьянова выезжала для препаровки материалов экспедиции, передаваемых в Монгольский государственный музей. А ведь в этом факте — глубокий смысл, он отражает честицу той помощи, которую постоянно оказывают советские люди развитию национальной монгольской науки и культуры.

Книга «На поиски динозавров в Гоби» могла только выиграть, если бы А. Рождественский углубил и развил то, что в ней есть наиболее значительного, отбросив второстепенное и побочное. Научная важность находок экспедиции, живость и непосредственность впечатлений автора — активного участника палеонтологических исследований — надолго сохранят за этими записками их актуальность и общественный интерес.

★

### Измышления буржуазных географов

Критика различных теорий буржуазной науки была и остаётся одной из важнейших задач, стоящих перед советскими учёными. Особенно актуальна сегодня критика тех теорий и доктрин, которые откровенно направлены на оправдание и даже обоснование империалистических устремлений капиталистических держав. К таким доктринам в первую очередь относятся геополитика и географический детерминизм или вульгарный географизм, составляющий основу современной буржуазной географии.

Книга К. И. Лукашёва «Буржуазная лженаучная география на службе реакции» посвящена разоблачению концепций буржуазных географов и геополитиков. Автор проделал большую работу по сбору и систематизации различных материалов, и в целом ему удалось показать тот тупик, в который зашла наука в условиях современного капитализма.

Три основные черты особенно ярко бросаются в глаза при ознакомлении с положением в современной буржуазной географии: во-первых, откровенная постановка географии на службу империализму, неприкрытая его апологетика, оправдание политики силы, аннексий, порабощения «неполноценных» народов; во-вторых, фактический отказ многих буржуазных географов от изучения существа явлений природы и общества и вытекающее отсюда смешение общественных и природных закономерностей и, наконец, извлечение на свет и широкое использование различных устаревших или просто реакционных теорий философов и географов прошлого.

Как известно, исторический материализм

**К. И. Лукашёв.** «Буржуазная лженаучная география на службе реакции». Географиз.

Очень хороши фотографии, сделанные участниками экспедиции, хотя полиграфическое их воспроизведение подчас оставляет желать лучшего. Фото, снятые на месте, а также художественные реконструкции внешнего облика ископаемых животных очень оживляют книгу и повышают её познавательное значение.

**И. ИНОЗЕМЦЕВ.**

исходит из того, что географическая среда, несомненно, влияет на развитие общества, но не является решающей силой. Развитие человеческого общества определяется прежде всего способом производства материальных благ. Суть же географического детерминизма заключается в признании якобы решающей роли географической среды в развитии общества. Остановившись на этом вопросе, К. Лукашёв справедливо отмечает, что идея эта сама по себе не нова. Ещё в XVIII веке её высказывали французский социолог Монтескье и немецкий философ Кант, полагавший, что в «основе истории лежит география». Позднее она пропагандировалась в трудах философа-эклектика Кузена, историка Бокля и других. Оформление же этой идеи в цельную концепцию связано главным образом с именем немецкого географа Ратцеля, жившего во второй половине прошлого века и сыгравшего также важную роль в создании геополитики.

В настоящее время географический детерминизм под названием «энвайронментализм» наиболее полно представлен в работах американских географов, среди которых особенно известны недавно умершие Эллен Семпл и Элсворт Хэнтингтон. О характере их «исследований» достаточные представления дают следующие примеры.

Как мы знаем, сравнительно медленное хозяйственное и экономическое развитие царской России вызывалось социальными условиями и прежде всего господством самодержавия, феодализма с крепостным правом. Однако Семпл полагает, что это зависело от совершенно иных обстоятельств, а именно — от чисто природных: от недостаточного количества осадков, низких температур, однообразного строения поверхности, длительного замерзания северных

морей. В этом положении ярко выражен весь «стиль» работы энвироменталистов. Допустим даже, что Семпл права, но как тогда объяснить невиданно быстрое развитие экономики той же России после Великой Октябрьской социалистической революции? Ведь природные факторы остались те же.

Ещё более откровенны и показательны высказывания Хэнтингтона. Этот американский географ считал, что общество развивается под влиянием комбинаций таких факторов, как биологическая наследственность людей, их культурная одарённость и географическая среда, причём особое значение придавал климату и нередко всё сводил к нему. Достаточно сказать, что, по его мнению, эпоха Возрождения была обусловлена усилением... циклонических бурь в районах Северной Атлантики (он пишет о «психологическом эффекте от штормов»). Будучи последователем Бокля и Спенсера, Хэнтингтон не видит различий между природными и общественными законами, утверждая, что природа и общество развиваются параллельно, как нечто целое, подчинены одной и той же цикличности.

Как и многие другие буржуазные деятели, Хэнтингтон полагал, что в войне с гитлеровской Германией Советский Союз будет разгромлен в несколько недель. Когда же побеждённым оказался немецкий фашизм и всему миру стало очевидно, что всё дело в превосходстве советского социалистического строя, Хэнтингтон, понимая «опасность» такого заключения, поспешил выступить со своим «разъяснением». Не отрицая значения социальных преобразований (это было бы слишком примитивно), он в качестве второго равнозначного фактора выдвинул... потепление климата за последние двадцать—тридцать лет, в результате которого якобы повысилась энергия русских.

Отдельная глава книги К. Лукашёва посвящена расизму, занимающему видное место в арсенале идеологических средств империализма.

Теории географического детерминизма немало способствуют распространению расистских измышлений среди буржуазных реакционных географов. Они объявляют «полноценными» только нации, живущие в районах с циклоническим климатом, и отдают пальму первенства англосаксам и немцам, а в Азии — японцам. Повторяя демоagogические лозунги Кишлинга о «высо-

кой цивилизаторской миссии белого человека», американские географы, вроде Ван-Клифа, рассматривают колониальный режим как «благо» для туземного населения, а фашистский географ Карл Заппер даже рекомендовал пороть чернокожих рабочих якобы для... их же пользы.

Непосредственно с географическим детерминизмом связана геополитика — лженаучная доктрина современного империализма. Географический детерминизм настолько тесно переплелся с геополитикой, что в настоящее время можно говорить о геополитическом направлении в буржуазной географии. Пожалуй, наибольшим распространением среди геополитиков пользуются концепции англичанина Маккиндера, ныне поднятые на щит в Соединённых Штатах Америки.

В начале этого века англичане вели захватническую политику на Ближнем и Дальнем Востоке, прикрываясь лозунгами о «русской опасности». Именно в этот период и была создана Маккиндером пресловутая теория «сердца Земли», вот уже столетия не сходящая со сцены. Суть её заключается в следующем. Построив географическую карту таким образом, что в центре её оказалась Сибирь, Маккиндер объявил этот участок суши «сердцем Земли» и заявил, что тот, кто им владеет, неминуемо должен стремиться к мировому господству. Обладатель «сердца Земли» всегда является агрессором в потенции, и с ним необходимо бороться путём создания различных блоков «окраинных», приморских государств и т. п. В годы гражданской войны Маккиндер, который, между прочим, побывал с интервенционистскими войсками в России, призывал к прямому захвату Сибири, с тем чтобы установить господство Англии над миром и навсегда «обезопасить» Западную Европу. В годы второй мировой войны, сразу после разгрома немцев под Сталинградом, Маккиндер вновь, ссылаясь на свою теорию, стал писать об «опасности», надвигающейся с Востока, и выступил одним из инициаторов создания «атлантического единства» Западной Европы, США и Канады, якобы предопределённого географическими факторами.

Особое внимание автор книги уделяет разоблачению антинаучных теорий современной американской буржуазной географии. В настоящее время геополитическая пропаганда особенно активно ведётся импе-

но в Соединённых Штатах. Здесь она приняла более циничные формы, чем даже в фашистской Германии, в которой геополитика была признана официальной доктриной. Геополитики, подобные Спикмену или Кифферу, откровенно проповедуют «закон силы», как единственный закон, с которым следует считаться в политике. Они заявляют, что якобы «сама форма Земли» делает неизбежным покорение слабыми. Спикмен и его единомышленники «доказывают», что малые и средние государства нежизнеспособны, представляют собой «политическое неудобство», что они являются очагами новых войн, так как самым фактом своего существования побуждают сильных нападать на них. Отсюда — проповедь отказа от национального суверенитета, призыв объединяться в блоки и прочее и прочее.

Автор книги правильно подчёркивает, что в писаниях американских геополитиков видное место занимают рассуждения о «границах безопасности» США. Как известно, рассуждения подобного рода служат для оправдания строительства военно-морских и воздушных баз на чужих территориях.

В последнее время среди американских географов-геополитиков широкое хождение получила концепция так называемой «глобальной географии», развиваемая, в частности, Реннером. Эта доктрина никакого отношения к собственно географии не имеет. Суть её сводится к утверждению того положения, что ныне, в «атомный век» и в «век авиации», прежние представления о расстояниях, самостоятельности государств, о политических границах, экономических районах устарели и теперь Землю нужно рассматривать как единое целое, как «ионосферу»; причём это «единое целое» должно, конечно, находиться только под протекторатом Соединённых Штатов Америки. «Глобальная география» — это новое выражение стремлений американского империализма к мировому господству, проповедь воинствующего космополитизма.

Теоретическому обоснованию «неизбежности» войн служат также мальтузианские теории многих американских географов. Повторяя избитую версию о перенаселённости земного шара, которая на самом деле ничего общего не имеет с действительным положением вещей, Пенделл, Лайт,

Смит и иже с ними прославляют войны, оружие массового уничтожения, голод, стерилизацию, восстают против медицины и санитарии.

Книга «Буржуазная лженаучная география на службе реакции», несомненно, будет способствовать расширению знаний советского читателя о том положении, которое занимает в наши дни буржуазная наука в капиталистическом мире. Отмечая бесспорную полезность и своевременность этой книги, следует, однако, сделать некоторые замечания.

Основной её недостаток, на мой взгляд, заключается в том, что К. Лукашёв часто уклоняется от критического рассмотрения концепций буржуазных географов, предпочитая просто пересказывать их своими словами.

Вызывает возражение безоговорочное включение всей геополитики в географию. На самом деле геополитика является вполне самостоятельной доктриной, хотя она и связана с географическими теориями. Естественно, что автору надо было бы сосредоточить своё внимание на критике геополитических высказываний прежде всего буржуазных географов. Однако он предпочёл критиковать всех геополитиков разом, в том числе таких, как журналисты Липпман, Уэллер, которые вовсе не причастны к географической науке. В результате раздел, посвящённый геополитике, пестрит именами и ссылками на литературные произведения, но не даёт достаточно чёткого представления о процессе милитаризации буржуазной географии, выражающемся, в частности, в повышении интереса американских географов к геополитике.

Вряд ли удовлетворит читателя четвёртая глава — «Буржуазная география на службе расистского мракобесия». Вместо того чтобы на конкретных работах показать, как буржуазные географы оправдывают колониальную политику, проповедуют расизм, К. Лукашёв основную часть главы посвятил изложению фактов расовой дискриминации и геноцида, имевших место в США, что само по себе достойно самого жестокого осуждения, но к теме книги имеет лишь косвенное отношение.

*Кандидат географических наук*  
**И. ЗАБЕЛИН.**



# Р Е П Л И К И

## ПОЭТИЧЕСКИЕ «КИРПИЧИ»

Творчество, и в частности поэзия, не терпит стандарта, перепева, однотонности. Это уже, кажется, стало очевидным для всех. Но кто сказал, кто решил, что книги стихов должны быть одинаковыми, как воробьи на проводах? Почему в самых крупных издательствах Советского Союза — Гослитиздате, «Советском писателе», «Молодой гвардии» — книги стихов напоминают штабеля кирпичей, до того они одиотипны? Правда, у каждого издательства «кирпичи» своего формата, но стандарт есть стандарт. Ведь говорим же мы о разнообразии поэтического творчества, о своеобразии поэтических индивидуальностей, о единстве формы и содержания! Зачем забывать о таких прекрасных вещах, когда дело касается оформления книг?

Поэзия должна сопутствовать нам не только при оседлом образе жизни, но и в пути-дороге; а купишь книгу стихов — она в кармане не умещается. В чём дело? Ответ простой: издаю в «Советском писателе» или Гослитиздате. Кто и зачем придумал штамповать такого рода поэтические «кирпичи»? Почему раньше выходили в свет сборники стихов самого разнообразного размера, поэт сам мог выбрать, в каком виде ему хотелось бы предстать перед читателем. Неужели у нас издательская техника сделала «шаг вперёд и два — назад»? Почему, допустим, эпическая «Алёна Фсмина»

А. Яшина должна своей квадратурой точно соответствовать лирике поэта Щипачёва?

Товарищи издатели! Довольно! Будьте добры, повернитесь лицом к поэзии, посоветуйтесь там у себя и незамедлительно объявите войну стандарту!

Поэты хотят выходить в свет и «летучим дождём брошюр», хотя бы под заголовком «Лучшие стихи года», и книгами-малютками, если это интимная лирика, и в виде строго оформленных сборников типа «библиотеки поэта», не дожидаясь собственной кончины, и солидными однотомниками соответственно достигнутым творческим успехам.

Но, честное слово, довольно с нас этих примелькавшихся поэтических «кирпичей». Они угнетают поэта и читателя.

Давайте вместе подумаем, как тут быть. Дело заслуживает внимания. Ещё раз повторяю — поэзия не терпит стандарта!

Сергей СМЕРНОВ



## НА ФОНЕ ЛЕСА

Автобус подъезжает к Москве. Машина плавно катится по только что очищенному от снега асфальту. Чудесные зимние пейзажи меняются один за другим. Но что это за странное пятно справа? У обочины дороги, на опушке леса, на двух тонких металлических трубчатых ногах стоит огромный деревянный рекламный щит. На нём изображена большая зелёная бутылка, над которой нависла ветка с ябло-

ками неопределённого цвета. Под бутылкой размашинная подпись: «Яблочный напиток». Сразу становится грустно и обидно: зачем испортили пейзаж! Реклама не вызывает ни желания немедленно броситься искать этот напиток, ни, тем более, стремления запомнить его название. К тому же общеизвестно, что спрос на фруктовые воды у нас достаточно велик и нет особой нужды призывать население к их употреблению.

Едем дальше. Чем ближе продвигаемся мы к городу, тем больше рекламных щитов призывает нас не забыть, что надо везде требовать «гематоген», что вкусны «московские котлеты», что «пиво способствует пищеварению». Добро бы речь шла о рекламе новых товаров, ещё не известных потребителю. Нуждается ли советская торговля в пропаганде того, что и без рекламы достаточно хорошо раскупается потребителем?

Непонятным выглядит на фоне русского зимнего леса, в тридцати километрах от города, цветной рекламный щит с назидательным двустийшим: «Ребята, обязательно чистить зубы тщательно».

К кому обращена эта директива? Во время поездок по Подмоскovie мы ни разу не видели детей, играющих на автомобильной трассе!

Во имя чего устанавливаются такие щиты? Можно предположить, что только во имя выполнения плана по изготовлению рекламных щитов.

Нельзя не обратить внимания также и на то, что сплошь и рядом рекламные

торговые щиты вдоль автодорог чередуются с точно такими же (по размеру и качеству выполнения) щитами агитационно-политического характера. Только один пример. На обороте плаката с надписью «Все на выборы!» помещена реклама сухого желе.

На автомагистрали Москва — Симферополь можно видеть в степи огромный щит, с которого на проезжающих смотрит большое лицо ребёнка. Художник, нарисовавший этот плакат, не больно старался. Асимметричное серо-розовое лицо девочки со странной улыбкой вызывает у зрителя нечто среднее между жалостью и раздражением. Подпись под плакатом и вовсе непонятна: «Моё счастье зависит от твоих успехов!» Хочется поскорее проскочить мимо этого фальшивого плаката.

Отсутствием политического такта и художественного вкуса пахнет от этих аляповатых рекламнопропагандистских щитов. Видимо, многие тысячи рублей расходуются на них, а толку от этого мало!

**Сергей МИХАЛКОВ**



## РАЗГОВОР ЧИТАТЕЛЯ И ПИСАТЕЛЯ

Буксующее колесо и крутится, а всё на месте. Именно в таком положении мне представляется разговор читателей и писателей на страницах наших газет и журналов. Читатели пишут письма, высказывая в них свои суждения о литературных проблемах и произведениях, иногда эти письма печатаются, но подборками,

как правило, к празднику или дискуссии. А писатели эти письма, как говорится, почитывают и — молчат. Считается, что одна сторона высказалась, другая эти высказывания учла и, значит, всё в порядке.

Нет, не в порядке! И потому не в порядке, что разговор-то получается односторонний, что от него всего чаще никакого осязаемого результата не происходит.

Конечно, подчас писатель получает такое множество писем, что не имеет возможности ответить на каждое через газету или журнал и чаще всего обращается к читателю непосредственно. Но ведь нередки случаи, когда читатели задают и вопросы, ответы на которые имеют интерес широкий и общий. Например, они спрашивают, что послужило толчком для создания данного произведения, сомневаются в жизненной достоверности некоторых деталей, критикуют отдельные части произведения, высказывают свои соображения о композиции, языке. Иногда это очень верные соображения, свидетельствующие о хорошем знании действительности и развитом вкусе, иногда это заблуждения, проистекающие от поверхностных или неверных представлений об искусстве. В любом из этих случаев обстоятельный ответ писателя на письмо через газету или журнал имел бы немалое значение и для разъяснения и уяснения связи искусства с жизнью, и для решения важнейших литературных проблем, и для воспитания читателя. Кстати, это последнее тоже нужно делать: писатель должен так же честно сказать читателю об ошибке в его суждениях,

как читатель говорит писателю о недостатках и достоинствах его произведения. А ведь не секрет, что бывают и письма, в которых, кроме желания «критикнуть» и «ругнуть» писателя, ничего другого днём с огнём не сыщешь. Замалчивать такие письма по мотивам всепрощающей любви к читателю не следует.

Почему же у нас такой редкостью бывают ответы писателя читателям на страницах печати, почему это не делается в порядке обычной практики? А кто его знает, не делается, и всё тут!.. Между тем, отвечая на вопрос, как он стал писателем, Горький написал одну из самых блестящих статей. М. Исаковский, отвечая на письма начинающих писателей, создал очень полезную и нужную книгу «О поэтическом мастерстве». А разве из ответов писателей читателям не могла бы родиться книжка, замечательная не только тем, что в ней трактовались бы насущные политические, литературные, морально-этические, бытовые проблемы, но и тем, что она показывала бы во всём многообразии связь литературы с жизнью?

**Н. ГРИБАЧЕВ**



## УСТАРЕВШЕЕ ИЗДАНИЕ

В тридцатых годах вышло десять томов Литературной энциклопедии, издания, которое ставило перед собой задачу обобщить и представить читателю в самом сжатом виде основы знаний и справочный материал в области литературной истории и теории.

Перелистывая сейчас вышедшие тома, убеждаешься в том, что издание это надёжно устарело и не может быть пособием для широкого круга читателей, интересующихся вопросами литературы. В Литературной энциклопедии, естественно, отражён лишь первоначальный период развития советской литературы (первые тома начали выходить в 1929 году). Нет нужды сейчас подвергать критике это издание. Многочисленные ошибки на его страницах известны. В печати уже отмечалось, что второе издание Большой советской энциклопедии очень кратко и неполно освещает вопросы литературы. И, конечно, Б. С. Э. в любом виде не возместит отсутствия Литературной энциклопедии.

Необходимость нового издания Литературной энциклопедии очевидна. В ней нуждаются широкие круги читателей — студенты гуманитарных вузов, литераторы, педагоги, старшие школьники, наконец, просто люди, интересующиеся литературой, — а таких у нас в стране миллионы. Речь идёт как бы о втором издании Литературной энциклопедии, а по существу — о совершенно новом труде, составление которого требовало бы серьёзной работы наших литературоведов, критиков и писателей.

В какое количество томов может «уложиться» обширный исследовательский и справочный материал Литературной энциклопедии? Это сейчас трудно сказать, но думается, что новое издание Литературной энциклопедии должно быть несколько обширнее, чем первое: потребует, например,

немало места литература народов СССР, стран народной демократии, современная западная литература.

Мне представляется очень интересным и важным вкладом в нашу культуру создание Литературной энциклопедии. Вот почему я решил поделиться мыслями о ней со своими товарищами литераторами и читателями.

Евг. ДОЛМАТОВСКИЙ



## ДИСЦИПЛИНА В ШКОЛЕ

Хулиганистый мальчуган был вызван к директору.

— Если вы ещё раз повторите ваши безобразия, я исключу вас из школы, — сказал директор.

— Вам это не удастся, — ответил милый отрок.

И он оказался прав. После очередного «художества», которое он учинил, вопрос об его исключении был поставлен на педагогическом совете, потом перешёл в следующие инстанции и там заглох. Педагогам посоветовали лучше воспитывать, более чутко относиться, более глубоко подходить и т. д. Директор был посрамлён — и прежде всего в глазах учеников.

Чтобы преподаватель мог преподавать, нужна определённая обстановка в школе. Конечно, есть на свете такие учителя, которые могли бы увлечь своим уроком даже зрителей стадиона во время международного матча. Но у нас миллионы школьников, и рассчитывать, что на всех хватит педагогов-гениев, было бы чрезмерным оптимизмом.

Чтобы создать необходимую для учения и воспита-

ния обстановку, советская школа имеет больше возможностей, чем любая иная. Светлые и прекрасные цели коммунизма, вдохновляющий пример ленинской партии, самоотверженный труд и творчество народа, традиции пионерии и комсомола, наконец, свобода от тёмных предрассудков прошлого — всё это прочный фундамент, на котором строится школьная жизнь.

Но, как известно из истории, с того времени, когда появилось на земле слово большевик, с ним неразрывно соединилось понятие дисциплины, организованности. Это особая дисциплина: она основана на сознательности. Однако мы что-то не слышали, чтобы в Советской стране было принято цацкаться с нарушителями дисциплины.

Без сурового наказания за нарушение дисциплины она невозможна. В особенности это относится к среде детей, общественная сознательность которой только формируется.

Вот почему мне кажется, что наша школа, которая только что совершила крупный шаг вперёд введением совместного обучения, должна сейчас поставить перед собой очередную, не менее важную задачу: решительно улучшить обстановку для преподавания и воспитания в школах, ввести новую, гораздо более строгую, чем существующая теперь, дисциплину, поднять авторитет и укрепить власть педагога, директора школы.

Какие проступки школьника влекут за собой те или иные меры наказания, вплоть до обязательного исключения из школы? Ка-

кие правила распорядка должны регламентировать жизнь и поведение школьника в стенах учебного заведения, в общественных местах, на улицах и т. д.?

Ни автор этой реплики, ни даже специалисты-педагоги не могут тотчас же ответить на перечисленные вопросы. Но мне думается, что ответить на них необходимо.

**Бор. АГАПОВ**

★

### КНИГА, ПРОЧИТАННАЯ В ОДНУ НОЧЬ

Уже несколько дней я захожусь под впечатлением недавно прочитанной книги. Это роман французского писателя Роберта Мерль «La mort est mon métier», в точном переводе «Смерть—

моя профессия», по смыслу скорее «Убийство — моя профессия».

Книга эта ещё не переведена на русский язык, во Франции она разошлась огромным тиражом.

О чём же эта страшная, в полном смысле слова, книга? Это биография нациста, эсэсовца Рудольфа Ланга, это его путь от отроческих лет до виселицы, которую он заслужил как военный преступник.

Роман интересен и тем, что в нём показана чёрная кухня нацистов, время создания гитлеровского рейха, показаны те, на кого опирался Гитлер, и каждый тип обрисован очень точно, убедительно, галерея нацистов разнообразна, каждый омерзителен и мерзок по-своему, а в общем создаётся картина, ужасающая своей реальностью.

Временами эпизоды деятельности Рудольфа Ланга в лагере написаны с излишними натуралистическими подробностями.

Роман Роберта Мерль по заслугам имел успех во Франции, его читают, перечитывают; читателям, разумеется, приходит в голову мысль о том, что не все сподвижники Рудольфа Ланга кончили жизнь на виселице как военные преступники, немало их ещё мечтает о том, чтобы вернуться времена лагерей уничтожения. Поэтому роман «La mort est mon métier» и особенно судьба его героя сейчас, когда бывшие и настоящие нацисты обрели покровителей за океаном, — зловещее предостережение наследникам Рудольфа Ланга и их покровителям.

По-моему, эту книгу надо перевести и издать у нас.

**Лев НИКУЛИН**





## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



### ГОСПОЛИТИЗДАТ

**Н. С. Хрущёв.** О широком внедрении индустриальных методов, улучшении качества и снижении стоимости строительства. 48 стр. Цена 55 к.

**Н. С. Хрущёв.** Об увеличении производства продуктов животноводства. Доклад на Пленуме Центрального Комитета КПСС 25 января 1955 года. 79 стр. Цена 90 к.

**Об увеличении производства продуктов животноводства.** Постановление Пленума ЦК КПСС, принятое 31 января 1955 года по докладу тов. Н. С. Хрущёва. 51 стр. Цена 55 к.

**К. Е. Ворошилов.** По славному пути социализма. 16 стр. Цена 15 к.

**А. Безыменский.** На первых съездах комсомола. Воспоминания делегата. 48 стр. Цена 50 к.

**История средних веков.** Том II. 520 стр. Цена 8 р. 85 к.

**А. Лашин.** Местные органы государственной власти в СССР. 40 стр. Цена 40 к.

**Н. Мончадская.** Забота местных Советов о нуждах трудящихся. 52 стр. Цена 50 к.

**Некоторые вопросы марксистско-ленинской эстетики.** 292 стр. Цена 5 р.

**И. Трахтенберг.** Капиталистическое воспроизводство и экономические кризисы. 200 стр. Цена 2 р. 35 к.

**А. Шишкин.** Основы коммунистической морали. 320 стр. Цена 5 р. 40 к.

### ИЗДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

**Заседания Верховного Совета СССР четвёртого созыва.** Вторая сессия (3—9 февраля 1955 г.). Стенографический отчёт. 536 стр. Цена 12 р.

Стенографический отчёт издаётся на языках союзных республик: русском, украинском, белорусском, узбекском, казахском, грузинском, азербайджанском, литовском, молдавском, латышском, киргизском, таджикском, армянском, туркменском, эстонском и финском.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**И. Авраменко.** Дальние берега. Стихи. 158 стр. Цена 2 р. 85 к.

**Б. Буряк.** Служение народу. 340 стр. Цена 8 р. 5 к.

**А. Васильев.** Личное местоимение. Юмористические рассказы. 152 стр. Цена 2 р. 90 к.

**Д. Гранин.** Ярослав Домбровский. Роман. 220 стр. Цена 4 р. 30 к.

**Л. Дмитерко.** Драмы. Перевод с украинского. 194 стр. Цена 5 р.

**А. Зарицкий.** Повесть про золотое дно. Поэма. Перевод с белорусского. 72 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Г. Калининский.** Конец караванной тропы. Очерки. Рассказы. 176 стр. Цена 3 р. 45 к.

**А. Кулешов.** Поэмы. Перевод с белорусского. 308 стр. Цена 8 р. 30 к.

**В. Кучер.** Устим Кармелюк. Повесть. Перевод с украинского. 384 стр. Цена 6 р. 60 к.

**Б. Ласкин.** В жизни так случается. Юмористические рассказы. 212 стр. Цена 3 р. 70 к.

**Л. Оленич-Гнененко.** В горах Кавказа. 296 стр. Цена 5 р. 20 к.

**Дм. Осин.** Солнечная сторона. Рассказы. 304 стр. Цена 5 р. 15 к.

**И. Осипов.** Сахалинские записи. 220 стр. Цена 4 р.

**Ф. Пестрак.** Встретимся на баррикадах. Роман. Перевод с белорусского. 764 стр. Цена 14 р. 50 к.

**А. Письменный.** Приговор. Роман. 648 стр. Цена 11 р. 50 к.

**А. Прялков.** Дооктябрьская «Правда» о литературе (1912—1914). 242 стр. Цена 6 р. 60 к.

**С. Швецов.** Сатирические стихи. 104 стр. Цена 1 р. 65 к.

### ГОСЛИТИЗДАТ

**Оноре Бальзак.** Собрание сочинений в пятнадцати томах. Перевод с французского. Том 13. Человеческая комедия. Философские этюды. 664 стр. Цена 15 р.

**М. Горький.** Собрание сочинений в тридцати томах. Том 29. Письма, телеграммы, надписи. 1907—1926. 671 стр. Цена 12 р.

**Алеко Константинов.** Фельетоны и очерки. Перевод с болгарского. 171 стр. Цена 3 р. 70 к.

**Корейские повести.** Перевод с корейского. 204 стр. Цена 5 р.

**Светослав Минков.** Рассказы. Памфлеты. Фельетоны. Перевод с болгарского. 272 стр. Цена 5 р. 50 к.

**Михаил Садовяну.** По Серету мельница плыла. — Боярский грех. — Кроты. — Вэли-нашев омут. 395 стр. Цена 8 р. 25 к.

**И. С. Тургенев.** Собрание сочинений в двенадцати томах. Том 5. Повести и рассказы. 1844—1853. 464 стр. Цена 10 р.

**Андрей Упит.** Избранные рассказы. Перевод с латышского. 408 стр. Цена 7 р. 75 к.

#### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Н. Асанов.** Ветер с моря. Роман. 393 стр. Цена 8 р. 80 к.

**Ю. Мушкетик.** Семён Палий. 272 стр. Цена 6 р. 30 к.

**М. Пилюпенко.** Сталь и песня. Стихи и поэма. 112 стр. Цена 3 р.

#### ДЕТГИЗ

**Г. Андерсен.** Гадкий утёнок. Перевод с датского. 32 стр. Цена 75 к.

**Грамотей и его сестра Ганечка.** Словацкие народные сказки. 48 стр. Цена 70 к.

**Н. Дубов.** Огни на реке. Повесть. 128 стр. Цена 2 р. 85 к.

**С. Зорьян.** Ночь в лесу. Перевод с армянского. 32 стр. Цена 45 к.

**Мультагули.** Саиджа и Адинда. Рассказы и сказки. 64 стр. Цена 1 р. 15 к.

**Н. Попов.** Юность Андрея. Книга первая. 240 стр. Цена 4 р. 10 к.

**Г. Пушкарёв.** Сергей Мохов. Повесть. 240 стр. Цена 4 р. 75 к.

**М. Садовяну.** Остров Цветов. Перевод с румынского. 176 стр. Цена 3 р. 55 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

**Библиография произведений Л. Н. Толстого.** 295 стр. Цена 8 р. 20 к.

**В. И. Вернадский.** Избранные сочинения. Том 1. 694 стр. Цена 40 р.

**А. Дубинская.** Н. А. Некрасов. 319 стр. Цена 6 р. 20 к.

**История Москвы.** Том IV. Период промышленного капитализма. 951 стр. Цена 50 р.

**Х. Н. Момджян.** Философия Гельвеция. 406 стр. Цена 17 р. 80 к.

**В. П. Иванов.** Сорные растения и меры борьбы с ними. 173 стр. Цена 2 р. 80 к.

#### ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**Д. Медведев.** Сильные духом. 492 стр. Цена 9 р. 40 к.

**Ф. Тюсин.** Борьба Коммунистической партии за укрепление военного могущества СССР. 110 стр. Цена 1 р. 35 к.

**С. Смирнов.** Сталинград на Днепре. Очерк Корсунь-Шевченковской битвы. 254 стр. Цена 5 р. 50 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

**И. Вольф.** В стране тысячи островов. Индонезия сегодня. Путевые заметки. Перевод с английского. 127 стр. Цена 2 р. 40 к.

**Документы об антинародной и антинациональной политике Масарика.** Перевод с чешского. 319 стр. Цена 8 р. 55 к.

**Жорж Садуль.** Жизнь Чарли. Чарльз Спенсер Чаплин, его фильмы и его время. Перевод с французского. 292 стр. Цена 7 р. 65 к.

**Марчелла и Маурицио Феррара.** Беседа с Тольятти. Перевод с итальянского. 290 стр. Цена 7 р. 70 к.

**Г. Харг.** Морской путь в Индию. Перевод с английского. 330 стр. Цена 15 р. 70 к.

#### СЕЛЬХОЗГИЗ

**В. М. Коропов.** История ветеринарии в СССР. 368 стр. Цена 7 р. 60 к.

**Опыт организации высокопродуктивного животноводства.** Сборник статей. 710 стр. Цена 11 р. 35 к.

**Е. С. Осликовская.** Методика пропаганды научных достижений и передового опыта. 216 стр. Цена 3 р. 85 к.

**Из отстающих в передовые.** Сборник статей председателей колхозов и партийных работников. 223 стр. Цена 2 р. 95 к.

---

Главный редактор **К. М. Симонов**

Редакционная коллегия:

**С. П. Антонов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора),  
**А. Ю. Кривицкий** (зам. главного редактора), **Б. А. Лавренёв,**  
**М. К. Луконин, С. Б. Сутоцкий, К. А. Федин**

---

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).  
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Сдано в набор 31/I-55 г.

А00472. Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

9 бум. л.—24,66 печ. л.

Подписано к печати 28/II-55 г.

Тираж 140.000. Заказ № 303.

---

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



Цена 7 руб.